

Н О В Ы Й
М И Р

4

Н О В Ы Й
М И Р

1969

4



1969

ИЗВЕСТИЯ МИР

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLV

№ 4

Апрель, 1969 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СОДЕРЖАНИЕ

| | Стр. |
|--|------|
| М ИСАКОВСКИЙ — На Ельнинской земле (Автобиографические страницы) | 3 |
| КАИСЫН КУЛИЕВ — Три стихотворения. Перевел с балкарского Н. Гребнев | 69 |
| ЮРИЙ ЩЕГЛОВ — Когда отец ушел на фронт, повесть | 71 |
| НОВЕЛЛА МАТВЕЕВА — Питер Брейгель Старший, стихотворение | 98 |
| Н ТАРАСЕНКОВА — За вологодской старинной..., очерк | 105 |
| ГОФРЕДО ПАРИЗЕ — Четыре рассказа. Перевела с итальянского Ю. Добровольская | 121 |
| ЛЕНИНСКИЕ СТРАНИЦЫ | |
| М. ГЕФТЕР — Из истории ленинской мысли | 135 |
| ПУБЛИЦИСТИКА | |
| ЯЧЕЙКА ХОЗРАСЧЕТА (Две статьи на одну тему) | |
| П. РЕБРИН — Главное звено | 157 |
| А. СТРЕЛЯНЫЙ — Звено в цепи | 167 |
| ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ | |
| М КОРАЛЛОВ — История учит | 177 |
| К. ГОРОХОВ — Информация или дезинформация? | 182 |
| ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ | |
| ПИСЬМА МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ. Публикация А. С. Эфрон | 185 |
| ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА | |
| А. ДЕМЕНТЬЕВ — О традициях и народности (Литературные заметки) | 215 |

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

| | Стр. |
|--|------|
| КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ | |
| <i>Литература и искусство</i> | |
| П. Антокольский. Память солдата.— И. Варламова. Куда идет мальчик? — И. Борисова. Ромуальдас Алякснис и его оппоненты — Л. Левницкий. Наедине с осенью.— Л. Лазарев. Общественная мысль и литературный процесс.— Л. Черная. Трагедия обманутых. | 236 |
| <i>Политика и наука</i> | |
| В. Кулиш. Новые книги о великой битве.— В. Хорос. Средства, ведущие к цели.— А. Формозов. Историзм русской литературы.— И. Травкина. Изучение читательских интересов.— Э. Кольман. Математика в России. | 258 |
| ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ | 278 |
| КОРОТКО О КНИГАХ — А. Дубинская. Быль о легендарном комиссаре (Александр Вермишев).— Юрий Герт. Первое апреля — С. А. Хейнман. Проблемы интенсификации промышленного производства — СС в действии. Документы о преступлениях СС. Вацлав Краль. Преступления против Европы.— Анатолий Медников. В последний час.— Зенон Косидовский. Когда Солнце было богом.— О. Д. Балдина. От Валдая до Старицы. Е. Николаев. По Калужской земле (От Боровска до Козельска). Ю. Герчук, М. Домшлак. Художественные памятники Верхней Волги (От Калинина до Ярославля).— Библиография произведений Ф. М. Достоевского и литературы о нем. 1917—1965 — П. Марков. В театрах разных стран | 280 |
| КНИЖНЫЕ НОВИНКИ | 287 |



М. ИСАКОВСКИЙ

★

НА ЕЛЬНИНСКОЙ ЗЕМЛЕ

(Автобиографические страницы)

В ДЕРЕВНЕ ГЛОТОВКЕ...

1

Родился я в начале января 1900 года в деревне Глотовке, Осельской волости, Ельнинского уезда, Смоленской губернии.

Всего у моей матери Дарьи Григорьевны и отца Василия Назаровича было тринадцать человек детей (я родился двенадцатым), но выжило только пятеро. Остальные восемь умерли в раннем детстве, еще до моего появления на свет. Это было в порядке вещей: дети тогда умирали во множестве.

В мальчишеские годы я не раз расспрашивал у старших, когда и как появилась наша деревня и почему она называется Глотовкой. И мне рассказывали, что никто точно не знает, сколько лет нашей деревне, но известно, что на том месте, где она стоит, первым построенся один богатый и жадный мужик по прозвищу Глот. Отсюда и пошло название — Глотовка.

Но к тому времени, как я начал себя помнить, никаких богатых мужиков в Глотовке не было. Правда, можно было насчитать два-три семейства, которые жили безбедно, но и они не могли похвастаться никаким особым зажитком. Остальные же (а всего в Глотовке было около пятидесяти дворов) жили так, что едва сводили концы с концами. Впрочем, некоторым и этого не удавалось.

Однажды — не помню уж, по какому поводу, — затеяли мы, ребята, спор о том, где больше самоваров — в Глотовке или в соседнем селе Оселье. Оказалось, что самоваров — поровну по одному: в Оселье самовар наличествовал лишь у бывшего волостного старшины; правда, были еще самовары у попа и дьякона, но последние жили не в самой деревне, а как бы в самостоятельном поселке, расположенном возле церкви и отделенном от крестьянских дворов речкой Оселенкой; поэтому их самовары в расчет не принимались; в Глотовке обладал самоваром тоже лишь один человек — это был зажиточный мужик Иван Строгонов, у которого к тому же был и единственный на всю деревню сад, где стояло несколько пчелиных ульев.

Не знаю за что, но я очень любил свою деревню и даже считал, что она гораздо лучше всех остальных. Во всяком случае я никогда не соглашлся бы променять ее на какую-либо другую.

Между тем была она самой обыкновенной для того времени деревней — отсталой, неграмотной.

Во всей Глотовке — я хорошо это помню — было только две книги: у какого-то мужика — толстая, тяжелая, в черном переплете книга «Оракул», книга с таинственно-непонятными кругами и таблицами; в святки эта книга ходила по домам, и люди гадали по ней, пытаюсь узнать, какая судьба им суждена, что их ждет впереди; вторая книга — псалтырь. Ее обычно читали по покойникам, если, конечно, у родственников умершего были деньги, чтобы заплатить чтецам.

Псалтырь читал однажды и я. Мне было тогда уже около двенадцати лет, я учился в сельской школе и читать по-церковнославянски умел довольно бойко, хотя далеко не всегда понимал смысл читаемого.

2

Умерла наша соседка — старая женщина Марфа Лолокова. И родственники пригласили, а вернее сказать, наняли меня и еще кого-то — не помню уж, кто это был, — читать по ней псалтырь.

Читать мы должны были попеременно — в течение суток. Однако мой напарник, который был и гораздо старше, и гораздо опытней, чем я, определенно меня обманывал. Он оставлял меня одного, уходил куда-то и подолгу не возвращался обратно. И я должен был читать без перерыва по два, по три и более часов.

Читать псалтырь полагалось, только стоя у стола и повернув лицо в сторону красного угла, то есть туда, где в хате висели иконы. Читающий должен был также все время держать в левой руке зажженную восковую церковную свечку. Правой же он переворачивал страницы книги.

И я, когда наступала моя очередь, становился подобающим образом у стола, накрытого белым настольником, пододвигал к себе старую, потрепанную книгу со страницами, закапанными воском, захватанными и жирными, как старые игральные карты, и начинал.

Читал я выразительно и громко, что особенно нравилось родственникам покойницы и всем тем, кто приходил взглянуть на нее, поплакать, поголосить над ней.

Все же ночью — а ночь была длинная, зимняя — мне было как-то не по себе. Ночью люди, весь день толпившиеся в хате, разошлись по домам, утомившиеся за день родственники ложились, чтобы хоть немного отдохнуть, поспать. Я оставался один на один с покойницей — в тихой опустевшей хате, освещенной тусклым светом семилинейной керосиновой лампы, висевшей над столом.

Покойница лежала на лавке у стены, лежала прямо за моей спиной и чуточку влево от меня. Я знал и чувствовал это и, однако же, за все время ни разу не отважился повернуть голову, ни разу не посмотрел на нее.

Нельзя сказать, чтобы я боялся мертвых, но все же мне было как-то неприятно видеть их — тем более ночью, в хате, где, казалось, не было ни одной живой души, где раздавался лишь мой собственный голос. Поэтому я старался забыть, что за спиной у меня лежит покойница, и весь уходил в чтение. Уставали глаза, от стояния уставали ноги, язык начинал заплетаться, а я все читал и читал... И, конечно же, облегченно вздыхал, когда приходил мой напарник и сменял меня, а я мог на некоторое время уйти домой.

Но в конце концов я заслужил даже похвалу своих одноклассников, которые говорили про меня, что, мол, он хотя еще и мал, но читать псалтырь умеет лучше иного взрослого. К тому же за чтение мне дали серебряный рубль, а это было уже целое состояние... Правда, рубль я отдал отцу, но слава хорошего чтеца осталась со мной.

Кроме «Оракула» и псалтыря, у нас в деревне изредка появлялись и другие книжки: кто-либо из уезжавших в город на заработки вдруг

привезет сказку о Бове-королевиче или тоненькую лубочную книжечку «Как солдат спас Петра Великого», а то и песенник «Липа вековая». Все это бывало, но главенствовали все-таки «Оракул» и псалтырь.

И, конечно же, ни в одной крестьянской семье нельзя было найти ни чернил, ни пера, ни листка бумаги, чтобы написать, например, письмо. Да и писать-то редко кто умел. Некоторые мужики лишь могли кое-как расписаться, но большинству было недоступно и это. Что же касается женщин, то все до одной они были неграмотными. В ту пору даже в голову никому не приходило, что крестьянка может быть грамотной: считалось, что это ей без надобности.

3

Основной и главной заботой в каждой хате, в каждой семье было — как бы прожить, прокормиться, как бы не умереть с голоду. К этому и направлялись все помыслы, все усилия.

Земля в нашей местности была тощая, бедная, неурожайная. Своего хлеба никогда не хватало до нового урожая — «до нови», как тогда говорили. Его приходилось покупать чуть ли не с середины зимы, а то и еще раньше. Поэтому все, кто только мог, окончив сельскохозяйственные работы дома, уходили на заработки в города, больше всего в Москву. Там они брались за любую работу, какая только попадалась, соглашались на любую оплату.

Я помню многие проводы в Москву. Обычно отъезжающему давали пять рублей, причем эти пять рублей чаще всего брались у кого-нибудь взаймы. Билет от нашей станции Павлиново до Москвы (с пересадкой в Сухиничах) стоил четыре рубля двадцать копеек. Значит, по приезде в Москву оставалось всего восемьдесят копеек — на все как есть твои расходы. А поступить на работу, найти «место» было далеко не просто: нашего брата, как говорили тогда, всюду хватает. И бывали случаи, когда люди, не нашедшие себе никакого дела в городе, ни с чем возвращались домой, возвращались, как пелось тогда в популярной песне «Златые горы», «с пустой котомкой за плечами» и, конечно же, пешком, «по шпалам». Именно так однажды летом вернулись из Киева мой старший брат Нил и его товарищ Захар Глебов. Добирались они до дому свыше месяца и пришли оборванные, грязные, голодные, гощие, еле живые.

Те из глотовцев, которые никуда не уезжали, дома тоже не сидели сложа руки. Они заготавливали и вывозили на станцию строительный лес, крепежные стойки для шахт, дрова-швырок для железной дороги; весной сплавляли лес в Калугу (по реке Угре, а дальше по Оке). Словом, работали всюду, где только можно было хоть немножко подзаработать.

Наша семья не составляла в этом смысле исключения. И мой отец Василий Назарович также каждый год ходил «по чужим людям» в поисках заработка. Переходя из деревни в деревню, из города в город, он плотничал, столярничал, клал печи, стеклил окна. Все это он умел делать и делал хорошо, прочно, надежно. Но работа попадалась далеко не всегда, да и платили за нее мало.

В поисках работы он забирался иногда очень далеко: один раз дошел, например, до самого Петербурга, в другой раз исходил всю Белоруссию, о которой впоследствии говорил, что мужики там живут бедно, хлеба почти не видят, едят одну картошку, по-ихнему бульбу.

Впрочем, обо всем этом мне известно только по рассказам. С тех пор, как я начал себя помнить, отец мой на зиму далеко не отлучался и работал поблизости от дома — лесорубом, возчиком, готовил плоты для сплава на Угре, хотя участия в самом сплаве уже не принимал...

Не знаю, в каком именно году (вероятней всего, в 1903-м или даже несколько раньше) отец мой стал почтарем Осельского волостного правления. Почтари тогда избирались на волостных крестьянских сходах сроком на один год. И вот он, что называется, удостоился этой чести и, как тогда говорили, проходил в почтарях до самой революции — его ежегодно переизбирали.

Каждую неделю по вторникам в любую погоду он ездил на своей лошади за двадцать — двадцать пять верст (версты были немереные) на станцию Павлиново, отвозил и привозил почту. Получал он за это жалованье — десять рублей в год.

Правда, у него был дополнительный доход: почти все денежные переводы, которые шли в нашу местность, на почте обычно получал мой отец «по доверенности». Было часто и так, что отправители, зная честность отца, посылали деньги прямо на его имя с просьбой передать их тому-то и тому-то. Полученные на почте переводы он незамедлительно вручал тем, для кого они предназначались, и брал в свою пользу по одной копейке с каждого рубля. Таким образом за иную поездку он мог заработать копеек пятьдесят или даже целый рубль — в зависимости от того, какую сумму составляли полученные переводы.

Когда я немножко подрос, то в поездки на станцию — это могло быть только летом — отец иногда брал с собою и меня. И я всегда очень радовался этому.

На станции Павлиново я впервые в жизни увидел железную дорогу, поезд.

Мечтой моего отца было сделать меня телеграфистом. И он часто говорил мне:

— Вот когда ты подрастешь, поговорю я тогда с начальником. — (Подразумевался начальник почты.) — Может, он и согласится взять тебя в ученики. Поучишься там, сколько полагается, и станешь отбивать телеграммы. И жалованье тебе будет идти...

Почтарство моего отца способствовало тому, что я самоучкой выучился сначала читать, а потом и писать. Учился я по газетам и журналам, которые отец привозил с почты и которые мне разрешалось «поглядеть», пока они не передавались подписчикам.

Лет с десяти или одиннадцати я стал чуть ли не единственным на всю округу «сочинителем писем». Из всех окрестных деревень ко мне приходили отцы, матери, жены писать письма своим близким, уехавшим в города на заработки.

Правда, вначале мои клиенты относились ко мне довольно недоверчиво.

— Писарь-то больно мал. Дойдет ли его письмо-то? — говорили они.

Но скоро я разбил это недоверие. Я писал такие низкие поклоны, так ясно и убедительно описывал всяческие недостатки в хозяйстве, так жалостливо просил прислать денег — «хотя бы рубля три», потому что без этого «хоть живым в могилу ложись», — что мои клиенты были окончательно покорены.

И обо мне стали говорить уже по-другому:

— Он хоть и маленький, а понимает...

Особенно же меня любили за письма солдатки и вообще молодые женщины, мужа которых находились в отсутствии.

Таким женщинам в мужниных семьях жилось в большинстве случаев плохо: и свекор их бранит, и свекровь попрекает, и золовки недовольны... Обижают все, кому только не лень. А жаловаться некому. Да и жаловаться-то нельзя. Узнают в доме про жалобу, еще хуже станет.

И носили эти женщины свою обиду, свое горе одиноко и молчаливо. А если и плакали, то втихомолку, чтобы никто не видел, не слышал. И одна у них была надежда — надежда на мужа: может, он защитит.

И когда иной становилось особенно тяжело, она просила меня:

— Миша, напиши письмо...

Письма эти обычно писались по секрету от свекра или свекрови, и я никогда и никому не рассказывал о них. И доверие ко мне было полное.

Сидишь, бывало, где-нибудь в полутемной клетке и пишешь, примостясь на сундуке. А рядом женщина — грустная и молчаливая. И с такой надеждой смотрит она на бегающее по бумаге перо, как будто и впрямь моя слабая детская рука сможет снять с ее плеч всю тяжесть обид и горя. Начнешь читать написанное, а она — в слезы.

— Ну, что еще добавить?

А она плачет и плачет и слова выговорить не может.

Ответы на такие письма также вручались и читались «по секрету».

Читал их обычно тоже я.

Были, понятно, и такие женщины, которые пытались поссорить своего мужа с семьей, и поэтому они советовали «денег в дом больше не присылать, потому что бездонную яму все равно не наполнишь». А ты, мол, лучше деньги попридержи — там видно будет. Может, нам с ними (то есть с семьей мужа) и жить не придется...

Если я писал письмо, то должен был исписать целиком весь лист почтовой бумаги — со всех четырех сторон. Хоть чем-нибудь, но лист заполнялся. Письмо с пробелами никогда не отправлялось. Этого требовали заказчики, которые считали, что раз за бумагу заплачены деньги, то она должна быть исписана до конца.

За письмо мне платили обычно пять копеек. Но если кто-либо давал только три копейки, то я тоже не возражал.

И так как деньги эти были мои личные, то и распоряжаться ими я мог сам. Обычно я сразу же их тратил, но тратил не на одного себя, а на всю семью. Я бежал в лавочку и покупал селедку или четверть фунта сахару. И тогда в семье наступало настоящее пиршество.

5

Не только эти, но и многие другие воспоминания детства связаны у меня с почтой, с поездками отца на станцию.

Я и сейчас хорошо помню длинные зимние вечера в нашей старой, почерневшей от копоти и времени хате, освещенной слабым светом всячей семилинейной лампы. У стен по всем лавкам плотно сидит народ. Здесь много наших деревенских мужиков, баб. Из волостного правления пришел помощник писаря, из села пришли «барышни», то есть поповские дочки, пришел даже сам отец дьякон. Все ждут почты. Сидят весь вечер, разговаривают, курят.

Если отца долго нет, мать начинает серьезно беспокоиться: а вдруг его где-нибудь ограбили? — ведь он везет деньги; а вдруг он в потемках сбился с дороги и замерз где-нибудь? Да и мало ли что могло случиться с человеком в пути.

Мать моя Дарья Григорьевна, или просто Дарка, как ее звали в деревне, никак не могла свыкнуться с этими вечерами по вторникам. И не только потому, что с отцом могло произойти что-либо плохое, но и потому, что уж очень много беспокойства вносили эти вторничные собрания. Народу набиралось столько, что хоть из хаты уходи. Все домашние работы и занятия (а зимой по вечерам женщины либо пряли, либо ткали, либо шили) приходилось прекращать. Да и керосину было жалко.

В обычные вечера мы жгли лучину, а тут надо зажигать лампу, жечь керосин.

Но вот наконец отец приезжает. Разбирает и раздает почту. Многие тотчас же расходятся, но многие остаются, чтобы поговорить, узнать, что слышно нового на станции, что почем в лавках, а главное, охота послушать, что пишут в газетах.

Начинается чтение вслух. Эти чтения наводили на меня подлинный ужас. Мне было тогда пять лет. Шла русско-японская война, и в газетах много писали о ней, о японцах, или «гапонцах», как их у нас называли. А «гапонцев» я очень боялся; меня часто пугали, что вот, мол, придет «гапонцы» и выпустят из тебя кишки. Угроза эта казалась тем более реальной, что мне сообщали даже подробности, как японцы делают это практически. Они, оказывается, ставят детей к стене и давят скамейкой или лавкой до тех пор, пока из них не вылезут кишки. Это было очень страшно, и я не мог без внутреннего содрогания даже слышать слово «японец». Поэтому во время чтения газет я прятался на печке в самом темном углу, затыкал уши, чтобы ничего не слышать, с нетерпением ожидая, когда же наконец прекратится это ненавистное мне чтение и все разойдется по домам...

6

Встают перед глазами и другие картины. Та же хата с промерзшими углами, с окнами, густо покрытыми инеем. Мать прядет лен или тклет холстинку. Я сижу на печке, и мне очень скучно: хочется пойти на улицу, побегать, порезвиться. Но пойти я не могу — нет ни одежды, ни обуви. Мне даже и не полагается ничего этого: я еще маленький, с меня ничего не спрашивается, и ходить, по мнению взрослых, мне никуда не следует. Вот придет лето, тогда и бегай сколько влезет. А сейчас сиди.

Каждую зиму я с нетерпением ждал теплых дней, ждал лета. И когда оно приходило, я как бы пьянел от тепла и света, от синего неба, от таких просторных летних дней... И забывая обо всем, иногда с утра и до вечера бродил вместе со своими товарищами по полям и перелескам, ходил на речку, хотя речка у нас была неинтересная — маленькая, болотистая, — собирал в лесу грибы, купался с ребятами в мутном и грязном пруду, что был за деревней, играл в чижики, в горелки, в прятки... Одним словом, делал все, что было доступно деревенским ребятам. А летние дни в детстве были такими большими, что, казалось, им и конца нет.

Но летом были у меня и свои обязанности, особенно в страдную пору. Нередко случалось, что на мое попечение мать оставляла двухлетнего братишку Федю. Кроме того, я должен был следить за тем, чтобы куры не проникали в огород, где они могли раскопать гряды, поклевать огурцы, — словом, сделать «потраву».

На моей же ответственности оставалась и наседка с цыплятами, которых я должен был кормить и следить за тем, чтобы на них не напал ястреб.

Как мог, я выполнял все, что мне поручали, но делал это с большой неохотой. Хотелось все бросить и убежать куда-нибудь на целый день. Но бросить нельзя. И скрепя сердце я оставался дома.

Но летом можно было хоть на улицу выйти. А зимой целый день сиди на печке. Я не выдерживаю, слезаю с печки, выбегаю из хаты и босиком, в одной рубашонке, без шапки несусь по снежной морозной улице к какому-либо своему товарищу по соседству. Там мы тоже забираемся на печку и сидим, рассматривая свои «богатства»: бумажки от конфет, спичечные коробки, какие-то винтики, колечки и прочие ребячьи приобретения.

Чаще всего я бегал к своему однолетку Пашке Глебову. Пашкина изба стояла недалеко от нашей: через одну-две минуты я уже там...

Пашка Глебов памятен мне еще и потому, что судьба его сложилась крайне печально.

Жил Пашка с матерью, с бабушкой и с младшим братом Колей. Отца его звали Арсений, или — по-деревенски — Арсей.

Арсей, как и многие другие мужики, на зиму уходил на заработки и домой возвращался только к сенокосу. И так продолжалось несколько лет кряду.

Но вот однажды какой-то подрядчик завербовал Арсея на работу в Сибирь. Арсей, как всегда, уехал осенью. Но в следующем году к сенокосу он уже не вернулся. Правда, от него еще приходили письма и даже небольшие денежные переводы. Сам он, однако, решил почему-то в деревню не возвращаться. А потом и писать перестал — как будто его и вовсе нет на свете...

Года два или три мать Пашки, оказавшаяся без мужниной поддержки в крайне затруднительном положении, не теряла надежды на возвращение Арсея. Думала, что образумится, что вернется или хотя бы в крайнем случае напишет и, может быть, пришлет немного денег.

Но Арсей и не вернулся и даже не написал ничего. Люди, приезжавшие из Сибири, говорили, что Арсей закотовал¹ и в деревню его теперь не загонишь и насильно...

Таких случаев, когда кто-либо из уехавших в город на заработки начинал к о т о в а т ь, в нашей местности было не столь уж много. Тем не менее этого очень боялись. Боялись потому, что знали: уж раз закотовал человек, то, значит, окончательно пропал, погиб и нет ему возврата...

Именно так и случилось с Пашкиным отцом Арсением Глебовым. Но Пашка остался не только без отца, но и без матери. Она умерла, когда ему исполнилось всего лишь лет девять или десять, — умерла не столько от болезни, сколько от самой отчаянной нужды, от горя, от непосильной работы. Следом за матерью похоронили и Пашкину бабушку. Пашка и его младший брат остались совершенно одни. Никто ничего не сделал для них, никто им ничем не помог. Они ушли куда-то «в люди», да так и пропали. И, как память об их горькой судьбе, в деревне долго еще стояла пустая полуразвалившаяся Пашкина хата. А потом и ее кто-то разобрал на дрова.

Я, зная всю эту историю с самого начала, очень тяжело переживал ее. Мне было больно и за Пашку, и за всю его семью.

В школьные годы я написал нечто вроде поэмы о том, как Арсей бросил свою семью на произвол судьбы и как она потом погибла. Поэма очень нравилась моим одноклассникам — нравилась, разумеется, не за какие-нибудь художественные качества (о них вообще не могло быть и речи), а потому, что в ней «все правда»...

7

Отец мой был человеком молчаливым, неразговорчивым. И мать часто с упреком говорила, что, мол, из него за целый день и словечка-то не вытнешь, молчит и молчит.

И верно: бывало, в долгий зимний вечер занимается он какими-нибудь делами — плетет лапти, чинит сбрую, вьет веревки или делает еще

¹ Выражение к о т о в а т ь у нас имело множество значений, а именно: бросить, забыть семью; стать босяком, бродягой; опуститься; связаться со скверной компанией, стать обитателем Хитрова рынка (применительно к Москве) и т. п.

что-нибудь. И все это молча, лишь изредка перекидываясь двумя-тремя словами с кем-нибудь из домашних.

Но иногда, как говорят, на него «находило», и он становился разговорчивым. В такие минуты я приставал к нему со своими просьбами рассказать что-нибудь. И он мне рассказывал сказки, а также всевозможные случаи из своей жизни.

Сказки у него были преимущественно такие, в которых всеми гонимый мужик (или батрак) в конце концов всегда брал верх над бариним либо попом и уж во всяком случае всегда оказывался умнее их. Это от отца я впервые услышал сказку «Царь, поп и мельник», которую впоследствии изложил стихами. От него же я слышал и многие другие сказки. Но особенно мне нравились «случаи из жизни». Кажется, раньше других он рассказал мне о случае, когда уже совсем считал себя погибшим, но все-таки спасся.

— Дело было всеной, в самое половодье. Угра разлилась так, что берега едва видны. А мы гнали по ней плоты в Калугу. Плоты громадные, тяжелые... И надо было следить, чтобы они по самой середке шли, чтобы не попали на мелкое место, а где крутые берега, так чтоб за берег не зацепились, не уткнулись бы в него. А тут как раз на повороте и попался крутой берег. И вижу я, что плот наш вот-вот зацепится за него. А я стою на самом краю плота с длинным шестом в руках, чтоб можно было оттолкнуть плот, когда он подойдет близко к берегу... Оттолкнул-то плот я оттолкнул, но сам поскользнулся и упал в воду. Водой меня сразу же затянуло под плот, и я едва-едва успел ухватиться рукой за конец бревна. Но чую, что долго не продержусь, задохнусь, пойду на дно. Рука ослабела, она вот-вот сорвется, соскользнет с бревна, потому что оно толстое и скользкое и держаться за него неудобно. И подтянуться никак нельзя... Ну, думаю, конец приходит. А сам про себя как бы говорю: господи, за что же ты меня так?.. И тут сразу же вспомнил. Прошлой зимой среди ночи пошел я в хлев: скоро должна была телиться корова, так надо было посмотреть, как она там... А фонаря-то у нас не было. Вот я и взял от иконы огарок церковной свечки и с ним пошел в хлев. Посмотрел, что было надо, задул огонек и повернулся уже, чтобы идти в хату. И тут каким-то манером уронил я этот огарок. Вот те на, думаю, нехорошо получилось. Уронить церковную свечку, да еще в навоз, да еще там, где ее скотина может затоптать,— это великий грех. И бог за этот грех обязательно должен наказать человека... Ахал я, ахал, а огарка в потемках не нашел. Не нашел его и на следующий день: не то корова затоптала, не то я сам же и затоптал, когда искал... Вот теперь за этот огарок бог меня и карает. Но уж очень мне стало обидно, что из-за этого огарочка должен я пропасть. И снова я тут подумал: господи, да ведь это же я нечаянно. Господи, не дай погибнуть... Никогда больше такого не случится. А грех свой я замолю перед тобой, не губи только... Подумал я так, и вроде бы меня что-то толкнуло из-под плота, изо всех сил рванулся я наружу и вынырнул... А тут меня товарищи схватили за руки и втащили на плот. Так вот я и спасся. Все-таки не дал бог погибнуть...

Я слушал затаив дыхание и, конечно же, безоговорочно верил каждому слову. Но мне все же казалось неправильным, несправедливым, что за малюсенький огарок свечки бог так жестоко может покарать человека. И я невольно спрашивал у отца: как же это так?..

— Да ведь огарок-то,— отвечал мне отец,— церковный, святой, божий. С ним нельзя обращаться как попало. Ведь если ты бросишь его в навоз, то, стало быть, и бога можешь бросить таким же манером. Вот бог и карает...

Однако отец рассказывал мне и другие истории, не столь мрачные, но все же такие, которые чем-либо особенно поразили его. Из этих небольших историй мне, да, наверно, и ему очень нравилась история о четверти фунта чаю, нравилась, несомненно, потому, что это был редкий счастливый случай в его жизни.

— В понедельник перед вечером пошел я в волость, чтобы забрать там почту, а назавтра отвезти ее в Павлиново. А когда возвращался обратно, то уже совсем-совсем стемнело. На этот раз писарь сильно задержал меня: не приготовил вовремя почту, и пришлось мне сидеть в волости, пока он там все закончит. Взял я почту у писаря и иду домой. Уже почти прошел поле, что между Осельем и Готовкой. И вдруг слышу, что навстречу мне бежит собака. И так она злобно рычит и лает, что, кажется, готова растерзать тебя. Я сразу же узнал по голосу, что это Пальма, собака нашего кабатчика. Она многих уже покусала, на многих набрасывалась... А у меня, как на грех, в руках ничего — ни палки, ни прутика даже.

Стал я оглядываться по сторонам — не видать ли где камня какого: ведь у нас на полях камней-то много валяется. Вижу, действительно чуть-чуть вправо от дороги белеет камень. Я быстро схватил его и хотел сразу же запустить в Пальму, но вдруг почувствовал, что камень мой что-то уж очень легкий и мягкий. Э-э, да это же не камень, подумал я, а вроде как пачка чаю. Так оно и было. Обрадовался я, сунул ее в карман, а про собаку как бы уже и забыл. Но тут собаку позвал кабатчик, который, прогуливаясь, шел мне навстречу. А я подумал, что чай есть, так хорошо бы и сахару купить... Зашел к Пруднику¹, купил полфунта. Вот и попили мы тогда чаю... Вволю напились.

И еще очень запомнился мне отцовский рассказ о копейке. Рассказ этот был, конечно, назидательным, хотя рассказчик никак не подчеркивал этой назидательности: я должен был понять ее сам. А рассказ вот какой.

— Было это,— начинал отец,— в то время, когда наш теперешний поп отец Евгений строил себе новый дом. Каждую неделю, перед тем как ехать на станцию за почтой, я заходил к нему и спрашивал: мол, не нужно ли, батюшка, чего привезти? И он поручал мне купить то гвоздей, то краски, то стекла, то еще чего-нибудь, что надобно для стройки. И вот однажды привез я ему не помню уж, что именно, отнес покупку и говорю: истратил я, батюшка, столько-то и столько-то ваших денег и осталась у меня всего лишь одна ваша копейка. А поп мне отвечает: «Копейка, Василий, это пустяк. Сочтемся...» Так я и ушел, не вернувши попу его копейки. Долго после этого случая поп не давал мне никаких поручений: все у него было и покупать ничего не требовалось. Но вот однажды, когда я зашел к нему накануне поездки на станцию, он попросил привезти ему дрожжей. «Вот тебе, Василий, тридцать копеек на дрожжи»,— сказал поп и вручил мне столбик медных копеечных монет, завернутый в белую бумагу. Я положил этот столбик в карман и деньги (все это были копейки, собранные, очевидно, в церкви) пересчитал лишь тогда, когда стал расплачиваться за дрожжи. И что ж бы ты думал? Оказалось, что поп дал мне не тридцать копеек, а только двадцать девять.

Кажется, я не могу вспомнить ни одного года, который бы прошел для нашей семьи благополучно: всегда случалось что-либо плохое, всегда приходила какая-либо невзгода, напасть — иной раз бóльшая, иной

¹ Так звали нашего деревенского лаво-ника Прудникова.

раз мѣньшая, но обязательно приходила. То посевы дочиста выбьет градом, то урожай погибнет от засухи, то вдруг ни с того ни с сего начнется падеж скота, то кто-то тяжело заболевает, то с кем-то произойдет несчастный случай...

Особенно запомнился мне случай с овцами. В тот год их у нас было шесть штук: две старые овцы и четыре — молодняк. На овец возлагались большие надежды: это ведь и шерсть, и овчины, и еда, и деньги, чтобы заплатить подати...

И вдруг — дело было уже осенью — наши овцы пропали. Пастух уверял, что когда он под вечер гнал стадо домой, то сам видел, как они вошли в деревню и направились к своему двору.

— Наверно, — говорил он, — овцы где-либо задержались и скоро найдутся.

Но пастушила уже ночь, а овец не было. Мы обошли всю деревню, все дворы, все закоулки; искали, спрашивали звали — все напрасно.

Ночью отец не раз выходил на улицу, вглядывался во тьму, прислушивался и возвращался в избу встревоженный.

— Воют, проклятые, — говорил он.

Это о волках. Они завелись недалеко от деревни на заболоченной бросовой земле, поросшей кустарником, называлась она у нас Мохом; именно там жители окрестных деревень добывали мох, чтобы мшить новые хаты. Вот там-то и властвовали волки. В ясные осенние вечера хорошо было слышно их завывание — жуткое, тревожное.

На следующий день все мы с раннего утра пошли на поиски овец. Обошли леса, луга, рощицы, кустарники, овраги — вообще все места, куда только могли забежать овцы. Но ничего не нашли.

А ночью на болоте опять завывали волки, и это, как и в прошлую ночь, казалось страшным предзнаменованием.

Поиски пропавших овец продолжались и на второй и на третий день.

Наконец овцы были «найжены»: их обглоданные кости отец обнаружил все на том же болоте. Все до одной они были растерзаны волками и съедены.

И как только вернулся отец домой, как только сказал об этом, вся наша изба, все, кто только находился в ней, заплакали навзрыд, как по покойнику. Этот душу раздирающий плач продолжался почти до вечера. Он то и дело возникал и на второй и на третий день, стоило только кому-нибудь вспомнить об овцах.

Впоследствии выяснилось, что пастух действительно пригнал наших овец в деревню и они, отделившись от стада, побежали домой. Но в это время шли какие-то охотники с собакой. Овцы испугались собаки, бросились назад в поле и в конце концов попали в волчьи зубы.

Немало несчастий — и небольших и больших — пришлось и на мою долю, на мои детские годы.

Один раз я упал с крыши и так сильно ударился о землю, что едва мог подняться. Недели две или три после этого мне даже ходить было трудно: меня пригибало к земле и было такое ощущение, что внутри у меня что-то обрывается.

Жаловаться, однако, было некому: сам виноват, незачем было лезть на крышу. И я никому из своих домашних не сказал, что так сильно разбился.

В другой раз дело было так. Мой отец собрался сделать в поле изгородь, для которой нужно было отвезти жерди. Конечно же, я — а

было мне лет шесть или семь — стал просить, чтобы он взял меня с собой.

Отец согласился. Жерди положил на «раскаты», меня посадил на жерди, а сам пошел пешком рядом с лошадью.

Ехали мы напрямиком, без дороги, по очень неровному, кочковатому лугу. На каком-то повороте воз сильно трянуло, я не удержался и упал прямо под заднее колесо. Оно в буквальном смысле слова прошло по мне, переехало меня.

Спасло меня лишь то, что луг был болотистый, мягкий, покрытый множеством кочек. Я попал как раз между двумя кочками, расположенными очень близко одна от другой. Тяжестью колеса меня вдавило в мягкую поверхность луга, и пострадал я не очень сильно. Но испугался порядочно.

Больше моего испугался отец, который на мой крик быстро обернулся и увидел, что вытащить меня из-под воза он уже никак не успеет... Все окончилось благополучно, хотя вспоминать об этом случае всегда было как-то жутковато.

10

Однажды зимой — я в то время уже учился в школе — у меня разболелись зубы. Разболелись так, что я не находил себе места, не спал уже девять дней и ночей!

На семейном совете было решено вырвать больной зуб.

И вот меня, стонущего от боли и совершенно обессилевшего от бессонных ночей, закутали в какую-то дерюгу, положили в сани и повезли в Оселье к Валетёнку.

Валетенек — это прозвище одного мужика (фамилия его была Валетов), который славился тем, что умел рвать зубы. Конечно, никакого представления о медицине Валетенек не имел, он был даже совершенно неграмотным. Но где-то в городе ему случайно попались в руки щипцы, которыми рвут зубы, и он привез этот инструмент домой. С тех пор к нему и стали обращаться люди, страдающие от зубной боли.

Валетенек посадил меня на скамейку, достал с полки щипцы — они были пыльные и ржавые, — и мне стало не по себе. Но я решил терпеть до конца.

Без особых осложнений зуб был удален, и меня отвезли домой. Стало значительно легче, и я уже радовался, что моим страданиям наступил конец.

Но к вечеру совершенно нестерпимо разболелся второй зуб — с другой стороны. И тогда я уже сам стал просить, чтобы меня снова и немедленно свезли к Валетенку.

Второй зуб Валетенек рвал поздно вечером — при свете лучины. Странно, но и теперь все обошлось благополучно. У всех, у кого болели зубы, дело обычно кончалось каким-нибудь Валетенком.

Впрочем, так было не только с зубами. От всех болезней люди лечились сами — кто как умел. Обращаться к врачам было не в обычае. Да и не было у нас поблизости ни одного врача.

11

Самым большим моим несчастьем, которое постигло меня уже в раннем детстве, была болезнь глаз. Она затем преследовала меня всю жизнь, мешала мне учиться, работать, даже просто чувствовать себя так, как все другие люди. Много неприятностей перенес я из-за этой своей болезни; многого я не достиг в своей жизни, хотя при иных условиях, может быть, мог бы достичь; многие мои намерения и замыслы остались неосуществленными, хотя они могли бы осуществиться, будь я вполне здоров...

Вначале это, собственно говоря, не была болезнь в полном смысле слова. Это скорее был лишь некоторый изъян зрения. Но постепенно этот изъян превратился в болезнь, в болезнь тяжелую и коварную...

Уже тогда, когда мне было лет семь-восемь, мои отец и мать стали замечать, что я плохо вижу. Это очень их тревожило, но помочь мне они ничем не могли. Да и не знали, с какого конца тут подойти, что нужно сделать.

Кто-то им сказал: глаза, мол, плохо видят оттого, что к голове прилила дурная кровь. Надо эту кровь оттянуть, и тогда все будет по-другому.

Не знаю, поверили ли они этому или нет, но на всякий случай решили попробовать... И мать повела меня верст за семь — в село Шекино к какой-то бабке. Чтобы отвлечь, «оттянуть дурную кровь» от глаз, бабка начала ставить мне на затылок пиявки: в первый прием штуки четыре или пять и во второй столько же. Короче говоря, крови моей пиявки высосали довольно много, но, как и следовало ожидать, я от этого не стал видеть хоть сколько-нибудь лучше.

Несколькими годами позже разнеслась молва, что где-то в нашем Ельнинском уезде из деревни в деревню ходят глазные доктора, которые записывают всех, у кого только болят глаза. И не только записывают, но тут же и лечат больных¹.

У нас дома начали поговаривать, что хорошо бы узнать, где именно, по каким деревням ходят эти самые доктора, чтобы можно было пойти или поехать к ним, чтобы они посмотрели и мои глаза и полечили бы их.

Но никто точно не знал, в каких деревнях искать докторов — уезд-то все-таки велик! — и потому никуда меня не повезли и не повели.

Какую-то роль сыграло и то обстоятельство, что доктора-то, оказывается, не столько лечили больные глаза, сколько выкалывали их какими-то острыми блестящими предметами, — был и такой слух. И хоть слуху этому не очень-то верили, но все же подумывали: кто их знает, этих докторов, — какие они там есть и что им нужно...

У нас в деревне слышали и о том, что в Москве есть больницы, которые почему-то называются клиниками. В этих клиниках лечат и глаза. И принимают туда всех, кто только не приедет.

Но и московским клиникам не очень-то верили. И о них говорили, что там не столько лечат, сколько калечат.

Так или иначе, но отправляться туда побаивались. Не отправили и меня — отчасти из-за боязни, а главное, потому, что на поездку нужно было очень много денег.

Оставалась надежда только на то, что, может быть, все как-нибудь уладится само собой. Ничего, однако, не уладилось. Зрение у меня становилось все хуже и хуже.

12

Лет с двенадцати отец мой начал было приучать меня к косьбе. Он достал специально для меня очень маленькую косу и сделал соответствующее косье.

Что касается кос — тут он был большой специалист. Не знаю, когда это началось, но обычно через него вся наша деревня ежегодно выписывала -- *шуга* ли! — косы из-за границы. Он собирал деньги (коса стоила примерно один рубль) и вместе с описанием, какие косы следует

¹ Как я узнал позже, в Ельнинском уезде, если не ошибаюсь, в 1911 году действительно работал специальный отряд врачей-глазников. В его задачу входила борьба с трахомой.

выслать, отправлял их какой-то фирме, находившейся в тогдашней Австро-Венгрии.

Обычно недели через две или три приходила посылка — продолговатый деревянный ящик, наполненный косами. И каждый получал ту, какую заказывал.

Косы эти называли у нас карпатскими. Они были очень хорошего качества и к тому же обходились гораздо дешевле, чем если бы купить их у какого-либо местного торговца.

Итак, я стал ходить с отцом на покос, начал постигать искусство косца.

Но случилось непредвиденное. Однажды на нескошенном лугу возле орехового куста кто-то из мужиков оставил свою косу, причем оставил в таком положении, в каком оставлять никак не полагалось: сама коса находилась на земле, в густой траве, лезвием вверх, а косье было прислонено к кусту.

Ничего не подозревая, я проходил мимо и совершенно голой пяткой (на ногах у меня не было никакой обуви) наступил на остро отточенное лезвие косы. Пятка оказалась разрезанной пополам до самой кости.

Не помню, что со мной было потом, каким способом меня отправляли домой (сам я идти не мог), чем мне лечили ногу... Знаю только, что после этого случая отец мой горестно решил, что с моим зрением косца из меня не получится. И он раз и навсегда перестал меня брать на покос. В дни покоса я мог лишь помогать матери сушить сено — ворошить его, сгребать, а также таскать в сарай, когда сено привозили домой.

Поручали мне и кое-какие другие работы. Но становилось все ясней и ясней, что многое мне не по силам. Например, все деревенские мальчишки водили лошадей в ночное. А я не мог этого: я плохо видел и потому мне крайне трудно было отыскать на пастбище свою лошадь, отличить от других лошадей, чтобы пригнать ее домой.

Все это меня крайне огорчало. А в семье моей — чем дальше, тем больше — складывалось убеждение, что настоящего мужика из меня не выйдет. И часто мои отец и мать задавали себе все один и тот же вопрос: что будет со мной, когда их не станет, как я буду жить с таким плохим зрением?..

13

Однако в мальчишеские годы на мою долю приходились не только горести — большие и малые. Бывали и счастливые дни.

Как один из таких счастливых дней запомнился мне день, когда старшая сестра моя Прасковья выходила замуж.

Свадебный обряд в деревне обычно начинался с девичника. Девушки — подружки невесты и ее ровесницы — наряжали елку, увешивая ее разноцветными лентами и бумажными цветами: каждая из девушек приносила для елки свою ленту, ту самую, которую носила сама.

Вечером накануне венчания елку водружали на столе в невестинной хате. Девушки усаживались вокруг стола, причем на самом почетном месте была невеста. Начинались свадебные песни. Вернее, это были песни прощания: девушки прощались со своей подружкой, которая, выходя замуж, навсегда отрезает себе путь к их девическому кругу.

Песни — с небольшими перерывами — продолжались всю ночь. А рано утром, по заведенному порядку, в дом невесты приезжает жених вместе со своими друзьями. Девичник кончается. Но прежде чем девушки встанут из-за стола, жених должен «откупить» у них стол. Для этого он выкладывает на стол определенную сумму денег. Если денег мало, девушки не уступают и начинают торговаться с женихом. Тот вы-

нужден прибавить еще сколько-то. Но и на этом девушки могут не согласиться. Впрочем, дело всегда кончалось не более чем тремя рублями. Девушки брали их и расходились по домам.

Ни девичника, ни того момента, когда мою сестру усаживали в телегу, чтобы везти в церковь к венцу, я не видел — проспал: в ту пору мне было не более девяти-десяти лет.

Но я хорошо помню, когда свадебный поезд после венчания возвращался обратно и, уже не заворачивая к нам, направился прямо в деревню Рисавы, где жил — теперь уже муж моей сестры и мой зять — Макар Спирионович Орлов.

Мои отец и мать должны были присоединиться к свадебному поезду, для чего уже заранее у двора ожидала запряженная в телегу лошадь. А в задней части телеги, поперек нее, стоял довольно объемистый продолговатый сундук, искусно выкрашенный сверху и обтянутый сверкающими на солнце жестяными полосками. В сундуке находилось приданое сестры: домотканые холсты, рубахи, что-нибудь из верхней одежды.

Я, наряженный в новую рубашку и штаны, но босоногий и с непокрытой головой, важно восседал на этом богатом сундуке, свесив ноги вниз. Впереди меня сидели отец и мать, и я мог в случае необходимости держаться руками за их плечи.

Так ясным, безоблачным и теплым летним утром началось веселое и удивительное для меня путешествие в деревню, где я первый раз в жизни гулял на свадьбе.

14

Сестра моя выходила замуж за вдовца. Такое замужество в тогдашней деревне считалось незавидным и даже в некотором роде предосудительным, причем в любом случае осуждали только невесту и никогда — жениха: вот, мол, она какая — ни один парень не захотел жениться на ней, так она рада-радешенька и вдовцу. Если же у вдовца от первой жены оставались дети, то девушке, которая соглашалась выйти за него замуж, приходилось совсем плохо: над ней уже просто издевались.

У моей сестры было то преимущество, что ее жених Макар Орлов был совсем еще молодым человеком: с первой женой, которая умерла от неизвестной мне причины, он прожил совсем-совсем мало — всего год или два; детей у них не было; отец Макара также умер, и жил Макар лишь с матерью. А это для молодой жены немалое преимущество в большой семье все кому не лень помыкают невесткой. А в небольшой семье — дело совсем другое.

Кроме того — и это, пожалуй, главное, — Макар был отличным маляром, и у него почти всегда водились деньги. По этой причине мою сестру Прасковью не только не осуждали за жениха-вдовца, а наоборот, многие завидовали ей: посылает же, мол, бог людям такое счастье...

В те времена деревня чрезвычайно редко прибегала к услугам маляров. Бревенчатые крестьянские хаты меняли свой облик отнюдь не от искусства маляра, а от времени, которое делало их сначала серыми, а потом и совсем темными; внутри же к этому примешивалась еще и копоть от освещения лучиной.

Но в деревне кое-где были школы и, конечно же, церкви. Церквей насчитывалось, пожалуй, гораздо больше, чем школ. С ними-то главным образом и имел дело Макар Орлов.

Впоследствии я не раз удивлялся той смелости, с какой совершенно свободно ходил мой зять по довольно крутой и высокой церковной крыше, да еще с ведром в руке! Но крыша еще туда-сюда. А ведь надо было красить и купола, которые находились на большой вы-

соте и были круглыми, как луковица. Так что и ухватиться там не за что было. Но маляр каким-то образом забирался туда и делал свое дело, прибегая разве только к помощи веревки, да и то не всегда. Он даже мог стоять на самой церковной маковке, держась рукой за крест.

Правда, все это я увидел после свадьбы, когда Макар Орлов крашил нашу осельскую церковь, но рассказы о нем я слышал и раньше и уже раньше думал, что муж моей сестры — человек необыкновенный.

Надо отметить и то, как несказанно удивился я, когда в день свадьбы впервые увидел хату, в которой жил Макар и в которой отныне будет жить и моя сестра. Хата стояла на самом краю деревни Рисавы и выглядела как игрушка. Обшитую тесом, ее выкрасили в какой-то яркий и красивый цвет. В такой же цвет было выкрашено и крыльцо. А наличники на окнах, столбики, поддерживающие крышу крыльца, а также карнизы были расписаны в несколько красок. Все это было так цветасто, что я не мог оторвать от них глаз. Никогда в жизни я не видел такой красивой хаты.

Удивительно было и то, что рядом с хатой Макара стояла тоже выкрашенная, но уже в другой цвет, хата, принадлежавшая другому маляру. А напротив, на другой стороне улицы, еще две красиво разрисованные хаты. Хозяевами их были тоже маляры.

Словом, тот конец деревни, где должна была жить моя сестра, казался по сравнению со всеми остальными домами таким нарядным, таким праздничным, что представить что-либо лучшее было просто невозможно. Недаром же потом я так любил ходить в деревню Рисавы. Как увижу, бывало, на краю деревни эти хаты, на душе сразу становится и легко, и весело, и беззаботно.

Четыре маляра, живших в Рисавах, все время стремились перещеголять, переловчить друг друга. Поэтому ежегодно каждый перекрашивал свою хату в новый цвет: то в синий, то в зеленый, то в темно-красный, то в какой-нибудь еще.

Это, однако, не мешало тому, что внутренность хат, в которых жили маляры, ровно ничем не отличалась от обычного крестьянского жилья: та же русская печка, те же лавки вдоль стен в обе стороны красного угла. Все внимание обращалось только на внешнюю сторону.

15

На время свадебного пира были придвинуты друг к другу три или даже четыре обеденных стола, взятые на время у соседей. Гости расположились у столов на самых разнокалиберных сиденьях: кто на лавке, кто на табуретке, кто на скамейке, кто просто на доске, положенной концами на два чурбана. Один из столов был придвинут к широкой деревянной кровати, стоявшей у стены, и кровать как бы тоже превратилась в скамейку. На кровати сидели мои отец и мать, а с ними, конечно, и я.

Гости пили, ели, разговаривали, кричали молодым «горько!», смеялись, шумели. А в это время в хату набилось столько народу, что и повернуться стало трудно. Всем хотелось посмотреть на молодых, а также самолично убедиться, богата ли свадьба или так себе...

Собрались, конечно, и принарядившиеся на этот случай молодые рисавские бабы. По заведенному обычаю, они должны были опевать гостей, то есть петь в честь каждого гостя свадебную величальную песню.

Мне было необыкновенно весело и от шума, стоявшего в хате, и от песен, и от вина, малую толику которого предложили выпить и мне. Но

я особенно возгордился и обрадовался, когда вдруг услышал, что величальную песню поют и в мою честь. Значит, я — как равный со всеми, значит, не какой-нибудь такой, а самый настоящий, для которого, оказывается, есть даже специальная песня. И эта песня, на которую при иных обстоятельствах я, может статься, не обратил бы никакого внимания, целиком завладела мною. Я слушал ее с величайшим вниманием и удовлетворением — до такой степени она была мне приятной.

Я, конечно, точно не помню, какую именно песню спели для меня рисавские молодухи, но могу поручиться за то, что в песне были примерно такие слова:

...Во доль... во долинушке,
У высока терема,
Ходил-гулял молодец,
Молодец да Мишенька,
Михаил Васильевич.
В руках его тросточка,
В губах папиросочка...
А в высоком тереме
Жила красна девица...

Эти слова, отнесенные ко мне, казались настолько необычными, настолько небудничными и непривычными, что расстаться с ними было как бы уже невозможно. И я чуть ли не серьезно верил, что все то, о чем говорится в песне, где-то и когда-то действительно было со мною. А если и не было, то обязательно будет. И от этого на душе становилось еще светлей и радостней.

За величальные песни гости обязаны были платить. В среднем эта плата составляла пять копеек за каждую песню.

За меня платила мать. Она дала бабам три копейки.

— Хватит и этого, — сказала она. — Он ведь еще маленький.

Это до известной степени обидело меня, но что же я мог сделать, раз собственной казной не располагал?

Впрочем, я скоро позабыл об этой обиде, с большим интересом продолжая слушать другие величальные песни. И меня крайне удивило, что, оказывается, для каждого человека есть своя, особая песня, в которой его называют даже по имени и отчеству, а то, бывает, и по фамилии. Это казалось мне каким-то чудом, которое я не мог объяснить себе.

Скоро, однако, я запрокинул голову назад, лег спиной на кровать и сразу же заснул, довольный и счастливый. Я даже увидел во сне, что брожу по какому-то лугу возле терема, похожего на ветряную мельницу. А в руках у меня всамделишная красивая тросточка. И только я собрался, взмахнув своей тросточкой, ударить по высокому репейнику, как услышал голос:

— Вставай, сынок! Домой ехать пора.

Я открыл глаза и увидел, что в хате никого уже нет, что вынесены даже столы, за которыми сидели гости. Да и гости тоже разъехались, хотя солнце еще не зашло и день не кончился.

Летом свадьбы всегда бывают короткие — свадьбы-однодневки, потому что у каждого много работ и гулять на свадьбе некогда.

И мне сразу стало как-то уж очень грустно... Возвращались мы на той же телеге, на которой ехали и сюда, но на ней уже не было красивого продолговатого сундука, на котором я сидел еще так недавно — веселый, довольный, счастливый. И сестра моя навсегда осталась в Рисавах.

А главное, куда ж подевалась та чудесная, столь понравившаяся мне, покрытая лаком тросточка, с которой я ходил-гулял возле терема?..

Когда я думаю о своей матери, какой она была в годы моего мальчества, мне неизменно и прежде всего вспоминаются два случая.

Первый — когда мне было лет около десяти. Шел так называемый великий пост, который, как известно, предшествует христианскому празднику пасхи.

Этот самый длинный из всех — семинедельный — пост был и самым строгим, самым суровым. Ничего скоромного есть было нельзя. Почти вся деревня жила лишь на хлебе да на картошке, да еще на конопляном масле, если оно оставалось. К концу поста люди чувствовали себя вялыми, обессиленными. Некоторые едва волочили ноги.

Вместе со всеми постился, а вернее сказать, голодал и я. И однажды, когда мне стало совсем невтерпеж, ко мне незаметно подкрался, вероятно, сам черт и стал искушать, соблазнять меня, чтобы я нарушил пост. Я, как мог, сопротивлялся, но в конце концов не устоял и поддался искушению.

В хате на почерневшем от времени, некрашеном подоконнике стоял наполненный молоком стакан, и в нем плавали разбухшие и потому казавшиеся особенно вкусными куски разломанной баранки. Содержимое стакана притягивало меня, как магнитом. Казалось, что если бы мне позволили расправиться с этим стаканом, то я за это отдал бы все на свете.

Но молоко и обломки баранки, плавающие в нем, предназначались для младшего моего брата, которому было тогда год или полтора.

— Он еще совсем маленький,— говорила мне мать,— и молоко постом ему не грех. А ты большой, тебе грех.

— А мне хочется,— твердил я свое.

— Это тебя нечистый соблазняет,— отвечала мать.— Не поддавайся. Поддашься — бог тебя накажет. Бог, он все видит и все знает...

Я и вправду сдерживал себя, как мог, но все-таки то и дело поглядывал на столь соблазнительный стакан, будучи не в силах отвлечься от него, забыть о нем. Когда же мать вышла из избы, я по-воровски быстро взял стакан правой рукой и уже поднес его ко рту, чтобы глотнуть ну хотя бы один только раз. Однако я сам испугался своего поступка и столь же быстро, хотя и осторожно, чтобы не расплескать молока, поставил стакан на прежнее место. Минуту или две я старался даже не глядеть на стакан с молоком, но потом меня опять неудержимо потянуло к нему. И я опять взялся было за него рукой, но моментально отдернул руку, словно обжегшись. Кончилось, однако, тем, что я в конце концов взял стакан и поспешно, боясь, что меня застанут на месте преступления, сделал три или четыре глотка. А потом двумя пальцами достал кусок разбухшей баранки и столь же поспешно сунул его в рот...

Поставив уже далеко не полный стакан на прежнее место, я с большим страхом стал ждать, что вот сейчас последует божья кара, что вот-вот со мною что-то должно случиться...

Но со мной ничего не случилось. И я решил, что бог или не заметил, как я отпивал молоко, или простил меня: ведь отпил я совсем-совсем немного. И боялся я уже не бога, а матери: она придет и сразу увидит, что молока в стакане стало меньше.

Мать действительно заметила и все поняла. Но ни одним словом, ни одним взглядом она не упрекнула меня. Как будто и вовсе ничего не случилось. И хотя мне было всего десять лет, я понял, а вернее, почувствовал, с каким пониманием и тактом, с какой добротой отнеслась она к моему проступку, хотя самой ей, несомненно, было досадно, что я нарушил божий закон: ведь она искренне верила, что пить молоко

постом — большой грех. Но она увидела, что мне и так не по себе. И она ничего не сказала, не попрекнула меня...

Между прочим, мне потому так запомнился этот случай, что я никогда не брал ничего без ведома матери, никогда не говорил ей неправды.

17

Второй случай относится к более позднему времени: мне было тогда лет двенадцать и я уже учился в школе.

О моей матери говорили, что она знает много песен и хорошо может петь их. Однако я как-то еще ни разу не слышал ее пения. Много раз я просил, чтобы она сыграла какую-нибудь песню (о песнях у нас говорили именно так: сыграй, а не спой), но ответ всегда был один и тот же:

— Эх, сынок, не до песен мне теперь... Да и забыла я песни-то, какие знала...

Но однажды я совершенно неожиданно все же услышал пение своей матери. Наверно, поэтому и тот день, когда это произошло, надолго запечатлелся в моей памяти.

Престольным праздником в нашей деревне, а также в соседних деревнях был день рождества богородицы, приходившийся на 8 сентября по старому стилю. Впрочем, редко кто знал, что праздник этот имеет какое-то отношение к богородице: с давних времен он был известен и старым и малым под названием Спожка. Что значит это название, никто тогда тоже не задумывался, но, по-видимому, возникновение слова спожка связано с окончанием уборки урожая, с жатвой, и произошло оно от спожать, спожинать, спожинки и т. п.

Уборка урожая, жатва, как правило, у нас всегда заканчивалась до праздника Спожки. Неубранной оставалась разве только картошка, да и то не каждый год.

В день Спожки у нас неизменно открывалась ярмарка — событие, особенно для деревенских мальчишек, да и не только для мальчишек, многозначительное, веселое, радостное. Ярмарка располагалась прямо в поле, которым наша деревня Глотовка была отделена от Оселья. На нее сходилось и съезжалось великое множество людей чуть ли не со всей Осельской волости.

В этот день каждый дом в нашей деревне был полон гостей. Как ни бедна была та или иная семья, справить праздник она стремилась как можно лучше: чтобы люди не осудили! В предпраздничные дни почти в каждом дворе варили брагу, забивали овцу, покупали потребное количество водки.

Отец мой, предварительно подсчитывая праздничные расходы, каждый год приходил к выводу, основанному на опыте прошлых лет, что водки понадобится не менее полуведра (то есть шесть литров, даже чуть больше).

В тот год, который я имею в виду, ни пяти, ни трех рублей у отца не было. Поэтому в самый канун праздника утром отец сказал мне:

— Сбегай-ка ты, Миша, в Рисавы к Макару. Скажи, что я прошу его дать взаймы пять рублей. И скажи, что, мол, долг батька вернет, как только продаст семя.

Отец имел в виду льняное семя, которое скупали приезжие скупщики, а приезжали они как раз в день праздника.

Стоял ясный и очень теплый день, как будто дело не в сентябре, а когда-нибудь в июне. И босиком, в одной рубашке, я действительно скорее бежал, а не шел к зятю Макару, чтобы занять у него пятерку. На-

строение у меня было приподнятое, день был такой хороший, такой ласковый. Он как бы предвещал и даже как бы уже нес в себе нечто необыкновенное, праздничное, какую-то большую приятность.

К полудню я уже вернулся домой, сжимая в кулаке смятую, скомканную «синенькую», как тогда называлась ассигнация достоинством в пять рублей. Я был очень доволен, что мне дали столь важное поручение и что выполнил я его блестяще.

18

А между тем на поле, где завтра утром должна открыться ярмарка, работы шли полным ходом. Туда весь день прибывали телеги, нагруженные товаром, и торговцы, выбрав место, сразу же начинали строить палатки. По большей части сооружения эти были довольно примитивны: нужно было лишь несколько жердей, несколько гвоздей да брезент для крыши — и «торговая точка» готова. Но ставились палатки и более солидные, с прилавками, сбитыми из теса, и плотно закрытые с трех сторон. Это было главным образом в «красных рядах», то есть там, где торговали всевозможными текстильными товарами. Иные продавцы, те, что привозили на ярмарку изделия собственных рук — колеса для телег, гончарную посуду всех видов, кадки и ушаты, деревянные, искусно раскрашенные ложки и миски и многое другое, — устранивались обычно прямо на земле и никакой крыши над головой не возводили...

На ярмарке было абсолютно все — все, чего тебе хотелось, все, что тебе нужно. Так по крайней мере казалось мне. И когда я на следующее утро пришел туда, то сразу же попал в затруднительное положение: что же в конце концов купить?

Меня не интересовали ни колеса, ни кадки, ни кувшины и крынки. Не интересовали даже «красные ряды», где можно купить ситцу на рубашку либо материи на штаны. Все это для взрослых. А мне нужно было другое, и этого другого оказалось так много, что глаза разбежались: тут и всевозможные конфеты и пряники, сдобные и несдобные баранки и булочки, булки и булочки. Неотразимо влекла к себе и малинового цвета вода, подслащенная, как я теперь понимаю, сахарином, но тогда казавшаяся такой вкусной, что я мог бы выпить ее сразу стакана три. А дальше — всякие свистульки, гудочки и дудочки, гармошки губные и самые настоящие, но только маленькие по размеру, как раз для меня; а сколько всяких мячиков — и серых, и черных, и двухцветных: одно полушарие выкрашено в красный цвет, другое в синий; а перочинные ножнички со множеством лезвий, а игрушечные пистолеты! Да и мало чего еще!

В дополнение ко всему влекли к себе карусели, покружиться на которых было страстным моим желанием. Словом, всего было много и всего хотелось.

Но на праздничные расходы мне был ассигнован и выдан на руки один-единственный медный пятак. И не решив сразу, на что же мне потратить свой капитал, я вернулся домой ни с чем. Только во второй свой приход на ярмарку я купил игрушечный пистолет, к которому прилагалась маленькая коробочка с бумажными пистонами. На это и ушел весь мой пятак.

Сначала я обрадовался, что стал обладателем столь великолепного оружия, и то и дело демонстрировал его в действии. Но скоро пистоны кончились, и оказалось, что пистолет мой ни к чему. Я мог только хлопать курком, но это было уже совсем неинтересно: никаких тебе звуков выстрела. А потом испортился и сам пистолет: поломалась пружина. И я был очень опечален тем, что так опрометчиво распорядился своими деньгами.

А дома у нас почти весь день были гости: одни, выпив и закусив, уходили, а вместо них появлялись другие, вместо других — третьи. И только вечером, когда ярмарка кончилась и все разъехались по домам, приток гостей прекратился. Только несколько человек еще оставались у нас. При свете всяческой керосиновой лампы они, а также мой отец и мать сидели за столом и, весело разговаривая, допивали водку и доедали закуску. Все были немножко под хмельком.

И вдруг совершенно неожиданно и, казалось, без всякого повода к тому мать моя, обращаясь к сидевшим за столом женщинам, сказала:

— Бабы, давайте-ка песню!

И не дожидаясь ответа, запела мягким, чистым и немного печальным голосом:

Чудный месяц плывет над рекою,
Все в объятьях ночной тишины...

И сидевшие за столом уже более громко и раскатисто подхватили мотив песни и повели его дальше:

Ничего мне на свете не надо,
Только видеть тебя, милый мой.

Я, казалось, весь превратился в слух, удивляясь не только тому, что мать моя вдруг запела, но и тому, что запела она песню, которую у нас в деревне никто прежде не пел. Я много раз слышал, как девушки, усевшись где-либо на бревнах, по вечерам пели свои деревенские песни. Многие из них я знал наизусть. Но то были песни совсем другие.

А дело объяснялось, по-видимому, просто. «Чудный месяц» — этот популярнейший в свое время образец «жесточкого романа» — занесли к нам из Москвы работавшие там на текстильных фабриках наши женщины и девушки. В Москве, собираясь вместе, они сами вряд ли пели эти «романсы», а вспоминая родные места, покинутые ими, отдавали предпочтение своим деревенским песням. Но приезжая в деревню, не прочь были похвастаться и «московскими», «модными» песнями.

А о том, что, живя в Москве, они пели не «жесточкие романсы», а нечто совсем другое, говорит хотя бы тот факт, что когда Митрофан Ефимович Пятницкий начинал создавать свой знаменитый впоследствии хор, то первыми вошли в его состав мои однодеревенцы Матрена Гражданенкова и Захар Глебов. Пели в нем и другие глебовцы.

Но все это я узнал потом. А пока что сидел в своей глебовской избе и слушал «Чудный месяц», который вдруг запела моя мать.

В тридцатые годы я, впервые работая над песнями в содружестве с композиторами, понял, что в песне, хотя она и пишется двумя авторами (поэтом и композитором), главная роль принадлежит все же музыке, мелодии. Именно музыка, если она по-настоящему хороша, ведет за собой слова, она как бы вкладывает их в душу человека.

Но тогда, в детские годы, я, как и все деревенские люди, думал, что главное в песне — слова, словесный рассказ о ком-нибудь или о чем-нибудь.

Народное предпочтение слова музыке в песнях очень подмечено и отмечено Л. Н. Толстым в романе «Война и мир». Это — в том месте, где поет дядюшка молодых Ростовых в Михайловке вечером после охоты. Вот и я, слушая незнакомую мне песню «Чудный месяц», обращал внимание не на музыку, не на ее исполнение, а на слова, хотя и мелодия мне нравилась. По малолетству, по своей малоопытности я,

конечно, не мог анализировать словесный материал песни, но все же до моего сознания дошло, что песня «Чудный месяц» не похожа на деревенские песни, известные мне, что она необычнее их и потому, вероятно, лучше, интересней, увлекательней, чем они.

В самом деле, я до того вечера ни разу не слышал, чтобы кто-либо так говорил о месяце: чудный месяц. Да и само слово чудный едва ли можно было встретить в тогдашнем деревенском лексиконе.

Но месяц, оказывается, не только чудный, но он еще и плывет над рекою. Сказано не как-нибудь там месяц взошел или месяц народился, а плывет над рекою. Вы только подумайте — плывет! Это казалось мне необыкновенно красивым, я как бы видел плывущий месяц, хотя и понимал, что месяц плавать не может.

Почти в каждой последующей строке песни я находил нечто такое, что меня изумляло, тревожило мое воображение, проникало мне в душу, хотя смысл отдельных строк и был для меня не совсем ясен.

А песня между тем продолжалась. Голос матери как бы жаловался кому-то и потому звучал еще грустней:

Но — увы! — коротки наши встречи,
Ты спешишь и все прочь от меня.

И все застолье дружно подхватывало, как бы сочувствуя моей матери и отвечая тому, кто «спешит прочь»:

Так иди ж, пусть одна я страдаю,
Пусть напрасно волнуется грудь...

И снова песня захватывает меня всего. Даже в совсем непонятном для меня выражении «но — увы!» я чувствую какую-то большую печаль женщины, которая хочет кого-то удержать возле себя, а тот — бесчувственный, безжалостный — все-таки уходит. И потому слова песни: «Так иди ж, пусть одна я страдаю, пусть напрасно волнуется грудь» — звучат для меня не только печально, но почти уже трагически.

Когда песня была допета, мать, внезапно застыдясь, сказала:

— Ну, вот и сама не думала, что песни играть стану... А стала... Может быть, и в самом деле ей сделалось неловко, что она в песне как бы открыла свою душу перед чужими людьми...

Я не знаю, что скрывалось за песней «Чудный месяц». Может статься, мать запела ее случайно, просто потому, что она первой пришла ей в голову. А может быть, потому, что песня эта напомнила ей давно ушедшие девические годы и что-то далекое, грустное, но все же очень дорогое, что было связано с этими годами. Как знать?

Осенью 1910 года у нас должна была открыться школа. Эта весть быстро распространилась по окрестным деревням. Говорили, что уже приехала и учительница, которая привезла с собой целую бутыл чернил и сто пять фунтов книг. Почему количество книг определяли фунтами, было неизвестно. Но сто пять фунтов книг и целая бутыл чернил казались чем-то невероятным, сказочно огромным.

Стало также известно, что школа хотя и называется Глотовской, но находится она будет пока не в Глотовке, а в селе Оселье (Оселье и Глотовка находятся рядом: их разделяет лишь небольшое поле), что там для нее уже заарендован старый дом лавочника Лагутина.

В Оселье же будет жить и учительница, которую, как уже тоже стало известно, зовут Екатерина Сергеевна Горанская.

Назначен был и день записи в школу. Вместе с другими ребятами пошел записываться и я.

В школе открылось пока только два класса — первый и второй. Большинство пришедших записывались в первый класс. Для второго класса во всей округе нашлось всего человек семь-восемь. Это были ребята, умевшие немного читать, писать и считать. Меня Екатерина Сергеевна записала также во второй класс.

Второй класс состоял сплошь из переростков. Если судить по нынешнему времени, то ученикам, начинающим учебный год во втором классе, должно быть по восемь, максимум по девять лет. А у нас были ребята лет по двенадцати, по тринадцать и даже по четырнадцать! Мне самому уже шел тогда одиннадцатый год. Были переростки и в первом классе.

И еще одна подробность. Во втором классе среди семи-восьми учеников не оказалось ни одной девочки. В первый класс некоторые девочки записались, но по сравнению с мальчиками их было крайне мало.

Первый день в школе прошел весело и беззаботно. Никаких уроков, собственно говоря, не было. Учительница просто знакомилась с нами, рассаживала по партам, говорила о том, как она будет заниматься с нами, как мы должны вести себя...

Наш второй класс Екатерина Сергеевна разместила в углу, в закутке, две стороны которого составляли стены, третьей стороной служила большая русская печь, и лишь четвертой своей стороной наш класс соприкасался с первым классом.

Мы сразу же возгордились, что нас, таким образом, «возвысили», то есть отделили от каких-то там первоклассников, которые даже букв не знают. И уж совсем зазнались, когда учительница начала раздавать учебники: каждый первоклассник получил лишь одну книжку — какой-то там несчастный букварь. А нам учительница дала по целых четыре книжки каждому: в число их входила и русская хрестоматия, и книжка по грамматике, и арифметический задачник, и так называемая священная история.

Веселый и радостный прибежал я домой со своими четырьмя книжками. Я показывал их всем, кому надо и не надо, и без конца говорил о школе. Я был на седьмом небе. И мне самому казалось удивительным, что я стал таким ученым, которому в школе дают сразу по четыре учебника!

Однако на следующий день радость моя сразу померкла.

Екатерина Сергеевна стала объяснять второму классу решение какой-то арифметической задачи. Она рассказывала, что нужно сделать, чтобы решить задачу правильно. Объясняя задачу, она писала мелом на доске какие-то цифры и знаки, что-то вслух считала. А потом спросила:

— Ну, понятно вам, как надо делать?

— Понятно...

А между тем я ничего не понимал, так как почти не видел, что она писала на доске, хотя и сидел на первой парте. И сразу же впал в уныние. Нет, не смогу я, наверно, учиться, думал я, и зря я радовался своим четырем книжкам. Ни к чему они...

А сказать учительнице, что у меня плохое зрение, я никак не мог. Я вообще был робким, а уж тут и подавно сробел. Мне думалось тогда,

что говорить о своем плохом зрении даже как-то стыдно, что учительница меня не поймет и наверняка обругает: мол, зачем же ты в таком случае в школу записался? Сидел бы уж лучше дома, раз не можешь учиться...

И кроме того, я боялся ребят. В деревне так уж повелось, что над всяким человеком, у которого есть тот или иной физический недостаток, мальчишки (а то вместе с ними и взрослые) всячески издеваются, дразнят его, дают самые обидные прозвища. Конечно, они не пощадили бы и меня.

В нашей семье скрывали, насколько могли, то, что я плохо вижу. Во всяком случае об этом знали лишь немногие. И все пока шло хорошо. А тут вдруг я сам должен перед всей школой раскрыть свою «горькую тайну»? Нет, это невозможно! И я ничего не сказал учительнице.

Несколько дней я еще продолжал ходить в школу, а потом перестал.

Я попросил отца, чтобы он отнес учительнице те четыре книги, которыми я еще совсем недавно так гордился. Отец выполнил мою просьбу, сказав учительнице, что ходить в школу я не могу, так как уже наступили холода, а у меня нет ни одежды, ни обуви. О моем плохом зрении он также умолчал, постеснялся говорить.

Очень горестно я переживал то, что все ходят в школу, а я один сижу дома. У меня уже и товарищей как бы не стало: они все учатся, а я нет. Стало быть, я им неровня, не товарищ...

21

- Вскоре, однако, дела мои поправились, и я воспрянул духом.

Мой отец раз в неделю обязательно заходил к учительнице — заносил ей газеты и письма, привезенные с почты. И однажды Екатерина Сергеевна снова заговорила с ним обо мне: почему я все-таки бросил школу и нельзя ли сделать так, чтобы я все же учился?

На этот раз отец откровенно рассказал ей все. Он сказал, что дело не только в одежде и обуви: что лапти, например, я умею плести сам (а почти все ребята ходили в школу в лаптях), что и одежонка какая-нибудь найдется... Но вот видит он плохо — и это главное...

Екатерина Сергеевна, как я узнал после от отца, не только не посмеялась надо мной, не только не осудила меня, а наоборот, выразила готовность помочь мне всем, что в ее силах.

Кончилось все тем, что учительница вернула мне все мои учебники и сказала, чтобы я учился дома. Меня это крайне обрадовало: я хоть и не хожу в школу, а все-таки я ученик!

Стараясь как можно лучше оправдать доверие учительницы, я действительно учился. Узнавал у ребят, какие уроки заданы, и тщательно выполнял их. Правда, кое-что я пропускал, кое-чего недопонимал, но все же понемногу шел вперед.

Вторично я поступил в школу только в следующем, 1911 году, поступил уже по-настоящему, с твердым намерением не бросать ее, что бы со мной ни случилось.

Вначале, как и следовало ожидать, я попал во второй класс. Но недели через три Екатерина Сергеевна решила, что во втором классе мне делать нечего, что программу его я знаю, и перевела меня в третий класс.

Таким образом, вышло, что я нисколько не отстал от своих товарищей, хотя целый год и не ходил в школу. И это очень меня радовало.

ИСТОРИЯ МОЕГО СТАРШЕГО БРАТА

Своего старшего брата Павла я не помню совершенно. Он ушел из дому, когда я находился в младенческом возрасте. Помню только одно (тогда мне было уже около четырех лет): брат Павел зашел к нам, сидел за столом под образами и что-то ел. Потом ушел. Какой он из себя, что говорил — об этом ничего не помню, не знаю.

Больше я его никогда не видал. Но историю его я знаю хорошо потому, что она долгие годы была в нашей семье предметом многих разговоров, суждений, предположений и догадок. Именно она стала тем горем всей нашей семьи, которое никогда не забывалось. И трудно представить, сколько слез пролила моя мать о судьбе своего первенца. На него возлагались большие надежды: подрастет, станет помогать семье, жить будет полегче.

Еще мальчиком Павел поступил в волостное правление в качестве рассыльного при жалованье три рубля в месяц. Не знаю, где он выучился грамоте (никакой школы тогда в нашей местности не было), но писал он, рассказывали, довольно бойко. Поэтому волостной писарь время от времени стал поручать ему переписывание и даже составление разных бумаг. И Павел постепенно постиг всю механику волостного делопроизводства. А потом его назначили помощником волостного писаря. И платить стали уже около десяти рублей в месяц.

Между прочим, в это время Павел переименовал свою фамилию. Наша прежняя фамилия — Исаковы — очевидно, показалась ему недостаточно благозвучной, и он стал подписываться — Исаковский. К новой фамилии все скоро привыкли, и она с тех пор осталась за всей нашей семьей.

И отец и мать, конечно, очень радовались, что их сын вышел в люди, что он занимает такое завидное место.

Однако скоро все пошло прахом.

Началось с женитьбы Павла. В жены ему попала женщина вздорная и ленивая. Звали ее Матреша. И хотя она пришла из такой же крестьянской семьи, как и наша, но работать по крестьянству уже не хотела, считая, очевидно, что жене помощника волостного писаря черная работа не к лицу. Она сразу же стала подбивать Павла уйти из отцовского дома.

Павел противился, не хотел покидать семью, но Матреша упорно стояла на своем. Начались ссоры.

Дело кончилось тем, что Матреша, прожив у нас лишь месяц или два, ушла к своей матери в деревню Чащи, откуда она была родом, а Павел написал прошение земскому начальнику, прося, чтобы тот перевел его в другую волость — подальше от жены.

Вместо того, чтобы перевести Павла в другую волость, земский начальник назначил его письмоводителем в свою канцелярию, которая находилась в его же, земского начальника, имении — в селе Арнищицы.

Все снова пошло по-хорошему. Павел продолжал помогать семье, отдавая все, что он мог выделить из своего небольшого заработка. Сам он тоже часто приходил домой в Глотовку: отпросится на полдня, на день и придет.

Но так продолжалось недолго — всего несколько месяцев. В Арнищицы к Павлу переехала Матреша, с которой он помирился. Павел сразу же перестал бывать дома, перестал давать и деньги.

И вот однажды, когда пришлось совсем туго, отец отважился пойти к земскому начальнику и попросить хотя бы три рубля или пятерку из жалованья своего сына.

Земский начальник Михаил Павлович Яновский слыл человеком суровым, недобрым, даже жестоким. И все его очень боялись. Разговаривать с мужиками он не любил, да и вряд ли кто из мужиков ходил к нему. Но тут уже такое положение, что надо идти — деваться больше некуда. И отец пошел.

Впоследствии он так рассказывал о своей встрече с Яновским:

— Пришел я утром. Стою около ограды, жду — может быть, пройдет мимо. Зайти за ограду, спросить у кого-нибудь — боюсь... Долго мне так пришлось стоять — может, два часа, может, три. Наконец вижу — идет по дорожке. Я снял шапку, жду, пока ближе подойдет. Заметил он меня, спрашивает: «Тебе чего надо?» — «Так и так, говорю, ваше высокоблагородие, я отец Павла Исаковского. Пришел к вашей милости попросить, не дадите ли хоть пятерку из его жалованья, а то совсем плохо приходится...» Я думал, прогонит он меня, не станет и разговаривать. Но почему-то в то утро он добрым был и ничего... не стал прогонять. А на мои слова ответил: «Пропал, говорит, твой Павел, совсем пропал...» И потом рассказал он мне, что все началось с приезда Матрешы. Такие скандалы устраивает она Павлу, что хоть уши затыкай... Чтобы легче было жить Павлу, земский начальник сделал Матрешу экономкой. Но работать она не хотела, барыней себя считала. Чуть что не по ней, раскричится, выбежит на площадь перед домом, повалится на землю и кричит благим матом. А Павел испугается, схватит ведро с водой и бежит отливать ее... Поглядел на это земский начальник раз, другой, третий. А потом вызвал Матрешу к себе и говорит ей: «Вот что, Матреша, если еще хоть раз повторится это безобразие, то я не позволю Павлу отливать тебя водой, а сам приду и буду отливать тебя ременной плеткой...» После этого, сказал земский, валяться и кричать перед домом она перестала. Но Павла в покое не оставляет, просто изводит его... Рассказав мне про все это, Яновский вынул из кармана золотую пятерку, дал мне и говорит: «Вот тебе. Ступай!» С тем я и ушел. С Павлом не повидался, не поговорил — побоялся зайти в канцелярию...

Вскоре после этого земский начальник вынужден был уволить Павла — все из-за той же Матрешы, которая опять ушла к своей матери. Павел же подался в Москву. Там ему удалось поступить в какую-то канцелярию, и все, казалось, пошло по-хорошему. Павел писал домой письма, изредка присылал деньги.

Но вот в Москву переехала Матреша, и сразу Павел словно в воду канул. Напрасно отец писал ему, просил откликнуться, ответить, что с ним, здоров ли он, не случилось ли чего. Никакого ответа не было.

Мать часто плакала, решив, что с Павлом произошло что-нибудь недоброе.

Так прошел год, а может быть, несколько больше.

И вот однажды пришел отец из волостного правления радостный и взволнованный:

— Нашелся наш Павел!

Далее он рассказал, что Павел прислал волостному старшине письмо с просьбой выслать новый паспорт, так как срок старому истек: в те времена паспорт мог быть выдан сыну только с разрешения отца. Поэтому старшина спросил:

— Ну как, Василий, посылать ему паспорт или нет?

Отец, конечно, и не думал препятствовать. Он был лишь несколько обижен, что Павел не обратился прямо к нему, а предпочел чужого человека — старшину.

Так или иначе, новый паспорт выписали без промедления, и на следующий же день он был отнесен на станцию и отправлен по почте.

Отец торопился отправить паспорт потому, что в письме к старшине говорилось: срок старого паспорта истек уже шесть недель тому назад.

Вместе с паспортом Павлу было послано письмо, в котором мать умоляла написать хоть несколько слов.

Однако ответа не последовало. Больше того, через некоторое время посланный паспорт был возвращен обратно «за ненахождением адреса».

Что стало с Павлом, куда он подевался — никто не знал.

Произошло все это в 1905 или 1906 году. Или, пожалуй, несколько позже — точно не помню.

Сначала все мы ждали, что Павел где-нибудь найдется, даст о себе знать или даже приедет домой. Но время шло, а никаких вестей о нем все не было и не было.

И часто, зимними вечерами сидя за прялкой, мать горестно говорила:

— Где-то теперь наш Паша?..

Скажет и заплачет.

И всем нам, остальным членам семьи, станет вдруг тяжело-тяжело, будто в доме покойник.

Так прошло много лет.

Наконец, уже во время первой мировой войны — примерно в девятьсот пятнадцатом году, — в нашу волость пришла бумага такого содержания: в ельнинской уездной тюрьме находится человек, который называет себя Павлом Исаковским и говорит, что происходит он из крестьян деревни Глотовки Осельской волости; в Ельню его привели по этапу как беспаспортного; если, говорилось далее в бумаге, у вас действительно таков й имеется, то просьба подтвердить это, и тогда вышеозначенный крестьянин будет препровожден на родину.

Как ни было печально и даже позорно для нашей семьи это известие, все мы очень обрадовались ему. В каком бы виде ни явился Павел, он все же наш, родной, долгожданный.

Ответ на запрос был послан немедленно. И наша семья с нетерпением ожидала: вот-вот приведут Павла, и теперь уже наверняка...

Но Павла не привели.

Через некоторое время стало известно следующее.

У Павла был давнишний приятель — Никита Федорович Анисимов¹. Он тоже служил по писарской части и в описываемое время работал в канцелярии воинского начальника в городе Ельне.

— Узнал я, — рассказывал после Анисимов, — что в тюрьме в ожидании отправки на родину находится Павел. Решил навестить его, поговорить с ним. Достал пропуск, прихожу в тюрьму, жду, пока его приведут ко мне. И вот приводят: высокий, здоровенный, мордастый... Я с первого же взгляда понял, что это не Павел, а кто-то другой. Но все же решил поговорить с ним. А он-то ведь не знает, что я из Глотовки, и не знает также, зачем я пришел... Стал я задавать вопросы: как зовут отца, мать, сестер, братьев, сколько кому лет, из какой он деревни, сколько в хозяйстве земли. На все эти и многие другие вопросы он ответил мне совершенно правильно. Ничего не знал он лишь о самом младшем брате Федоре, который родился уже после того, как Павел уехал в Москву. Наконец я спросил: «А сколько же лет вы не были дома?» — «Семнадцать лет», говорит. Только на этом и спутался. Тогда я говорю

¹ Никита Федорович и Иван Федорович Анисимовы — два брата, уроженцы деревни Глотовки. Первый из них является дядей, а второй отцом недавно умершего известного критика и литературоведа Ивана Ивановича Анисимова, который тоже родился в Глотовке. Однако его еще совсем маленького родители увезли из нашей деревни, и я впервые встретился с ним лишь в 1930 году.

ему: «Вот что, друг! Я знаю, что вы не тот, за кого себя выдаете. Но скажите, каким образом вы попали сюда и почему вам известно все, что относится к семье Павла Исаковского?» Он ответил: «А вот почему. Меня и Павла как беспаспортных должны были отправить домой по этапу. Конечно, ни ему, ни мне не хотелось явиться в родные места таким позорным способом. И мы сговорились так, чтобы Павел выдал себя за меня, а я — за него. С этой целью мы и рассказали друг другу все, что требуется: он мне о своей семье, а я о своей. Павла повели на мою родину, а меня привели вот сюда... А встретился я с Павлом в Таганроге»...

После посещения тюрьмы Никита Анисимов рассказал начальству, что человек, находящийся в тюрьме, вовсе не тот, за кого он выдает себя, и поэтому отправлять его в Осельскую волость бессмысленно. Его и не отправили.

Я не знаю, насколько правдив этот рассказ, услышанный Никитой Анисимовым в тюрьме, и почему Павел вдруг очутился в Таганроге, если он действительно там очутился, но только с тех пор мы о Павле ничего не слышали...

САШКА

Когда мне было лет десять — одиннадцать, в нашей местности появился молодой человек — Александр Васильевич Сучков, или просто Сашка, как его звали за глаза.

Приехал он в качестве приказчика лесовладельца Ястребова. У Ястребова в нашей местности были довольно большие лесные участки, и он постепенно сводил их, то есть отдавал на вырубку.

Сам Ястребов жил где-то в городе. Никто не знал, в каком именно. В свои владения он наезжал лишь раз в год — летом. Приезжал он обычно на тройке, в деревне никогда не останавливался, ни с кем из мужиков не разговаривал, следовал прямо в свою контору, то есть в сторожку, построенную за рекой в лесу, в которой жил Сашка.

— Ну, вот и Ястреб летит, — говорили мужики, глядя на знакомую тройку и экипаж.

В сторожке Ястребов оставался недолго. Он проводил там полдня, самое большее день. Получив от приказчика отчет и дав ему указания, что делать дальше, немедленно отправлялся обратно. И так как эти приезды были крайне редки, Сашка чувствовал себя, в общем, неплохо. Он почти ничего не делал, по целым дням или спал, или бродил с ружьем по лесу, пил водку, а потом шел на ночь к какой-нибудь бабе.

К нам он приходил, чтобы получить или отправить письма или же поручал отцу привезти со станции пороху, дробь или еще чего-нибудь.

Сашку я как-то сразу невзлюбил. И за то, что он был скуп, и за то, что, когда он приходил, его надо было непременно поить чаем, хотя сами мы чаю почти никогда не пили. Мне жалко было, что Сашка без всякого стеснения поедает наш береженный сахар. Я даже высчитал, что пил он всегда по четыре стакана и расходовал при этом целых три куска сахара. Такое расточительство казалось мне совершенно неоправданным, так как нам, членам семьи, во время чаепития никогда не давалось больше одного куска. Однако я вынужден был мириться с этим: отец говорил, что Сашка — человек нужный и ссориться с ним нельзя. Не нравился мне Сашка еще и потому, что он сошелся, или «спутался», как определили у нас в деревне, с моей крестной матерью — молодой женщиной, муж которой уехал на заработки «на шахты», встречался с ней по ночам, о чем мне хорошо было известно из разговоров взрослых.

Я хотя и смутно, но все же понимал, что значат эти встречи, и поведение Сашки считал крайне предосудительным и скверным. Крестную мать свою я считал человеком хорошим, заподозрить ее в чем-либо дурном я никак не мог. Значит, во всем виноват Сашка.

По милости все того же Сашки мне однажды сильно досталось от отца, причем я был оскорблен в самых лучших своих чувствах. Дело в том, что в детстве я очень любил петь песни. Знал я их довольно много: тут были и «Шумел, горел пожар московский», и «Словно море в час при- боя, площадь Красная шумит», и «Коробейники», и «Липа вековая».

Но особенно мне нравилась песня «Трансвааль». Летом в ясный солнечный день идешь, бывало, по полю и, забыв про все на свете, поешь что есть силы:

Трансвааль. Трансвааль, страна моя,
Ты вся горнишь в огне.

Я, конечно, не очень понимал тогда смысл этой песни и, разумеется, не имел никакого представления о стране Трансвааль и англо-бурской войне, в годы которой (1899—1902) появилась эта песня. И все же песня волновала меня до глубины души.

Даже слезы выступали на глазах, когда я доходил до тех строк песни, в которых говорилось:

А младший сын — тринадцать лет —
Просился на войну.
Но я сказал, что — нет, нет, нет! —
Малютку не возьму.

После революции 1905 года в деревню, правда с большим запозда- нием, проникли революционные песни.

Однажды я весь день бродил с ребятами около речки и то один, то вместе с ними распевал:

Царь испугался, издал манифест:
Мертвым — свободу, живых — под арест.

Причем слова эти мы повторяли раз по десять подряд. Затем пели «Церковь золотом залита» и что-то еще.

Когда перед вечером я вернулся домой, отец встретил меня очень сурово. Он сказал мне такие слова, которых я меньше всего мог ожидать от него. Говорил он равнодушным голосом, но я чувствовал, что равно- душе это деланное и что за ним скрывается большое недовольство моим поведением.

— А за тобой урядник приходил, — услышал я от отца.

— Как урядник? На что я ему?

— А так. В блохарку тебя хочет посадить, — продолжал отец.

Попасть в блохарку, то есть в арестное помещение при волостном правлении, мне не хотелось. Я испугался.

— А за что же меня в блохарку?

— А за то, что ты песни не дозволенные поешь.

— Не один я пою, ребята тоже пели, — оправдывался я. — А потом, никакого урядника там не было. И никто не слышал, какие мы там песни пели.

— Кому надо, тот слышал, — стоял на своем отец. — Вот наделал делов, теперь не разделаешься. И тебя посадят, и с нами неизвестно что сделают...

Мать добавила:

— Ты садись-ка лучше да поешь, а то возьмут тебя голодного — совсем плохо тогда придется...

Меня явно запугивали, хотя я не понимал этого. Я все принимал всерьез, и потому разговор с отцом меня не на шутку встревожил. Всю ночь я не мог заснуть. Ждал — вот-вот придет урядник и уведет меня в блохарку.

После я узнал, что о моих песнях рассказал отцу Сашка. Он находился где-то за речкой и оттуда видел нас и слышал наше ребячье пение. С тех пор я уже не мог петь с таким самозабвением, как раньше. Мне все казалось, что где-то поблизости спрятался Сашка, который подслушивает меня.

Но как ни велика была моя неприязнь к Сашке, я все же должен был терпеть его. Больше того, я должен был даже оказывать ему некоторые услуги.

Моя крестная часто посылала ему молоко. Нести молоко самой было неудобно: и без того про нее говорят бог знает что, а тут уж совсем «засудят» — мол, сама бегаёт к Сашке. И чтобы избежать лишних разговоров, крестная посылала молоко со мной. Она при этом делала вид, что молоко посылает не как-нибудь так, а за деньги. Сашка действительно давал мне деньги для передачи крестной, хотя все хорошо понимали, что деньги тут ни при чем, что даются они лишь для отвода глаз. После, дескать, она эти деньги возвращает Сашке обратно.

Носить Сашке молоко мне отчасти даже нравилось. Меня освобождали от некоторых домашних дел, вроде обязанности пасти в поле свиней. У Сашки было настоящее ружье, которое я мог посмотреть, а то и потрогать руками. Были у него и другие интересные вещи, вроде очень красивого ножичка с несколькими лезвиями, со штопором и даже с маленькими ножницами. Подержать такой ножичек в руках и то было большим удовольствием. И еще — Сашка жил один, и жил не где-нибудь, а прямо в лесу. Это казалось чем-то необыкновенным, таинственным и всегда привлекало меня.

Нравилась мне и сама дорога, ведущая к Сашкиной сторожке. Она шла сначала через поле, через пригорок, который назывался Козиный горб и о котором у нас рассказывали разные легенды, затем по лугу подходила к речке. Речные берега в этом месте были низкие, заболоченные. Там все лето стояла мутная, ржавая вода. Поэтому мост через речку был очень длинный: он тянулся чуть ли не на полверсты. Мост был настлан круглыми, неотесанными березовыми бревнами. Ездить по такому мосту было очень неудобно: повозка все время тряслась и прыгала, как если бы она шла по ничем не засыпанному шпалам. Но мост все же казался очень нарядным: был он весь белый, чистый, какой-то праздничный.

Построили его наши деревенские мужики, и за это Сашка ежегодно разрешал нашей деревне косить на болоте, входившем во владения Ястребова. Сено на болоте было плохое, почти бросовое: одна осока, которую неохотно ела скотина. Убирать это сено было настоящей мукой. По воде, по грязи скошенную траву приходилось вытаскивать на себе, так как подъехать на лошади было невозможно. Но мужики ежегодно косили его: лугов у нас в деревне не хватало.

Пройдя половину моста, я обычно останавливался. Мне очень нравилось это место. Река здесь не текла, а стояла. Берега ее густо заросли ольхой, ивой, лозой. Ветви деревьев и кустарников висели над самой водой и в иных местах почти совсем закрывали ее. Все было тихо, дремотно, даже таинственно. И мне хорошо было стоять здесь, глядеть на все вокруг, молчать и слушать эту таинственную тишину, и думать о чем-то неопределенном, но в то же время таком хорошем, что я невольно забывал все тяготы и невзгоды своей мальчишеской жизни.

Сашка уехал от нас уже перед самой войной — в 1914 году. К этому

времени леса свои Ястребов вырубил, свел на нет, а землю, находившуюся под лесами, продал окрестным крестьянам. Сашке у нас делать было нечего.

Последствием стало известно, что поступил он работать на какой-то лесной склад, совершенно спился, растратил хозяйские деньги и, боясь, что его посадят в тюрьму или сошлют в Сибирь, повесился...

МОЙ ОТЕЦ СТРОИТ НОВУЮ ХАТУ

1

Хата у нас была очень плохая. Потолок и стены ее почернели от дыма и копоти. Углы снаружи подгнили и стали отваливаться. Окна были маленькие, тусклые.

Почти четвертую часть ее площади занимала русская печь. Но так как зимой даже такое громоздкое сооружение не могло как следует нагреть помещение, то ставилась другая печь — маленькая, с железными трубами, подвешенными под потолком. Когда же мать ставила в хате свой ткацкий стан и начинала ткать холсты (у нас говорили — *с т а в и т ь к р о с н а* или *т к а т ь к р о с н а*), то и повернуться становилось трудно.

Отец давно уже задумал построить новую хату, но все никак не мог собраться с силами. Несмотря на то, что лесов в нашей местности было много и лес стоил относительно дешево, купить его отец все же не мог: не было денег и не было надежды, что они когда-нибудь будут.

Году в одиннадцатом, а может быть, и в двенадцатом отец надумал обойти всех лесовладельцев и попросить у каждого по несколько бревен. Много лет подряд он возил этим лесовладельцам почту, сам доставлял ее на дом, на что убил немало своего рабочего времени и сил. Так неужели же, рассуждал он, они пожалеют для него несколько бревен?

И он начал свой обход, который продолжался довольно долго. И хотя, в общем, он дал некоторые результаты, но был делом нелегким, неловким и унижительным.

Придет, бывало, отец к кому-нибудь, а ему говорят, что барина нет дома или что барин не принимает. В другом месте оказывается, что барин не в духе, и отец боится даже заикнуться о своей просьбе. Так и уходит ни с чем, откладывая разговор до более благоприятного случая. Однако в конце концов отцу пообещали дать кто два бревна, кто три, а кто и побольше.

Собрать обещанное было также нелегким делом. Приходилось возить из разных мест, часто довольно отдаленных. А лошадь одна.

Но хоть и не сразу, а весь подаренный лес был перевезен. Однако его оказалось недостаточно.

— Теперь вся надежда на Сашку, — сказал отец.

По-видимому, он давно уже предвидел этот случай, поэтому и старался всячески угождать Сашке и говорил, что, мол, Сашка — человек нужный.

«Нужный человек» разрешил срубить в ястребовской даче несколько деревьев, но при этом сказал:

— Ты же понимаешь, что лес не мой, а хозяйский. Поэтому сруби и перевези так, чтобы никто не видел. И чтобы я этого тоже не видел. А то ведь донесут хозяину, и мне тогда несдобровать.

И тут была пущена в ход вся та хитрая (или, вернее, нехитрая) механика, которой пользовались крестьяне, когда воровали лес.

Самое удобное для этого время была зима.

Утром отец, стараясь быть незамеченным, шел в лес и там в каком-нибудь отдаленном месте с величайшей осторожностью (чтобы никто не услышал ни звона пилы, ни стука топора!) спиливал дерево и обделывал его: обрубал сучья, распиливал на кряжи по своей мерке.

Затем нужно было ждать, когда пойдет снег, начнется метель.

Только в метель можно было приступить к перевозке приготовленных бревен, но и то не днем, а непременно ночью.

Ночью, когда деревня уже спала, отец запрягал коня и ехал в лес. Несколько раз в такие ночные экспедиции он брал и меня. Правда, помочь ему я ничем не мог, но со мной в ночном лесу он чувствовал себя «веселей».

— Все-таки ведь живой человек рядом,— говорил он.— А одному как-то нехорошо, жутко.

Перед поездкой на меня надевалось все, что только можно было надеть: и мой рваный пиджачишко из домотканого сукна, и материнский полушубок, и поверх еще какую-нибудь хламиду.

В таком одеянии я едва мог повернуться, но мне говорили:

— Зато тепло будет. Не замерзнешь.

Ночью в лесу было страшно. Деревья казались какими-то привидениями. Чудилось, что вот-вот кто-то неслышно подкрадется сзади и сожмет тебя лапами, из которых уже не вырваться.

Прямо по целине отец подводил лошадь к срубленному дереву, при помощи кола взваливал бревно комлем на сани, а макушкой на подсанки, увязывал веревками, и мы трогались в обратный путь. Мне приходилось идти уже пешком в тяжелой моей одежде по глубокому снегу. Только выбравшись на дорогу, отец сажал меня на бревно, и я некоторое время ехал. Но при подъемах в гору приходилось слезать.

Так продолжалось наше ночное путешествие. Было темно, безлюдно, снежно. Выл ветер, мела метель, все больше и больше засыпая наши следы.

Бревно, добытое с таким трудом, мы везли не домой, а куда-нибудь в кусты поблизости от деревни. Там его сваливали с саней, засыпали снегом и уже порожняком возвращались в деревню.

Все это делалось для того, чтобы сбить с толку лесника. Если лесник обнаружит в лесу свежий пень и пойдет искать увезенное бревно по дворам, то он не найдет ничего, так как оно спрятано в кустах. Если же, паче чаяния, он обнаружит его там, то некому будет предъявлять иск за порубку.

Летом же, когда все уляжется, забудется, бревно можно перевезти в деревню. Тут уж трудно придрататься, тем более что у отца были еще и подаренные бревна. Поди разберись, где тут какие.

Наконец отец начал рубить хату. Рубил ее он сам, так как был хорошим плотником. Но занимался он ею лишь в свободное от полевых работ время. Поэтому дело шло медленно.

2

Хату отец замыслил хорошую, пятистенную. Но строительство ее оказалось ему не по силам, а вернее, не по средствам. Даже тогда, когда она уже прочно стояла на широких, врытых в землю дубовых стульях и, как говорят, была подведена под крышу, мы долго не могли переселиться в нее, потому что там не было ни пола, ни потолка. На ближайшей лесопилке можно было с избытком купить досок и для пола и для потолка. Но опять-таки — где взять денег? И пришлось отцу самому вручную вытесывать каждую доску из расколотого на две половины бревна.

Мы перебрались в новую хату лишь весной 1913 года — через два года, а может быть, и больше, после начала постройки. Да и то придел, то есть вторая (меньшая) половина пятистенки, все еще оставался без пола и потолка и, конечно, без печки. А мне очень хотелось, чтобы в приделе все было доведено до конца. После окончания сельской школы я просто мечтал, что единолично займу этот самый придел и мне уже никто не будет мешать заниматься своими делами: писать и читать.

Но мечте моей не суждено было осуществиться: хата так и осталась недоделанной. Придел, вместо того чтобы стать моим «кабинетом», превратился в обыкновенную кладовку, где хранились разные домашние вещи, а также продукты, если они были в запасе...

3

Осенью 1918 года я уже навсегда покинул Глотовку и ту хату, которую с таким трудом построил мой отец. Жил я сначала в Ёльне, потом в Смоленске, а там — в Москве. Но я никогда не забывал отчий дом и, как только представлялась возможность, ездил в свою Глотовку хотя бы на несколько дней.

Некоторые поездки особенно запомнились мне.

Летом 1936 года я поехал туда с А. Т. Твардовским.

Был я тогда молод, не говоря уже о Твардовском, и оба мы не могли пожаловаться на судьбу: мой друг и спутник только что опубликовал свое первое большое произведение — поэму «Страна Муравия», вызвавшую всеобщий интерес; у меня также намечались кое-какие успехи в поэзии. И нам, несомненно, было приятно сознание того, что мы что-то сделали. Поэтому и поездка наша прошла беззаботно и весело.

Тогда еще была жива моя мать (она умерла два года спустя, а отец умер еще в 1933 году). Мать ухаживала за нами, как за маленькими. Кормила нас всем самым лучшим, что только могло быть в доме. И когда в столь знакомой мне хате мы садились за обед, она неизменно спрашивала:

— А может, за всдочкой сходить?.. А?..

Мы пробыли в Глотовке около недели или даже несколько больше. Правда, за это время мы успели побывать во многих окрестных деревнях и в районном центре — в селе Выходы. Но «резиденцией» нашей неизменно оставалась отцовская хата и небольшая клеть через дорогу от нее, в которой мы спали: там было прохладней, чем в избе.

Во Выходах мы присутствовали на празднике художественной самодеятельности. Это был действительно праздник, на который со всего района съехалось около пяти тысяч колхозниц и колхозников, наряженных во все лучшее, что только у них было.

Выступления происходили на открытой сцене в старинном парке, который когда-то был принадлежностью помещичьей усадьбы. Помнится, что выступал и Александр Трифонович, читавший отрывки из «Страны Муравии», и я, читавший свои, уже не помню какие, стихи.

Но особенно запомнилось выступление одного деда, который старческим, надтреснутым голосом пел один за другим жестокие романсы. Старик так разошелся, что готов был петь без конца. И когда его чуть ли не силой удалили со сцены, он пришел к нам с Твардовским жаловаться: мол, что же это такое, один раз в жизни довелось попасть на сцену, да и то прервали, не дали спеть того, чего душа хотела...

Часто мы с Александром Трифоновичем бродили по глотовским полям, где, то наклоняясь, то снова выпрямляясь, шумела под ветром высокая, уже давно выколосившаяся, но еще далеко не созревшая рожь; мы бродили и по лугам, и по чистым, словно вымытым березовым рощам

и перелескам. И так все это было чудесно, все казалось таким необычно дорогим и близким, что мы вдруг начинали петь. И пели не что-нибудь, а знаменитую «Элегию» французского композитора Массне («О, где весна прежних дней, май, полный грез...»). Пели мы, конечно, скверно. Но нам ведь нужно было не само пение как таковое, а лишь воспроизведение той знакомой элегической мелодии, от которой становится и грустно и сладко. Так, наверно, случается только в молодости, когда грусть бывает не столько тягостной, сколько приятной.

Накануне отъезда мы с А. Т. Твардовским решили устроить для себя пикник. Моя мать дала нам нужное количество яиц, сала, хлеба и большую сковороду. На этот раз мы не отказались и от поллитровки. Положив все в корзину, мы во второй половине дня отправились «в лес местного значения», как мне назвала это место молодая глотовская учительница несколько лет тому назад.

Мы расположились прямо на траве среди молодых и каких-то очень нарядных берез. Развели небольшой костерок и приготовили весьма солидную яичницу. Из двух березовых сучков сделали себе вилки, и пиршество началось. Оно продолжалось часа три или четыре — почти до самого захода солнца.

И хорошо оно было не само по себе, а теми, может быть, сбивчивыми и даже не столь уж значительными, но зато такими дружескими, такими откровенными и такими душевными разговорами, которые бывают не так уж часто.

И хорошо еще оно было тем, что находились мы в таком месте, где все дышало какой-то особо милой красотой и свежестью, где все вокруг светилось и радовало взгляд.

4

В последний раз я видел свою уже изрядно постаревшую и почерневшую внутри и снаружи хату в день, памятный всему народу, — 22 июня 1941 года.

Накануне этого дня я и Н. И. Рыленков приехали во Вскходы, чтобы провести несколько дней в моих родных местах. А назавтра на райкомовской машине мы поехали в Глотовку.

Матери уже не было в живых, и в хате жил мой старший брат Нил со своей женой Александрой.

Мы пробыли в Глотовке часа три-четыре, пообедали там, поговорили, о чем пришлось, и отправились обратно во Вскходы.

Где-то на полпути нас остановил школьный учитель и сообщил, что Германия напала на Советский Союз, что началась война. Обо всем этом учитель слышал по радио (у него был самодельный приемник), но что о войне еще никто не знает, не знают, может быть, даже во Вскходах.

Мы заторопились. И когда приехали во Вскходы, то выяснилось, что там действительно никто не знает о начавшейся войне: с утра шло очередное заседание районного актива, и, чтобы радио не мешало этому активу, начальство распорядилось выключить динамики, установленные на площади, а радиотехник заодно выключил и всю трансляционную сеть.

Впрочем, почти сразу же после нашего приезда одно за другим по телеграфу стали поступать из области распоряжения и приказы о всеобщей мобилизации и о многих других мероприятиях, которые нужно было срочно провести в связи с начавшейся войной.

Мы с Николаем Ивановичем начали собираться в обратный путь: моему спутнику надо было немедленно явиться в Смоленский военкомат, а я спешил в Москву.

И перед самым вечером райкомовский шофер повез нас на станцию Спас-Деменск.

Ночь мы провели в спас-деменском Доме крестьянина, а утром — только что взошло солнце — отправились на вокзал.

Мы еще по-настоящему ничего не знали о войне, но думы наши и разговоры были только о ней. Мы строили самые различные предположения и догадки; говорили о широко распространенной тогда доктрине, что мы будем громить врага на его же территории, и притом разгромим его, как пелось в одной из предвоенных песен, «малой кровью, могучим ударом».

Мы верили этой доктрине, и все же на душе было сумрачно, тревожно.

Но даже в этой обстановке нас рассмешил один нелепый, а по существу прискорбный случай, происшедший на станции Спас-Деменск.

В ожидании поезда, который запаздывал, я и Рыленков сели на одну из скамеек, стоявших прямо на платформе. Внезапно к нам подошел откуда-то взявшийся человек в военной форме. Он поманил указательным пальцем правой руки Николая Ивановича и тихо, но сурово сказал:

— Следуйте за мной!

Полагая, что это относится к нам обоим, я тоже поднялся со скамейки.

— Нет, вы оставайтесь,— сказал мне человек в военной форме и вместе с моим спутником направился в здание вокзала.

Я не понимал, в чем дело, и стал терпеливо ждать, решив про себя, что если Рыленков не появится минут через двадцать, то я пойду искать и выручать его. Но он вернулся, пожалуй, еще раньше и со смехом стал рассказывать, что его приняли за немецкого шпиона, которого сбросили с самолета где-то поблизости от Спас-Деменска. И все это потому, что на голове у Николая Ивановича была шляпа, а в Спас-Деменском районе шляп никто не носил. Все это, конечно, было смешно, но, пожалуй, больше прискорбно, чем смешно.

Наконец мы сели в поезд. Но ехали очень уж долго: поезд сверх всякой нормы держали на каждой станции, на каждом полустанке. так как нужно было пропустить военные эшелоны. И на каждой станции, на каждом полустанке мы видели толпы людей, мы слышали такие рыдания и молодых и старых женщин, такие крики отчаяния, что становилось не по себе. Это провожали на войну вчерашних колхозников, которые сегодня уже стали солдатами.

В Смоленск мы приехали только к вечеру, опоздав часов на пять или даже на семь. Николай Иванович, распрощавшись со мной, заспешил в город, чтобы, заскочив на минутку домой, сразу же идти в военный комиссариат. А я всю ночь пытался сесть на какой-либо поезд, следующий на Москву.

На площади у вокзала прямо на земле среди баулов, мешков и прочего скарба уже расположились беженцы из западных областей Белоруссии. Весь смоленский вокзал был битком набит народом. Все спешили куда-то уехать, но это не удавалось: поезда были переполнены и проводники не брали ни одного нового пассажира; они даже не открывали дверей.

В городе — ни одного огонька. И это было как-то особенно неприятно. Все упорно утверждали, что немецкие разведывательные самолеты уже не раз летали над Смоленском...

При таких обстоятельствах вера в то, что мы разгромим врага малой кровью и на его же территории, поневоле падала. Война шла еще только два дня, а в Смоленске уже появились беженцы, а над Смоленском — фашистские самолеты...

Уехать в Москву мне удалось только утром, да и то лишь потому, что железнодорожное начальство распорядилось прицепить к одному из поездов три вагона.

До самой Москвы я ехал стоя.

Так я навсегда простился со своей деревней Глотовкой, с той, которую я знал до войны, так я простился с отчим домом.

6

Летом 1944 года вместе с ныне покойным секретарем Смоленского обкома КПСС Дмитрием Михайловичем Поповым я все же вновь попал в свою Глотовку — вернее, не в Глотовку, а лишь на то место, где она когда-то стояла. Немцы дотла сожгли ее. Не нашел я и своей хаты. На том месте, где она находилась, где находился и наш двор, разросся чудовищной силы бурьян, и в этом бурьяне валялась заржавленная разбитая немецкая автомашина... В родной деревне я вдруг оказался как бы совсем чужим, посторонним, нездешним...

И именно там и тогда зародилось стихотворение:

Опять печалится над лугом
Печаль пастушьего рожка...

В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ И ПОСЛЕ НЕЕ

1

В новом учебном году к нам приехала вторая учительница — совсем еще молодая, только что окончившая гимназию в городе Ельне,— Александра Васильевна Тарбаева.

Для школы было нанято еще одно помещение — крестьянская изба — все в том же селе Оселье.

Александра Васильевна вела первый класс, а Екатерина Сергеевна занималась со своими прежними учениками, то есть вела второй и третий классы.

В нашем третьем классе вместе со мной было, кажется, человек девять или десять: кроме уже знакомых мне, поступили два новичка, два эстонских мальчика, которые почти совершенно не знали русского языка. Это были дети переселенцев из Эстонии (тогда это была Эстляндская губерния, входившая в состав Российской империи), недавно переехавших в нашу местность, купивших небольшой участок земли и наскоро построившихся. Всего переселилось пять семей. До этого они у себя на родине по многу лет батрачили у кулаков, скопили немного денег и решили завести собственные хозяйства.

В нашей местности было много переселенцев из Прибалтики. Независимо от национальной принадлежности всех их у нас почему-то называли латышами. Эти латыши довольно охотно переселялись в наши края, по-видимому, потому, что земля у нас стоила относительно дешево. Земля, правда, неважная или даже совсем плохая, но приезжие умели хорошо вести хозяйство — гораздо лучше, чем наши мужики, — и урожай почти всегда получали тоже хорошие, отчего и жили лучше, чем коренное население. Селились они обыкновенно на хуторах, отдельно друг от друга. Но те пять эстонских семей, о которых я сказал выше, поселились вместе, создав таким образом небольшой поселок из пяти хат, покрытых соломой.

Поселок этот стоял в березовой роще на свежерасчищенной поляне, далеко от основных дорог. Выбраться оттуда, в особенности зимой,

было просто трудно. Поэтому своих ребят-школьников эстонцы каждый день вынуждены были привозить в школу на лошадях.

Впрочем, скоро выяснилось, что этих эстонцев обманули, продав им самую бросовую землю, а может, сами они выбрали такую, погнавшись за дешевизной.

Как бы там ни было, но переселенцы в два-три года совершенно разорились и, бросив свой жалкий поселок на произвол судьбы, уехали неизвестно куда. Уехали, конечно, и те два мальчика, которые учились вместе со мной в третьем классе. В четвертом классе их уже не было.

2

Учились мы, то есть ученики сначала третьего, а затем и четвертого классов, примерно одинаково. Конечно, у одних отметки могли быть немножко похуже, у других получше, но большой разницы все же не было. Все мы, в сущности говоря, были переростками. Я был, кажется, самым младшим из всех своих одноклассников, но ведь и мне с января 1912 года пошел уже тринадцатый год! В таком возрасте относительно легко усваивались те немудрые науки, которые нам преподавали.

Исключение составлял, пожалуй, один Ваня Лыженков — сын богатого мужика, бывшего волостного старшины, живший в Оселье. Парень он был хороший, во всяком случае не хуже любого из нас, но некоторые вещи до него абсолютно не доходили, и он не воспринимал их, словно бы они были чем-то отгорожены от его умственного кругозора.

У него были плохие отметки по всем предметам. Но особенно плохо давалась ему грамматика русского языка. Он, например, никак не мог отличить имя существительное от прилагательного, наречие от глагола, предлог от союза, не мог, несмотря на героические усилия учительницы, которая делала все, что только могла, лишь бы ее ученик Лыженков усвоил хоть что-нибудь.

Когда во время урока у него спрашивали: скажи, мол, какая это часть речи, — он неизменно в любом случае отвечал:

— Глагол.

Других определений он как будто и не знал: все части речи сплошь были для него глаголами.

За это в школе его прозвали Ваней Глаголом и часто дразнили такими стишками:

Глагол есть такая часть речи —
Упал Ваня Лыженков с печи,
Ударился об пол
И вышел — глагол.

В школе Иван Лыженков учился до выпускных экзаменов, но на экзамены не пошел: знал, что провалится, — зачем же идти?

3

Неважно обстояли у нас дела с арифметикой — особенно в последнем, четвертом классе: задачи то и дело не получались, не получались и те, что решались всем классом в школе, и те, что задавались на дом. Из-за этого нам часто приходилось краснеть перед Екатериной Сергеевной. Все мы искренне любили ее, и нам было по-настоящему стыдно, если мы не смогли сделать то, что она предложила нам.

Решать задачи — даже самые трудные, какие только были в задачнике, — научил меня мой отец. Я думаю, что он и сам не понимал, почему

и как все это произошло: ведь был он человеком малограмотным, никогда в жизни не изучал арифметики и ни разу не решал таких задач.

Скорее всего у него была правильная, хорошо развитая практическая сметка. А может быть, он просто благодаря житейской опытности и природной сообразительности быстро схватывал, на чем построена та или иная задача, в чем ее основной секрет.

И вот сижу я, бывало, вечером дома, и очень мне досадно, что задача попалась такая трудная и никак она у меня не выходит.

Он подсядет ко мне и скажет:

— А ну-ка, прочитай мне задачу.

Я прочитываю — иногда один раз, иногда дважды. Отец подумает-подумает, и тут начинается «волшебство». Рассуждая совершенно логически, отец очень понятно, очень наглядно объясняет, почему у первого купца прибыли больше, чем у второго, откуда могла взяться эта прибыль, почему одни числа надо перемножить, а другие сложить вместе и т. п.

Он до всего доходил своим практическим умом и учил меня, как умел, логике суждений, он внушал мне свое, я бы сказал, жизненное, живое представление о той или иной задаче. И он всегда, за очень редкими исключениями, приводил меня к правильному решению.

Вскоре я так наловчился, что и сам без всякой помощи отца мог решать трудные задачи. Я никогда не приходил в школу с нерешенной задачей. Одним словом, по арифметике я стал первым учеником.

Я рассказываю об этом потому, что уже почти накануне выпускных экзаменов, то есть ранней весной 1913 года, произошел один и горестный, и в то же время забавный случай, тесно связанный с моими познаниями в арифметике.

4

Уже с середины зимы (1912/13 года) мы перешли в новое здание школы, которое успела построить к тому времени Ельнинская земская управа и которое стояло прямо в поле между деревнями Глотовкой и Осельем. Школе был отведен большой участок земли, огороженный штакетником. На этом участке — лишь только сошел снег — ребята-четыреклассники во время больших перемен играли в лапту.

В игре участвовал и я, хотя должен сказать, что принимали меня в игру неохотно: все знали, что вижу я плохо, а между тем тому, кто в игре водит, нужно всегда отлично видеть, куда летит мячик, где он упадет и т. п. Самодельный же мячик по своим размерам был обычно небольшим и притом темного цвета. Уследить за его полетом, в особенности мне, было крайне трудно.

И вот однажды из-за меня партия, в которой играл я, вдребезги проигралась. Надо мной стали смеяться, даже издеваться, и не только игроки, но и зрители, то есть вся школа.

Кончилось все тем, что я расплакался и со слезами на глазах в полном одиночестве побрел домой. Я шел и думал, чем бы отомстить своим обидчикам, чтобы они навсегда запомнили.

И вдруг мне пришло в голову: да ведь они не умеют решать задачи, а мне давай хоть какую!..

И я дал себе слово, что с сегодняшнего же дня начну сочинять задачник. Я придумую такие трудные задачи, что мои обидчики не то что решить, но и подступиться к ним не смогут. Вот тогда-то они и поймут, как надо мной смеяться!

Месть я придумал страшную, но сгоряча как-то совсем не подумал о том, что ведь для того, чтобы мой «трудный» задачник попал в школу,

его надо напечатать; кроме того, мои обидчики через несколько недель уже кончают школу и вряд ли им понадобятся потом какие бы то ни было задачки.

Придя домой, я немедленно принялся за работу.

— Один купец купил столько-то ц и б и к о в чаю, а другой... — выводил я, хотя не имел никакого понятия, что такое «цибик».

День за днем я сочинял задачи, тщательно скрывая от товарищей то, что делаю. Я сочинял задачи о поездах, идущих с разными скоростями друг другу навстречу, о бассейнах, в которые по одной трубе вливается вода, а по другой выливается из них. Писал я и об аршинах сукна, сначала покупаемого, а затем с прибылью продаваемого неизвестными мне купцами...

Как это было сделано в каждом порядочном задачнике, я свои задачи нумеровал и под номерами записывал в особую тетрадь.

Всего я сочинил задач двадцать или тридцать. Но по простоватости нескольких дней обиды, нанесенные мне, стали забываться. К тому же наступила уже самая настоящая весна. Было тепло. В школу мы ходили в одних рубашках и босиком. Все как будто стало другим.

И я решил уничтожить свой научный труд, так и не показав его никому.

5

Сельская четырехклассная земская школа, как известно, давала своим питомцам лишь самые первоначальные знания. Но для меня — да и не только для меня — это значило очень многое. Мы росли в темной, нищей и безграмотной деревне и до школы почти ничего не знали даже о том мире, в котором жили. И все, что мы постепенно узнавали в школе, было для нас настоящим открытием.

Я, например, помню, как поразил меня рассказ учительницы о том, что земля наша — круглая и почему если смотреть на удаляющийся корабль, то скрывается сначала его нижняя часть, потом — постепенно — средняя, а затем и мачты. Я понял, почему нельзя дойти до линии горизонта, то есть до той линии, где небо как бы сходится с землей, как бы опирается на нее. Конечно, до школы я не знал и слова «горизонт».

В школе я узнал (хотя бы и очень краткую, хотя бы и в весьма одностороннем изложении) историю своего государства. Я узнал также, что на земле — великое множество народов, что даже в нашей России живут не одни только русские.

Все это, как и многое другое, чему меня научила школа, перевернуло все мои представления о жизни.

В сельской школе я впервые соприкоснулся и с произведениями литературы, узнал — пусть не так уж много — о писателях-классиках.

6

Из всех учебников, которыми мы пользовались в школе, мне больше всего нравилась хрестоматия, составленная Э. Вахтеровым. Эта довольно внушительная, толстая книга выдавалась нам на два года, то есть мы начинали проходить ее в третьем классе и заканчивали в четвертом, выпускном.

Даже сейчас я зрительно представляю себе многие страницы ее, особенно те, на которых были напечатаны портреты писателей. Обычно они — по два в одном ряду — занимали середину страницы. Рядом с Пушкиным — Лермонтов, и под ними подпись: «А. С. Пушкин и М. Ю. Лермонтов — певцы Кавказа».

Особую страницу занимали Т. Г. Шевченко и Н. В. Гоголь. О них в подписи говорилось, что это «певцы Малороссии». Помню и еще одну страницу, на которой были представлены А. В. Кольцов и И. С. Никитин — «певцы степи».

Что касается Н. А. Некрасова, то пары для него, очевидно, не нашлось, и портрет его на странице оказался в единственном числе с подписью: «Н. А. Некрасов — певец горя народного».

В хрестоматию составители ее включили и произведения классиков (полностью или в отрывках, хотя мы тогда и не понимали, что имеем дело с отрывками).

Хрестоматия Э. Вахтерова приобщила меня к литературе и заставила полюбить ее.

В хрестоматии я впервые прочел стихи Т. Г. Шевченко (в переводе на русский язык) «Вишневы садик возле хаты», а также отрывок из «Катерины», начиная со слов «Шел кобзарь в далекий Киев» (и до конца поэмы). Причем напечатано было не «в далекий Киев», а в «престольный». Много лет спустя мне довелось самому переводить с украинского целиком всю эту поэму Шевченко и многие его стихотворения.

В той же хрестоматии я встретил стихи Пушкина «Кавказ подо мною...», Лермонтова «Спор» («Как-то раз перед толпою»), некрасовских «Крестьянских детей», а также «Плакала Саша, как лес вырубали» (отрывок из поэмы «Саша»).

Уже в третьем классе я знал все, о чем рассказывалось в хрестоматии, а стихи почти все выучил наизусть. Я даже сделал однажды своеобразное «открытие». В хрестоматии было напечатано стихотворение А. К. Толстого «Василий Шибанов» («Князь Курбский от царского гнева бежал»). И никому из нас даже в голову не приходило, что это стихи, потому что из-за экономии места текст был набран в строку, как проза. Когда я стал читать «Василия Шибанова» вслух, то сразу почувствовал, что это не проза. И я очень легко запомнил все стихотворение, хотя было оно довольно длинным. Никогда и никто в нашей школе не выучивал столь длинных стихов наизусть.

Кстати сказать, «Василий Шибанов» понравился мне не только потому, что это стихи, но и потому, что в них, как в прозе, содержался очень выразительный рассказ, как бы взятый из эпохи Ивана Грозного.

Хрестоматия Э. Вахтерова, несмотря на некоторые странности, объясняемые условиями того времени, когда она появилась на свет, составлена была очень толково. В ней я мог прочесть не только стихи Шевченко, но по специальному да еще иллюстрированному очерку, напечатанному тут же, мог хотя бы в общих чертах представить себе, что же это за «Малороссия» такая, кто там живет, чем занимается и т. п.

Был в хрестоматии очерк и о Кавказе. Мне он особенно запомнился по рисунку, вставленному в текст. На рисунке — горы со снежными вершинами, и на одной из самых высоких вершин, на самом краю обрыва угадывается крошечная человеческая фигурка — величиной с ржаное зерно. Очень долго я совершенно серьезно считал, что это стоит не кто иной, как А. С. Пушкин. Ведь это же он, думал я, написал стихи «Кавказ подо мною. Один в вышине...».

По хрестоматии Э. Вахтерова я впервые познакомился не только с произведениями литературы, не только с некоторыми историческими событиями, не только с Украиной, Кавказом и другими краями и областями, входившими тогда в состав Российской империи. В ней были рассказы о жизни птиц и зверей, о реках, о лесах и т. п.

Все из той же хрестоматии я узнал, как была изобретена паровая машина, как был изобретен громоотвод и многое другое. Но самое большое впечатление произвел на меня рассказ о М. В. Ломоносове.

Судьба Ломоносова, вышедшего из «мужиков» и ставшего великим ученым и поэтом, очень меня волновала. Она даже как бы подсказывала мне, что и я могу сделать нечто подобное тому, что сделал Ломоносов, ушедший с обозом рыбы из родного села Холмогоры в Москву «за наукой». Я придавал значение даже тому, что имя и отчество у меня точно такие же, как у Ломоносова: Михаил Васильевич. Это было и лестно, и как бы обнадеживало меня. К этому надо прибавить, что я уже писал стихи, и мне казалось, что это совпадение предвещает мне что-то хорошее, хотя что именно, я определить не мог.

А тут вторая учительница нашей школы, А. В. Тарбаева, как-то посмотрела на меня и сказала, что я по внешности чем-то напоминаю Ф. М. Достоевского. Это тоже подлило масла в огонь, хотя ни одного произведения Достоевского я еще не читал, знал писателя только по имени и вряд ли походил на него с лица.

7

Я навсегда останусь благодарен своей Глотовской школе не только за те знания, которые она мне дала, но и за то, что, в сущности, она свела меня с теми людьми, которые сделали для меня так много, что это в конечном счете определило всю мою дальнейшую судьбу. Я имею здесь в виду не только свою учительницу Екатерину Сергеевну Горанскую, но и Михаила Ивановича Погодина, и Василия Васильевича Свищунова, и еще кое-кого. О них я более подробно и расскажу в дальнейшем.

А сейчас — о том дне, когда я и мои товарищи держали выпускные экзамены.

День экзаменов начался для меня довольно грустно, но потом он принес мне радость — радость, может быть, самую большую за все мои мальчишеские годы.

Было это весной 1913 года. Экзамены тогда устраивались не в каждой школе в отдельности, а обычно какую-либо школу делали «центром», куда в назначенный день собирались выпускники четырех-пяти школ, расположенных в относительной близости от «центра». Создавалась экзаменационная комиссия, в состав которой входили не только педагоги, но обязательно и священник. Возглавлял комиссию обычно какой-либо начальник.

Мне и моим товарищам пришлось держать экзамены в селе Гнездилове, до которого было верст двенадцать.

В Гнездилове находилась усадьба члена Ельнинской земской управы Михаила Ивановича Погодина, то есть стоял его дом и некоторые надворные постройки. Позади дома раскинулся большой и чрезвычайно живописный парк, одной своей стороной спускавшийся прямо к реке. Кроме усадебной, земли у Погодина не было.

И поныне здравствующий, хотя и довольно пожилой человек (ему уже около восьмидесяти пяти лет), Михаил Иванович Погодин — внук известного историка и писателя М. П. Погодина, — в те годы работая в земской управе, вел все дела, связанные с народным образованием. И в Ельнинском уезде, и за его пределами Погодин пользовался большой популярностью как среди учителей, так и среди крестьян. И надо сказать, что эту популярность Михаил Иванович вполне заслужил: был он человеком образованным, деятельным, справедливым, отзывчивым.

Наши две учительницы и мы, выпускники, чрезвычайно обрадовались, узнав, что экзамены назначены именно в Гнездиловской школе. Мы думали, что это не случайно, что в день экзаменов М. И. Погодин непременно придет из Ельни и возглавит экзаменационную комиссию.

А лучшего, чем Погодин, председателя комиссии никто из учителей не мог и представить себе.

Рано утром — только что взошло солнце — мы отправились в Гнездилово. Мы — это две учительницы Глотовской школы и семеро выпускников: нас осталось только семеро; остальные, как говорят теперь, отсеялись...

Мои товарищи нарядились по-праздничному: на них были сатиновые рубашки, новые штаны, до блеска начищенные сапоги. И только я среди них выглядел каким-то отверженным, случайно попавшим в эту нарядную компанию. Все, что у меня было относительно нарядного, так это единственная основательно поношенная, красная с желтым горошком ситцевая рубашка. Ее я и надел. Обуться, кроме как в лапти, было не во что. Но лапти я сразу же отверг и решил, что пойду лучше босиком. Штаны у меня были тоже незавидные: не городские, не покупные, как у остальных, а сшитые из домотканой холстины и выкрашенные синей краской. На голову я надел старый, выдавший виды картузик.

— Как дурачок ты среди них, — горестно сказала моя мать.

Она дала мне в дорогу кусок хлеба, и я отправился.

Погода стояла теплая, солнечная. Всю дорогу ребята шли весело, шутили, смеялись, дурачились. Невесело было, пожалуй, только мне.

Когда же мы подошли к Гнездиловской школе и я увидел там довольно большое скопление учеников, пришедших из других школ, учеников, разряженных, как и наши, настроение мое окончательно упало. Я не знал, куда мне деваться, потому что на меня смотрели десятки глаз: кто с сожалением, но больше, конечно, с насмешкой.

И я был рад-радешенек, когда наконец всех нас пригласили в здание школы, рассадили по партам и дали какую-то письменную работу: за партой не так было заметно, что одет я очень уж бедно. Да и босые ноги мои не бросались в глаза.

Придя в Гнездилово, я узнал, что М. И. Погодин, которого так ждали наши учительницы, на экзамены не приехал и экзаменационную комиссию возглавляет земский начальник М. П. Яновский. О нем я слышал, что человек это строгий, суровый, неприступный, недобрый. И я, конечно же, решил, что на экзаменах провалюсь.

Смущал меня и какой-то незнакомый и очень уж важный поп, тоже входивший в экзаменационную комиссию, и то, что среди трех педагогов — членов комиссии не было ни одного из нашей школы — все незнакомые, чужие.

Однако все кончилось не так, как мне представлялось. Кто-то из наших учителей — возможно, это была Е. С. Горанская — надоумил экзаменационную комиссию, чтобы та предложила мне прочесть свои стихи.

И когда меня вызвали к экзаменаторскому столу, то вместо того, чтобы проверить мои знания по русскому языку, один из экзаменуемых сказал:

— Говорят, что ты стихи пишешь. Прочти нам что-нибудь.

Это меня и удивило своей неожиданностью, и смутило. Очень несмело, неуверенно я начал читать стихотворение, которое у меня называлось «М. В. Ломоносов»:

Жил у нас в былые годы
Ломоносов Михаил,
Я читал его походы,—
Как учиться он ходил.

Тайно вышел он из дѣбу,
И никто о том не знал,

Как в Москву с обозом рыбы
За наукой он бежал.

Я читал и чувствовал, что слушают меня внимательно, что стоит мертвая тишина. Это меня ободрило, и чтение я закончил уже более смело и уверенно.

Меня попросили прочесть еще что-нибудь. И я прочел стихотворение «Святой». Сейчас я помню лишь его начало:

В бедном уголочке
На краю села
Со внуком Ванюшей
Бабушка жила.

Избушку плохую
Имели они —
Замерзнут, бывало,
В морозные дни.

Дровец у них нету,—
На чем привезешь?
На себе из леса
Много ль принесешь?..

Никаких вопросов по русскому языку мне члены комиссии не задали. После чтения стихов просто поставили отметку— пять с плюсом.

Я получил пятерку даже по закону божию, хотя этот предмет не любил и знал его лишь приблизительно. Но тут на экзаменатора-священника больше, по-видимому, подействовало стихотворение «Святой», чем мои знания по так называемой священной истории.

По всем другим предметам я также получил пятерки.

8

Отношение ко мне окружающих сразу же переменялось. И учителя и ученики заинтересовались мной, стали ко мне необыкновенно внимательны. Во время перерыва на обед меня ни на минуту не оставляли одного, говорили со мной, расспрашивали меня, давали советы, что, мол, надо учиться дальше... Даже съесть тот кусок хлеба, что мне дала моя мать, я не мог: весь перерыв прошел в разговорах, все время меня окружали люди. В дополнение к моему хлебу какой-то доброхот сунул мне в руку порцию сала. Но и оно осталось несъеденным.

Домой мы вернулись уже в потемках. И хотя устал я неимоверно, мне все же не спалось: все время вспоминалось то, что произошло со мной на экзаменах, и я чувствовал себя победителем.

А через несколько дней произошло событие, которое еще больше подняло меня в глазах окружающих.

Дворы в нашей деревне стояли по обеим сторонам дороги, идущей совершенно прямо. Но потом дорога круто поворачивала влево. И та небольшая часть деревни, которая была уже за поворотом, называлась Роговкой (вероятно, от слова *рог*). Я жил на Роговке. А противоположный конец деревни назывался *тем концом*. Так все и говорили: я пойду на *тот конец*. Если же люди шли в нашу сторону, то говорили: я иду на *Роговку*.

И вот однажды был я зачем-то на том конце. Может быть, ходил в школу и затем возвращался домой. Меня догнал мой недавний экзаменатор — земский начальник М. П. Яновский, восседавший в своей, как мне казалось, роскошной коляске, запряженной парой лошадей. Он приезжал по каким-то делам в волость и теперь ехал обратно.

Поравнявшись со мной, Яновский приказал кучеру остановиться и позвал меня. Я робко приблизился к его экипажу. Земский начальник посадил меня рядом с собой на мягкое заднее сиденье и промчал по всей деревне до самой моей Роговки. Это было нечто совершенно неслыханное, невероятное: мне, деревенскому мальчишке, мужицкому сыну, была оказана такая честь! Буквально вся деревня завидовала мне. А я, наверное, весь сиял тогда от радости и гордости.

И только что я сошел на землю, как меня внезапно взяла за руку совсем еще молоденькая учительница из соседней школы Александра Карповна. Она сказала мне что-то очень ласковое и вдруг поцеловала меня. Это уже было так неожиданно, так душевно и так тронуло меня, что я чуть не заплакал.

9

Мой школьный товарищ Петя Шевченков (он был старше меня на три года) после экзаменов поступил рассыльным в волостное правление. Свою рассыльническую службу он начал еще до открытия у нас школы. Но став школьником, Шевченков не мог одновременно быть и рассыльным. Поэтому на зиму он увольнялся из волостного правления, а с весны, когда наступали каникулы, его опять брали на работу.

Вскоре после того удивительного по тогдашним временам случая, когда земский начальник прокатил меня по всей деревне, Петя сказал мне:

— Завтра меня посылают с пакетом к земскому начальнику. Пойдем со мной!..

Земский начальник жил в своем имении в селе Арнишицы — центре Арнишицкой волости Ельнинского уезда.

Считалось, что до Арнишиц верст пятнадцать или двадцать. А некоторые насчитывали и того больше: версты ведь были немереные. Одним словом, путь неблизкий и идти туда мне было совсем незачем. И я стал отговариваться.

Но Шевченкову хотелось, чтобы я пошел, хотелось главным образом потому, что вдвоем идти веселей, интересней. И он всячески начал уговаривать, соблазнять меня.

Польстился я на то, что, по словам моего друга, у земского начальника есть библиотека и что его молодая дочь (Шевченков знал даже, что зовут ее Мария) может дать мне из этой библиотеки любую книгу, какую бы я ни попросил.

Ранним утром следующего дня Шевченков зашел за мной, и мы отправились в Арнишицы.

В дороге за старшего был, понятно, Шевченков как человек бывалый, знающий все на свете. Он и дорогу знал хорошо, знал, как следует поступить в том или ином случае, к кому обратиться и тому подобное.

И едва мы успели прийти в усадьбу М. П. Яновского, как мой приятель уже сдал пакет письмоводителю и отправился на кухню, где, по его словам, нас должны были накормить.

В этой кухне, представлявшей собой нечто вроде деревенской избы и стоявшей на почтительном расстоянии от барского дома, обычно обедала дворня.

Очень скоро Шевченков позвал меня обедать. Но он, оказывается, уладил дело не только с обедом, а успел рассказать какой-то горничной и о том, что пришел «тот самый мальчик, который сам пишет стихи».

И только-только мы успели пообедать, как за нами пришла девушка в белом переднике и сказала, что господа приказали ей привести нас в барский дом. И мы пошли за ней.

По пути горничная сообщила нам, что «сам» куда-то уехал, но барыня и барышня дома и, кроме того, у них гости.

Я первый раз в жизни видел барские хоромы, первый раз в жизни был в богатом помещичьем доме и сразу же растерялся: босый, с запыленными ногами, я стоял у двери на блестящем паркете, мял в руках свой картузик и не знал, что делать.

Меня попросили подойти поближе и прочесть свои стихи. Я подошел и начал читать. Но уж очень необычные были у меня слушатели: нарядные дамы, каких я мог видеть только на картинках, и молодые красивые мужчины с черными нафабранными усами, закрученные острые концы которых торчали вверх.

Одни из моих необычных слушателей расположились в креслах, другие слушали, стоя за креслами. Как я читал и что читал, не помню. Но слушали меня благосклонно. Потом кто-то похвалил меня, а один из мужчин дал мне три серебряных рубля. Я и испугался и обрадовался: ни от кого мне не приходилось получать таких денег. Да и за что мне их дали? Прямо так, ни за что, даром. Но как-никак это был мой первый гонорар за стихи. Впрочем, слово гонорар пришло гораздо позже. А тогда я не знал, что это такое.

После чтения стихов дочь земского начальника Мария Михайловна повела меня и моего друга в библиотеку. Библиотека помещалась в небольшой комнате, расположенной на втором этаже. Книг было, как я представляю сейчас, не так уж много, но тогда мне показалось, что их не только перечитать, но и пересчитать нельзя: они занимали полки двух или трех шкафов, лежали на окнах, на столе, даже на полу. Такое количество книг, собранных в одном месте, я увидел впервые.

Библиотека не принадлежала лично владельцу усадьбы. Это была земская библиотека, пользоваться которой имели право все жители данной местности. Но вряд ли кто-либо из крестьян или даже учителей пользовался ею: никто не решился бы пойти в дом к земскому начальнику, чтобы взять книгу.

Мария Михайловна, обходившаяся с нами очень ласково, спросила у меня, что я хочу взять.

Я ответил, что хотел бы взять стихи Некрасова.

Она открыла шкаф, достала и передала мне увесистый том:

— Вот Некрасов...

В то время у меня была своего рода мечта. Я писал стихи, но мне казалось, что пишу я как-то не так, что для того, чтобы писать по-настоящему, надо знать, как это делали другие поэты; надо знать и то, как они жили, ибо я думал, что жили они как-то особенно, необыкновенно и что без познания этой необыкновенности нельзя научиться писать хорошие стихи. Я придавал тогда значение даже почерку того или иного поэта. Увидев образцы очень неразборчивого почерка Некрасова, я решил, что и мне надо писать неразборчиво, писать так, чтобы трудно было прочесть. Словом, я думал, что для писания стихов есть какой-то секрет и что этот секрет откроется лишь тогда, когда дознаешься, как жили, как писали, как вели себя другие поэты.

Вот почему я попросил Марию Михайловну дать мне в дополнение к стихам Некрасова еще одну книгу — книгу, в которой бы рассказывалось о писателях.

Такая книга в библиотеке нашлась. Я не помню ее названия, но помню, что в ней были собраны биографии писателей-классиков.

Ну, вот теперь я уж все пойму, все буду знать, подумал я, получив в руки книгу. Однако очень скоро я разочаровался в ней. Там, по моим соображениям, говорилось не о том, о чем нужно. Ну, рассказывалось,

кто и где родился, где учился, что написал и т. п. А о главном-то — как писать стихи — ни в одной биографии не сказано...

После путешествия в Арнишицы, после того, как я выложил на стол целых три рубля, мои домашние по-другому стали относиться к моим стихам. Правда, они и раньше не препятствовали мне писать. Ну а тут уж как бы и поощрять начали.

— Что ж, пусть пишет. Может, до чего и допишется,— говорили они доброжелательно.

10

Вскоре после похода в Арнишицы мне вдруг представилась возможность отправиться в более длительное и более интересное путешествие: вторая учительница нашей школы, Александра Васильевна Тарбаева, пригласила меня приехать на несколько дней к ней в гости в город Ельню, где жила ее семья.

Это была моя первая поездка на поезде и первая поездка в город.

Правда, удивить меня видом поезда было уже нельзя: при поездке с отцом за почтой на станцию Павлиново я не раз видел и приближающиеся к станции поезда, и удаляющиеся от нее. И уже совсем вблизи мне довелось рассматривать товарные вагоны, стоящие на запасных путях. В то время мне не давал покоя один технический вопрос: я видел, что рельсы сверху совершенно ровные и гладкие; шины (бандажи) вагонных колес, которые катятся по рельсам, сверху тоже совершенно гладкие. И я никак не мог представить себе, почему же поезд не сходит с рельсов даже на крутых поворотах, что заставляет его идти именно по рельсам.

И когда мне представилась возможность, я даже залез под товарный вагон и только тут рассмотрел секрет устройства вагонных колес, только тут понял, почему они не могут сойти с рельсов при движении. И я подивился тому, как хорошо, просто и целесообразно все это устроено.

Я мог часами рассматривать подобные штуки, так как любил всякую технику, хотя и жил в деревне, где никакой техники не было, где обыкновенный велосипед, на котором случайно мог проезжать по деревне незнакомый человек, казался таким чудом, равного которому нет на всем свете.

И вот теперь мне предстояло впервые поехать на поезде, поехать одному, самостоятельно, как ездят только совсем уже взрослые люди.

Как раз незадолго до того времени по нашей дороге (линия Смоленск — Козлов, ныне Мичуринск) начал курсировать так называемый добавочный поезд с вагонами четвертого класса, проезд в которых стоил до Ельни всего двадцать девять копеек. Именно такую сумму мне и дали на дорогу — ни больше, ни меньше.

На станцию Павлиново я пришел часа за три или четыре до отхода поезда: в деревне почти все делали так, боясь — а вдруг поезд уйдет раньше, чем положено по расписанию? Так что и сидеть на станции, и бродить вокруг нее мне пришлось довольно долго.

Наконец станционный колокол возвестил, что поезд вышел с предыдущей станции, и открылось окошечко билетной кассы. Просунув кассиру свои медяки, я сказал, как меня научили дома:

— Мне билет четвертого класса до Ельни.

Кассир достал откуда-то сбоку небольшой четырехугольник картона, поднес его к компостеру, которого раньше я еще ни разу не видел, потом что-то щелкнуло, и кассир подал мне мой первый в жизни железнодорожный билет. Вся эта процедура была для меня настолько нова и

интересна, что я, кажется, повторил бы ее, будь у меня еще двадцать девять копеек.

В поезде никаких вагонов четвертого класса не оказалось: просто к составу прицеплялось несколько товарных вагонов, в которых и ехали пассажиры-«четырёхклассники».

Двери вагона, в который я попал, и с одной и с другой стороны были раздвинуты до предела. Я сел у самой двери прямо на полу, так, что ноги мои оказались снаружи вагона. В таком положении было невероятно любопытно и удобно наблюдать, как телеграфные столбы, придорожные деревья и кусты словно бы отпрыгивали назад от движущегося поезда, было слышней, как стучали колеса на стыках рельсов и как грохотали мосты, когда по ним проходил поезд.

Меня обдавал теплый летний ветер, и все казалось таким хорошим, что лучше и не бывает. Да и что может быть лучше, если я в первый раз, и притом самостоятельно, еду в город, и еду не как-нибудь, а в гости к учительнице!

Все это казалось почти сказкой.

11

Учительница Александра Васильевна Тарбаева жила на Заречье, то есть за рекой Десной, которая разделяет Ельню на две неравные части. Пройти на Заречье можно было по мосту, но пешеходы предпочитали более короткий путь — по деревянным мосткам, проложенным через небольшое озеро, образовавшееся прямо в городе. Об этих мостках я уже знал из рассказов учительницы.

Дом у Тарбаевых, как почти все ельнинские дома, был деревянный и далеко не новый. Точнее, это было два небольших (размером с крестьянскую хату) дома, соединенных сенями и стоящих под одной крышей.

Семья Тарбаевых состояла из отца и матери, трех взрослых сыновей, которые уже работали в тогдашних ельнинских учреждениях, далее Александра Васильевна и две ее младшие сестры: Анастасия, которой в ту пору было лет шестнадцать или семнадцать, и Елена — совсем еще девочка. Ей было не более семи лет. Кроме того, вместе с Тарбаевыми жила тетка нашей учительницы и всех ее сестер и братьев, которую все ласково называли Федосеевна.

Эту женщину я знал уже раньше. Когда осенью начинались занятия в нашей школе, она приезжала в Глотовку вместе с Александрой Васильевной, где вела ее немудрое домашнее хозяйство. С ними иногда приезжала и маленькая Елена: ей рано еще было идти в школу и в Глотовку она жила просто так, под опекой Федосеевны и своей старшей сестры.

У Федосеевны еще в детские годы образовался большой горб, который, надо полагать, принес ей немало огорчений. Вероятно, и замуж не могла она выйти из-за этого злосчастного горба. Но это была такая хорошая, чуткая, доброжелательная и справедливая женщина, что даже деревенские школьники никогда не насмехались над ее уродством.

12

Тарбаевы приняли меня радушно и дружелюбно, в особенности Федосеевна. Все те пять или, может быть, семь дней, которые я пробыл в Ельне, она по-матерински заботилась обо мне, следила за тем, чтобы мне было удобно, угощала меня всякой вкусной едой, которая в деревне мне была недоступна.

Александра Васильевна и Анастасия Васильевна каждый день куда-нибудь ходили со мной, показывая город и все то интересное, что в нем было.

Но город не произвел на меня сколько-нибудь большого впечатления. Он очень походил на деревню, особенно Заречная сторона его. Правда, деревянные дома, обшитые тесом и выкрашенные разноцветными красками, выглядели наряднее деревенских хат, но, в сущности, это было почти одно и то же. А вот каменные дома (в Ельне их было совсем мало) вызвали у меня большой интерес, хотя это были дома всего лишь двухэтажные. Мне очень хотелось хоть немного пожить в таком доме и непременно на втором этаже: наверно, это очень интересно — жить выше других и смотреть на улицу сверху. До того времени я мог взбираться лишь на деревенскую колокольню: это разрешалось в первые три дня праздника пасхи.

В Ельне я впервые увидел тротуары, и они удивили меня прежде всего тем, что были настланы довольно толстыми досками, вполне пригодными для пола и потолка. И это показалось мне величайшим расточительством: в деревне мой отец вынужден был топором вытесывать каждую доску, чтобы настелить пол в хате, а тут по доскам люди ходят прямо на улице. Могли бы походить и просто так, по земле!

Посмотрел я и Ельнинский городской сад — этакий довольно обширный и зеленый квадрат, где по специально сделанным дорожкам каждый вечер гуляли по-праздничному одетые девушки и парни. Всех их я считал исключительно богатыми людьми, раз они могут наряжаться каждый день. И я грустно думал о том, что мне никогда не придется гулять по садовым дорожкам вот так же, как они.

Кульминационным пунктом моего пребывания в Ельне, несомненно, должен был стать кинематограф, куда и повели меня однажды вечером мои гостеприимные хозяева.

У меня тогда не было никакого представления о кинематографе, но мне так много наговорили о нем, что я ждал чего-то самого исключительного, самого интересного.

Однако ни мои надежды, ни надежды моих шефов удивить меня кинематографом не оправдались. Все было интересно, ново и заманчиво, но я плохо видел происходящее на экране, хотя и сидел чуть ли не в первом ряду; из-за слабости зрения надписи, объясняющие действие, я читал весьма медленно и обычно не успевал их прочесть полностью. Это делало кинокартину еще более непонятной. Я, однако, все же кое-что видел. Но та богатая и роскошная жизнь, которая изображалась на экране, была мне абсолютно незнакома. Я просто не понимал ее, и потому между мной и той, чуждой мне жизнью была как бы пропасть.

Впрочем, я не хотел огорчать своих добрых хозяев и поэтому после сеанса на их вопрос, понравилась ли мне картина, ответил:

— Очень понравилась!.. Интересно было...

Мне уже надо было бы уезжать домой. Я понимал, что хоть и хорошо относятся ко мне Тарбаевы, я все же их стесняю, стесняю даже в прямом смысле слова: у них и без меня семья большая, а места в доме мало.

Однако уехать я не мог: у меня не было тех двадцати девяти копеек, которые нужны были для покупки билета. Сказать же об этом я стеснялся даже маленькой Леле, как обычно называли самую младшую сестру учительницы.

Не знаю, чем бы все это кончилось, если бы неожиданно-негаданно к Тарбаевым не зашел тогда еще совсем молодой учитель Василий Васильевич Свистунов. В дальнейшем я расскажу о нем более подробно. Сейчас же хочу только заметить, что Василий Васильевич был хорошо знаком с Тарбаевыми еще с той поры, когда он учился в ельнинской гимназии. Знал он и меня, так как не раз приезжал в гатовскую школу.

Василий Васильевич, по-видимому, сразу понял, что мое гостевание затянулось, и потому предложил мне:

— Знаешь, пойдем завтра со мной. Я иду на несколько дней домой — к своим родителям. Они живут недалеко от Ельни — верст двадцать пять будет, не больше.

Я с радостью согласился. И на следующее утро — а оно было теплым и ясным — мы двинулись в путь: в деревню Коситчино Шмаковской волости.

14

Идти вместе с Василием Васильевичем было удивительно легко, интересно, весело. И время пролетало незаметно, и дорога становилась как бы намного короче.

Он рассказывал мне всевозможные истории и случаи, и я мог слушать его без конца: из его рассказов я узнавал нечто новое, дотоле неизвестное мне, не говоря уже о том, что рассказчик он был отличный и слушать его было просто наслаждение.

Потом мы играли в шарады: то я разгадывал придуманные им шарады, то он мои.

Когда мы проходили через обширный сосновый бор, Василий Васильевич рассказал мне, что в этом бору совсем еще недавно жил один «божий человек», которого считали, да и сейчас считают святым.

— Хочешь посмотреть, где он жил? — спросил Василий Васильевич у меня.

Конечно же, я хотел, ибо далеко не все могут видеть в природе те места, где жили «святые».

Мы свернули с дороги и напрямиком направились к жилищу «божьего человека», и вскоре это довольно необычное жилище предстало передо мной.

В лесу стояли четыре могучих дерева. Кажется, это были сосны, а может быть, и ели. Они стояли так, что каждое приходилось на угол образуемого ими квадрата. Довольно высоко над землей, опираясь на толстые сучья этих четырех деревьев, лежали два прочных, хотя и не толстых бревна, а на бревнах был сооружен дощатый помост. На этом помосте и стояла «святая избушка», срубленная, по теперешней терминологии, из подтоварника и напоминавшая по размеру железнодорожную будку. Тут же была и лестница-стремянка. По ней мы взобрались наверх и вошли в избушку: она оказалась незапертой.

Напротив двери находилось небольшое окно и возле него простой деревянный некрашенный столик. Налево у стены нечто вроде топчана; тут, вероятно, «святой человек» спал. У противоположной стены стояла узкая скамеечка, сделанная из короткой доски, и в углу небольшая печечка.

Не без изумления осмотрев избушку и все, что находилось в ней, я спросил у Василия Васильевича:

— Что же этот святой тут делал?

— А ты разве не знаешь, что делают святые? Лодырничал, конечно, да еще, наверно, богу молился. Вот и все.

— Нет, как же так лодырничал? — продолжал я свои расспросы. — А откуда же он брал еду, во что одевался?

— Знаешь, много еще у нас темных, неразумных людей. Вот они-то — больше всего бабы — и приносили ему все, что надо. Они думали, что если он, этот «святой», помолится за них богу, то бог непременно услышит его молитву и избавит людей от всякого горя, от всякой беды... Народ наш неграмотный, темный, и разным проходимцам это на руку: им легче обманывать его.

— А где же этот святой теперь? — спросил я, когда мы уже спустились на землю и шли от избушки к дороге.

— Вот этого я не знаю,— небрежно ответил Василий Васильевич.— Может статься, умер. А может, перекочевал в другие места.

15

Некоторое время мы шли молча. Потом Василий Васильевич как бы ни с того ни с сего вдруг заинтересовался, знаю ли я что-нибудь про знаменитого русского композитора Михаила Ивановича Глинку. Оказалось, что я не знаю ни о Глинке, ни о других композиторах и все мои познания в музыке сводятся к тому, что мне известны лишь песни, которые поют в деревне, да еще игра на гармошке и балалайке. О том, что песни (музыку) кто-то специально сочиняет, я даже и не думал: мне представлялось, что все это появляется как-то само собой.

И только по дороге из города Ельни в деревню Коситчино от учителя Василия Васильевича Свистунова я узнал о великом русском композиторе, запомнил даже названия некоторых произведений его.

Но самым неожиданным и интересным для меня было сообщение Свистунова, что Глинка родился в селе Новоспасском нашего Ельнинского уезда и что вот сейчас мы можем дойти в те места, где находилась усадьба Глинки.

И мы, свернув со своей дороги, действительно увидели эти места. Мы обошли большой и красивый, но совершенно пустынный парк, по краям которого в несколько рядов, как бы охраняя то, что здесь когда-то было, стояли могучие многолетние дубы. Они безусловно помнили живого Глинку и могли бы многое рассказать нам, если бы умели говорить. Мне очень было жаль, что дом, в котором жил Глинка, не сохранился.

Не сохранились и другие постройки. На территории парка стоял лишь небольшой флигель, но и тот, по словам Свистунова, появился уже после смерти Глинки.

У одного из дубов мы устроили кратковременный привал, усевшись прямо на траве. Молча посидели несколько минут и двинулись дальше.

Под вечер мы были уже в Коситчине.

16

В семье Свистуновых мы прожили дня два или три, но я почти не помню ни того, что мы там делали, ни самой деревни Коситчино. Лишь одна деталь мне хорошо запомнилась. Меня познакомили с мальчишкой примерно моего возраста, который сам сделал трехколесный велосипед. И мне показали этот велосипед, показали, что на нем действительно можно проехать некоторое расстояние.

Правда, ось, соединяющая два задних колеса, а также все другие металлические части велосипеда делал кузнец. Но все же конструкцию велосипеда придумал не кузнец, а мой новый знакомый.

Велосипед был плох лишь тем, что на нем нельзя было ехать сколько-нибудь быстро. Дело в том, что в качестве колес молодой изобретатель использовал деревянные маховики от старых деревенских прялок. А маховики эти обычно собирались из отдельных деталей, соединенных

весьма непрочно. От быстрой езды да еще по неровной дороге подобные маховики-колеса рассыпáлись на части.

Но несмотря на все это, велосипед мне понравился, и я определенно завидовал своему сверстнику из деревни Коситчино. Мне хотелось иметь хотя бы такой. А о настоящем велосипеде и говорить нечего. Можно сказать, что и в детстве и в юности это была мечта моей жизни.

Однажды, когда я уже учился в Смоленске в гимназии Ф. В. Воронина, я даже придумал способ, как угнать велосипед, взяв его напрокат. Потом я понял, что мой план угона не годится, да и вообще это нехорошо — угонять чужие велосипеды. Поэтому и отказался от своего недоброго намерения.

Однако же я узнал, что купить велосипед можно за сто двадцать рублей, и начал думать, как бы мне собрать такую сумму денег, хотя и понимал, что их никогда не соберу. А иметь велосипед мне хотелось до такой степени, что я продал бы последнюю корову. Но корова принадлежала не мне, а всей нашей семье. Да и мало было одной коровы, чтобы заплатить за велосипед.

Так и не удалось мне удовлетворить это свое жгучее желание. Я даже не смог сделать себе такой, какой видел в Коситчине: у матери была всего одна прялка и мне неоткуда было взять трех колес.

Когда же наступила такая пора, что я смог бы сразу купить целых пять, даже десять велосипедов, то — увы! — это мне было уже совсем-совсем не интересно.

17

Из Коситчина обратно в Ельню мы пошли почему-то под вечер. Шли весь вечер и всю ночь с короткими передышками и никуда уже не сворачивали с дороги.

Когда взошло солнце, мы были на подходе к Ельне и на самом краю какой-то деревни сели отдохнуть на бревнах, сложенных у дороги. Вскоре к нам подошел обутый в лапти и очень бедно одетый мужик, попросивший разрешения сесть вместе с нами.

— Садитесь! — приветливо сказал Василий Васильевич. — Какое же тут может быть разрешение?

Прохожий сначала поллюбопытствовал, нет ли у Василия Васильевича закурить, но узнав, что тот не курит, сидел молча, глядя на пыльную дорогу.

Свистунов, будучи человеком живым и общительным, стал расспрашивать пришедшего, откуда он, куда направляется и зачем. Тот отвечал сначала неохотно и односложно, а потом со вздохом произнес:

— Куда иду, пока и сам не знаю... Хлеба нет ни крошки, дети сидят голодные... Просто сил нет глядеть на них. Вот и иду... Хоть умри, а денег надо достать... Может, где работенку какую найду...

Мы встали с бревен. Василий Васильевич вынул из кармана кошелек, отыскал в нем серебряный рубль и, протягивая его, сказал:

— Вот это для твоих детей. Дал бы больше, но больше нет...

Я, признаться, несколько удивился такой щедрости Свистунова: я знал, что у него у самого почти ничего нет, да кроме того, этот мужик мог сказать неправду.

— Нет, — возразил Свистунов, — он не соврал. Это я твердо знаю. И надо было ему помочь. Нельзя безучастно проходить мимо людского горя.

Вскоре мы уже были в Ельне. В тот же день Василий Васильевич с добавочным поездом отправил меня домой.

Этим и закончился мой довольно-таки затянувшийся праздник, который начался в день школьных выпускных экзаменов. Пошла жизнь обыденная, однообразная, довольно грустная, такая, как и до экзаменов.

И мне начинало казаться, что никому я не нужен, что все позабыли меня...

Но неожиданно в Глотовку приехала — тогда еще совсем незнакомая мне — учительница Агафья Михайловна Васильева, учительствовавшая в самом отдаленном углу нашей волости, в деревне Носищево. Она сказала, что собирается ехать в Ельню, и решила взять меня с собой, чтобы показать врачам.

Врач, как мог, обследовал мое зрение, прописал мне очки и сказал, чтобы я вел себя спокойно, не бегал бы, не прыгал, не поднимал тяжести и тому подобное. Сейчас я понимаю, что он поставил совершенно правильный диагноз, хотя и не объяснил мне его сущности, вследствие чего советы, как я должен себя вести, были для меня пустым звуком.

Врач сказал еще, что я не должен есть ничего острого.

Я не понял:

— Как это острого?

— Ну, луку, например, хрену...

Это меня удивило, потому что в деревне испокон веков ели и лук и хрен и никто никогда не жаловался, что такая еда повредила зрение.

Но я решил неукоснительно выполнять советы врача: это ведь было не так уж трудно. Зато — я искренне верил этому — глаза у меня сразу станут лучше.

Трудней всего мне было с очками. Когда я надевал их, то видел дальше и лучше, но все мне представлялось в каком-то необычном, резком и неприятном свете. И это меня пугало (тогда я не знал, и никто мне не разъяснил, что к очкам надо привыкнуть, что глаза должны приспособиться к ним, и тогда все станет нормально).

Главное, однако, заключалось в том, что я стеснялся, можно даже сказать, панически боялся ходить в очках, опасаясь насмешек и издевательств. Ведь в деревне никто очков не носил, и я, несомненно, стал бы посмешищем для моих однодеревенцев. Я и примерял-то очки только по секрету от других, только тогда, когда был уверен, что меня никто не видит.

Впрочем, скоро я и совсем спрятал очки, решив, что они не по мне. Так же скоро я забыл и советы врача не есть «острого»: недели три не ел ни луку, ни хрену, а все осталось по-старому.

Осенью 1913 года я почувствовал, что с моими глазами делается что-то совсем уже скверное. Теперь-то я очень хорошо понимаю, что произошло кровоизлияние в сетчатку — сначала в одном глазу, а через некоторое время в другом. А тогда я лишь видел, что в поле зрения у меня плавают какие-то пятна, которые мешают мне смотреть, полностью или частично закрывают те предметы, на которые я гляжу.

Я ничего не мог придумать другого, как пойти в школу и рассказать обо всем своей учительнице Екатерине Сергеевне, которая к тому времени уже вернулась в Глотовку (на лето она обычно уезжала к себе на родину, в село Зарубинки Касплянской волости).

Екатерина Сергеевна очень сочувственно отнеслась ко мне. Однако помочь мне чем-либо она не могла. В большом унынии я вернулся домой. Положение, в котором я очутился, казалось мне совершенно безнадежным.

Однако — я всегда вспоминаю об этом с чувством большой благодарности и признательности — были люди, которые думали обо мне и искренне хотели помочь мне. Один из таких людей — Михаил Иванович Погодин, о котором я уже говорил.

В октябре учительница Екатерина Сергеевна сказала моему отцу, что ей надо ехать в Ельню по школьным делам и что ехать она должна вместе со мной: М. И. Погодин распорядился привезти меня к нему в Ельню, откуда он повезет меня в Смоленск, чтобы показать главному врачу.

И вечером мы поехали.

На станцию повез нас отец. Ночь была такая темная — хоть глаз выколи. Сверху нас поливал ни на минуту не прекращавшийся холодный осенний дождь. Дорога была разбитая, грязная, раскисшая. Ехали мучительно долго и тяжело. И хотя из дому взяли все, что только могли, чтобы укрыться от дождя, все мы и промокли и продрогли.

19

В Ельне надо было прежде всего найти ночлег. На станции Екатерина Сергеевна наняла извозчика, и мы доехали до единственной в городе гостиницы. Гостиница — в ней было всего десять номеров — помещалась на втором этаже двухэтажного кирпичного здания. Извозчик наш уехал, и мы остались под дождем, в потемках, у наглухо закрытой входной двери. Стали стучать в дверь, дергать что было силы за ручку звонка, даже кричать «откройте!», но результатов никаких. Деваться, однако, было некуда, и нам пришлось начать все сначала... Только минут через пятнадцать или двадцать мы услышали, что за дверью по лестнице кто-то спускается вниз. Дверь наконец открылась, и сонный мужской голос спросил:

— Чего вам?

Екатерина Сергеевна ответила, что нужен номер.

— Слабодных номеров негути, — равнодушно ответил тот же сонный мужской голос, и дверь перед нами закрылась.

Далее началось уже пешее хождение по постоянным дворам — хождение по городу, утопающему в грязи и насквозь продуваемому холодным осенним ветром. Но и постоянные дворы встречали нас примерно так же, как и гостиница. Лишь третий или даже четвертый постоянный двор принял нас.

Утром мы напились чаю, и моя учительница ушла в земскую управу, оставив меня одного. Через несколько часов она вернулась и повела меня в фотографию, где фотограф запечатлел и ее и меня на снимке размером с открытку. Я и сейчас бережно храню у себя эту открытку как память о тех далеких днях, но и особо — о своей первой учительнице Екатерине Сергеевне Горанской.

Когда уже совсем стемнело, я попрощался с Екатериной Сергеевной, и кто-то (не помню уж кто) повел меня к Михаилу Ивановичу Погодину.

У М. И. Погодина в то время были какие-то дела в уездной землеустроительной комиссии, и поэтому он часто вечерами работал в доме, где помещалась эта комиссия.

Михаил Иванович сидел за письменным столом, освещенным керосиновой лампой под зеленым абажуром (электричества в Ельне тогда еще не было), и что-то писал.

Он очень приветливо встретил меня, поговорил со мной, спросил, не хочу ли я чаю, а то, мол, это легко можно соорудить. Потом сказал,

что в Смоленск мы поедем завтра с добавочным поездом (около трех часов дня), а пока я должен подождать.

И Михаил Иванович отправил меня на ночлег к сторожу, занимавшему нижний этаж в двухэтажном деревянном флигеле во дворе землеустроительной комиссии.

ПОЕЗДКА В СМОЛЕНСК

1

Поезд на Смоленск отправился уже в потемках. В вагоне зажгли свечи. Но их было мало, и горели они очень тускло. Поэтому я плохо видел, что делалось вокруг меня.

Ехал я в третьем классе. Какой-то человек, внешность которого я не мог рассмотреть в полусумраке вагона, устроил меня на боковой скамейке у самого выхода из вагона и сказал:

— Сиди здесь и никуда не уходи. Когда приедем в Смоленск, я приду за тобой и выведу тебя на платформу.

Человек этот был проводником вагона, и М. И. Погодин, наверно, договорился с ним, чтобы тот взял меня под свое покровительство. Сам Погодин ехал в другом вагоне — очевидно, второго класса.

Но я не догадывался о договоренности относительно меня. И совершенно не знал тогда, что в вагонах есть проводники. Поэтому своего покровителя я принял за самого обыкновенного пассажира, который едет тоже в Смоленск или куда-нибудь еще дальше.

От Ельни до Смоленска всего около семидесяти километров. Но, чтобы пройти это расстояние, поезду нужно было не менее трех часов: шел он медленно, часто останавливался и подолгу стоял не только на станциях, но даже на самых незначительных полустанках и разъездах.

Я с нетерпением ждал, когда же будет Смоленск, но его все не было и не было. И я — то ли всерьез, то ли в шутку — начинал думать: а что, если поезд идет не туда, что, если меня посадили не в тот поезд, в какой следовало?..

Наконец поезд стал замедлять ход, и весь вагон вдруг шумно заговорил:

— Ну, вот и приехали!..

— Вот он и Смоленск!..

Пассажиры поспешно снимали с полок свои вещи и стремились к выходу, заполнив в вагоне весь коридор. Когда же поезд остановился совсем, они быстро исчезли за выходной дверью. Вагон опустел. А между тем приходиться за мной никто и не думал. Поэтому я почти с отчаянием спросил у одного из выходящих:

— Это вправду Смоленск?

— А ты что же думал?.. Конечно, вправду.

Я забеспокоился, заерзал на своей скамейке. Глядел то в одну, то в другую сторону, не идет ли мой покровитель. Но никто за мной не шел. А времени, как мне показалось, прошло уже много. И я думал, что поезд вот-вот тронется и завезет меня куда-нибудь за Смоленск. Что я тогда буду делать?

И уже ни о чем не думая, я вскочил со своей скамейки, в отчаянии выбежал на площадку вагона и, спеша, чтобы не опоздать, сошел по ступенькам на землю.

Поезд тотчас же тронулся.

Я остался совершенно один — под морозящим дождем, под холодным осенним ветром и почти в полной темноте: над железнодорожными путями светились лишь редкие и тусклые электрические фонари.

Самое страшное для меня заключалось в том, что никаких признаков вокзала нигде не было. Я обнаружил лишь какой-то сарай, за которым слышались неясные мужские голоса. И я осторожно пошел на эти голоса. Но едва я приблизился к сараю настолько, что мог понять, о чем идет речь, как опрометью бросился назад: за сараем оказались какие-то люди, которые, по всей видимости, пили водку и ругались так, что содрогалась земля. К тому же они, как мне показалось, грозились кого-то зарезать либо задушить.

Отбежав подальше от этого сарая и немного опомнившись, я решил, что вокзал находится, по-видимому, «на той стороне», то есть за бесчисленным количеством железнодорожных путей. И я попытался перейти все эти пути, чтобы попасть «на ту сторону». Однако это оказалось невозможным. На путях находилось множество товарных составов, которые то стояли как вкопанные, то вдруг начинали двигаться. Во всяком случае подлезать под вагоны я не решился, тем более что мешала темнота. И непрерывно то там, то тут шныряли паровозы, в одну сторону и в другую. Одни шли с прицепленными к ним вагонами, другие без них. шли, возникая в потемках совершенно неожиданно, как призраки. И мне с моим зрением нечего было и думать, что я смогу добраться до «той стороны». Так я и не добрался и вынужден был вернуться к тому месту, где спрыгнул с поезда.

И тут мне, казалось, повезло. Невдалеке от железнодорожных путей я увидел дом с ярко освещенными окнами.

«Да вот же он, вокзал!» — подумал я и пошел на ярко светящиеся окна. Но подойдя поближе, я понял, что это не вокзал, хотя и решил почему-то, что это здание имеет какое-то отношение к железной дороге. Поэтому я и стал бродить возле него, не смея, однако, по своей деревенской робости зайти внутрь. Впрочем, нет! Набравшись смелости, я трижды пытался сделать это. Я всходил на высокое каменное крыльцо, даже брался за ручку входной двери, но открыть ее ни разу не решился: на меня вдруг находил какой-то необъяснимый ужас и, вместо того чтобы открывать дверь, стремглав бросался прочь, сбежал с крыльца, стараясь уйти подальше, в потемки, чтобы меня никто не видел.

В третий раз мне, однако, не удалось скрыться: вышедший на крыльцо человек заметил мое поспешное, даже паническое бегство и закричал:

— Эй ты! Куда бежишь?.. Остановись!.. Не бойся, тебе ничего не сделают.

Я остановился, а потом робко подошел к человеку, звавшему меня. Это оказался полицейский, который стал расспрашивать, кто я такой и как очутился здесь.

Услышав мой ответ, он сказал:

— Ну, вот видишь, как... А тебя разыскивают... Пойдем со мной...

Полицейский привел меня в здание товарной конторы (ярко освещенный дом — это и была железнодорожная товарная контора), усадил где-то в уголке и сказал:

— Посиди здесь, а я пойду позвоню по телефону и скажу, что ты нашелся. Только смотри не уходи никуда.

Я пообещал, что никуда не уйду.

Через несколько минут он вернулся.

— Ну, теперь все хорошо. Тебе придется подождать еще немного, пока за тобой не придут.

И тут же он начал объяснять мне, что сошел я на станции Смоленск-товарная, а мне надо было ехать дальше — до станции Смоленск-пассажирская.

Я немного приободрился и даже вступил в разговор с полицейским, хотя в душе и побаивался его. Я спросил:

— А почему же тогда здесь сошло столько людей и все говорили «Смоленск! Смоленск!»?

Полицейский охотно объяснил мне, что на товарной станции действительно сходит много пассажиров. Но это потому, что здесь рядом с железной дорогой проходит Ново-Московская улица. И многим удобней и ближе добираться отсюда домой или в те места, куда им нужно попасть...

2

Полицейский не обманул меня: очень скоро в товарную контору пришла женщина средних лет, одетая по-городскому, но небогато. Голова ее была повязана большим цветастым платком, какие носят и в деревне. Чутье мне подсказало, что это, по-видимому, чья-то прислуга—кухарка либо горничная.

Эта женщина повела меня к трамвайной остановке. Там после нескольких минут ожидания мы вошли в ярко освещенный, но почти пустой трамвайный вагон.

О трамвае много рассказывали мои однодеревенцы, побывавшие в Москве. Но я все же не имел сколько-нибудь правильного представления о нем. В популярных книжечках я читал кое-что об электричестве, но как электричество могло двигать по городским улицам вагоны— постичь это я не мог. Непостижимо было для меня и то, зачем посреди улицы надо прокладывать железную дорогу и почему городские жители должны ездить по улицам в вагонах, платя за это деньги, если можно пойти и пешком, куда тебе нужно. Трамвай казался чудом. Даже не чудом, а городским чудачеством: мало ли что могут придумать в городе?

И вдруг в Смоленске я сам еду в трамвае. И это меня, пожалуй, нисколько не удивило. Я как бы лишь увидел то, о чем уже давно знал. Во всяком случае ничего чудесного в смоленском трамвае я не обнаружил. Мне лишь очень хотелось посмотреть, что делается на смоленских улицах, когда по ним идет трамвай. Но я почти ничего не смог увидеть по той причине, что в вагоне горел слишком яркий свет, а на улицах было темно или полутемно.

Я лишь чувствовал, идет ли трамвай прямо или куда-то поворачивает: на поворотах слышался весьма неприятный скрежет железа. Затем— я это тоже почувствовал— вагон начал подниматься в гору: шел он медленно, трудно, натужно, как бы напрягаясь до предела. Я даже подумал: а вдруг у него не хватит сил, он остановится и сам собой не удержи́мо покатится вниз?

Кстати сказать, в истории смоленского трамвая подобные случаи были: на Покровской горе трамвайные вагоны неоднократно сходили с рельсов, катились вниз прямо по булыжной мостовой, пока не врезались в чей-нибудь дом. Но об этом я узнал гораздо позже. Также позже я узнал, что в тот памятный вечер поднимались мы вверх по теперешней Советской улице и, преодолев гору, сошли совсем недалеко от знаменитых смоленских часов.

Смоленские городские часы специальными кронштейнами были прикреплены к углу дома, который одной стороной выходил на теперешнюю Советскую улицу и другой—на Ленинскую. Они нависали прямо над тротуаром и на всех трех своих циферблатах показывали точное время. Но они были знамениты не только тем, что смоляне сверяли по ним свои часы, но главным образом тем, что под часами назначали встречи и друзья, и влюбленные, и те, кому надо было встретиться по другим причинам. Так и говорили:

— Давай встретимся завтра под часами!

Выражение под часами в Смоленске знали буквально все.

Во время Великой Отечественной войны смоленские часы были искромсаны, исковерканы, изуродованы, хотя они и продолжали висеть на углу того же дома, от которого сохранились только стены, да и то не полностью.

Смоляне восстановили угловой дом и украсили его точно такими же часами, какие были до войны. Часы идут, город живет, и его жители по-прежнему назначают встречи под часами.

Но это я забежал далеко вперед. А в тот холодный и дождливый вечер осени 1913 года, когда я приехал в Смоленск, в угловом доме с часами помещалась «Европейская гостиница». В нее-то и привела меня женщина, с которой я ехал на трамвае. Она что-то сказала одному из служащих гостиницы, и тот немедленно пошел вверх по широкой лестнице, устланной — не помню уж, какого цвета, — дорожкой. Вскоре по той же лестнице к нам спустился Погодин. По-видимому, Михаил Иванович должен был удостовериться, тот ли я беглец, которого он разыскивал целый вечер.

— Ну, что же ты, брат... — укоризненно начал он, подойдя ко мне.

Я сбивчиво стал было отвечать, почему так произошло, но Михаил Иванович прервал меня:

— Да уж ладно... Ты не объясняй: я и так все знаю. Хорошо, что сам-то нашелся, а остальное неважно...

Он распорядился, куда отвести меня на ночь. И меня отвели в чей-то дом, о котором я и до сих пор ничего не знаю, как не знаю названия и той улицы, на которой стоял дом. Помню только, что ночевал я в просторной кухне, окна которой, как я увидел утром, выходили во двор, обнесенный сплошным забором.

Утром меня напоили чаем с французской булкой, и опять-таки неизвестный мне человек — на этот раз мужчина — повел меня на прием к доктору Радзвицкому.

Странное дело: у меня не сохранилось ни малейшего представления ни об улицах, по которым я шел к Радзвицкому, ни о домах, мимо которых я проходил. Словом, я абсолютно не помню того Смоленска, в который приехал впервые.

Но деревянный двухэтажный, красиво построенный и свежеевыкрашенный дом Радзвицкого я хорошо помню. Мы вошли в него и по широкой лестнице поднялись на второй этаж, где помещались приемная и кабинет врача. У стен приемной стояли небольшие диванчики, а также несколько венских стульев. Недалеко от окна стоял круглый стол, заваленный разными журналами. Мне очень хотелось посмотреть эти журналы, но, напуганный болезнью, я боялся прочесть даже одну строку, рассмотреть хотя бы один рисунок. Мне в ту пору казалось, что даже простой взгляд на белую бумагу может очень и очень повредить мне. Так и сидел я неподвижно и чуть ли не с закрытыми глазами, ожидая своей очереди.

3

Радзвицкий, как и подобает врачу, осмотрел мои глаза снаружи, измерил остроту зрения, исследовал глазное дно. Потом спросил, кто я такой, откуда приехал, чем занимаются мои родители...

— Так-так... — тихо заметил он про себя. И, не обращая ни малейшего внимания на то, что я, его пациент, нахожусь здесь же и все слышу, сказал уже совсем громко, обращаясь к моему провожатому: — Помочь ничем нельзя. Рано или поздно мальчик ослепнет. И чтобы он не стал обузой для своих родителей-крестьян, надо найти способ по воз-

возможности скорей определить его в школу слепых. Там он приобретет какую-либо «слепую профессию» и будет зарабатывать себе на жизнь... Вы спрашиваете, можно ли ему учиться дальше? Нет, никоим образом... Да и зачем ему учиться?

Может быть, доктор Радзвигский, делая свои заключения и по-своему определяя мою дальнейшую судьбу, говорил несколько иными словами, но общий смысл сказанного им ничем не отличается от того, что написал я.

Вряд ли стоит говорить, с какой горечью, с каким отчаяньем выслушал я «приговор» доктора Радзвигского.

Уходя от Радзвигского, я хотел только одного: чтобы его предсказания исполнились не столь уж быстро, чтобы хоть немного я мог походить по этой земле, глядя на все, что меня окружает, пусть уже большими, но все же зрячими глазами.

Тяжесть, которая внезапно обрушилась на меня в приемной врача, была действительно велика. Но я верил, что знаменитый смоленский врач сказал правду, и не подозревал, до чего жестоко он обошелся со мною, как он травмировал меня. Все это я понял лишь после того, как побывал у других глазных врачей и когда уже сам отлично знал суть своей болезни:

Радзвигский не мог ошибиться в диагнозе: любой глазной врач, а не только знаменитый, при помощи столь несложного прибора, каким является офтальмоскоп, сразу увидел бы, в каком состоянии у меня глазное дно и в чем конкретно выражается заболевание. И он, этот «любой глазной врач», хотя и признал бы, что заболевание серьезное, что оно может повторяться, но непременно посоветовал бы, какое применить лечение, как я должен вести себя, чтобы не ухудшить положения, что мне можно делать и чего нельзя. И он никогда не сказал бы, что больного надо поскорее определить в школу слепых, ибо больной все равно ослепнет.

Люди с таким заболеванием глаз, как у меня, не обязательно должны стать абсолютно слепыми, хотя видеть они с каждым годом будут все хуже. У меня же, кроме того, болезнь только начиналась. А это отнюдь не значило, что слепота наступит непременно и что случится это довольно скоро.

И я до сих пор не могу понять, почему Радзвигский не нашел ничего лучше школы слепых, почему он даже не намекнул на то, что можно испытать тот или иной способ лечения.

Я могу лишь предположить, что, возможно, врач Радзвигский столь равнодушно и в то же время столь жестоко отнесся к моей судьбе по очень простой причине: я был сыном мужика.

Это мое предположение кажется мне правильным, в частности, потому, что Радзвигский был не только модным врачом, но и большим барин, богатым человеком. В Смоленске он построил два дома, стоявших рядом: в одном Радзвигский жил сам, другой сдавал кому-то.

Я больше ни разу не видел доктора Радзвигского, но совершенно неожиданно встретился с его сыном, когда осенью 1915 года поступил в гимназию Ф. В. Воронина: молодой Радзвигский оказался моим одноклассником.

Этот выхолщенный и вылощенный мой ровесник глядел на других высокомерно, особенно на тех, кто на социальной лестнице стоял ниже его. Я не помню ни одного случая, когда бы он разговаривал со мной. Вероятно, какие-то разговоры были -- ведь я учился вместе с ним целых два года, -- но разговоры такие незначительные, что от них не осталось ни малейшего следа. И я, конечно, ни словом не намекнул молодому

Радзивицкому, что его отец вынес мне «смертный приговор», но что я, не смотря на это, не только живу, но даже учусь в гимназии.

После Октябрьской революции Радзивицкий вместе со своей семьей эмигрировал за границу.

4

Вернувшись от врача, остаток дня и весь вечер я просидел в той же кухне, где ночевал. Меня там и накормили и напоили чаем, но в этом для меня уже не было никакого удовольствия. Уныло ожидал я того часа, когда меня отвезут на вокзал, чтобы ехать в Ельню. Но поезд отправлялся только около десяти часов вечера, и казалась, я не дождусь этого срока — так медленно шло время.

Был и еще один, в сущности говоря, пустяк, но такой пустяк, терпеть который мне становилось все труднее и труднее: во что бы то ни стало я должен был по малой нужде выйти во двор. Еще днем я много раз жадно смотрел из окна кухни и даже, по-видимому, точно установил, где должно находиться то «учреждение», в которое меня влекло столь неудержимо. Но выйти во двор я боялся: там бегала большая злая собака, которая, несомненно, набросилась бы на меня. А на кухню, где я, можно сказать, изнывал, позабыв обо всем на свете, кроме одного, как на грех, заходили только женщины. И я стыдился попросить, чтобы кто-либо из них провел меня в нужное место или в крайнем случае привязал собаку.

Не знаю, чем бы все это кончилось, если бы в самый последний момент, когда все уже дошло до крайнего предела, кто-то из моих хозяев не догадался спросить у меня, не надо ли мне выйти...

Сразу потом стало как-то веселей, даже несмотря на то, что все сказанное доктором Радзивицким не выходило у меня из головы.

Поздно ночью я был уже в Ельне и снова попал к сторожу землеустроительной комиссии, у которого и проспал до утра.

В ЕЛЬНИНСКОЙ БОЛЬНИЦЕ

1

Утром ко мне пришел посланец Погодина и сказал:

— Михаил Иванович хочет поместить тебя в больницу. Если ты согласен, то я сейчас же отведу тебя туда.

Я сразу согласился: Погодин не стал бы понапрасну класть в больницу, если бы не был уверен, что это необходимо и полезно. Хоть в ельнинской больнице и нет глазного отделения, рассуждал я, но все-таки там должны как-то лечить и меня. Иначе зачем же больница?

И тут я впервые подумал, что, может быть, смоленский доктор Радзивицкий сказал о моей болезни неправду... И мне стало легче.

Действительно, М. И. Погодин поступил разумно, и я впоследствии понял, почему он так сделал: независимо ни от какого лечения мне нужно было пожить некоторое время в спокойной обстановке, выждать, пока хоть отчасти рассосется свежее кровоизлияние на дне глаза. Дома, сам того не понимая, я мог навредить себе и даже вызвать новое кровоизлияние при каком-либо физическом напряжении.

Меня положили в четырехместную палату. Двое больных — это, конечно, были совсем уже взрослые люди, мужики, — находились в стадии выздоровления: им разрешалось вставать, ходить и вообще делать все, что допускается в больнице. Еще один из обитателей палаты был тяжелобольным. Чем он болел, я не знаю, но помню, что он ни разу не встал с постели, ни с кем не разговаривал, часто стонал. Дня через

три после того, как меня положили в больницу, я, проснувшись утром, увидел, что койка тяжелобольного пуста. На мой вопрос, где он, мне ответили, что его перевели в другую палату. Я простодушно поверил этому, не подозревая того, что другой палатой была мертвецкая.

На освободившейся койке разместился отец дьякон, приехавший из какого-то дальнего прихода. Появление в «мужицкой палате» дьякона и удивило меня, и в то же время принесло внутреннее удовлетворение: и попы и дьяконы казались мне существами, стоящими на гораздо более высокой ступени, нежели мужики; если сами они и не были святыми, то все же имели непосредственное отношение к святости. И вдруг — дьякон в одной палате с мужиками! Чудно!

Дьякон оказался общительным, разговорчивым, веселым. И почти сразу же стал в палате своим человеком.

Он охотно рассказал о своей болезни, прибавив при этом, что болезнь ерундовская, но избавиться от нее надо поскорей — очень уж больно ходить: в большой палец правой ноги глубоко врос, врезался ненормально растущий острый ноготь.

— Вот придется операцию делать, — объяснял дьякон. — Операция неприятная, болезненная, но неопасная.

Оттого, что отец дьякон разговаривал так просто, оттого, что болезнь у него такая же, какая может быть и у любого мужика, и что ему при операции тоже будет больно, как всем, он все больше и больше нравился мне.

В ожидании операции дьякон, как умел, развлекался и сам и развлекал всех нас, находившихся в одной палате с ним. Я без конца готов был слушать его рассказы о разных случаях в жизни, рассказы, которых он знал великое множество. Я заметил, что в его рассказах не было ничего «божественного», и это тоже понравилось мне. Он весьма охотно играл с больными в дурака — карты он привез с собой — и очень всегда смеялся, когда его оставляли дураком.

Я в карты играть не решался. И, наверно, поэтому отец дьякон показал мне и объяснил несколько карточных фокусов, от которых я вначале прямо-таки обалдевал: до того все было неожиданно... В конце концов я к нему очень привязался. И когда потом пришлось расставаться с ним, то мне было очень жаль, что я уже никогда не встречу с ним и что другого такого хорошего дьякона нигде больше нет...

2

Возле моей койки на тумбочке стоял аптечный флакон желтоватого цвета. К нему ниткой была привязана сигнатурка красного цвета, по форме своей похожая на язык. На обороте сигнатурки надпись по-латыни: «Kalii jodati 4% — 200,0» (йодистый калий, четырехпроцентный раствор, двести граммов). В то время я откуда-то уже знал латинский алфавит и сам прочел название назначенного мне лекарства, чем весьма гордился. Кроме того, латинское название лекарства, несомненно, придавало ему особую целебность. И я с большой надеждой принимал три раза в день прозрачную и почти безвкусную жидкость с таким научным названием — «kalii jodati».

И каждый вечер, ложась спать, я проверял: может быть, лекарство уже подействовало? Я брал какой-либо листок с печатным текстом, подходил поближе к свету (освещение в больнице было керосиновое) и с замиранием сердца подносил листок к глазам и следил, не исчезло ли то проклятое пятно, которое всегда закрывает как раз ту строку, которую я хочу прочесть.

Нет, пятно не исчезло. И я с горечью на душе ложусь спать, надеясь, что пятно, может быть, исчезнет завтра утром: проснусь, а его не будет! Но и утром пятно не исчезало. И я уже с некоторым недоверием начинал относиться к своей микстуре: слишком медленно она действует.

В остальном я был больше чем доволен. Я жил так, как дома никогда не жил,— это относилось главным образом к еде, а также к тому, что дома я никогда еще не спал на такой постели: на простыне, под настоящим одеялом, да еще на железной койке, предназначенной для меня одного!

Вставали больные часов в семь утра — было еще темно. Умывались и шли в столовую — широкий коридор, в котором стоял длинный стол, сколоченный из досок, а рядом с ним деревянные скамейки.

Больные получали — сразу на весь день — хлебный и сахарный паек: сахару — три куска, хлеба — два фунта (восемьсот граммов), причем одним выдавался только черный хлеб, а другим, по предписанию врача, фунт черного и фунт белого. Мне белый хлеб не полагался, но я не тужил: человек, который сопровождал меня в больницу, дал мне целых три рубля на мои личные расходы — это от Погодина. И в тот самый час, когда больные получали свои пайки, на пороге больничной столовой появлялась булочница с большой корзиной мягких и еще не остывших французских булок. И так как у меня в руках неожиданно оказалось целое состояние, то я каждодневно мог покупать пятикопеечную французскую булку.

Чай с белым хлебом или с булкой — это и был наш неизменный завтрак. Ничего лучшего я и представить себе не мог. Словом, мне никогда еще не приходилось жить так роскошно, как в ельнинской уездной больнице.

3

И все же очень скоро, несмотря ни на что, я сильно затосковал по дому. Уныло я сидел на своей койке, уныло бродил по коридору, все время думая об одном и том же: а не уехать ли мне отсюда? Во время ежедневных обходов врач даже не подходил ко мне, ни о чем меня не расспрашивал, хотя с другими больными он и разговаривал, и осматривал их, и даже, случалось, отменял одно лекарство, заменяя его другим. А у меня никаких перемен. Зачем же тогда, думал я, больница? Для того только, чтобы три раза в день принимать все одно и то же лекарство? Но это я могу отлично делать и дома, если только мне дадут домой это самое лекарство. А без булок как-нибудь обойдусь...

К этому примешивалось и другое: мне нечем было занять себя. Писать и читать нельзя: запретили, говорят, вредно. Да и сам я боялся взять книгу в руки, если случайно она и попадала в больничную палату.

Не знаю, сколько времени я еще раздумывал бы, если бы не один случай. В нашу палату вошел фельдшер. Он остановился около моей койки, на которой я сидел, и хитро подмигнул другим больным: смотрите, мол, что сейчас будет. И те с любопытством поглядывали то на меня, то на фельдшера.

Между тем с напускной серьезностью фельдшер начал расспрашивать меня:

— Ну, так что же у тебя болит?

— Глаза болят,— ответил я, не понимая, для чего эти расспросы: ведь фельдшер и без того знает о моей болезни.

— Так, так...— продолжал он.— Значит, что ж, плохо видишь?

— Плохо.

— Ладно. Сейчас проверим...

И фельдшер распахнул свой белый халат, глубоко засунул левую руку за ширинку брюк и через прореху высунул наружу указательный палец. Пошевелив им, он спросил:

— Видишь?

— Вижу,— робко отозвался я.

— Ну что же это, по-твоему?

— Палец,— еще робче сказал я.

— Ну вот, а говоришь, что плохо видишь. Это, брат, не плохо, если можешь отличить палец от...— И он громко и раскатисто засмеялся.

Засмеялись и больные, наблюдавшие за манипуляциями фельдшера. Им, очевидно, тоже показалось все это необычайно остроумным. А я с недоумением смотрел на смеющихся, и мне было нестерпимо обидно...

Вот тут-то я и решил, что завтра же уеду.

ПО ДОРОГЕ ДОМОЙ

1

На следующее утро я сказал врачу, что хочу уехать домой. Задерживать меня никто не стал. Но поскольку принять меня в больницу распорядился М. И. Погодин, то больница, очевидно, считала необходимым уведомить его, что по собственному желанию я из больницы выписался. Погодина в это время в Ельне не было: он на несколько дней уехал в свою усадьбу — в Гнездилово. Поэтому врач спросил меня, не могу ли я по дороге домой зайти к Михаилу Ивановичу и передать ему письмо. Я ответил, что могу.

Для меня приготовили рецепт на йодистый калий (я попросил об этом сам, чтобы продолжать лечение дома) и сказали, что лекарство я могу получить в городской аптеке и что платить за него ничего не надо.

Утром я сходил в аптеку, заказал лекарство, а часа за два до отхода поезда простился со всеми, с кем судьба свела меня в больнице, взял письмо, адресованное Погодину, и покинул больницу, где пробыл около десяти дней. Затем по дороге на вокзал получил в аптеке лекарство и, положив его в карман — никакого другого багажа у меня не было, — налегке зашагал по дощатым грязным и скользким ельнинским тротуарам.

Уезжал я с добавочным поездом, прибывавшим в Ельню из Смоленска около трех часов дня. В это же самое время прибывал и встречный поезд, который следовал в Смоленск. Оба состава обычно стояли в Ельне около двадцати минут: один — на первом пути, другой — на втором.

И в тот самый момент, когда я сел в свой поезд, чтобы ехать в Павлиново, с другого, встречного поезда сошел мой отец, приехавший навестить меня в больнице: я уже давно послал письмо, чтобы дома знали, где я нахожусь, и не беспокоились обо мне.

На вокзале мы с отцом разминулись: он прямо с поезда отправился в больницу, а я в это время уезжал из Ельни.

До своей станции Павлиново я доехал вполне благополучно. Не радовалось только то, что, когда я сошел с поезда, было уже совсем темно. А между тем мне предстояло пешком преодолеть двадцать или двадцать пять верст (никто точно не знал, сколько именно), чтобы попасть домой в Глотовку. Однако дорогу я знал хорошо, ходить ночами не боялся и потому немедленно отправился в путь.

В то время Павлиново состояло из двух частей. Прямо от станции начинался и тянулся по обеим сторонам широкой дороги довольно большой поселок, где жили павлиновские торговцы и находились их лавки. В этом поселке можно было купить буквально все, что требовалось для жителей деревни: всевозможные продукты питания, одежду, обувь, строительные материалы, керосин, бумагу, конверты и многое-многое другое. В поселке работали две или три чайных, была аптека, владелец которой сам ставил заочные диагнозы больным, сам же прописывал им лекарства, сам готовил и продавал их.

К павлиновскому торговому поселку примыкало и почтовое отделение, куда я не раз ездил с отцом.

За поселком был мост через реку Демена, после которого справа тянулась деревня Павлиново, обращенная к дороге не лицевой, а тыльной своей стороной, а слева — огороженный штакетником большой участок земли, заросший всевозможными деревьями и кустарниками: усадьба и парк павлиновского помещика, фамилию которого я никогда не знал.

Некогда павлиновские торговцы договорились меж собой благоустроить подъезд к своему поселку и на собственные средства покрыли дорогу булыжником. Мощеная дорога шла через весь поселок, проходила мимо деревни Павлиново и помещицкой усадьбы и заканчивалась у площади, на которой стояла церковь и дома церковного причта.

Вот с этой дороги я и начал свое ночное путешествие в Глотовку.

Надо при этом сказать, что одет я был далеко не по сезону: стоял уже конец октября, а на плечах у меня сверх рубашки был лишь летний пиджачишко, принадлежавший моему старшему брату Нилу. Обут я был в материнские ботинки с резиновыми вшивками по бокам, а также с ушками спереди и сзади, за которые обычно брались руками, чтобы натянуть ботинок на ногу. Ботинки — весьма давнего происхождения: возможно, что мать купила их еще тогда, когда собиралась выходить замуж. С тех пор они и стояли у нее в клетке: она берегла свои, вероятно первые и единственные, ботинки и даже в большие праздники не всегда надевала их. А мне не пожалела отдать и в самую распутицу, когда всюду — непролазная грязь.

В материнских ботинках, которые были для меня великоваты, как и пиджачишко с плеч старшего брата, я и шагал по павлиновской мостовой, шагал в полной темноте и в полном одиночестве. На дороге поверх булыжника образовался толстый слой жидкой и липкой грязи. Я шагал напрямиком, не ища сухих мест: их и не было, а если и были, то как увидишь в потемках, где они?

Довольно быстро я прошел все Павлиново и вышел в открытое поле. Тут никакого булыжника под ногами не было, но я все же смело и настойчиво преодолевал лужи, выбоины и топкие места. Стало светлее: взошла луна, хотя она то и дело закрывалась быстро бегущими по небу тучами.

Пройдя версты две-три, я вдруг почувствовал, что очень устал, что у меня нет никаких сил идти дальше. Я остановился. Как раз в этот момент из-за тучи вышел месяц, и я увидел, насколько хватило моих близоруких глаз, что всюду меня ждут лужи, канавы и выбоины, наполненные водой, и целые болота непролазной грязи. Даже обойти все это стороной, свернув с дороги, было невозможно: земля так раскисла от дождей, что ноги сразу же проваливались, куда бы ты ни ступил.

Я понял, что не смогу дойти не только до Глотовки, но даже до Гнездилова, которое находилось не так уж далеко. Плохо и то, что в до-

роге даже отдохнуть было нельзя. Всюду такая грязь, что и присесть-то негде.

Я стоял и раздумывал: что же делать? Можно было вернуться в деревню Павлиново и там переночевать у кого-нибудь. Но я решительно никого не знал в Павлинове. Кроме того, я всегда стеснялся и просто боялся просить других о чем-либо. Эта черта характера осталась у меня даже сейчас на всю жизнь, хотя сейчас я стал все же смелей и, бывает, отваживаюсь о чем-либо попросить.

Вернуться на станцию и провести ночь там я не догадался — очевидно, потому, что полагал: на станции мог быть лишь тот, кто пришел или приехал к поезду. А я ведь — не к поезду. Конечно, можно было со- врать. Но это тоже было не в моем характере. Вдобавок ко всему до стан- ции было уже версты четыре, а то и пять. Пройти их, да притом пройти в т о р и ч н о, казалось совсем уж немыслимым.

И вдруг со стороны Павлинова послышались голоса. Сначала они были далеко, и я едва улавливал их. Но с каждой минутой они стано- вились все громче и громче. Я понял, что ко мне приближаются какие-то люди, и стал ожидать их, надеясь, что так или иначе они мне помогут.

3

Подошли три мужика, и один из них спросил:

— Что ты тут делаешь? Ожидаешь кого, что ли?

Я рассказал все как было и закончил свой рассказ словами:

— Вот стою теперь и не знаю, куда деваться...

— А ты пойдем ко мне ночевать,— неожиданно предложил мой со- беседник.— Я — из Слепцов. Знаешь деревню Слепцы?

Деревню Слепцы я знал, хотя мне еще и не приходилось бывать в ней. Она стояла несколько в стороне от той дороги, по которой мы обычно ходили и ездили в Павлиново. И именно через эту деревню мне нужно было идти, чтобы попасть в Гнездилово к Погодину.

Изба у мужика, подобравшего меня по дороге, была небольшая, тесная.

Но хозяйка встретила меня доброжелательно, усадила за стол, что- бы я поужинал. За стол со мною сел и сам хозяин. И, ужиная, мы с ним разговаривали как взрослый со взрослым, что мне очень нравилось.

Двое хозяйских детей вертелись тут же, рядом, но я почти не обра- щал на них внимания и неохотно отвечал на их вопросы, считая, оче- видно, что они мне неровня: я по возрасту был намного старше каж- дого из них.

Спать меня положили на лавке, подстелив какую-то дерюжку. Утомленный событиями дня, я моментально заснул.

4

Рано утром — только-только рассвело — я, позавтракав ячменны- ми блинами с конопляным маслом, собрался уходить. Однако погода за ночь сильно изменилась: дул резкий холодный ветер, шел мокрый снег, то и дело переходивший в обильный осенний дождь.

— Может, обождешь? — предложил мне хозяин.— Утихомирится погода, тогда и пойдешь.

— Нет,— ответил я,— это теперь надолго: не переждешь... Надо идти... До Гнездилова как-нибудь доберусь, а там и до дому не так уж далеко — всего каких-нибудь верст двенадцать. Так что лучше пойду.

— Ну, как знаешь...

Хозяин подробно объяснил мне, как выйти из деревни, где и в какую сторону свернуть, чтобы попасть в Гнездилово. И я, поблагодарив его и хозяйку, вышел из хаты.

Сразу же на меня набросился холод, и, чтобы согреться, я старался идти как можно быстрее. Шел, не обращая внимания на дорогу: по грязи так по грязи, по воде так по воде... Между тем мокрый снег окончательно превратился в дождь, а ветер подул такой, что, казалось, он продувал меня насквозь в буквальном смысле слова. Я уже и защищаться от него перестал: бесполезно. Конечно, промок я с ног до головы. И не только сверху, но и внутри у меня как бы тоже все переполняла холодная, дождевая вода. И материнские ботинки также были полны воды, которая при ходьбе хлюпала и брызгала из них.

Но я шел и шел невзирая ни на что, а Гнездилова все не было. И меня начали брать сомнения: по той ли дороге я иду, по какой следовало? Но возвращаться в Слепцы было уже бессмысленно: до Слепцов далеко, а тут пусть не до Гнездилова, так до какой-либо другой деревни я должен вот-вот дойти, если даже и иду неправильно.

И вот я смутно увидел в туманной дождливой мгле какие-то строения.

«Ну вот и дошел наконец!» — обрадовался я. Но подойдя ближе, я понял, что это не Гнездилово. У бабы, вышедшей к колодцу за водой, я с отчаянием спросил:

— Какая это деревня?

— Как это какая? — услышал я в ответ. — Катериновка.

Я не на шутку перепугался. Такой деревни я не только не знал, но даже ни разу не слышал ее названия. И мне почудилось, что зашел я черт знает куда...

— А где же Гнездилово? — спросил я у бабы, которая с нескрываемым удивлением смотрела на меня. — Я же шел из Слепцов в Гнездилово...

— Э-э, милый...

И она начала мне объяснять, где я мог сбиться с дороги. Потом показала, как дойти до Гнездилова. Возвращаться в Слепцы для этого мне было не нужно. Но все же выходило, что я сделал порядочный крюк и ушел довольно далеко в сторону от Гнездилова.

5

В Гнездилово я пришел только около часу дня. Мокрый и грязный, зашел в просторную хату, стоящую на территории погодинского парка, почти рядом с проезжей дорогой: в этой хате жил со своею семьею погодинский кучер. Я отдал ему письмо, адресованное Михаилу Ивановичу; письмо выглядело так, словно его голько что выловили из воды, где оно лежало или плавало по крайней мере целую неделю.

Кучер и его жена почти совсем раздели меня, чтобы хоть малость просушить то, во что я был одет. Они и ночевать меня оставляли. Но я рвался домой и не соглашался ни на какие задержки.

— Нет, не останусь... Тут ведь всего двенадцать верст считается, а времени до вечера еще вон сколько!.. Успею дойти.

И, отдохнув немного, я пошел.

Дождь почти перестал, и на душе сделалось веселей. Но распутица оставалась распутицей, и продолжал я свое путешествие, пожалуй, столь же трудно, как и начал его.

Когда стало смеркаться, я был всего в пяти верстах от своей деревни. И я, наверно, одолел бы эти пять верст даже в потемках, если бы не речка Сергеевка. Эту речку — вернее, даже речонку — я знал давно. Ко-

гда отец, случилось, брал меня в Павлиново, мы переезжали ее и вброд, и по высокому горбату мосту, перекинутому через нее. Но такой, какой она представилась мне в ту осень, я ее никогда еще не видел. От обильных осенних дождей Сергеевка разлилась так широко, что я уже почти не видел противоположного берега. На середине разбушевавшейся реки виднелись лишь два или три бревна, то есть самый горб моста, глубоко ушедшего в воду. Нечего было и думать, что мне каким-либо образом удастся перебраться через этот широкий бурлящий поток воды.

Я остановился и чуть не заплакал. А может быть, и заплакал: считал себя уже дома, а очутился на грязной дороге, весь мокрый и дрожащий от холода.

Я, однако, знал, что на берегу Сергеевки есть деревня с тем же названием, что и река, — Сергеевка. Но, к моему несчастью, деревня находилась в стороне от дороги и — что самое главное — на том берегу реки, а не на этом. Все же я решил попытать счастья: по низкому и топкому лугу я прошел некоторое расстояние вправо и очутился как раз напротив деревни Сергеевки. Но тут речка разлилась еще шире — аж на целую версту сплошная вода. Кричать? Пробовал, но никто меня не услышал и не отозвался. А если бы кто-то и услышал, то что он мог сделать?

Так я и ходил взад и вперед по берегу взбесившейся реки, не зная, что мне делать. А между тем стало уже почти совсем темно, и снова пошел дождь...

И мне показалось, что с той стороны, откуда я пришел, как бы застучали колеса. Я весь превратился во внимание и через некоторое время убедился, что в мою сторону кто-то едет на телеге, спускаясь с пригорка к реке. А скоро я увидел и коня, и телегу, и мужика, сидевшего на ней, свесив ноги.

— Что, переплыть не можешь? — спросил у меня подъехавший.

— Не могу.

— Ну, ничего... Сейчас попробуем. Если мост цел, если вода не совала его снизу, то переедем.

И он пригласил меня к себе на телегу.

Переезжали мы медленно и осторожно, причем переезжали, стоя на телеге. Широко расставив ноги, он держал вожжи в руках и правил конем, а я держался за него, чтобы не упасть. Перед началом моста, скрытым водой, вода начала переливаться и через телегу и еще раз набралась в мои ботинки. Но переезд закончился все же благополучно.

6

Мой — опять-таки неожиданный — спаситель и покровитель жил в деревне Громше. Это — уже совсем недалеко от Глотовки: версты две или две с половиной.

Деревня Громша славилась тем, что там было несколько кустарных мастерских, в которых выжимали конопляное масло, причем масло весьма хорошего качества, несмотря на примитивное оборудование мастерских.

В то время коноплю в нашей местности сеяли положительно все, и конопляное масло было одним из основных продуктов питания деревенских жителей — особенно во время постов, которые в деревне, как правило, неукоснительно соблюдались.

Денег за работу громшанские кустари не брали: они оставляли в свою пользу лишь жмыхи.

Мой новый шеф как раз и ездил по окрестным деревням, развозил выделанное масло заказчикам и, возвращаясь домой порожняком, застал меня у разбушевавшейся от осенних дождей Сергеевки.

Когда мы приехали к нему домой, то он, можно сказать, приказал мне сразу же лезть на печь, чтобы согреться. Туда же забрался и мой однолесток — сын хозяина. Обоим нам дали по большому ломтю черного хлеба, обильно политого конопляным маслом и посыпанного солью. Это было очень вкусно, а на печке было так тепло и уютно, что, съев свой хлеб, я сразу же заснул.

7

На следующее утро — домой... А утро было синее, чистое, безоблачное — такое, что вчерашний дождь и все мои мытарства могли показать лишь страшным сновидением.

Мать обрадовалась, когда я вошел в хату, но тут же, как бы вспомнив о чем-то, что забылось лишь на одну минуту, начала ахать и охать.

— А где же батька? — спросила она меня.

— Батька?.. Я не знаю. Я не видел его...

И мать рассказала мне горестную историю, как отец шел буквально по моим следам и все же не нашел меня. И потому и он и она уже решили, что я, наверно, пропал, погиб где-нибудь.

Я уже говорил, что прямо с поезда отец пошел в больницу, чтобы навестить меня. А я в это время ехал уже домой. В больнице отцу моему так и объяснили, что часа три назад я ушел и отправился на вокзал. Ему сказали и то, что по дороге я должен зайти в усадьбу М. И. Погодина, чтобы передать письмо.

Отец уехал из Ельни ночным поездом и, дождавшись на станции рассвета (чего не догадался сделать я), отправился домой. Он прошел и через деревню Слепцы, где я ночевал, он в Гнездилове зашел в ту же самую кучерскую хату, где я оставил намокшее от дождя письмо и где ему сказали обо мне:

— Да, не так давно заходил сегодня. От нас пошел домой... — И отец отправился домой. Пришел он уже вечером. А меня дома нет. Я в это время сидел на печке в деревне Громше и ел вкусно пахнущий черный хлеб, политый конопляным маслом. И наутро прежде, чем я пришел из Громши домой, отправился разыскивать меня — хотя бы даже уже мертвого...

За день он обошел все деревни, расположенные на берегах разбушевавшейся Сергеевки, и у всех спрашивал, не видел ли кто-либо меня. Но меня никто и нигде не видел. И отец самым серьезным образом решил, что я утонул в Сергеевке, пытаясь перейти ее. (Где и как он сам перебирался через эту речку, когда возвращался из Павлинова, я не знаю.)

Совершенно убитый тем, что все его попытки найти меня оказались безуспешными, шел он назад — в Глотовку. И вдруг оказалось, что я дома и что со мной ничего не случилось. Он чуть ли не заплакал от радости...

* * *

Так, в сущности говоря, никчемными результатами закончилась моя поездка в Ельню и Смоленск, а затем обратно, поездка, на которую я возлагал столько надежд...

(Продолжение следует)



КАЙСЫН КУЛИЕВ

★

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

С балкарского

* * *

Печаль заглохшего колодца
И вечер знает и восход,
Гора, трава, что рядом вьется,
Хотя воды его не пьет.

Печаль заглохшего колодца,
Его тревога и беда.
И камень мучит, хоть клянется,
Что не нужна ему вода.

Печаль заглохшего колодца —
И в этом суть любой беды —
В конце концов того коснется,
Кто и не пил его воды.

Печаль заглохшего колодца
Пусть всех печалит, всех гнетет.
Беда, что в дом к соседу рвется,
Наш дом навряд ли обойдет.

Кто от несчастья увернется?
От горя спрятаться куда?
Печаль заглохшего колодца —
Твоя беда, моя беда.

ДВЕ ПЕСНИ, КОТОРЫЕ ЛЮБИЛА МОЯ МАТЬ

1

Дай, утро, обильно
Все то, что нам нужно.
Дай силу бессильным,
Здоровье недужным!

Пусть станут беспечными
Те, кто в тревоге.
Дай путникам вечным
Удачи в дороге.

Дай цель и терпение
Тем, кто идет,
Пошли вдохновение
Тем, кто ведет.

Пусть дети услышат
Лишь доброе слово,
Дай крепкую крышу
Тому, кто без крова.

Дай птицам свободным
Просторное небо,
Дай людям голодным
Хоть черного хлеба.

Дай в холод нам печь
И сухие поленья,
Немому дай речь,
А слепому — прозренья.

Дай людям, что плачут,
Надежду нечаянно,
Дай правым удачу,
Неправым раскаянье.

Пошли нам участья,
Даруй нам мечты,
Дай каждому счастья,
Прибавь доброты!

2

Пусть будет бессильный и хворый
Тобой до утра исцелен,
О ночь, обступившая горы,
Живым подарившая сон.

Храни нас, чтоб старых и малых,
Чтоб всех миновала беда.
Дома сбереги от обвалов,
От волчьих набегов — стада!

Камней не ворочай на склоне,
И малых детей не буди,
И старых людей от бессонниц,
От старческих снов огради.

Пусть гравий на горных дорогах
И речки блестят при луне,
Пусть спят медвежата в берлогах,
Малинники видят во сне.

И люди и звери устали..
О ночь, что на горы сошла,
Нас, спящих, храни от печали,
Расправив над миром крыла.

Перевел Н. Гребнев.



ЮРИЙ ШЕГЛОВ

★

КОГДА ОТЕЦ УШЕЛ НА ФРОНТ

Повесть

Наш эшелон разбомбило под Харьковом. Это утро я считал следующим после бомбежки, но я ошибался. Я проснулся на скамейке. Это была не та вагонная скамейка, на которой я лежал с мамой. И мамы не было. Я силенка вспомнить, что было вчера, но не смог — все выветрилось из памяти.

Наконец я встал, посмотрел вокруг, увидел какой-то пустой незнакомый скверик, испугался и закричал:

— Мама! Мама!

Что было потом?

Помню только, что я долго плутал по улочкам, залезал в простенки между домами, прятался за мусорными ящиками, в дворовых уборных — и все напрасно! Обязательно кто-нибудь спугивал, куда-то тащил; я вырывался, убегал. Хорошо помню приютившую меня путейку Прасковью, вагончик, в котором она жила.

Ясно помню, и это было, кажется, еще до Прасковьи, как я затесался в толпу стоявших и сидевших на корточках мужчин. Никто меня не гнал — все, наверное, думали: мальчишка кого-то ищет — отца или брата.

— Мал золотничок, лично, да дорог, — услышал я рядом.

Я обернулся — на ободранном чемодане сидел чернявый — жук жучком. В углу рта по-бандитски лепился окурок козьей ножки. Кисти рук с четырехугольными ногтями лежали на коленях. Выше запястья — якорь, звездочка из темно-зеленых, почти слитых точек. Брезентовая фуражка едва держалась блином на ухе. Черты лица чернявого выглядели крупно, размашисто, сурово, как у однажды виденного мной памятника.

— Ну, кого, лично, шукаешь? — спросил он.

Я не ответил: врать складно не умел.

— Не ищи — тут не сыщешь. Может, увели?

Он встал и, вытянув жилистую шею, посмотрел туда, где от толпы откалывались кучки людей; кто-то строил их парами, как первоклашек; они направлялись затем в узкий проем между деревянным зубчатым — точно как на моем довоенном рисунке — забором и торцом дома.

— Скажи мамке, лично, что утопали. Понял? Не то ноги отдавят — лично тебе. Где твоя мамка?

Я замер перед его вопросом, подобно побитому и голодному щенку перед дверью хозяина: откроет или не откроет? Накормит или нет?

— Хочешь леденец, лично? — Чернявый сел на чемодан верхом.

Есть хотелось до слез. Я согласно кивнул, хотя предпочел бы хлеб. Но о леденце он почему-то забыл, поднял руку и накрыл ладонью мою макушку.

Что это было за приятное чувство — необычайно! Ладонь емкая, широкая, тяжелая. Я потерся о нее ушами и близко увидел опущенные мохнатые ресницы, край синего глаза, размокший окуроч.

Чернявый легонько оттянул мне на затылке шкурку и пальцами скользнул за шиворот.

— Отощал. Тебя мамка кормит? Бегаешь, гоняешь, лично? — спросил он и попытался запрокинуть мне голову, но я упрямо вжался лбом в его плечо.

Я ни за что, ни за какие медовые коврижки, которые снились мне ночью, ни за какие игрушки на свете не согласился бы увеличить расстояние между нами.

Он ловко свернул новую самокрутку и принялся пускать дым через ноздри.

Когда двое в военной форме подошли и начали считать людей — один считал, другой ребром ладони подталкивал их друг к другу, — в число отсчитанных попал и мой новый, не знаю, как назвать его, друг, что ли?

Он подцепил чемодан и поискал кого-то глазами, но не нашел. Я даже прижал руки к груди: вот он — я! Он поймал мой взгляд и улыбнулся: ах, да — ты!

Военные быстренько построили штатских и повели в узкий проем. Я не сразу решился последовать за ними, думал: а вдруг чернявый обернется и позовет — но он не обернулся и не позвал. Тогда я пошел за ним, пересек пустое пространство, которое отделяло толпу от забора, и завернул за угол дома; в конце его увидел старинную, чугунного литья калитку, толкнул ее и шмыгнул внутрь.

У забора на табуретках сидели четверо штатских. Их стригли голые по пояс бронзовотелые красноармейцы в начищенных до блеска сапогах и шерстяных командирских галифе. Пока я соображал, почему здесь во дворе открыли парикмахерскую, на табурет опустился и тот, кого я искал. Его обернули серой простыней; осталась торчать лишь голова. Сперва ему выстригли полосу посерединке, как преступнику в заграничном фильме; это выглядело страшно. Потом парикмахер провел еще одну полосу; между выстриженными полосами осталась тонкая, дыбом стоящая стенка волос. Лицо чернявого приняло нечеловеческое выражение. Парикмахер скользнул машинкой по вискам разок, а затем, подчищая, другой. Напоследок он смахнул стенку, и... дело было сделано. Чернявый поднялся, пошевелил плечами — сбросил простыню — и отряхнулся по-гусячьи. Он залез в карман пиджака, вытянул мятую фуражку, расправил и нахлобучил ее; фуражка моментально сползла на уши. Он почесал затылок и пошел в угол, к забору, к своему чемодану, но встретив мой взгляд, замедлил шаг и заговорщицки подмигнул: не дрейфь, это нам нипочем!

Я приблизился к нему и замер, как легавая. Он закурил и, скрываясь за пеленой дыма, посмотрел на меня.

— Ну и что? Я, лично, доволен. Облегчили, — сказал он смущенно.

С голыми серыми висками, от которых оттопыривались бледные хрящистые уши, он выглядел смешно. Так вот почему мобилизованные могут забыть полотенце или котелок, но головной убор, даже жарким летом, захватывают обязательно — сообразил я. Хорош он был бы сейчас без фуражки!

— Ну и что? — переспросил чернявый. — Что на личность уставился?

Ярко-синий ядовитый дым змеился из тлеющего конца самокрутки; обугленная частичка то ли махорки, то ли бумаги, кружась, полетела вниз.

— Ты шпарь к мамке, не то обыщется,— сказал он негромко, но между тем опять накрыл ладонью мою макушку; так мы и стояли в углу до тех пор, пока из глубины двора не появился военный, тот самый, который подталкивал отсчитанных; шел он неторопливо, вразвалку, будто прогуливался.

— Эй, Синица, команда готова! — крикнул кто-то.

Тогда военный подтянулся, opravил ремень и негромко гаркнул:

— Стано-вись!

Фамилия у него была легкая, добрая; она влетела в память и как бы уселась там на ветке.

Я почувствовал, что чернявый опустил руку.

— Вот какая, лично, горбушка!

Остриженные бегом собрались в центре утоптанного двора.

— Вы что? На похороны? — сердито крикнул Синица.— Живей!

Человек пятьдесят построились в две шеренги.

— Равнение на ле..! Равнение напра..! Нале-во!

Он, по-моему, толком не знал, на что надо держать равнение. Вот пионервожатый Степка из нашего железнодорожного лагеря «Но пасаран» знал — просто командовал: «Подравняйтесь! Спрячь тапочку, лопух!»

С чемоданами, мешками, рюкзаками, торбами, котомками вытянуться в ровную линию было не так-то просто, и Синица рассвирепел:

— Барахла натаскали... вашу душу... Немец вам эти самые открывает. Разъяснения требуются?

В строю хохотнули.

— Напра... Отставить! Напра... Отставить! Напра... И на сей разок отставить! Подтянуться. Разъяснения требуются? Оправьсь! Вот так. Хорошо! Орлы! Отставить! Напра-во! — Последний звук он вытолкнул из себя, как пробку.— Шаго-о-ом...

Надо было думать, что он сейчас скажет свое любимое «отставить», но он резко и повелительно бросил:

— Аррш!..

Синица повел колонну назад, к воротам; я побежал вслед.

Через распахнутые ворота мы вышли на улицу.

— Стой. Ать-два. Приставить ногу. Эй, четвертый с краю во второй шеренге, шагай спокойно, не вихляйся, не тянись, локти не задирай, не на парад идешь, береги силу. Сейчас топаем по предписанию. Разъяснения требуются?

Слово «предписание» я спутал со словом «расписание», а так как мой отец работал в депо, то я очень хорошо знал, что оно означает.

Я предположил, что они, верно, потопают на станцию, сядут в вагоны и уедут прямо на фронт.

— Эй, четвертый во второй шеренге, твоя фамилия? Рубинштейн, что ли?

В строю опять хохотнули.

— Отставить!

Четвертый во второй шеренге ответил:

— Иванюк!

— Иванюк, кому машешь рукой? Она не увидит. Она там, а ты уже здесь — разница? Моя еще дальше, однако я тоже здесь, с тобой. Но не машу и не нарушаю. Помни, кто ты есть! Будешь помнить — жив будешь и слава о тебе останется в веках. Разъяснения требуются?

— Нет, нет.

Все дружно замотали головами: всем, конечно, хотелось остаться в живых.

— Но коли забудешь — и о тебе забудут. Здесь пятьдесят шесть. И что бы там — пятьдесят шесть! Чей оголец? — без перехода спросил Сеница.

Строй молчал.

— Чей оголец?

Неужели — ничей? — с ужасом подумал я, ведь вчера еще был мамин; и я отскочил на несколько шагов, как пес, вспугнутый взмахом палки.

— Чей оголец? Я спрашиваю! — рассердился Сеница.

Я злобно смотрел на людей и вдруг громко зарыдал.

— Мой! — признался чернявый. — Мой оголец, лично.

— Ты кто?

— Был блатной, теперя тракторист, — усмехаясь, сказал чернявый.

— Теперя-тетеря, — передразнил его Сеница. — Теперя ты красноармеец. Фамилия?

— Жук!

— Направь, Жук, сына по предписанию.

Жук вышел из строя. Он обнял меня, больно прижав носом к животу, затем подтолкнул:

— Шпарь к мамке, лично, не то обыщется.

Погладив меня, он ушел, но сейчас же снова подбежал, достал из кармана пиджака горсть леденцов и сунул мне их в руку.

— Шаго-о-м арш! — скомандовал Сеница.

Строй замаршировал по улице.

Я остался один с липкими леденцами в руке.

Вагончик, в котором я обитал не знаю уж какой день, давным-давно сняли с колес и навечно врыли в заброшенный участок насыпи. Наверное, еще до войны его выкрасили охрой, а раму окошка — белым маслом. Оттого-то наш домик уподобился кривому доброму бродяге из сказки. Я пишу «наш» потому, что там жило еще одно существо: женщина лет тридцати, путейская рабочая, или «путейка», как ее называли.

Точно таких женщин — широкоплечих, высокогрудых и угловатых — я хорошо помнил по нашему депо. Поздним вечером они собирались за угольными кучами на бревнах и пели протяжные песни. Они сидели, плотно прижавшись плечом к плечу, не по-женски раздвинув ноги, похоже, как близнецы, одна на другую — в шароварах и майках с низким вырезом. Со спины почти невозможно было отгадать, кто это — мужики или бабы. Те женщины были устрашающе бойкими, озорными и грубыми; они никого не боялись — ни жуликов, ни бандитов — и легко знакомись с каждым встречным-поперечным: кто пожелает. Да что знакомись! Они и делились не раз с кем попало деньгами и одеждой, кого угодно кормили, поили.

Их доступность, их отзывчивость не вошли в поговорку, никем не отмечены и сейчас, в мирные дни, почти забыты, однако солдаты обаяны тем женщинам мимолетным теплом, нечаянной радостью.

Путейка подобрала меня на вокзале. Она ни о чем не расспрашивала. О причине, по которой я привлек ее внимание, можно лишь догадываться. Ей, очевидно, вечерами после работы не с кем было поговорить.

Она потрясла мое плечо и удивленно воскликнула:

— Ох и голодранец же ты! — Взяла за руку и повела за собой.

Мы спустились с платформы и пошли по шпалам к огражденному колючей проволокой пакгаузу.

— Люська, ушлая, смылась,— сообщила она мне по дороге, словно я хорошо должен был знать, кто такая эта ушлая Люська и куда она смылась.

У дверей вагончика, брезгливо оттопырив губу, она обронила:

— Тебя, голодранца, пускать нельзя. Тебя драить надо. Сейчас скупнемся; Люська, дошлая, еще пожалеет.

Она вынесла дырявое полотенце и железную коробку из-под зубного порошка, с мылом.

Мы не спеша побрели через путаницу рельсов к водокачке.

— Ноготь сорвала. Думаешь, не больно? Терпеть невозможно. Прощу Парфеныча: дай новые рукавицы, хоть одну, а он спрашивает — какую, правую или левую?

Она произнесла неприличное ругательство спокойно, без злости, словно никак иначе о Парфеныче и сказать нельзя было.

— Парфеныч,— повторила она,— дрянь такая, что компостер отбить негде. Смеется, измыватель: будешь выкобениваться — под трибунал подведу, фатеру отберу. Трибуналом грозит, сволочь.

Вагончик -- это «фатера»? Да это просто никуда не едущий вагон!

— Сам в кладовой дрыхнет и чай хлещет. Я ничего не говорю — пусть себе хлещет. Не жалко — хлещи. Но дай рукавицы. А он лыбится: сейчас война и мне рукавицы для особых заданиев понадобятся. Когда они будут-то, особые задания? — сказала она возмущенно и, подхватив меня под мышки, без науги перебросила через канаву, полную мазута.

— Из-за Люськи все. На, мол, старый черт, выкуси, лучше под колеса, чем с тобой.

Мы остановились у водокачки. Это трехэтажное краснокирпичное, похожее на церковную колокольню здание высилось над вагонами, паровозами, семафорами и всеми крышами вокруг.

— Костючка крикнуть надо,— объяснила женщина. Она задрала голову и пропела низким голосом: — Коо-с-стю-ю-чок!

Он высунулся откуда-то из-под земли — из подвала, а не из окна, уставленного цветочными горшками, как я ожидал. Тощий, бледный, голубоглазый, светловолосый, встрепанный по-воробыному, Костючок не скрывал свою радость:

— Здравсте, Прасковья Никитична!

— Качни, Костючок, Люськиного брательника окатим.

— Люськиного брательника? — спросил Костючок удивленно.— Всегда пожалуйста, Прасковья Никитична.

Выскочив из подвала, Костючок подбежал к изогнутой трубе, торчавшей из-за сваленного возле водокачки кругляка, и потянул за цепь. Жестяной раструб грохотнул, из него выпал тяжелый жгут воды.

— Отлегулируй! — приказала Прасковья.

Костючок сделал едва уловимое движение, из жерла потекла струя потоньше. Прасковья проворно разоблачила меня и поставила на железный лист. Холодная вода безжалостно забарабанила по плечам. Прасковья усердно мылила спину, терла ладонью живот, между ногами, колени. Брызги обдавали ее; она подвернула шаровары, скинула блузку.

Лист у меня под ногами гремел бубном. Кожа пылала. Уши плотно закупорило, как после взрыва, ноздри позакладывало. До смерти хотелось чихнуть. Жесткие руки Прасковьи подталкивали, вертели мое тело волчком.

Я очнулся, сидя на теплом рельсе, вытертый насухо.

— Эх, теперь и я скупнусь! — заодно крикнула Прасковья.

Шаровары ее взлетели воздушным змеем и опустились на бревна, майку поднял Костючок; Прасковья осталась в голубом трико и лифчике.

— Чё растопырил гляделки-то?! Чай ослепнешь!

Костючок отвернулся.

— Отлегулирую! — повторила Прасковья.

Серебристый водопад снова устремился вниз.

С кончика носа женщины стекали дрожащие капли. Волосы ее были собраны в тугой узел. Сквозь мокрое полотно лифчика — с чашами, простроченными крест-накрест грубыми швами, — нежно просвечивали коричневые пятна.

Я не узнал ее. Красивая Прасковья.

Она вскинула руки и распустила почерневшие от воды волосы. Они рассыпались на груди, заструились прядями по спине. Майка прилипла к влажному телу, и от этого Прасковья казалась стройней, выше.

— Прощевай, Костючок. Спасибочки.

— До свидания, Прасковья Никитична, приходи мыться.

— Приду. И ты приходи.

— Приду.

— Приходи, чего ж.

— Приду, — тихо ответил Костючок.

Прасковья сполоснула полотенце, и мы отправились обратно к вагончику.

Я оглянулся. Костючок не покидал своего поста у водокачки; он смотрел нам вслед как замороженный. Мимо пропыхтел паровозик «овечка». Пар подкрался низом, окутал Костючка и скрыл от нас.

— Вот что банька делает: не иначе мать родная выродила, — весело сказала Прасковья, приведя меня в свой вагончик. — Сейчас полопаем, Люську ждать не будем.

Мы сели за стол, шероховатый, занозистый. На газете валялись усыпаные пупырышками огурцы, кирпич хлеба, сельдь, неочищенный золотистый лук и корявый помидор с зеленым, вдавленным глубоко-глубоко пятнышком.

— Вкусно.

— Еще бы... — ответил я по-взрослому.

Ели мы сосредоточенно, словно странники.

— Жуй живей — завтра с петухами вставать.

Голова сама собой клонилась к столу; Прасковья схватила меня под мышки и претащила на топчан.

— Спи.

Простыня была мятой, не особенно свежей и оттого теплой.

— Лягим вальгом.

Я уже ничего не соображал, коснулся твердой подушки — и заснул.

Когда открыл глаза, было темно, душно. Одну ногу что-то жгло. Я подтянул ее, шевельнул рукой и дотронулся до колен Прасковьи. Со спины сползло одеяло: мурашки забегали. Тогда я придвинулся к Прасковье ближе и, обхватив ее ноги, прижался щекой к ним.

Через минуту я снова спал, и спал до тех пор, пока пронзительный гудок не потревожил меня.

Железнодорожная станция не знала отдыха ни днем, ни ночью: круглые сутки перемигивались семафоры, с места на место — взад и вперед — перегоняли теплушки, цистерны, контейнеры; зловеще гудя, в белых кучевых облаках маневрировали паровозы. Постоянно пахло отработанным паром, жженым углем.

Как-то вечером Прасковья предложила пройтись. Она вытюжила мою рубашу и штаны, тщательно расчесала волосы на прямой пробор, и мы чинно двинулись к главной платформе. Ни дать ни взять — мать с сыном.

Небесный купол над нами темнел, дымы фабричных труб на другом

конце поселка недвижно, столбами, замерли в холодеющем, стынущем без солнца небе.

На платформе было малоллюдно: пять-шесть красноармейцев да две-три женщины из местных. Мы обогнули здание вокзала. Потянуло сыростью, хлоркой, от нагретых шпал — смолой; короткие порывы — их даже нельзя было назвать порывами, а так, легкие мазки — ветра приносили степной знакомый дух.

Над нами гулом прокатился голос военного коменданта:

— Приготовиться к приему санитарного эшелона! Переформирование произвести вне очереди.

Прасковья сбежала с насыпи, я за ней. Мы привольно растянулись под крутым откосом и принялись считать бледные трепещущие звезды.

Как приятно лежать на траве! Какой воздух окутывал нас! Сколько свежести, чистоты в нем!

— У меня пять, — честно признался я.

— Эх ты, слепой; у меня дюжина, — похвасталась Прасковья.

Состав возник перед нами неслышно, будто во сне.

Зеленый, обшарпанный, с кое-где выбитыми стеклами, короткий, он простучал буферами совсем близехонько. Последней была прицеплена длинная платформа с низкими бортами.

Мы вскочили; я взмахнул рукой — вообразил себя на родной станции: летом каждый день я бегал встречать и провожать товарные и пассажирские, почтовые, скорые и курьерские поезда. Кто-нибудь да отвечал мне. В крайнем случае кондуктор посигналит флажком или машинист фуражкой. Сейчас мне никто не ответил.

О стекло плющил нос усатый дядька. Его лоб и уши были замотаны бинтом.

Раненый боец Красной Армии!

— Раненые! — завопил я и бросился на откос, как на штурм крепостной стены.

Прасковья поспешила за мной. Мы побежали вдоль состава. В этот момент мой любимый мощный «ИС» — «Иосиф Сталин» — дернул и, набирая скорость, покотил, щелкая колесами на стрелках; его отводили на запасный путь.

Передо мной проплыл ряд слепых от пыли окон. Потом двинулась длинная платформа с низким бортом, испещренным меловыми зигзагами. Раненые лежали навалом на полосатых матрацах; немногие сидели или полулежали, забинтованные, загипсованные, в нижних окровавленных сорочках и кальсонах; заброшенные назад голы, вздыбленные руки; на валиках из одеял, как дула винтовок на брустверах, выставлены ноги, сдавленные шинами.

В самом углу платформы, подавшись вперед, словно собираясь взлететь, стояла девчонка в накинутах поверх халата ватнике и, прислонив ладонь к бровям козырьком, смотрела, не отрываясь, в сторону вокзала.

Я, как заяц, запрыгал по шпалам вслед санитарному эшелону. Прасковья догнала меня и отвела в вагончик.

Так закончилась наша единственная прогулка.

Как всякое истинное счастье, мое длилось недолго. Дни, прожитые у красивой Прасковьи, ничем не отличались друг от друга — горошины, да и только! После смены она возвращалась печальная, потерянная, не находила себе места.

— Эх, и ударюсь я в загул, — погрозила она кому-то однажды вечером. — Кругом война, кругом любовь.

Что такое загул? Загон или высский забор, о который Прасковья хочет удариться?! — подумал я и сказал:

— Не надо, больно будет.

Прасковья улыбунулась успокоительно. За ужином она с нежностью разглядывала мою физиономию и ерошила волосы.

— Жаль, что ты малыш-несмышлениш. И по душам поговорить не с кем. Эх, Люська — сука!

С того дня она стала возвращаться по вечерам с провожатыми. Гуляла Прасковья тишайшим образом. Водки не пила, песен не пела и ничего такого, что вызвало бы неприязнь, раздражение, брезгливость или удивление, не совершала. Лично я радовался, что к ней ходят мужчины, военные,— во-первых, они оставляли теплую постель, во-вторых, их посещения вносиле некоторое разнообразие, разгоняли скуку.

Электрического света в нашем жилище не было. Керосиновую лампу зажигать строго-настрого запрещалось. Когда станция погружалась в сумерки, я начинал тосковать, в горле застревал комок, но вспомнив, что скоро придет неизвестный и, может, очень добрый и щедрый человек, я веселел.

Ужинали обычно втроем: я, Прасковья и Он; затем я удалялся на улицу, садился на скамейку, вкопанную позади вагончика, и сторожил дверь, иной раз и до ночи. Но потом Он обязательно уходил; я возвращался и сразу юркал в постель; Прасковья не разрешала задерживаться до рассвета никому.

— Сыночку надо баньки,— объясняла она.

Я засыпал, объятый нагретыми запахами. Нарастающий, а потом затихающий шум поездов не тревожил меня.

Спать с Прасковьей в одной кровати я не стеснялся. После ухода отца на фронт я спал с мамой. Маме было страшно: ночью она судорожно цеплялась за мое плечо, вздрагивала и бормотала. Чтобы мне было теплее, мама подворачивала одеяло конвертом, и я грелся у ее живота. Когда она поднималась утром приготовить завтрак, еще долго нежное облако тепла окутывало мое тело. И здесь, с Прасковьей, было так же, никакой разницы.

Однажды в сумерках, оседлав скамейку, я терпеливо ждал, когда за марлевой занавеской вспыхнет расплывчатое пятно от керосиновой лампы. Мимо, спотыкаясь, прошел Костючок. Он приготовился было стукнуть в раму.

— Не ходи,— строго сказал я.— Прасковья стирает.

— Стирает?

— Ага.

Костючок помялся и сел рядом.

— Я вот решил в гости наведаться.

— Обожди.

Костючок оправил воротник рубашки и почистил рукавом черные брюки. Он снял кепку и положил на колено. Волосы кольцами упали на лоб. В этот момент до наших ушей донесся раскат мужского смеха. У Костючка отвисла челюсть и округлились глаза.

— Кто там?

— А один...

Что я мог сказать о нем?

Костючок подкрался к двери, согнулся, чтобы подсмотреть в замочную скважину, но я, как пес, набросился на него сзади и оттащил. В вагончике затихло. Спустя минуту я услышал голос Прасковьи:

— Игорек, кто пришел? — Такое имя она дала мне сама.

— Никого нет,— ответил я громко и погрозил кулаком Костючку.— Это я играюсь.

— Ну играйся, играйся.— сказала Прасковья.

Постояв еще немного как пришибленный, Костючок поплелся прсчь,

так и не подняв упавшую кепку. Я спрятал ее под крыльцо, то есть под две досточки, соединявшие вагончик с землей.

В темноте негромко застучали колеса: к станции подходил поезд.

Я не поинтересовался, куда он идет, на запад или восток. Я побежал рядом с пассажирским вагоном. Я был сильный и довольно ловкий мальчик, для меня не составляло особого труда вспрыгнуть на подножку.

Не пойму, что заставило меня это сделать.

Помню, как я лежал на крыше пассажирского вагона, тесно прижимаясь к железным шершавым листам.

Холодно.

Ветер обжигал, как языки пламени. Надо мной синей птицей кружилось небо; справа и слева зелеными чертиками вертелись кусты; подо мной — дикий грохот.

— Эгей!

— О-о-о...

— Эх!.. Эх!

— Иэх... Иэх!

— Ха-ха-ха...

Потом снизу стали доноситься слова:

— Что за девки лежат — бока нагуливают?

— Повылазило? Это же зенитчицы. Вон — пулеметы.

— Страшно им небось?

— А если бомба упадет?

— На то и лежат, чтоб не падала.

Толчок. Остановка.

Я встал и сосредоточенно пошел по гроыхавшей крыше.

На перроне командовали милиционеры:

— Эвакуированные прямо, к распределителю!

Я был эвакуированным — я пошел прямо. Пристроился к толпе, стараясь держаться поближе к симпатичной женщине с чемоданом. Она тянула за собой на игрушечной упряжке с бубенчиками девочку. У девочки коса, макушку ее венчал пышный бант. Женщина улыбнулась мне, вроде я ее давний знакомый.

Хорошо!

Может, милиционеры не заметят, что я без мамы?!

Нас повели к выходу, а потом через притихший город — к стадиону. Оттуда, предположила женщина, нас разведут по квартирам, накормят.

Интересно, какая квартира достанется мне?

Дадут суп или селедку?

Стадион я увидел с верхних скамеек. Он показался мне необъятным блюдом с молоденьким щавелем. Ледяной, из погреба, щавелевый борщ с яйцом и сметаной был любимым кушаньем отца. Мама покупала на рынке горку щавеля, вываливала его из кошелки в дуршлаг, мыла, а затем перекладывала на продолговатое глиняное блюдо, чтобы удобнее было перебирать.

— Какой свежий щавель. — радовалась мама. — Иди, помоги оборвать хвостики. Не ленись, иди.

Потом она приворачивала к табурету мясорубку и совала в ее жерло сочные листья.

Беженцы рассаживались по скамейкам, тихо переговариваясь. Симпатичная женщина, похожая на маму, наказывала девочке:

— Сиди спокойно, не болтай ногами... Не смотри на солнце — испортишь глаза.

Я улегся на скамейку чуть выше их, рядом с черным, подстриженным под бокс мальчишкой.

— Айда вниз,— сказал он.— Ну ее, мамусю эту, к богу!

Мы перелезли через барьер и улеглись на траве.

— Как тебя звать? — спросил он.

— Юрка. А тебя?

— Я — Марат Маткаримов — друг народа. Так меня дада называл.

— Кто?

— Дада. Отец. Я к дядьке пробирался, маминому брату. Завернули мильтоны. Теперь назад — в Узбекистан подамся, а то голодно! Ты чего больше всего любишь?

— Жареную картошку.

— Ерунда. Я казы, катык люблю. Еще каймак. Или люля-кебаб. У моего отца дома — полный дастархан. У меня отец знаешь кто? Летчик.

— У меня отец тоже на фронте. Он генерал, Сталина своими глазами видел,— соврал я.

Марат посмотрел на меня, насмешливо сощурившись:

— Ты, байгуш, заткнись лучше. Пойдем разведаем, когда кормить начнут. Я с эвакуированными всегда лопаю, а потом — айда!

В это время тут и там заплакали дети:

— Пить!

— Пи-и-ть!

И тогда низенький сухопарый человек в спортивных сине-белых тапочках сорвался с самой нижней скамейки и побежал вдоль барьера. Посередине сектора он застыл и, сложив ладони рупором, крикнул:

— Пионеры!

— Чудила какой-то... — усмехнулся Марат. — Седой, а бегаает.

— Я предлагаю вам интересную игру.

Чудила взобрался на барьер; он ловко балансировал, как гимнаст на канате. На пальце у него танцевал желтый мяч.

— Затейник! — взвизгнул кучерявый малыш в розовой майке. — Затейник!

Этот малыш первым перелез через ограду. Вниз, на футбольное поле, бросились и другие — все, кто успел вырваться из маминых железных объятий.

Женщины заволновались, зашумели, но потом успокоились.

Толпа мальчишек и девчонок собралась возле Чудилы; он разделил их на два отряда и повел всех к белому пятнышку центра. Кучерявого карапузика он вскинул на спину.

Мяч, как привязанный, катился за Чудилой. Я стукнул по нему разок; Марат всю дорогу ловчился пихнуть его носком в сторону, но мяч не менял направления — подчинялся лишь Чудиле.

В центре он выстроил нас лицом к лицу. Каждому было разрешено ударить по очереди. Если кто-нибудь нарушал порядок, то Чудила странно дергал ногой, и мяч сию же секунду взлетал к нему на плечо, оттуда на голову, и там мяч оставался до тех пор, пока порядок не восстанавливался.

Мяч летал из стороны в сторону: пах-пах-пах. Чудила, подхватывая карапузика на копки-баранки, носился с ним вдоль линий.

Игра продолжалась, пока на зеленое поле стадиона не легла тень самолета.

Когда самолет внезапно вынырнул из облаков, дети рассыпались по полю разноцветными горошинами. Сделав круг над трибунами, самолет взмыл в поднебесье. Там он подождал, пока поле очистится, и снова вынырнул из-за высоко плывущих облаков.

Марат и я успели плюхнуться между первым и вторым рядом.

Нудно гудел этот немецкий разведчик, кружась над трибунами. Зла

он не причинял нам. Впрочем, он все-таки дал напоследок парочку очередей по желтому мячу: заметил-таки его.

— Гадина тупая! — выругался Марат, подняв голову. — Айда отсюда. Еще укокошаг.

И я покорно побежал за ним.

Попав под власть Марата, я вскоре оказался в старинном среднеазиатском городе. До него нас довезла в своем купе молчаливая проводница; кормила щедро хлебом, картошкой в мундире, яблоками. Марат говорил, что здесь у него живут родственники отца и все мальчишки в шанхае знакомые. Но, приехав, он сразу же забыл о своих посулах.

Куда деваться?

Побродили по улицам и пошли на базар да там и остались, заночевав внутри пустого, провонявшего мочой ларька по ту сторону базарной ограды. С утра мы сновали между прилавками в поисках пищи и лучшего убежища, но ящики, рундуки и лари давно были уже оккупированы другими такими же, как мы, бродягами.

Ночью мы дрогли в рваной одежонке, пытались, обнимая друг друга, согреться и с нетерпением ждали первых проблесков солнца.

Главной нашей заботой был хлеб насущный. На базаре, несмотря на войну, еще громоздились горы фруктов, продавались теплые плоские лепешки, всевозможная зелень, живая птица и молодые барашки — да чем только там не торговали! — однако досыта накормиться нам удавалось не каждый день.

Ласковее всех относились к нам пожилые русские торговки и молодые узбечки. Кто за мелочную помощь, кто просто так — из жалости. Старые же узбеки гнали нас.

Марата подаяния не устраивали. Дела — вот чего он желал; дела и постоянного пристанища. До нашей встречи куда его только не носило. Был в Оренбурге, Семипалатинске, в Уфе, но вот до Горького, где жили его родственники, не добрался. Теперь он рассчитывал зацепиться здесь.

Он был старше меня лет на пять. По отцу узбек. Глаза будто угли, чуть-чуть раскосые, а нос вздернутый, очевидно, материнский, волжский. Пройдя огонь, воду и медные трубы, Марат больше всего ценил волю и все удовольствия, связанные с ней.

Родителями, сгинувшими неизвестно при каких обстоятельствах, Марат гордился, но рассказывал о семье путано и неохотно.

— В Индию сбегу, к слонам, — блестя глазами в ночи, скрючившись от холода в бублик, часто говорил он, — или в Новую Каледонию, есть такое государство. К океану бы! На Арал прошлым летом собрался — угодил в Семипалатку. Ух, черт! Вай-дод! Желдакам живой не дамся.

Милицию Марат не любил и боялся.

Меня он взял к себе в адъютанты, хотя оттого ли, что я находился в состоянии беспамятства, оттого ли, что мне недоставало сметки, пользы от этого ему было мало. Частенько Марат ругался и поколачивал меня, но так как я не сопротивлялся и был предан ему по-собачьи, то, в общем, мы жили в согласии: ночью — ларек, утром — базар, днем — участок площади у чайханы, вечером — скверик близ памятника погибшим революционерам.

Города я почти не помню. Помню только базар, осенние краски обмазанных известью деревьев и терявшее свой жар солнце.

Воздух светился хрустальной бирюзой, но с каждым днем становилось холоднее. На базаре старики плотнее запахивали халаты, глубже надвигали на лоб тюрбетейки, ту же стягивали засаленные платки вокруг талий. Немногие задерживались до позднего вечера посидеть под оградой. Постепенно уменьшался и привоз; базар кончался рано; площадь

пустела; решетчатые ворота задвигали засовом, когда солнце еще плавало в небе. Легкий ветер взвинчивал пыль, песок, подкидывал бумажки, обрывки газет, мусор.

На городском базаре, или, как его называли, Виноградном, было много псов, все молчаливые, облезлые. На людей они обращали мало внимания, привычно подставляли им под удары свои провисшие, жесткие, костистые спины, не огрызались и не лаяли.

Удивительные создания базарные псы! Я дружил с ними. Случалось, и спал в обнимку. Моя дружба с Желтым началась с того, что я спас его от разъяренной торговки мясом. Желтый стянул у нее кость и вприпрыжку удирал, петляя меж людей, проскальзывая под прилавками. Он хотел быстрее добраться до дыры в ограде, известной немногим постоянным обитателям базара. Старые узбеки, ругаясь, били его по ребрам палками, пинали, бросали камни; Желтый, молодчага, не сдавался. Он только вздрагивал и упрямо продолжал свой путь. Торговка нагоняла. Тогда я с воплем, похожим на плач, кинулся ей под ноги; тем временем Желтый успеллизнуть. Меня здорово потрепали.

Властителями Виноградного были Шухрат, Вася-поп и Майдык. Весь базар трепетал перед ними, потому что за их спиной стоял кто-то еще более могущественный, которого хотя и нет в данную минуту, но который тотчас явится и наведет порядок, если они его позовут. Все базарные мальчишки встречали их заискивающими улыбками и пользовались каждым случаем, чтобы показать им свою преданность.

Марат, выполняя разные мелкие поручения этих базарных властителей, сумел быстро выслужиться перед ними. Шухрат разрешал ему носить воду к отдаленным от колонки прилавкам и продавать по десять копеек за кружку. Такой привилегии добивались многие; получали ее избранные.

Иногда по вечерам Шухрат, Вася-поп и Майдык зазывали Марата в особое тайное, известное одним посвященным место. Возвращался он оттуда возбужденный до крайности, его антрацитовые глаза молниями сверкали во мраке. Марат садился возле, свертывал папироску — я не знал тогда, что это за курево, — и рассказывал легенды, а может быть, и правду о подвигах воров и блатных. Я относился к его историям почти равнодушно и обычно засыпал на полуслове. Но песенки я любил и охотно подтягивал:

Ах, планчик, ты планчик, ты богия травка,
Отрада бродяг шипачей.
Как плану покуришь, так все позабудешь,
Верти, брат, по плану скорей!

Как ни удивительно, но драки на Виноградном происходили редко, хотя кое-кому перепало сильно. Строгая иерархия, основанная на слухах о том, кто за кого заступает, кто за кого «тянет», приводила к тому, что одна сторона наносила удары, а другая принимала их. Если случалось, что побеждал кто-нибудь из не имевших сильного покровителя, то он должен был немедленно сматывать удочки.

Как-то я увидел в пестрой толпе смуглого, гибкого, как тростинка, молодого узбека, перехваченного в поясе красным платком, угол которого свисал на бедро. Он устанавливал на прилавке плетеную корзину. С ним был старик в войлочной круглой, простроченной зигзагом шапке. Возле парня терся Шухрат, намеревавшийся получить узаконенную базарными обычаями дань. Но парень оказался не из рубкого десятка. Он не обращал никакого внимания на прозрачные намеки Шухрата.

Шухрат презрительно сплюнул. Парень пожал плечами и безразлично отвернулся. Тогда Шухрат подошел ближе и, откинув с корзины край марли, бесцеремонно запустил под нее руку. Парень оттокнул его. Шухрат матерно ругнулся. Молодой узбек не стерпел и, коротко размахнувшись, ударил обидчика в грудь. Шухрат упал.

Шухрат упал!

С одного удара свалить наземь такого верзилу, как Шухрат, не просто. Вокруг все живое окаменело; даже ишаки перестали прятать ушами: прислушались.

Шухрат полежал, а потом прополз несколько шагов и замер; из-под локтя метнул остервенелый взгляд. Молодой узбек подцепил его тюбетейку — дорожную, черную, расшитую серебряной нитью, но засаленную, — отряхнул ее от пыли и, сняв свою — дешевую, цветастую, чистую, — примерил; покачав головой, поцокав восхищенно языком, он бросил Шухратову тюбетейку на прилавок и неторопливо направился в чайхану. Старик в войлочной шапке остался с корзинами; одобрително кивая, он смотрел ему вслед.

Шухрат долго валялся, скрипел зубами и постанывал, закрыв лицо ладонью, — переживал свой позор. Никто не решался к нему подойти. Наконец Шухрат вскочил и кинулся к колонке мыться. Марат услужливо надавил на рычаг, но Шухрат жестом куда-то его отослал. Сейчас произойдет нечто ужасное, сообразил я и побежал кружным путем — через переулки старого города — к чайхане. Втиснувшись меж неподвижных ватных спин и отыскав молодого узбека, я шепнул ему украдкой:

— Рви когти, рви.

Он не сразу понял, опустил пиалу на вытертый до дыр ковер и удивленно посмотрел на меня.

— Рви, — повторил я и, нагнувшись, притворился, что шарю по полу в поисках монеты.

Я сознавал, что нарушаю один из самых суровых из когда-либо существовавших законов и это подводит меня к краю пропасти.

Выскользнув из чайханы через чадную, с синим воздухом кухню, я увидел, что на заваленном фруктовыми корзинами пустыре околичивается Майдык. Значит, Вася-поп ждет на веранде, подумал я и не ошибся. Вася-поп действительно сторожил на веранде. Сдвинув на брови тюбетейку, он лениво сплевывал между коленями: на плитах образовалась лужица пузырчатой слюны.

Я отбрел в тень, к арыку, и сел на корточки.

Сейчас, сейчас, сейчас...

Допив чай, молодой узбек спустился с крыльца и скрылся за грудой корзин. Я догадался, что он пошел в уборную, и потащился вслед.

Дверь уборной плечом подпирал Майдык. Позади несчастного неслышно вырос Вася-поп. Он мягко упал на четвереньки, как кошка, и затаился; со лба его свисала косая бандитская челка.

Майдык что-то втолковывал узбеку. Когда тот отрицательно помаhal рукой, Майдык подпрыгнул, нанося ему удар снизу теменем в подбородок. Узбека шатнуло; он отступил, споткнулся и перелетел через Васину спину. Майдык дал ему возможность подняться. Вскочив, узбек отважно бросился вперед. Но у Майдыка между пальцами уже была зажата «писка» — бритва, вставленная в держак, какие продаются в магазинах канцпринадлежностей.

Взмахнув рукой, он очертил плавную дугу; узбек закрыл переносицу локтем и опустился на колени.

— Иах! Ах!..

Майдык и Вася-поп побежали к ограде. Минута — и они, отодвинув рейку, нырнули в тайный лаз.

С веранды посыпались торговцы.

Они подхватили узбека под мышки и, приложив к его залитому кровью лицу замызганный фартук, повели. Задыхаясь, приковылял старик в войлочной шапке. Он на ходу горестно восклицал:

— Вай-дод! Вай-дод!

Чайханщик и председатель базарного комитета, или базарком, как его звали, посылали друг друга за постовым милиционером:

— Ты иди.

— Нет, ты иди.

— Это твое дело...

Они-то хорошо знали, чьих рук это дело.

Долго я сидел, забившись под прилавок. К моим ногам кто-то швырнул огрызок яблока. Я подобрал его, потер им болевшую ступню.

Спустя немного времени в колени мне ткнулась волчья, но добрая морда Желтого. Тогда я отшвырнул скользкий огрызок, схватил Желтого за некогда сломанное свисающее мохнатое мягкое ухо и побрел куда глаза глядят. Когда миновал веранду, чей-то скрипучий голос повелительно произнес:

— Ты ловкий мальчик. Подойди-ка сюда.

Обернувшись, я увидел старика с крючковатым носом. Я и раньше встречал его на Виноградном, но обходил за вёрсту: боялся, как черта.

В щель вижу, как начинает желтеть небо, слышу какие-то шорохи, щебетанье птиц, кто-то медленно зашаркал по деревянному настилу; зафыркал ишак — базар нехотя просыпался. Внезапно, как красный буй из-под воды, появилось солнце.

Я лежу внутри большого, сколоченного из узких неструганных досок рундука, в котором хранятся корзины, мешки и всякое тряпье; пола нет, полом здесь служит утоптанная земля. На ветоши прерывисто храпит страшный старик с крючковатым носом, укрытый стеганым халатом.

Рядом крепко спит Марат: под затылком матросская шапочка блином — бескозырка с лентами. Полустертое теперь слово на околышке выведено по трафарету золотом. Бескозырка поношена, затаскана, но для Марата она дороже золота, и он ни на минуту не расстается с ней. Она — предмет моей лютой зависти.

Где он ее стянул?

Уши у него как у ягненка — торчат в стороны. Голова круглая, как глобус, немного свернута набок, шеи нет, руки короткие, толстые. Уродец, но симпатичный.

Старик — мертвец мертвецом. После драки у чайханы мы с Маратом целиком попали под его власть и переселились к нему в рундук.

Старика звали хаджи Салим. Он был главнее и Шухрата, и Васи-попа, и Майдыка. Мы это почувствовали сразу. В будни он обычно раскачивался на коврике у ворот, бормотал, пел, грозил пальцем всякому, кто тревожил его. Кормился он и содержал обслуживающий персонал — то есть нас — за чужой счет. Пригонит какой-нибудь узбек изда-лека арбу, поставит ее на площади, слезет в пыль, разомнет ноги, сделает пару шагов, оглянется, и будто током его ударит — старик тут как тут: расправит коврик у колес, погладит его любовно, сядет по-турецки и начинает шептать: хурды-балды-мурды.

Хозяин, если не дурак, хлопает ишака по холке, ощупывает задние ноги, а сам исподтишка пытается заглянуть в лицо старика и разобрать, что тот шепчет, не призывает ли шайтана на его голову.

Но тщетно!

Тогда хозяин начинает рыться в арбе, выбирает ярко-желтую, вытянутую, как глаз красавицы, дыню и осторожно кладет ее на коврик. Если старик перестает шептать — все в порядке; хозяин может идти и спокойно выбрать себе место по вкусу; но если тот не унимается, значит, одной дыни мало — нужно прибавить кусок сыра или полдюжины персиков. Чем скорее это поймет хозяин, тем лучше.

Свою дань старик аккуратно связывал в коврик и уносил. Часть добычи передавалась матери Майдыка, продававшей товар поштучно или кучками, как выгоднее.

Силы свои старик подкреплял разболтанным кислым молоком, лепешкой, сыром и тыквенной кашей. Девчонки с бесчисленными косичками таскали ему еду в плоских коричневых мисках, сделанных из необожженной глины. Сыр он лопал утром, кашу в полдень, кумысом наливался вечером; кумыс вонял так, что мы с Маратом затыкали ноздри, когда сцеживали его из кожаного мешка в пиалу. Нас старик кормил до отвала вареной бараниной и фруктами; взамен требовал, чтобы в холодные ночи мы грели его своими телами. Изредка он посылал с поручениями: ну, например, сбежать в контору к базарному или на площадь и передать какой-нибудь личности персиковую косточку или найти на веранде, где пили кок-чай и жевали соленый миндаль, человека, подпоясанного узорчатым платком, да сунуть ему тыквенное семечко. Личности эти выглядели отвратительно, звали их планакешами или трясунами. Но какое нам было дело до них? Раньше намаешься с корзиной — получишь яблоко, лепешку; съел — через полчаса голоден, опять принимайся за корзины. А тут отнес косточку — и сыт целый день, и никто не смеет тронуть тебя.

В первый день недели, когда с базара уезжало много арб, старик улетучивался, как тень после заката, и возвращался в сумерках. У порога нашей обители он вытирал ноги мокрой, приготовленной нами загодя тряпкой, вползал в рундук и зажигал фитиль; лицо его часто искажала злобная гримаса: дела, видно, шли не шибко. Старик громко ругался, грозил кому-то кулаком, харкал жиденькими плевками и вообще всячески выражал свое неудовольствие. Трудно было догадаться, в чем состояла причина его гнева. После таких припадков утром напротив рундука одна за другой возникали фигуры планакешей в халатах нараспашку. Планакеша стояли в одной и той же почтительной позе и, скорбно понутив головы, молча молили о прощении, которое не поступало иногда до самого вечера. Обычно это были молодые, начинающие трясуны. Старик ловко притворялся, что не замечает их. В такие минуты он подзывал меня, сжимал попку бугристыми, безжалостными коленями и зловеще шептал:

— Посмотри вон на того негодяя. Он ленив, как жена ишака, он глуп, как бляшка, он слеп, как крот. Я изжарю и съем его, потому что он — ссучился. Хочешь спастись?

Я, дрожа от ужаса, кивал.

— Бери пример с Марата Маткаримова. Он далеко пойдет. Он скоро не будет жить на Виноградном.

Марат быстро входил у него в доверие.

— Ты должен повиноваться хаджи Салыму и молчать!

Не приснилось ли все это мне в дурном сне?

Нет, все это было явью.

Каким я себя помню?

Волосы длинные, спутанные, сальные. Ногти на руках обломанные, отросшие. Желтые, чуть загнутые, с траурной каймой. Живот втянут до позвоночника. Коленки покрыты незаживающими ссадинами — вавка-

ми, так их называла мама. Ноги давно уже без сандалет, в трещинах, струпьях, вместо ногтей на пальцах гноящиеся ранки; на правой ступне у подъема — след ожога. Помню, что сковорода, на которой шипела в подсолнечном масле рыба, опрокинулась; помню боль; помню, как катался по настилу из сосновых досок у реки, но не помню, ни где это было, ни кто жарил рыбу, ни отчего сковорода опрокинулась.

Передние зубы выбиты.

Таков я был осенью сорок первого года.

Ничего себе — ребенок приличных, интеллигентных родителей!

— Воровать запрещаю,— предупредил грозно хаджи Салим,— ты слишком глуп.

Он почти не употреблял узбекских слов. Кто он был по национальности, не знаю.

Я кивнул.

— Надо отвечать: слушаю, хаджи!

Я открыл рот:

— Шушаю, хат-т-шни.

— Посмотрим, что с тобой можно сделать. Ты русский?

Я молчал.

— Отвечай!

— Не с-на-юю.

Марат догадался о его намерениях и пожалел меня:

— Не выворачивай ему веки, хаджи.

— Молчать! А не то...

Марат потупился.

— ...прикажу — и твоего отца повесят, мать бросят шакалам. Она заслужила: не научила тебя языку родного отца.

Марат опустил голову ниже; под кожей у него вспучились желваки; он сдернул бескозырку и отер мгновенно выступивший пот. Хаджи Салим приблизил свое лицо к моему, рассматривал его.

— Попробуем.

Он вытер пальцы о халат и легонько оттянул правое, да, вначале правое веко.

— Раз!

И мое веко — о ужас! — вывернулось почти наизнанку. Боли я не чувствовал.

— Молодец,— подбодрил хаджи.

Он немного оттянул и другое веко — левое.

— Ха,— выдохнул хаджи и ловко произвел такую же манипуляцию.

Я вовсе перестал видеть, но по-прежнему не чувствовал боли и ощупью двинулся в неизвестном направлении.

— Стой! Повернись.

Я повернулся.

— Гляди вниз.

Сквозь узкую щель жемчужным светом мерцала утоптанная земля. Я закинул лицо повыше и довольно ясно смог разобрать все, что творилось вокруг.

Хаджи снова притянул меня к себе. Он коснулся надбровных дуг, и меня сейчас же ударила тупая боль. Хаджи сильно надавил на глазные яблоки. Я испугался; из горла вырвался вопль; я шарахнулся, наткнулся на корзину из-под фруктов, оцарапался и упал ничком. Марат подскочил и прижал меня коленкой.

— Не надо, хаджи; пусть привыкнет. С зернами сразу тяжело.

— Пусть, а то брыкается, как жена ишака.— И хаджи добавил несколько слов, которые звучали примерно так: аборды-карды-марды.

После этого хаджи частенько начинал свое утро с того, что выворачивал мои веки, и я бродил по Виноградному до сумерек, осваиваясь с новым положением слепого. Дней через десять хаджи затолкнул мне под веки по зернышку; предварительно он велел мне немного погреть их во рту.

Краешки век воспалились.

— Куда лучше,— после осмотра удовлетворенно заключил хаджи Салим,— на трахомного похож. Будешь ходить в город. Понял?

Я не понял, но кивнул, соглашаясь.

Однажды в разгар торгового дня солнце потемнело, набухло, словно перед грозой, но дождь так и не выпал. Взвинчивая штопором мелкий мусор, налетел колючий ветерок. Ишаки заорали, теряя слюну и дергая уздечками; засуетились продавцы, спеша укрыть свои товары. Верблюды повернули спины к ветру и легли, спрятав за туловища малюсенькие, на змеиных шейх, головы. Мальчишки рассказывали всякие басни про них — будто эти животные, разъярившись, до смерти заплываюют людей дурно пахнущими комьями. Я верил и верблюдов поэтому не жалел, а вот ишаков жалел. Серенького бедняжку, забытого хозяином, я завел между прилавками и укрыл мешком. Ишачок сразу послушался и благодарно стриганул ушами.

Сам я вполз в рундук. За мной увязался какой-то кряжистый старик с курчавой бородой. Я думал, что он ищет укрытия от ветра, и ничего не сказал: пусть себе. Но я ошибся: старик пришел в гости к хаджи.

Хаджи Салим вскочил.

— Ва алейкум ассалам! — ответил он на приветствие гостя.

Я никогда не видел Салима таким вежливым, таким подобострастным. Несмотря на страшный ветер, он отослал Марата за угощением и выказал пришельцу особый знак внимания: достал из мешка чистую розовую накидку. Меня он заставил сгresti в угол тряпье и приготовить гостю сиденье. Выполнив приказ, я отполз к стенке и неожиданно вскрикнул; со мной теперь частенько случалось такое, но зато после я чувствовал облегчение: комок из горла исчезал. Хаджи замахнулся и хотел было выгнать меня из рундука, но пришелец жестом удержал его и, повернув мою физиономию к свету, спросил:

— Ты кто?

Я не ответил.

— Я больше не буду, ака! Я больше не буду, ака! — твердил я как заведенный.

Тогда пришелец, пошарив в кармане пиджака, вынул таблетку и, больно сдавив мои челюсти, принудил разжать их. Через минуту возникло странное ощущение — язык распух, одеревенел и заполнил рот до отказа.

— Ты кто? — повторил свой вопрос старик.

Хаджи неопределенно качнул чалмой, как засохшая коробочка хлопка на ветру. Пришелец удобно устроился, закрыв колени накидкой. Он хитро покосился на Салима, дернул веком и спросил:

— Слепого лепишь?

— Так точно, господин.

— Душу невинную, безгрешную не сгуби.— Старик печально опустил ладонь на мою макушку.

— Он привык уже.

— Ловкач ты! Недаром говорят: бойся мусульманина, трижды посетившего Мекку.

— Правильно говорят. Каждому ли дано трижды увидеть Каабу?

Долго, пока ветер бешено носился в узких лабиринтах между прилавками, они вели загадочный для меня разговор. Потом в рундук вполз Марат; в мешке он приволок угощение.

Ночами я спал крепко, без сновидений; просыпался на рассвете и, чтобы не разбудить хаджи — хотелось поваляться подольше, — старался ровно дышать, но эти маленькие хитрости редко помогали мне: хаджи поднимался рано. Проснувшись, он торопился в город и перед уходом вывертывал мне веки. Теперь Салим всегда брал меня с собой.

Но я так и не разглядел этого города; зато на тротуарах и мостовой каждую трещинку помню.

Говорят, что купол неба здесь такой ослепительный, что он напоминает магический кристалл эмиров. Говорят, что в этом городе такие высокие мечети, какие не часто встретишь и в святой земле; говорят, что в этом древнем городе художники сотворили узоры на стенах такой красоты, что воинственные пришельцы, бросаясь на приступ их, застывали, как молнией пораженные; говорят, что в этом городе такие прелестные девушки, что даже дети сравнивают их с цветущим миндалем; говорят, что в этом городе даже засохшая ветка, воткнутая в песок, зеленеет.

Да чего не услышишь об этом славном городе — жемчужине ислама!

А мадрасы!

Великие изречения, выбитые над их входом, стоят, по мнению знатоков, ученых книг всех веков и народов.

А минареты!

Тонкие, изящные, они взлетают к светилу, как руки женщин.

А напоенные прохладой, как чаши ледяным шербетом, мавзолей!

И купола, купола, купола! Ребристые, гладкие, одетые в голубые изразцы, тающие в вышине: «Купол ее был единственным, если бы небо не было его повторением...»

А я ничего этого не рассмотрел.

Встречные на улицах, конечно же, обращали внимание на слепого мальчика; меня жалели, везде пропускали без очереди; к хаджи Салиму относились с почтительным состраданием. Бедный старик, он сам-то еле видит! Ну и семейка! За что их наказал Аллах? Или Христос? Или Иегова?

Помню, мы несемся в тряском вагоне трамвая. Звонок. Остановка. Кто-то склоняется надо мной.

— Почему не лечишь его, дидусь?

— Лэчим, лэчим, — отвечает хаджи. — Лэчим, лэчим, но не вылэчим.

— Сходи в госпиталь: там помогут.

— Дэньги, дэньги!

— При чем здесь дэньги? Скажи на проходной, что прислал комиссар Кругленко.

Дорогое, знакомое, полустершееся в памяти слово «комиссар».

Я скидываю голову и в щелочки распухших век рассматриваю золотые пуговицы с выпуклыми звездочками.

— Ясно? — спрашивает комиссар.

— Дэлаем, дэлаем — ничего не сдэлаем, — бормочет в ответ хаджи.

— Мальца-то жаль.

Трамвай скрежещет тормозами, и я чувствую — возле снова пустота.

Идем в гору, кто-то спрашивает:

— Тебя как зовут?

Я по-ишачьи вытягиваю голову.

— Ты местный?

Я не знаю, что ответить. И да и нет.

— Нет,— решает голос.— Трахомой болел? Как же ты ходишь?

Между нами падает тень; Салим подносит к моим губам стакан с газировкой; я глотаю судорожно, с восторгом: острые стрелы впиваются в нос и гортань — приятно.

— Веди его в поликлинику. Найдешь Булата Кожебергена.

— Кожебергена, Кожемергена,— мямлит хаджи, оттаскивая меня прочь.— Казах-мазах.

Он выражал недовольство, когда кто-нибудь обращался к нам; он хотел, чтобы нас жалели, расступались перед нами, но не приставали с расспросами и не предлагали помощи.

Зачем хаджи таскал меня по городу?

— Куда путь держишь, аксакал? — спрашивали его.

— Разве не видишь? К врачу внука веду,— отвечал хаджи.

— К врачу?

— Вот внука — видишь? А он не видит: совсем заболел; глаз нет; глаз нет — неба нет, неба нет — солнца нет, а в нашей стране все солнце должны видеть, все под ним должны греться,— причитал хаджи.

— Верно говоришь. Ну иди, иди.

Ах, старый мерзавец, хитрец! Свои льстивые речи он произносил с совершенно невозможным акцентом.

Квадратный дворик, геометрически правильный, чистый, как палата в пионерлагере.

— Сань, Сань, влепи ему пару горячих.

— Не хочу — он слепой.

— Черт с ним. Гони!

— Может, он вакуированный?

— Какой он, к черту, вакуированный? Он же слепой!

— Ну? Идет, что зрячий.

Скверик у горсовета.

— Вторично примечаю. Неделю назад ты здесь болтался. Чего ищешь?

— Комиссара Кругленко.

— Кругленко? Ну, иди.

Ноги у Салима здоровые, жилистые, привыкшие к ходьбе, твердые, что ветви саксаула.

— Осторожно, ступеньки,— прошипел Салим.

Я шагнул вперед. Раз, два, три. Три ступеньки. Салим прижал меня к стене, зашарил пальцами по моим векам и возвратил их в нормальное положение.

— Отдыхай.

Мы находимся на площадке позади кирпичного дома с плоской крышей. Дверь в комнату на первом этаже открыта. Там в сумраке на пушистом, расшитом птичками ковре, развалиясь, сидел знакомый кряжистый старик. Хаджи низко поклонился ему и на полусогнутых ногах нырнул в дверь.

Я взобрался на ноздреватые камни, лежавшие под окном.

Неподалеку журчал ручей — вода струилась из кем-то забытого шланга.

Ниже второго этажа дом опоясывала галерея на деревянных витых столбах; карниз ее в давние годы облицевали плиткой — зеленой, как листья салата; теперь она кое-где обвалилась, но цвет не потеряла. На ажурных перилах проветривались тугие подушки — синие, желтые, красные — и легкие кисейные накидки. Смуглые руки в съезжавших до локтей браслетах распахнули одну за другой оконные рамы. Отмытые

стекла, вправленные в узкие свинцовые квадраты, качаясь под слабым ветром, запустили в белую стену флигеля напротив солнечные зайчики.

С галереи во дворик спустился мальчуган лет десяти. Макушка его, выбритая до синевы, поблескивала на солнце; он был обряжен в желтые шаровары и белую шелковую майку. Подбежав на цыпочках, мальчуган неловко положил передо мной на камень лепешку и стремглав бросился обратно на галерею. Там он свесился через перила и, болтая руками, следил, как я ем.

Жуя лепешку, я прислушивался: о чем они там толкуют?

Я слышал только, что хаджи жаловался на цены — упали: мало хрустов дают за планчик.

Потом хаджи подошел к окну, и возле камня, на котором я сидел, шлепнулся сердитый плевок.

Я возненавидел хаджи и ненавидел его с каждым днем все яростней. Когда он приближался, бешенство охватывало мое существо; когда же его цепкие пальцы шарили по моим векам, сдавленное, глухое ворчание рвалось у меня изо рта. Но хаджи будто ничего не замечал.

Беззвездной осенней ночью я выскользнул из рундука, как тень. Я не знал, что делать дальше, — окончательный план не созрел. Я вспомнил о Желтом.

Желтый сладко дремал у забора, судорожно скрестив худые когтистые лапы с плешинами от лишаяев. Я растолкал его. Желтый грустно мигнул и уткнулся мне в колени.

— Желтый, милый, — шептал я, ласково почесывая его за ухом. — Пошли.

Желтый раздвинул лапы и энергично мотнул мордой — встряхнулся.

— Пошли, Желтый, скорей!

Вдали между домами кусочек неба над горизонтом медленно светлел. Мы бежали кривой гористой улочкой прямо по бровке арыка к центру.

— Джульбарс, Джульбарс, Карацупа, Карацупа! — громко выкрикивал я ни с того ни с сего пришедшие на ум имена.

Улочка выходила на площадь с монументом погибшим большевикам.

Что теперь делать?

Наконец я принял решение и спрыгнул с тротуара на мостовую. «Если ты потеряешься — не реви, найди милиционера», — учила мама. Издалека дошли до меня эти слова.

Сердце глухо колотилось. Дыхание прерывалось; пальцы конвульсивно, до боли в ногтях, скубнули шерсть верного товарища; бедный пес жалобно взвизгнул.

Не знаю, долго ли я пересекал площадь; у фонарного столба, пыхая папирсой, дежурил милиционер.

Уже начало светать, когда мы остановились у дверей базарного комитета.

Желтый, извиваясь от услужливости, нырял под прилавками; он то и дело возвращался и заглядывал в лицо милиционерам.

Милиционеры сели на землю и сдернули сапоги.

— Давай, показывай, — приказал строго один из них, усатый.

Он отстегнул кобуру и достал наган. С наганом ничего не страшно, решил я. Если хаджи рыпнется, милиционер ка-а-к пальнет — не обрадуется Салимушка.

Наш рундук зеленел вдалеке. Я ткнул туда пальцем и плюхнулся на живот в ужасе. Что со мной теперь будет?

— Там,— шелотом сказал я.

Рундук был наполовину открыт. Фонарь осветил его. Усатый отодвинул заслонку до упора и влез внутрь.

— Тянем локш, Раззаков, локш!

Голос усатого донесся, как из колодца,— глухо.

— Мешки да рвань.

— Шарь, шарь, может, и есть кто?

Желтый гавкнул и вильнул хвостом.

— Чего, Мелешкин?

Мелешкин, пятясь, выволол тряпье, на котором мы спали: ни хаджи, ни Марата!

— Все.— Он тщательно очистил галифе на коленях.

Раззаков задумчиво копался в куче тряпья.

— Смылись.

— Почуяли, падлы, и смылись,— согласился с ним Мелешкин.

— Ясно.. Иначе чего бы малый в ночь-полночь притопал? — сказал третий милиционер.

— Ну, айда,— предложил Раззаков.— Доложим Майстрюченке.

Он подозрительно сощурился в мою сторону.

Только теперь до меня дошло, что Салим каким-то чудом предугадал опасность и успел смотать удочки, и тревога, подкатившая из глубины моей души, залегла под челюстями как раз у тех мест, на которые давил врач там, дома, в железнодорожной поликлинике, когда у меня от простуды вспухали железы.

Хаджи отомстит, обязательно отомстит. Даже Желтый понял весь ужас нашего положения: когтистые лапы цаппали утрамбованную тысячами подошв почву, глаза вопросительно уставились на меня — ведь в эту историю его втянул я. Я!

Милиционеры надели сапоги, опустили на корточки, закурили и принялись тихо обсуждать что-то. Я не подслушивал: меня било мелкой дрожью. И милиционеры не следили за мной: куда я денусь, раз сам отдался в руки закона?

Но я уже готов был бежать куда глаза глядят. В это мгновение Мелешкин тряхнул мешок; тяжелый предмет звякнул о камень. Раззаков нагнулся и искал под прилавком.

— Ого! Ай-яй-яй...

Сверкнула широкая зеркальная полоса.

— Пчок? Смотри, Тимур.

Пальцы Раззакова сжимали рукоять старинного кинжала.

— Пчок?

Раззаков передал оружие Тимуру.

— Недавно точили. Ай, пчок! Красавец.

— Значит, обмишурили нас,— сказал Мелешкин.— Обмишурили.

Но все равно от тюрьмы не уйдут.

Это была последняя капля, переполнившая чашу. Тюрьма! Тюрьма! Не хочу в тюрьму!

— Эй ты, поди сюда! — позвал меня Раззаков, но уже было поздно. Исподтишка тронув Желтого пяткой, я юркнул в проход, шлепнулся на колени — ох! — прополз змеей под прилавком и нырнул за фруктовую тару, горой громоздившуюся на пути к воротам.

Я не слышал звуков погони: свист ветра — да!

Базар молчал. Между тем он, конечно, давно проснулся и уже знает, что я навел жаворонков; знают Вася-поп, Майдык, знают и другие. Теперь на милость рассчитывать нечего. Марат предостерегал: за шухер кончают. Удивительно, что на бегу я рассуждал здраво, по-взрослому. Но мне вдруг стало безразлично: пусть кончают.

Споткнувшись, я врезался в кучу песка по ту сторону ограды; коричневые обручи поплыли перед глазами:

— Желтый, Желтый!

Но вместо него вырос хаджи Салим. Я вытянул руки, чтобы оттолкнуть его, но он исчез раньше. Раздувая тощие бока и дергая носом, примчался Желтый.

Призрак?!

Я ударил призрака по облезлому задку. Призрак взвизгнул — обиделся. В тишине я отчетливо слышал, как он бьет по ящику обрубок хвоста: тах-тах-тах-тах. Нет, это не призрак.

— Желтый!

Я втиснулся между глинобитным строением и деревянной будкой. Улегся. В лицо ударила горькая вонь человеческой мочи. Желтый полез за мной; по-глупому тыкаясь, он испарал меня; с вислых губ его слетала слюна. Наконец теплой живой тяжестью он навалился мне на колени и свернулся клубком. Здесь не отыщут, мелькнула мысль.

Однако меня нашли. Схватили сонного. Я трепыхался в чих-то руках, толком не соображая, что происходит. Желтый бегал в пределах видимости.

На Виноградном творилась невообразимая сумятица — его оцепили милиционеры и красноармейцы. Патрули проверяли документы, ворошили в корзинах, обыскивали рундуки. Кто не мог предъявить хоть какую-нибудь бумажку и кого лично не признавал базарком, тех сгоняли на пустырь за чайханой. Теперь я мог обозревать обитателей нашего Виноградного не порознь, а вместе.

Среди арестованных, стараясь держаться неприметно, суетился Майдык, подавая знаки базаркому, но тот отворачивался. Тогда Майдык щелчком сбросил на затылок тюбетейку и весело, будто ничего опасного не случилось, мигнул мне: не дрейфь, мол! Выручат! Ни Шухрата, ни хаджи Салима, ни кого-либо из их придворных я не обнаружил в толпе.

Облава кончилась.

У ворот грузный военный с запорожскими усами, отирая со лба крупные капли пота, строго выговаривал базаркому. Базарком подобострастно кивал, что фарфоровый китайский болванчик; кивни чуть сильнее — голова бы оторвалась.

Задержанных милиционеры взяли в кольцо.

— Эге, а вон и наш оголец! — крикнул знакомый милиционер.

Кто-то схватил меня за шиворот, я взлетел и плюхнулся на корточки под ноги запорожца.

— Чей хлопец? — спросил он у базаркома.

— Откуда знаю, товарищ начальник, чей быйстрый, — пискляво спел тот. — У самого дюжина — в лицо не знаю.

Негодяй был отлично осведомлен о том, что я собственность Салима.

— В первый раз вижу.

— Заткнись! — отрубил запорожец. — Сволсчь. Он и ночует здесь.

— Ночью спим, товарищ начальник. А базар на замке. Сторожа родину защищать мобилизовали. Зачем обижаешь?

Желтый метался возле, лизнул меня в щеку — захотел, умница, ободрить. Что бритва, полоснули меня бандитские глаза Майдыка.

— Ладно, пошли; бери суслика за шкуру, Раззақ, — сказал запорожец, уходя.

Раззаков посадил меня в кузов машины. Она всхлипнула и начала медленно взбираться по улице в гору.

Я ухватился за борт.

— Желтый! — крикнул я.

Пес догнал арестованных и обежал колонну. Он искал меня.

— Желтый! Жел-ты-ый!

Я попытался соскочить через борт. Но Раззаков не дремал: он дважды больно стукнул ребром ладони под коленками и заставил сесть. Пса я все-таки не выпускал из виду, пока он не затерялся среди хлынувших с рынка людей.

Грузовик тормознул у роскошного мраморного крыльца со старинным рельефным узором. Кое-где стены обветшали, карнизы обвалились, но фасад веселила свежеструганная, еще не крашенная дверь с бордовой квадратной вывеской.

— «Горотдел»,— прочел я на ней по складам одно слово, написанное крупными буквами.

Раззаков стукнул кулаком по гремучей крыше кабины:

— Стоп, Мелешкин!

Запорожец вылез на подножку, неторопливо поправил портупею и сошел на хрустящий гравий. Он, а за ним и Раззаков взбежали на крыльцо; я остался в кузове под охраной Мелешкина. Полуторатонка заехала во двор, вернее в сад. На деревьях чирикали, свистели птицы; одна — с распущенным хвостом — качалась на упругой ветке, ежесекундно запрокидывая головку с беспокойной черной бусиной вблизи клюва; казалось, что птица косит, поглядывая на меня.

Вернулся Раззаков, поднялся на колесо, подтянул меня к борту и, щекотнув под мышками, снял с машины.

— Опля! Ну и воняешь ты, джигит, хуже бляшки,— сказал он, поморщившись, потом нагнулся и шепнул: — По секрету скажу, когда будет допрашивать начгоротдела товарищ Майстрюченко М. К., ты лучше создавайся, где пчок спер. Да? Как брат советую. Отсюда не смоешься, отсюда одна тропинка. Знаешь куда? Да-а?!

Я дернулся, попытался вырваться. Раззаков сдавил запястье; ничего, в другой раз не успеет, подумал я.

На крыльце Раззаков тщательно отер подошвы о влажную тряпку; он принудил меня пошаркать босыми пятками, но ничего хорошего не получилось — грязи стало еще больше.

— Уй! — удрученно воскликнул Раззаков.— Пол в дежурке изгадишь; пойдем ногу купать. Да?!

Он увел меня в садовые дебри. Там под раскидистым кустом шиповника из гущи травы торчала ржавая труба с вентилем. Раззаков сдернул деревянную затычку, открыл кран и велел мне вымыть ноги. Вода была холодной. Я пронзительно хохотнул и рванулся; он поймал меня, но ни капельки не рассердился.

Мы плескались и улыбались друг другу. Наломав мясистых листьев, Раззаков вытер ими мои ступни, потом он наклонился к крану и, не спуская с меня глаз, стал с удовольствием втягивать в рот струю.

— Хочешь пить? Да?!

Уменьшив напор воды, он лодочкой подставил под струю ладони, и я напился из них; бугры его мозолей царапнули меня по губам.

— Теперь лезь на спину.

Он подхватил меня под коленями и понес, хоронясь от разлапистых веток.

Смутно мелькнул в памяти пионерский лагерь «Но пасаран», воскресенье — долгожданный родительский день, отец, копки-баранки, копки-баранки!

Комната, в которую я въехал верхом на Раззакове, была освещена солнцем. Когда Раззаков дернул за шнур, опустилась неплотная штора.

Я увидел дверь, обитую черной клеенкой. Дверь отворилась со скрипом. Из-за нее выглянул грузный военный с запорожскими усами.

— Давай сюда суслика, да поскорее!

— Зачем врешь товарищу Майстрюченке? — не в первый уже раз укоризненно пробубнил Раззаков. — План куришь, бандюга, а здесь отрицаешь. Да-а?

Я помнил одно: нужно держаться из последних сил.

— Он сам, может, и не курит, — сказал Майстрюченко и scomандовал мне: — Открой рот!

Я не смог исполнить его приказ: я все время думал о страшном Салиме, и исподволь подкрадываясь тоска сковала скулы. Он отомстит, он отомстит, обязательно отомстит. Майстрюченко разжал мне челюсти.

— Пацан не курит, — подтвердил он после тщательного осмотра. — Так кого ты все-таки опознаешь? К кому на связь выходил в чайхану? По городу странствовал? Странствовал. Можешь указать где? Я до всего докопаюсь. Товар часто носили? Кому? Когда? Транспортom заведовал Васька-поп и Майдык. Правда? Я не брехло, видишь? Ты откуда родом? Ты не местный. Сбежал? Как твое имя? Батька есть? Сирота? Ты эвакуированный, ты эвакуированный! Боишься Майдыка? Хочешь на фронт — немцев лупить? На самолете покатаю! Оружие дам. Чей пчок? Хочешь револьвер? Жрал сегодня? Нет? Вот скажи, с кем знаком, — накормлю. Где ночевал, на Виноградном? С кем дружишь? Базарком дружит с Майдыком? Ты только кивни. Да? Нет? Хорошо, можешь не говорить. Я и так без тебя разберусь. Планчик помогаешь сбывать, сукин сын? Так? Батька небось кровь проливает, а ты? Ты что притворяешься, что маленький? Слезу травишь. Тебе же десять лет, ну девять. Я в девять лет сознательный был. Раззак, принеси хлеба... Ешь. Каждый день будешь лопать. Жить будешь — во! Ни Майдыка, ни планчика. Правда, Раззак? Утром зарядка, чего там еще? Вечером зарядка, еда три раза в день. Правда, Раззак? Откуда прикатил? Ну-ка, сними с него штаны. Чего там? Ага, эвакуированный; точно — аппендэктомия. Когда делали? Год назад. Шов свежий. А ну, открой пасть! Гланды на месте? На месте. Я все знаю про тебя. Живот болел? Болел, когда резали. С ногой что? Где ногти содрал? Больно? Нет. Ожегся — чем? Маслом подсолнечным. Недавно. Месяца два назад? Старика в ичигах опознаешь? Тока не брешни. Дай ему вязку дыни, Раззак... Ты дери ее зубами, дери. Она сладкая. Ну чего молчишь? Сыт? Сыт: по глазам вижу. Чего у тебя глаза вспухли? Гноятся. Как звать? Ладно, ты не обижайся. И на Раззакова тоже. Конечно, мы все знаем. И что живот тебе резали, например, и как ты ревел, и как папы-мамы, тети-дяди в больницу к тебе ходили, конфеты носили...

— Конфеты нельзя было, — выпалил я. — Врач запретил.

— Ну-у... Ай да врач! Я б тебе позволил. Пустяки, что руки липкие. Хватай, хватай. Сладкое любишь? Раззак, добавь сахару. Там, в тумбочке, лежит — колотый... Во, держи. Зовут как? Алик? Нет. Ты Олег. Нет. Борис? Нет. Федя? А, Федя? Федор ты. Точно. Или Петр? Семен. Степан? Степка-растрепка. Мама пела: ах ты Степа, ах растрепка? Нет. Ну, не надо. Какая разница? А все-таки? Дай ему воды, Раззак... Пей, промочи глотку, пей еще. Давай, не жалей; вода вкусная, мировая вода, между прочим; я вот тоже опрокину стакан. Знаю я, как тебя зовут: Юра? Вот это уж точно. Юра? Юра. Юрочка. Брешу? Нет. Ты Юра. Раззак, ну-ка, позови его.

— Юра-а! — почти шепотом произнес Раззаков.

— Чего? — невольно откликнулся я.

— Тимку на ковер! — приказал тогда Майстрюченко.

Раззаков выбежал в приемную:

— Тимур!

— Здесь, товарищ начальник! — отрапортовал тот самый, третий, милиционер, совсем юный паренек, с розовой, похожей на только что распутившийся пион физиономией.

— Живо подключи Майдыка; нехай воду потаскает; мы из окна поглядим.

У Тимура брови вспорхнули на лоб:

— У нас же шланг есть?

— Ти-мур!

— Слушаю, товарищ начальник!

— Раззак, подсади-ка нашего Юру. Смотри: страшный Майдык тяжелые ведра будет носить. Не веришь? Сейчас сам убедишься.

Он взял меня за плечо, подпихнул к подоконнику и отдернул желтую сборчатую занавеску. Перед своим носом я увидел стекло с зеленым отливом, беленный известью флигель, а за ним под каменным забором... кто это? Неужели Майдык, ближайший друг Шухрата и Васи-попа, согласится поливать грядки? Майдык, который только и делал, что жарился на солнышке и жрал дымящийся плов из пиалы, зажатой между коленями? Ишь, голова-то у него — словно набок съехала. Так ему и надо, обормоту.

— Да, Юра, забыл спытать: азбуке учили? Учили. А письму? Начеркай... Нет. Не надо писать. Давай малевать. Не бойся — у меня бумаги много, завались. Давай твоего батьку намалюем. Во: точка, точка, запятая, минус — рожица кривая, ручки, ножки и пупок означают пузырек! Что ж он у нас голый ходит-бродит? Обуем. Во что обуем? В сапоги или в ботинки? В ботинки. Саблю приспособим на пояс? Нет. Револьвер? Нет. А портфель? Портфель имел он? Это уж точно: таскал портфель. И шапку. Куда на службу ходил? Чего намалюем? Станки? Завод? Нет. Не завод. О! Контору намалюем? Нет. Чего б нам придумать, Раззак?

— Он паровозы чинил! — сказал я.

— Вот какие пироги, Раззаков. У Юры батька паровозы чинил. Как там Майдык? Таскает? Ну хорошо. Нехай таскает. Сейчас намалюем депо, потом и его позовем. Да ты к окну поближе; полюбуйся, вот твой дружок вкальвает, а храбрым выставлялся, самым сильным, форсил. С кем он дружит? А, Юр? Вспомни. Ну? Забыл. Эх ты! Ты смотри, как он старается. Ха, глянь, глянь. Кому планчик отдавали? Ахмету, горбатуму?

— Ахмет сам подлизывался к хаджи.

— Хаджи, Хаджи... Не припомню что-то. С Шухратом знаком. С Ахметом знаком добре.

— На слепого они не докажут, — сама собой слетела у меня вдруг с языка эта спасительная мысль.

— Не понял, Юр. Кто слепой?

— Мы.

— То есть? Ты же зрячий? Ты же видишь все. У тебя глаз орлиный. Герой! Все видишь, все замечаешь. Ну-ка, смотри сюда. Что это?

— Рука.

— Сколько пальцев?

— Пять.

— Зачем брешешь, Юр? Ведь видишь лучше меня. Пограничником можешь стать свободно. Это Хаджи слепой?

— Не.

— Ну, молодец. С Хаджи-то я знаком. Приятели. Проверял тебя.

Вот влип! Я спрыгнул с подоконника и кинулся к двери. Раззаков поймал меня.

— Сиди смирно! Да?!

— Я пошутил: в смысле долго знакомы, а так — враги смертельные, — сказал Майстрюченко. — Воду его заставлю таскать. Нет, камни тяжелые. Ладно, Раззак, веди Майдыка и старика в ичигах на разрабочку, остальных по камерам. Заметь: новый появился, кличка — Хаджи. Кто такой? Юра что-то знает. Я уж думал, что он пустой номер, но он все знает. Он парень представляешь какой? Огонь, орел и пограничник. У тебя кличка Слепой? Да? Звали так? Нет. Нет. Не Слепой? А как?

— Да я слепой, я!

— Не может быть!

Я нагнул голову и молниеносными движениями вывернул веки. Я научился проделывать это самостоятельно: неумоготу было терпеть прикосновения хаджи Салима.

— Н-да. Давай обратно. И больше так не делай, Юр. Обещаешь? С Хаджи я спытаю лично. Раззак, бери его: сыграй с ним в ошички; от-правь к Мансуре. Он знает много. Все знает, верно, он еще скажет; да-вай гадов сюда — невтерпеж. Я им покажу планчик! Я им дам такие брульянты! Кольца у поляков выманивают — что за моду придумали! Целый трест решили организовать. А?! Я им покажу! Запомнят они то-варища Майстрюченко М. К.!

Майстрюченко утомленно шлепнулся в кресло.

Нет, подумал я, не даст он меня в обиду, все расскажу ему про Салима.

— Забери огольца, Раззак! Тимур! — И Майстрюченко раздражен-но дернул свой ус.

Раззаков вывел меня из кабинета и усадил на деревянный диванчик. Тимур проконвоировал Майдыка.

К Мансуре я топал на следующее утро; и она сразу завоевала мою симпатию. Мансура работала в горотделе уборщицей.

В комнате, где она жила, пустынно; в углу — железная койка; на-против — квадратная плитка, на которой курился сероватым паром, как жерло вулкана, оцинкованный бак.

Стол, табурет, шифоньер.

Под столом на клеенке грудой лежало грязное белье; на табурете подрагивал радужной пеной зеленый эмалированный таз.

Мансура стирала на терке. Терка — тощ-в-точь голубое море, каким его изображают в детских книгах.

Чем эта комната напоминала мне нашу в новом итээровском доме, где я жил до эвакуации?

Марлевыми шторками?

Крашенным в кирпичный цвет полом?

В этой комнате ко мне вернулось детство.

Я очутился в родном мне мире и пережил, наверное, то, что пережи-вает рыба, возвращенная в другую, пусть совсем непривычную, но все же воду.

Мансура распрямилась и спросила:

— Ты мальчик или девочка?

Я похолодел: неужели я — девочка?

Раззаков щелкнул каблуками, улыбнулся:

— Девочка? Зачем девочка? Целый баран, а не мальчик! Да-а?!

— Нужен он! Третий за неделю.

— Майстрюченки приказ. Очень много сердца вложил, так что осо-бое внимание уделяем. Да!

— Вор?

— То девочка, то вор. Штатская ты.

— Вай, Раззак, прикомандируют тебя к райотделу с повышением. Важный очень.

— От Майстрюченки не пойду,— ответил Раззаков и ушел.

— Подтяни штаны, если ты мальчик,— насмешливо сказала Мансура.

Я суетливо, сгорая от стыда, дернул за пояс то, что именовалось в данный момент штанами и что едва держалось на бедрах.

— Вымоем волосы,— решила Мансура.

— Пожалуй,— ответил я.

Из меня некстати выпорхнуло давно забытое слово из лексикона взрослых. Но Мансура не удивилась, черпнула кастрюлей кипящую воду, смешала ее с холодной, пригнула мне голову; горячий обруч плотно охватил лоб и затылок.

— Уф, грязный ты,— через несколько минут сказала она.— Отдохни.

Стыдно — до слез.

— Хочешь, сдерем с тебя шкуру, как с барашка, и новую натянем,— серьезно предложила Мансура.

Я раскрыл рот от испуга и хлебнул мыльной воды.

— Ты не русский,— отдуваясь, заключила Мансура, когда баня, к счастью, кончилась.— Русский человек грязным таким не бывает.

Я сидел на подоконнике спиной к саду, до висков укутанный жесткой накрахмаленной простыней. Сидел и сонно улыбался. Я был выдраен, что палуба перед парадом, что медные ручки в капитанской каюте. Кожа на животе, под мышками, на шее пылала.

Пока Мансура возилась с бельем, я дремал, дремал, как солдат, исполнивший свой долг и вернувшийся с фронта не покалеченный, вынесший только ему и таким, как он, известное на своих плечах.

Веки слипались плотнее и плотнее.

— Обсохни — тогда стричь надо. Ногти и волосы, не то ты девочка девчонкой,— сказала Мансура, изучив мою физиономию.

Неужели я девочка? — снова в ужасе подумал я.

Мансура постелила мне на полу, на матраце.

А утром я проснулся на голых досках с кое-где облупившейся краской. Скагился ночью с матраца. Солнце засматривало в окно. В комнате никого не было — Мансура успела уже уйти на работу; вытертый мокрым тряпкой пол еще не просох. Дома я тоже иногда в жаркие дни спал на полу.

Бывало, мама дотронется губами до моего лба, проведет пальцами по шее, под мышками — проверяла, не вспотел ли, нет ли температуры, не болен ли. Если нет, улыбнется и скажет: «Вставай!»

Все, все, что долго пребывало в каких-то далеких потемках памяти, стало ясно вспоминаться мне.

Юрий Маркович Щеглов родился в 1932 году. По специальности — журналист. Живет в Москве. Публикуемая повесть — его первое выступление в жанре художественной прозы.

НОВЕЛЛА МАТВЕЕВА

★

ПИТЕР БРЕЙГЕЛЬ СТАРШИЙ

Хула великого мыслителя годнее
богу, чем корыстная молитва пошля-
ка.

Ренан.

В палаццо и храмах
Таятся,
Мерцают,
Полотна и фрески:
Зажгла их рука итальянца
И скрылась в их царственном блеске...
Даль в дымке,
Одежды цветущи,
Фигуры ясны, но не резки...

На ликах
Огня и покоя
Слиянием —
Кто не пленится!
И все же (строка за строкою)
Всегда (за страницей страница)
Я Питера Брейгеля буду
Злосчастная ученица.

Уж лучше бы мне увязаться
Вослед за классическим Римом!
Не так-то легко и солидно
Брести по пятам уязвимым,
Ранимым... За Брейгелем Старшим,
За Брейгелем неумолимым...

Прозренья его
Беспощадны,
Сужденья его
Непреложны;
Его дураки безупречны,
Его богомольцы безбожны,
Его отношения
С вечной
Бессмертной гармонией
Сложны...

Его плясуны
 К небосводу
 Пудовую ногу бросают,
 Как камень из катапульты...
 Старухи его
 Потрясают
 Лица выражением пыльным
 На пиршестве жизни обильном...

...Однажды
 За ветками вязов,
 Меж тусклых на солнышке хижин,
 Увидел он пир деревенский
 И понял, что пир
 Неподвижен.
 (И только, пожалуй, бутылки
 На этом пиру не застыли.)

Увидел детину-танцора,
 И красками в памяти выжглось,
 Что фортелей в танце изрядно,
 Но главное в нем — неподвижность.
 А с публикой тоже неладно,
 И главное в ней —
 Неподвижность.

Молчанье росло,
 Невзирая
 На стук деревянных бареток...
 Ах, танец! — такой деревянный,
 Как пляска хмельных табуреток...
 И ста языков заплетанье...

И все это — разве не тайна?

И молния быстрой догадки,
 Что тот вон мясник мимолетен,
 Как перышко,
 Как сновиденье...
 Хотя предостаточно плотен
 И нет на лице трепетанья...

Не странность ли это? Не тайна?!
 Сплошной, носовой, анонимный
 И ханжеский голос волюнок
 Зудел,
 Обволакивал танец
 Волной звуковых паутинок...
 Но странным молчанием тянет
 От гульбищ на этих картинах!

И слышу:
 Как музыка листьев
 Тишайшая,
 Голос пронесся:

«Те фортели были недвижны
 Задолго до их переноса
 На Брейгелевы полотна!
 То, плотное,—было бесплотно!..»

...Симпатией приятной
 К художнику влеком,
 Хохочущий заказчик
 Бряцает кошельком.

Он ехал из Брабанта —
 Звенели стремена,
 Позванивали шпоры,
 Как частная казна...

Звенела вся лошадка:
 Ступив на поворот,
 Как щель большой копилки,
 Ощеривала рот...

Он ехал из Брабанта,
 Пунцовый от вина...
 И нес весенний ветер
 С деревьев семена...

...Он смотрит на картину.
 Он пятится назад.
 Он бьет себя по ляжкам
 (И ляжки вдруг звенят),

Он мастера находит
 В простой беседе с ним
 То Брейгелем Мужичким,
 То Брейгелем Смешным...

Воистину — зрелища явны!
 Кто стал бы скрывать
 Показное?
 На публике зрелища зреют,
 Как рожь под ударами зноя.
 Тем более дорого стбит,
 Кто тайное в явном откроет.

О каверзный Брейгель!
 Простейшие пьянки и пляски,
 Как жуткую тайну, открыл он!
 Как заговор, предал огласке!
 И взгляд уловил моментально,
 Что это действительно
 Тайна.

Не тайна — пещеры драконов
 И пропасти черной Гекаты!
 Таинствен
 Подслеповатый,
 Приплюснутый,
 Тусклый,
 Бессвязный
 «Творения перл» компромиссный.
 «Создания венец» безобразный.

Таинственно все, что ничтожно.
 Таинственно,
 Невероятно!
 Понять объять
 Невозможно,
 И значит, оно
 Необъятно!
 Великое — измеримо,
 Ничтожное — необъятно!

Бессмертие вовсе не странно,
 Но смерть изумляет, ей-богу!

Прогнать ее тщась,
 Неустанно
 Названивал Брейгель тревогу:
 Вербки на всех колокольнях,
 Звоня,
 Оборвал понемногу...

Глупцы
 Из картины в картину
 Все больше глупели;
 Скупые
 Все больше скупели;
 Все крепче
 Их зенки спипались тупые
 И слиплись (достигли вершины!)
 В последней картине
 «Слепые».
 С тех пор,
 Подвернувшись попутно,
 Слепых принимает канава:
 Извечно,
 Ежеминутно...

Но где же гармония, право?!
 Где длинные трубы — фанфары, —
 Звучащие так величаво?!

Ступает Гармония ровно.
 Нигде не сбивается с шага.
 Один ее взор
 Безусловно

Для нас величайшее благо!
 А шум ее длинной одежды —
 Как шорох победного флага...

Верна, постоянна, урочна,
 Как разум, душа и святыня...
 Но жаль! — не указано точно,
 Где именно эта богиня
 Слоняется?
 Лес?
 Катакомбы?
 Край пропасти?
 Пустошь?
 Пустыня?

Я карту дорог раскатаю,
 Я путь ее в шутку размечу.
 А спросят:
 — Гармония — сказка?
 — Чистейшая правда! — отвечу.
 Но я-то пока не питаю
 Надежды на личную встречу...

А есть же на свете, ей-богу,
 Счастливики!
 Высшие люди!
 Они ежедневно, помногу
 (По их показаниям судя)
 Гармонию зрят!
 И свободно
 Об этом калякают чуде!

Ну что же!
 К юродивым часто
 Нисходит святой в ореоле.
 По-свойски:
 С какой-нибудь пастой
 Иль мазью от мелочной боли...

А вместо святого явиться
 Не может Гармония, что ли?!
 Гармония!
 В мире не мирном,
 Скрипящем, наморщенном, сложном,
 Готовом низвергнуться в бездну
 При слове неосторожном, —
 Понятно: лишь тот «гармоничен»,
 Кто волей судеб — ограничен!

Гармония?
 Сладко мечтая,
 На древних руинах Эллады
 Один восседал бы... Другие
 Сидеть на сегодняшних рады.

Вписав себя в них
 Гармонично,
 Крича от придуманной боли
 В действительно трудной юдоли.

Антверпен покидает
 Заказчик-пилигрим.
 Занятных две картины
 Слуга везет за ним.

На будущей неделе
 Заказчик будет сам
 Потешные картины
 Показывать гостям.

...Боярышник пушистый
 Сиял ему в глаза...
 А где-то за холмами
 Невнятно шла гроза,

И тщетно пилигриму
 Шептал вечерний зной,
 Что Брейгель не Мужичкий,
 Что Брейгель не Смешной,

Что, может быть, и вовсе
 Гостей не приглашать...
 Что в мир приходит гений
 Не тешить, а мешать,

Что страшно он смеется...
 (Не там ли, за холмом,
 Он, кашляя, смеется,
 Как сумеречный гром,

Большие бочки смеха
 Куда-то вдаль катя?..)

Но ты дремли! Не бойся,
 Усатое дитя!
 Закат поджарил рощи
 На бронзовой золе...

Спи телом,
 Спи душою,
 Спи дома,
 Спи в седле...

...При мысли о душах надежных,
 Разгадывать кои не надо;
 К раскрытию коих
 Подходят
 Ключи от амбара и склада,—

Всегда ли резонно — не знаю,
Но Брейгеля я вспоминаю.
При мысли о запертых лицах
С тупым выраженьем покоя
(На задней стене мыловарни
Всегда выраженье такое!
На мыле... На камне могильном.),
При мысли о мертвом, о пыльном,
О твердо-подошвенном взоре
Асфальтовых глаз Примитива;
О пальце картофельно-белом
На кнопке вселенского взрыва;
О судьбах, скользящих по краю,—

Я Брейгеля вспоминаю.

При мысли о логике нищей,
О разуме задремавшем,
О стоптанном ухе,
Приникшем
К железным чудовищным маршам,—
О Брейгеле я вспоминаю.
О Питере Брейгеле Старшем.



Н. ТАРАСЕНКОВА

★

ЗА ВОЛОГОДСКОЙ СТАРИНОЙ...

Очерк

В Вологодском музее выставлены в ряд прялки — застынешь перед ними. За прялками у стены заплечный короб из бересты. А рядом — посох, шапочка-борушка, лиловый сарафан, праздничный зимний наряд — зимник, а к нему пояс, или, как называли в старину, отальник.

Все экспонаты, что выставлены в зале Вологодского музея, добыты этнографической экспедицией.

По-разному люди расставались с вещами. Кто с грустью: ведь еще бабка ту рубаху ткала. Кто с радостью: меньше хлама в избе. Кто и на бутылочку не прочь заработать. А кто с гордостью: в музее будут показывать.

* * *

Говорят, хорошо уезжать в дождь. Нам хотелось верить в эту примету. Она была единственным утешением.

Небо низкое, беспросветное. Холодный дождь. А на дворе июнь. И вчера была такая жара, что Ирина Александровна Пятницкая, руководитель нашей экспедиции, половину вещей выбросила из моего рюкзака. К чему в дороге лишнее? А сегодня снова рюкзак набит до отказа. Мы растерянно смотрим в окно.

Ирина должна пойти в управление лесного хозяйства, где нам обещали жидкость против комаров. Комары в такой холод и дождь? Смешно и неправдоподобно. Но она говорит:

— Выглянет солнышко — ты не представляешь, что такое в июне комары!

В управлении ее спросили: на сколько дней рассчитана экспедиция? И сколько участников? Семь человек, помноженные на двадцать дней, равнялись поллитру мутной дефицитной жидкости.

— Пока это наш самый ценный груз, — сказала совершенно промокшая Ирина: плащ не защитил ее.

Но ехать надо было: билеты на самолет у нас в кармане. Двое ждали на аэродроме. Трое — в Тарноге.

...Когда дежурная повела нас по высокой мокрой траве к взлетной площадке, она растерянно остановилась, как будто для нее самой это было полной неожиданностью, сказала:

— Ой, самолетика-то вашего нет. Пройдемте в зал ожидания.

Мы прошли. Зал был завешан плакатами. В углу стоял стенд с фотографиями последних достижений техники.

Дежурная за нами долго не приходила. Но когда нам посчастливилось занять места в самолете, ожидание стало еще мучительнее.

Хмурые летчики входили в самолет и, посоветовавшись в кабине, выходили. Воротники их габардиновых пальто были подняты. Фуражки надвинуты на глаза. Они тоже были недовольны. Из-за погоды вышли из графика. А тут еще подводят с горючим. На наш вопрос: «Когда полетим?» — отвечали:

— Сегодня.

Они не понимали нашего нетерпения.

— Крыша ведь над головой. За шиворот не капает.

А дождь тем временем перестал. В иллюминатор было видно, как подбехал бензовоз. Через несколько минут самолетик, почувствовав в себе силу, загудел моторами. Как скошенная, полегла трава. Самолетик разбежался и до обидного легко расстался с землей. Люди торопились в будущее.

Мы же летели в прошлое...

* * *

Каждая деревня — неожиданность. То вдруг раскинется деревня в низовье, вдоль реки. А то, бывает, попадается — длинная, вытянутая. Стоят избы в ряд по обе стороны дороги. Окна в избах — маленькие, частые, зоркие. Далеко видно, кто идет.

Вошли мы в деревню. И остановились. Две избы одна напротив другой: окна в окна. Обе срубленные в лапу. У обеих с крыш свисает деревянное резное полотенце. И у той и у другой конек на крыше. Вроде похожи. И разные совсем. Будто загадали мастера одинаковые избы срубить. А выдумка у каждого своя.

По деревням решили вместе не ходить. Людей не пугать. Но люди оказались не пугливыми. Людям поговорить хочется. Рассказать, что у кого в избах делается. Про чужую избу всегда больше знаешь, чем про свою. Известно, что у соседа на поветях завалилось. И нет такой избы, чтобы прялку показать не вынесли.

Называют эти прялки еще в народе «прясницы». И еще «копылами». Потому что режутся они цельными. Лопатка и столбик из «прямизны» — из ствола. А донце из копыла, то есть из корневища. Украшены они выемчатой резьбой. Зовутся «башенными». От слова «баско» — красиво.

— Ох, и прясница какая красивая, — восхищается Ирина Александровна. — Узор-то можно зарисовать.

Собираются на улице бабы. Начинают судачить:

— Вот мастера-то были. Резьбу какую выдумывали. А теперь у людей руки не в ту сторону повернуты. Кто такую сделает?

— А на черта она нужна теперь. Я свои с поветей давно повыбрасывала.

— А вы не выбрасывайте. Нам отдавайте. Мы для музея собираем.

— Так кабы раньше знать, что для музея. Теперь-то по радио объявляют, чтоб старину кому попало не отдавали. А если вы экспедиция, так к божатке¹ моей сходите. У нее и прясница и полотенце.

...Мы идем через речку. Она мелкая, быстрая. Лава через нее переброшена высокая и очень узкая. Уже поздно. Около девяти. Но светло — белые ночи. Хорошее время по избам ходить. Хозяйки дома.

По ту сторону реки нас встречают дети. Одна девочка светлоглазая, бойкая, озорно размахивает руками. Узнав, что нас интересует, предлагает:

— Пойдемте к нам. У нас прясница есть.

Девочку зовут Леной. Она тоже хорошо знает, что у каждого в избе.

¹ Крестная.

И что у Васьки Бусарева утица. А в этой утице соль. И что Васька вечно пьяный. И когда в кино приходит, кричит: «Чегой-то вы глаза вывернули, уши поразвесили. Я в этих местах был. Я здесь фашистов лупил». И матерится. Дети хохочут. Лена еще что-то собирается рассказать, но мы уже пришли. Крыльцо с широкими крутыми ступенями. В избе никого нет.

— Сейчас мамка придет. Она корову доит,— говорит Лена.— А папка спит.

За занавесками слышится тяжелый храп.

Изба большая. Сени делят ее на две половины. В гриднице, куда мы зошли,— беленая печь с вдавленным рисунком. Бревенчатый потолок цвета охры. Дети рассаживаются на лавке возле печки. Самый младший, в зимней шапке, так напряженно смотрит на нас, что Лена кричит ему:

— Петька, глаза сломаешь!

Дверь открывается. На пороге — хозяйка. Лицо ее сильно обожжено солнцем и ветром. Она такая усталая, что, не спрашивая нас ни о чем, медленно и блаженно опускается на лавку, чуть касаясь головой стены. Причина есть отдохнуть — гости пришли.

Хозяйку зовут Галина Андреевна Бусарева. Она колхозный бригадир. Галина Андреевна слушает нас внимательно. И ее большие, неженские руки непривычно покойно лежат на коленях. Она говорит дочери:

— Ленка, сползай на повети. Принеси прясницу.

На столе стоят две корзинки. Или, как еще их называют, зобеньки. За брусничкой, за грибами с такими ходят.

Одна корзинка старая, красиво переплетенная,— в ней мука. Другая совсем новая, еще берестой пахнет. Видно, мастер торопился: сделана небрежно.

— Кто новую сплел?

— Нищий. По деревням ходит. У кого столуется, ночует, тому и корзинки мастерит. Да еще три рубля берет.

— Мам, а мам,— вмешивается Лена.— У нищего знаешь денег сколько! Мы видели, как он в платок их заворачивал.

— А куда их девать? На чужих-то харчах и трояк чистый,— смеется Галина Андреевна.— Утром встанет да команду дает: «Ты б, хозяйка, киселя сварила».— «Так крахмалу нет».— «А ты в город поезжай. Там его целая тонна». А сам-то еще не старый да крепкий. Ох, мужички, мужички — помощнички.

— Я с войны бригадиром,— рассказывает она.— Тогда такой энтузиазм был у наших баб — за десятерых мужиков работали. Все ждали — мужья вернутся. И вот вернулись, кому повезло. Только с «белоголовой» большая дружба у них началась. А пьяный мужик какой работник! И опять все бабы тянут. Каждый день с такими, как Васька Бусарев, и маюсь.

— Мам, а у Васьки утица,— напоминает Лена.

Галина Андреевна уже отдала нам прялку, полотенце, икону. И теперь Лена стремительно бросается к двери, чтобы принести Васькино добро.

— Да не ходи. Он, наверное, нетерёзвый,— останавливает ее мать.

— Терёзвый! — удивленно и радостно восклицает Лена.— Он во дворе дрова пилит.

И вот утица перед нами. Деревянная утица очень хороших пропорций, с красивым резным хвостом. Беда только в том, что у утицы отломана голова. Но и обезглавленная, она великолепна.

— У Васьки и прясница очень замечательная есть,— доверительно сообщает Лена.

Приходится идти к Ваське. В избе у Васьки грязно. На столе единственная ценность — самовар. Потолок обклеен пожелтевшими газетами. На стене — фотографии. Васька сидит в углу за столом. Чубатый, мелкоглазый. На его тонких губах ироническая усмешка: «Чудаки, мол, старьевщики. Нашли на что зыриться». Жена немолодая, принесла нам резную прялку, действительно красивую. И прошла с ней по избе, демонстрируя, как раньше ходили на посиделки.

— Продайте прялку.

Но прялка оказалась маткина, которую еще бабка подарила. И была дорога как память. Хозяин недоволен:

— Да на кой она тебе?!

Но жена напоминает мужу, что когда дедка помер, так бабка его грабли двадцать лет в сарае хранила. Но Василию хочется продать прялку. И плевать ему на покойника деда и на бабку. Он говорит:

— Да что тут думать-гадать, дадите на бутылочку — и ладно.

— А иконы у вас есть?

— Много было, — охотно отвечает хозяин. — А на них мужики с крыльями расписаны. А один мужик на гвоздях висел. Только я всех их порубал — и в печку...

Потом Василий приносит старый, заржавленный рукомоиник. Ему и рукомоиник теперь хочется продать. Раньше говорили: «Жених-то богатый, рукомоиник у него медный». Но Васька беден и жаден. И одна у него обменная цена — бутылочка.

Мы ему показываем корзинку — зобеньку, которую подарила Галина Андреевна Бусарева, и спрашиваем, не сестра ли она ему.

— Какая сестра — бригадир она, — угрюмо отвечает Васька. И чувствуется, что идет между ними война не на жизнь, а на смерть.

Возвращаемся мы совсем поздно. Тихо. Спит деревня. Женщинам надо рано вставать.

А завтра снова в дороге. Останавливаем попутную машину. В руках у нас прялки, иконы. Шофер даже выходит из кабины, удивленно смотрит на нас. Потом помогает грузить в кузов. Он уже слышал, что в районе работает экспедиция. Об этом в местной газете писали, по радио говорили. Наказывали всем: помогать.

Деревня, где мы останавливаемся, перерезана напололам речкой. Избы разбросаны, словно сторонятся друг друга. Здесь мы собираемся пробыть два-три дня. И сам колхозный бригадир приглашает нас к себе на постой.

Вошли в избу и ахнули. Чистота такая, что страшно на половицы наступить.

Жена с грустным, чуть настороженным взглядом. Дочка длинноногая, в короткой модной юбке, с тугим хвостом светлых волос. В этом году она закончила школу и собирается в педагогический. И младший брат светлоглазый, светловолосый, похожий на отца. Да и отец красив. Вся семья в сборе. Приглашают за стол.

Хозяин садится последним. Тяжело и мрачно оглядывает стол, требует бутылочку. Хозяйка нехотя идет за ней.

Бригадир не торопится выпить. Он даже отодвигает от себя стакан. Он и бутылку отодвигает, словно она ему смертельно надоела, а поставили ее на стол приличия ради.

— Иконы-складни тоже собираете? — удивленно и насмешливо спрашивает он. — А мы их на металлолом брали у людей. Так мальчишки нанесли видимо-невидимо.

Хозяин разливает водку. Рука его заметно дрожит. Он опрокидывает половину стакана. И наливает еще. Взгляд его становится оловянным. Он говорит сыну:

— Вовка, сбегай за гармошкой.

Сын бежит в соседнюю избу. Бригадир неловко берет гармонь.

— Не люблю такую,— уже пьяно бубнит он.— Ее пальцами трогаешь, а она не говорит.

Он тискает гармошку, прижимает ее к животу. Потом широко растягивает ее. Голова его наклоняется к мехам, словно он прислушивается к чему-то. И вдруг выкрикивает звонким, пьяным голосом слишком вольную частушку.

Будущая учительница демонстративно уходит, хлопнув дверью. Бригадир не обращает внимания, он торопливо начинает новую:

Ой, хороший бригадир,
Я пойду по ягоды.
Расхороший мой колхозник,
Поработать надо бы.

Потом он выпивает еще. И жена сокрушенно говорит:

— Ну, теперь начнется.

И точно. Бригадир уже не может остановиться.

Утром он снова пьяный, ищет свой мотоцикл, который спрятали от него. И жалуется нам:

— Боятся, что я керогаз свой раскочегарю. Я вот так недавно ехал. Так лошадь сообразила в сторону свернуть, а я в телегу врезался. Ну ничего, вроде живой.

— Железный.

— Железный! — радостно подхватывает бригадир.— А в меня стреляли,— хвастается он.— Вот! — И расстегивает на груди рубашку.

— Поругались, что ли?

— Да вроде и не поругались,— с недоумением говорит бригадир. Один глаз у него прикрыт. Другой открыт широко и удивленно, словно сам толком не может понять, почему в него стреляли.

— А может быть, потому, что я уже двенадцать лет бригадиром,— туго соображает он.— Так поднадоел малость.

Второй глаз его открывается, и он смеется тихо и ехидно уже над нами:

— А вы много хлама насобирали? На почте мне сказывали, что прялки ваши класть некуда. А вы еще на угорье сходите к Маньке Куликовой. Она небось от такого добра рада будет избавиться.

И вот к вечеру я и художник Николай Бурмагин идем на угорье.

Дом у Мани Куликовой старый, запущенный. Над крыльцом — дырявая крыша. Женщина вздыхает, что с крышей просто беда. Никак не соберется мужика какого пригласить, чтоб крышу починил. А своего мужика давно нет.

Рядом с ее избой — колодец. Бабы приходят сюда с ведрами. И не торопятся уходить. Маня Куликова все жалуется, что крыша плохая, и бабы поддакивают ей. Тогда Коля взбирается на крышу. Я подаю ему тесины.

— Считаю, подвезло тебе, Маня. Считаю, бог послал.

— Бабе без мужика никак не годится,— говорит другая.

— А лучше, если такой, как у Ксении,— бригадир? — подключается третья женщина.— Как свинья в канаве валяется. Горе одно.

— Тебе-то добро рассуждать, когда свой в избе имеется.

— Да я и своему говорю, когда он глаза зальет: иди на все четыре.

— А когда трезвый — тогда хозяин. Без мужика в деревне негоже.

— А если как у Ксении? — напоминает другая.

И третья заключает, вздыхая:

— Все одно нехорошо.

* * *

— Хотите послушать песен? Настоящих северных песен. Ну, тогда пошли!

Мы очень устали после большого пешего перехода. И собирались устраиваться на ночлег в сельсовете. Но Булмагин подгоняет нас:

— Скорее, скорее. Ведь такого мы нигде не услышим.

Мы идем долго. Вырисовываются вдали черные избы.

Входим в избу. Душно. Кто-то тяжело спит на кровати у самой двери, накрывшись с головой.

Хозяева — дед да бабка. Дед красивый, огромный. Голова его в лохматых седых волосах. Борода широкая, волнистая. Глаза доверчивые, голубые. Бабка сухая, сморщенная, с одним большим зубом во рту. И дерзко ворчливая. Она все время ругает деда, вспоминает, каким он в молодости был непутевым, как за девками бегал. А он останавливает ее степенно:

— Дай ты мне слово. Ведь я человек начитанный. Такая она — жисть. Меня любили. И я любил.

— Иди ты к лешему! — уже весело кричит старуха. И неожиданно шепеляво запевает:

Эта прялка не моя,
Моя — цветы зеленые.
Этот дроля, да не мой.
Мой еще фартовее.

— Да хватит брэнчать, — говорит хозяин. — Сейчас Настя придет. Настя петь будет. Вот тогда послушаете.

Но Настя не торопилась. Приходили женщины. Сиделись на лавку. Явился и кузнец под рост хозяину. С огненно-черными шалыми глазами. Про него нам уже успели рассказать, что человек он лихой. Недавно подрался. Ему суд чести устроили. Председатель колхоза сказал на собрании, что его за хулиганство надо в милицию упрятать. Тогда один колхозник предложение внес: «Вот вы, люди, сами поосмыслите. Бондарей у нас два. А кузнец один. Может, вместо кузнеца бондаря в милицию отправить?»

Все засмеялись. А кузнец дал слово, что последний раз с ним такое чудачество происходит: старый он уже в драку лезть.

Сейчас он сидит за столом прямо и чинно. Все покорно ждут Настю. Только хозяин с хозяйкой поругиваются.

— Я в колхозе работник особый, — не спеша о себе рассказывает хозяин.

Старуха тут же кричит ему:

— Какой там особый — изгороди ставишь.

Бабка тарахтит и суетится. И муж отмахивается от нее, как от мухи. Но вот открывается дверь — входит Настя. Маленькая женщина, покрытая светлым платком. Она улыбается одними глазами. Кланяется низко в пояс, благодарит, что все ждут ее. За ней идет муж — однорукий, с большой шишкой на шее, с кудлатой головой.

Им преподносят стакан вина. Настя пьет немного и нехотя, быстро вытирает пальцами губы. И видно, что все это ей не надо, что она пришла петь и что ей нестерпимо хочется петь. Муж ее опрокидывает стакан мгновенно, морщится, а потом блаженно улыбается.

Настя сидит за столом, подперев щеку рукой. Глаза у нее грустные. Ждет чего-то. Чувствуется, что она вся в напряжении. Поблуднела, чуть дрожат ресницы. И вдруг, откинув голову назад, запела жалобным тягучим голоском:

Ой, с-о-ко-лик ясный,
Не бейся понапрасну...

А потом трудно было разобрать слова, потому что преобладали звуки — веселые, тоскливые, удалые и снова такие отчаянные, что щемило в горле.

Женщины осторожно и негромко помогают Насте.

«Ру-сы ко-сы», — вытягивает Настя. У самой косынка соскользнула с головы. Гребешок-полумесяц воткнут в маленький, жидкий пучок волос.

Хозяин дома влюбленно смотрит на певунью. И подпевает ей каким-то не своим — трогательным, беспомощным голоском.

Настя замолкает. Избу оглушает тишина.

— Ох, и расхорешая, раскрасивая она была, — говорит хозяин, указывая на Настю. — Артисткой могла бы стать. Звали ведь, Настя, в хор?

Настя грустно кивает.

— Пойте и вы, остолопы! — кричит хозяйка, обращаясь к мужикам.

— К ней и с радио приезжали, — не унимается хозяин.

Настин муж неожиданно сообщает, хотя его об этом никто не спрашивает:

— Дождя не будет. А то б мне рука подсказала.

— Настя, давай начинай, — торопят бабы.

И Настя снова затягивает. И теперь уже поет без остановки. Голос ее срывается. Но она все равно поет. Бабы просят ее: «Подожди, отдохни, пощади свой голос», — но певунью уже никто не может остановить:

...А чужая жена, как шелковая трава.
А своя жена, как крапива, жгуча.

И снова звуки тоскливые, радостные, ласковые забивают слова.

Потом Настя сама переводит, что поет. Но она не успевает досказать. Ей хочется петь.

Я узоры набирала
На доске на бральнице,
Дроля шел домой ко мне,
А попал к охальнице.

Она поет охрипшим голосом. Потом почти шепотом, когда мы идем по дороге. Она пригласила нас переночевать в своей избе.

Она укладывает нас спать на старые тюфяки, брошенные на пол. Идет к внукам. И когда все смолкает в доме, снова возвращается к нам уже в толстой, домотканой рубашке, неловко закалывая распущенные волосы, говорит:

— Я вам спеть одну частушку забыла. — И тихо, тихо:

Милый был — так на него сердилася.
Теперь нет — так тосковать схватилася.

Ей не хочется уходить от нас.

— Дед мой спит уже. Все спят, — словно оправдываясь, говорит она.

— Хорошо с дедом живете? — спрашивает Ирина.

— А кто его знает? — отвечает она простодушно. — Он от меня бегал. И я от него гуляла. Колька, сын мой, что сейчас в Мурманске, — не от него.

Она садится прямо на пол и поближе к нам.

— Вот я сейчас вам про грех свой рассказываю. А что мне было делать? Мужа моего тогда за хулиганство на три года посадили. Боль-

но высоко кулак держал. А у меня на руках мать-старуха да трое детей. Вот с бригадиром и сошлась. А была любовь аль не была — кто ее знает.

...Утром мы все сидим за столом. И Настя поит нас чаем из медного начищенного самовара. Настя раскачивает люльку с внуком, подвешенную к потолку.

Потом она прощается с нами, провожает на улицу. Утро солнечное. И она щурит свои маленькие веселые глаза и долго смотрит нам вслед. А мы все оглядываемся и машем ей. Настя отвечает нам. И вскоре становится совсем крошечной возле своей большой черной избы.

* * *

Мы едем на санях, хотя никакого снега, конечно, нет. Еще недавно влажная земля сразу сохлась от палящего солнца. Сани — это сколоченные бревна, на них положены доски. Сани тащит трактор.

Желающих в Баклановскую множество. Машины туда не ходят, потому что в лесу много стоячей воды — не пройдут. Так что сани переполнены.

Когда деревья близко подходят к дороге, сколоченные бревна ударяются о них. И тогда все пронзительно кричат. А мальчишки соскакивают и бегут вслед за санями.

Пыхтит трактор, выпуская много гари и шума. Но это не отпугивает комаров. Они летят стаями и впиваются в пассажиров. А отмахнуться нечем. Руками мы вцепились в доски. Сани переваливаются с боку на бок. Пыль, гарь, комары. И — красота вокруг. Вдоль дороги бежит речка Печеньга цвета крепко заваренного чая. Но вот река чуть отодвинулась вглубь. Пошла ольха — значит, скоро деревня. А потом поля люпина — лилового цвета, чуть с розоватым оттенком. Снова вынырнула речка Печеньга.

Баклановская!

Деревня лежит на отмахе. А на бугре — маленькая деревянная церковь — «Всех святых». Старая, покосившаяся, но такая трогательная, что нельзя пройти мимо нее.

Хранитель церкви Семен Тимофеевич, лениво перебирая ключи, открывает наконец церковь, не понимая нашего нетерпения.

На полу рассыпано зерно. В углу сидит раненый голубь. Хранитель берет голубя:

— И чего с ним делать? Здесь оставить — сдохнет. На улицу вынести — кошка съест.

Он так и застывает с голубем в руках, глядит с глубоким недоумением, как мужчины полезли под пол. И вытаскивают оттуда... царские врата. Врата в таком состоянии, что догадки наших двух историков и художника весьма смутны. Хотя все сходятся на том, что мастер хорошей московской школы. Самый большой специалист по иконописи С. Коненков остался в Тарноге. Посему решено забрать врата с собой. Но это не так просто: мы ведь в основном передвигаемся пеше, а врата большие, тяжеленные.

Идем на почту. Там тоже все в смятении. Вот разве только Альбина Абрамовна согласится. Она через день отвозит почту в район на лошади. В районе мы должны забрать врата и переправить дальше. Альбине Абрамовне передадут. И она к вечеру придет к церкви.

И она приходит. Возле церкви собрались люди поглядеть, что же там такое обнаружили, а мальчишки норовили пробежаться по царским вратам.

Альбине Абрамовне лет семнадцать. Она в коротком, модном платье без рукавов, хотя комары, хотя прохладно. Но зато здесь парень голубоглазый и такой красивый, что никто не сердится на его пьяную болтовню. Он лесоруб и говорит, что жидкость, которую ему дают от комаров, он выменивает на водку.

Все девушки, кроме Альбины, которую он ласково называет Альбинкой,— для него Маруси. Он тащит огромную мохнатую собаку. И она покорно садится с ним на ступеньки церкви. И все садятся на ступеньки. И просят сфотографировать.

Альбина же из кожи лезет, чтобы показать, как ее интересуют царские врата. И как ей безразличен парень. Она деловито осматривает врата и объясняет, как их надо упаковать. Она вздыхает: видели б мы, какая у нее старая кобыла, то поняли б, как ей трудно будет тащить этот груз. Она искоса поглядывает на лесоруба. И улыбается ему. А нам говорит строго и официально: если мы не придем завтра в два часа к речке, то она врата там и оставит, и дело с концом.

Нам рано вставать. И мы идем ночевать в избу к хранителю. Жена его, многодетная, усталая, добродушно разводит руками: как ей уложить всех гостей?

Хозяин рассудительно замечает:

— Сначала женщин с женщинами повалим. А потом мужиков с мужиками.

Утром хозяин сидит на кровати, лениво скребет грудь. Вид у него растерянный, как в церкви, когда он держал голубя на руках, рассуждая, что теперь ему делать.

В избе уже давно все встали. Хозяйка накормила нас. А сейчас угощает «приданым». В руках ее чудесный сарафан. Где нас поражал уже такой цвет? Да это люпин расцвел. Тот самый люпин, мимо которого мы ехали сюда. Сарафан домотканый, браный. На доске-бральнице мастерица набирала узор: нить розоватая и ярко-фиолетовая. Ношенный не ношенный, сколько провалялся в сундуке, а краски не увяли — теплые, радостные. Женщина отбросила сарафан. И показывает теперь цветной широкий пояс с кистями. А потом шапочку-борушку, шитую золотом. И примерила весь тот наряд, раскраснелась, смущенно улыбаясь, прошла мимо нас. И сама любитесь нарядом, глядя на наши восторженные лица, как в зеркало. И жалеет, что не носила сарафан в молодости. И кидает нам сарафан, пояс, шапочку. Все продает. Теперь ничего не жалко. Теперь ее время прошло. Пусть другие порадуются ее нарядам, что бабка берегла для матери, а мать отдала ей в приданое. А она так и не носила. Некогда было, да и не к чему. А теперь уж нечего жалеть...

* * *

Мы сидим в гостинице леспромхоза. Все в сборе. Это бывает нечасто, когда собираемся вместе. Обычно по двое, по трое ведем «наступления на избы». И у каждого свой подход. Свой «текст».

Женщины разговаривают ласково, чуть заискивающе:

— Здравствуйте, бабуля. (Хотя при ближайшем рассмотрении может оказаться, что это вовсе и не бабуля.)

— Мы работники музея, художники. Нет, мы ничего не берем. Нам бы только посмотреть. Узор зарисовать.

— Ох, и бабка красивая! — как правило, в сторону говорится в этом монологе. — А зубы-то, зубы какие.

— Зубы вставные, — смущенно, но с доброй улыбкой замечает женщина.

Небольшое замешательство. Но вот хозяйка приносит прялку, полотенце. Сначала искусствоведы делают зарисовки. А потом:

— Может быть, продадите для музея?

— Да чего продавать, берите так.

Мужчины более деятельны, лаконичны. И не сентиментальны. Обычно разговор начинается Бурмагин:

— Бабушка, полотенце у вас больно красивое. Вы бы не подарили его музею?

— Нет, родной, нет, милый. Помирать скоро. Пусть останется.

— Так вот я про то и говорю. Все ведь в могилу не заберешь.

— Не заберешь, милый.

— А у вас в избе пионеры есть?

— Нет, родимый.

— А в соседней избе?

— А чего они тебе больно понадобились?

— А то, что придет пионер в музей и его бесплатно пустят. И ему приятно будет посмотреть, что соседское полотенце браное за стеклом висит. Зачем же этому полотенцу в сундуке гнить?

— Так пусть лучше в сундуке гниет, — уже менее уверенно говорит бабка. — А меня тоже бесплатно в музей пустят, если отдам?

— И фамилию напишем, что полотенце вами дареное.

— Да кто его знает, может быть, и правда музею отдать...

Мы были благодарны людям, когда они дарили нам старинные вещи. Экспедиция располагала средствами совсем незначительными, а в музей хотелось привезти как можно больше. Да и не в музее только дело. То, что мы собирали, это последние следы подлинной старины, следы уже исчезающие, жить которым — считанные годы. Умирают владельцы, для которых они еще могут быть дороги, а для молодых это часто просто старье. У них другие представления о пользе и ценности. И о красоте тоже. То детям дадут поиграть ковшом или берестяной утварью... А они закинут куда-нибудь, никто и не спохватится. То просто приспособят по хозяйству и куда скорее сберегут сельповскую алюминиевую миску. Исчезает старина из обихода, исчезает из памяти. А нам надо сохранить и старину и память о ней как живую историю народа. Сколько поколений в своих будущих вопросах будут обращаться к прошлому, к своим истокам и как важны эти куски вещественного мира! Не в них ли образ быта, образ души? Образ первоначальный, не поддающийся переключиванию на язык другого искусства.

Сейчас на старину мода. Ее губительное поветрие навело на деревню толпы частных искателей, которые с чисто колонизаторской хваткой — легко трактуемой как благородный азарт — за бесценок, а то и просто обманом выуживают у населения утварь и — что, пожалуй, самое циничное — иконы. Далеко не всегда эти сокровища попадают в руки подлинных ценителей и к тем, кто действительно озабочен сохранением национальных реликвий. Дело здесь не только в моральной стороне вопроса, хотя и в ней — тоже. Дело в том, что, становясь предметом обывательского ажиотажа, предметом рыночного оборота и спекуляции, иконы растекаются по частным, не поддающимся учету владельцам, теряют адрес, нередко уходят за рубеж, о чем не раз сообщалось в газетах, и, наконец, исчезают из виду, переставая быть национальным достоянием. Что здесь реально можно сделать?

Может быть, хотя бы на время расширить фонды музеев, наиболее интенсивно занимающихся сбором старины? Расширить «дотацию на старину» — чтобы успеть сохранить ее. Не дать ей действительно «кануть в вечность». Экспедиция готовится и продумывается заранее. Где искать? Что искать? Какие предметы больше всего интересуют музей? Известно, что неподалеку от Верхневажья, в деревне Сомово, славилась гончарная посуда. Торговали ею на ярмарках, скупали ее перекупщики,

развозили по другим деревням, продавали втридорога. В Тарноге хорошо было налажено браное ткачество. В Никольске — пестрядь. Сарафаны из пестряди, сотканые из разноцветных ниток, поражали сочетанием красок.

И наша экспедиция двигалась по маршруту. Нас семеро. Вернее, шестеро. Потому что я не в счет. Решающего голоса я не имею, да и совещательного тоже: в экспедиции два историка, два художника и два искусствоведа.

Сейчас же все сидят на ступеньках гостиницы леспромхоза и отчаянно спорят: не свернуть ли в сторону от маршрута? И не «прощупать» ли еще одну деревеньку? Заглянуть туда, куда еще не проникали идущие?

Наняли проводника, болтливого старика, который все время жаловался, что «мы больно круто идем». Потом в леспромхозе нам дали машину. И старичок, удобно усевшись в машине, рассказывал о себе.

Потом мы ехали в тележке, которую таскал трактор, и наконец перевалили болота. И наконец пришли в долгожданную деревню, спрятанную «за морями, за лесами». Там мы должны были встретить чудо. Но чудо так и не появилось. И ни одна изба не радовала нас стариной.

Одна старуха отшатнулась от нас, когда мы попросили продать икону.

— Да господь с вами, грех-то какой икону продавать. Лучше уж ее сжечь или по реке пустить.— И тут же спросила испуганно: — А что грешнее: спалить или в реку бросить?

А другая хозяйка все крестилась, когда иконы показывала, и когда библию доставала, тоже крестилась, но как-то торопливо и весело, словно и сама сомневалась: надо ли? А так, на всякий случай. Отдала нам икону святого Власия, покровителя животных, и сказала, вздыхая:

— Чего мне теперича будет? А одну икону я в церкву отнесла. Красивая. Вот бы вам понравилась!

— Что ж на ней нарисовано?

Замаялась сначала, не зная, как объяснить. И неожиданно радостно вскрикнула:

— Да вроде как спутник летит.

Поняли — вознесенье Христово.

В другой избе бабка охотно и просто показывала свое добро.

Мы ей сказали, что в этой деревне люди пугливые, иные икону показать за грех считают.

Старуха ответила степенно:

— Дикарства много в народе.— И сразу же поспешно: — А не арестуют меня за эти слова? — И трянула старинной большой домотканой рубашкой.

— Сколько ж лет этой рубахе, бабушка?

— А бог ее знает сколько. А если вам надо, чтоб древнее была, так лет пятьдесят прибавьте,— говорит она.— Так, наверное, оно и будет. Рубашка и впрямь очень крепкая. Старик мой в этой рубашке и в мороз лютый ходил без шапки да без тулупа. Трудолюбимый дед мой был. Ох, и трудолюбимый.

И снова пошли бродить по деревне.

— У вас прялок резных нет?

— Прялки повыбрасывали. Зато есть камни, больно на картошку похожи. Не надо?

В одну избу долго не решались постучать. Поздно. А нам сказали, что там плетеные корзинки продают. Но на стук сразу же отозвались. Бойкая, веселая бабка приняла нас любезно. Гостям она всегда рада. Вот и дочка к ней сегодня приехала. Чаевничают они. Дочери оказалось уже под семьдесят, а матери под девяносто.

— Бабушка, у вас, говорят, плетеные корзины есть?

— Дед, покажи корзины,— крнчит хозяйка так, что мы затыкаем уши.

Дед, глухой, дряблый, белобородый, приносит корзину из свежей бересты. Она еще даже не просохла. Тяжела и неуклюжа по форме. Хотя дед умело пропустил ленточку из кожуры бересты. Но корзины не интересны. Дед уносит их. Собственно, делать нам в избе нечего, но бабка не хочет нас отпускать.

Она необыкновенно крепкая и подвижная для своих лет. То приносит рукоделие свое показать, то фотографии, чтобы понятней был ее рассказ.

— Первый муж мой помер, когда мне было сорок лет,— очень громко говорит старуха, привыкшая объясняться с глухим.— Слава богу, того лентя бог прибрал. От тифа умер. Тогда я вот этого взяла,— она указывает на деда, снова появившегося на пороге.

Но мы уже плохо слушаем ее. Мы уже мысленно далеко отсюда, совсем в другом районе, в Макарьевской церкви, где нам обещано много икон.

И снова дождь. Не так уж много погожих дней выпало на нашу долю. Шофер не скрывает своего неудовольствия, что «газик» набит до отказа. Кроме нас, в машине еще и киноленты в железных сундучках. Сундучки поставлены друг на друга. Надо быть очень бдительным к этим сундучкам. Если не будешь придерживать их на ухабах, то какой-нибудь сундучок ляжет тебе на ногу. И тогда считай, что твое путешествие на этот раз закончилось.

Шаркают дворники по стеклам машины. Шофер повторяет одну и ту же фразу:

— А у нас, как в Париже, только дома пониже да асфальт пониже.

Наконец последний пункт, где мы сбрасываем киноленты. Шофер свою миссию закончил. У него мало горючего на обратную дорогу. И он наотрез отказывается везти нас к церкви.

Тогда два художника выходят в дождь. Они идут скользя, цепляясь за рукава друг друга. И кажется, что они исполняют комический танец. Но возвращаются вскоре: они встретили председателя колхоза и тот пообещал горючее.

Едем в правление колхоза. К нам подсаживаются два пассажира: председатель колхоза и зоотехник. Председателю лет тридцать. Он вносит с собой такую жизнерадостность, что кажется, и дождя-то никакого нет, и вообще все прекрасно.

Зоотехник — молоденькая девушка в коротких джинсах, застенчивая и милая. Она говорит, что с утра гоняла на мотоцикле: было солнечно,— как будто объясняя нам, почему она в таком наряде. А теперь не проедешь по дорогам из-за дождя.

— Пусть идет, идет. Во какой добрый,— радостно говорит председатель.

И быстро и неловко смахивает дождевые капли, задержавшиеся на брезентовой куртке зоотехника. Зоотехник краснеет и, не в силах скрыть радостного смущения, низко опускает голову.

А председатель рассказывает, обращаясь к нам:

— Ох, там и бога много в церкви! Любого выберете. Икон навалом. Да вот она и церква.

Председатель долго возится с замком. Наконец дверь тяжело, со скрипом открывается. И мы вбегаем в церковь.

Темно. Сначала глаза привыкают трудно. Окна заколочены иконами. Дыры в полу заколочены иконами. И как принято во всех таких церквях — сушится зерно.

Художники на коленях разгребают зерно. Отрывают иконы от пола. Отрывают иконы от окон. Слюнявят пальцы, расчищают иконы. И откладывают их. Не то, не то. Иконы поздние. Живописец примитивен.

Но чем меньше надежды, тем истовее поиски.

Председатель и зоотехник стоят чуть поодаль друг от друга. В их глазах — добрая непонимающая усмешка. В их глазах — еще и благодарность к этим чудакам. «Ищите, ищите как можно дольше своего бога. Хоть целый день. Нам бы вот так стоять под одной крышей».

Но искать больше нечего. Художники, грязные, усталые, застыли посреди церкви. Ничто так не утомляет, как неудача. Столько было надежд! И вот все кончено.

— Значит, не тот бог, который нужен? — спрашивает председатель. — Ну если не тот, тогда извиняйте.

Председатель закрывает дверь. Зоотехник помогает ему. Они не садятся с нами в машину. Дождь почти перестал. Они идут по дороге, по-прежнему чуть сторонясь друг друга, потому что им хорошо, и боязно, и, может, не совсем понятно, что сейчас происходит с ними.

Машина тонет в глубоких ямах. Грязь забивает стекла. Листья ольхи вывернуты ветром наизнанку. И сквозь облака совсем слабо просвечивается солнце.

Руки шофера лихорадочно и напряженно вцепились в баранку. Но говорит он уже более веселым голосом:

— У нас, как в Париже, только дома пониже да асфальт пожиже.

...И снова мелькают деревни. Стоп. Должны же мы еще попытаться счастья.

В деревне, где мы остановились, нет ни председателя, ни бригадира: уехали в район.

— Идите к партийному секретарю, — посоветовали нам.

В избе у секретаря уютно. На столе шумящий самовар. Сам секретарь молод, с приятным, но строгим лицом, держит на руках маленькую девочку.

Мы объясняем, кто мы, зачем пожаловали. Он надевает дождевик, говорит:

— Пойдемте, товарищи.

Идем в контору. Там пусто. Рассаживаемся. Секретарь смотрит наши документы. И снова более подробно расспрашивает, что мы собираемся делать в этой деревне. Потом снова говорит:

— Пойдемте.

Приводит к себе домой. Жена накрывает на стол. Ей помогает мать секретаря, она говорит сыну шутливо, называя его по имени-отчеству:

— Александр Иванович, гостей за стол зови. Милости просим.

Секретарь очень хочет помочь нам.

— Сегодня я приглашу учительницу. Она здешний старожил. Она порасскажет вам.

Вечером учительница приходит. Торопливо протягивает всем руку, почему-то сильно волнуясь. Но она так ничего и не может нам посоветовать. Диалог происходит в основном между партергом и учительницей.

— Так что вы хотите интересного сообщить товарищам, Александра Ивановна?

— Так вот я и думаю, Александр Иванович, к кому бы им лучше пойти?

— Так вы же мне как-то говорили, Александра Ивановна, что у одной женщины много всякой старины видели.

— Так вот я и стараюсь припомнить, Александр Иванович.

Мы начали поиски самостоятельно. Несколько дней прожили в доме секретаря. И была в этом доме такая доброжелательность и покой, что когда приходили мужики, явно желая поругаться с секретарем, и не заставали его дома, мать и жена так хорошо говорили с ними, что мужики несколько раз повторяли:

— Так извиняйте, извиняйте. А к Александру Ивановичу опосля зайдем.

Каждое утро на повети, где мы ночевали, приходил Александр Иванович.

— Как дела, товарищи? Что интересного нашли, товарищи?

Он садился на детские качели. И, чуть раскачиваясь, сосредоточенно слушал нашу короткую информацию. И казалось, что он ужасно напугается, чтобы быть строгим.

Мать его, Татьяна Саврасовна, любила рассматривать принесенное нами добро.

— Неужели и эта чашка в музей пойдет? А я такие повыбрасывала. Да кабы я знала, что такая польза от нее будет.

Она вообще много любила говорить о пользе. И охотно, добродушно глядя на нас голубыми глазами, рассказывала про свою жизнь.

— Невестка у меня Зинуша — очень хорошая. Пять лет вместе живем. Ни одного слова плохого не молвим. И сыновья хорошие. Младший сын скоро инженером станет. А муж мой давно умер. Старшему тогда двенадцать было, второму — семь, а дочери — три года. Иду на скотный двор сторожить, а дочку на спине несус... В жизни ко всему надо приоровиться, — поясняет нам мать секретаря. — С мужиком своим ладно жила. А почему? Потому что с пьяным никогда не ругалась. Вот один раз захожу в одну избу. А там наши мужики пируют. Да своих жен всю ругают. А я тут как тут на пороге, да и говорю им: «Слышу, как наши мужики нас хвалят. И мы своих мужиков всегда хвалим. Мы своими мужиками всегда довольны». Опешили они. Замолчали. Один из них потом и говорит: «Да ты никак глухая, Татьяна Саврасовна». — «Нет, говорю, не глухая. Я еще далеко была, а слышала, как вы нас хвалите да любите». Посмеялись, так все и кончилось ладно.

— Вот со своими сейчас почему мирно живу? — снова спрашивает нас бабка-дипломат. — Сын у меня секретарь партийный — значит, не положено, чтоб в избе иконы висели. А вы меня спросите: я в бога верю? Верю. Но себя вперед не выставляю. Как им удобнее. Не хотят икон, ну и не надо. Лучше добро делать людям. Это и есть твой бог.

А когда она узнала, что мы уходим сегодня в деревню, откуда она родом, голос ее перешел вдруг на веселый шепот:

— Вы непременно к Машке зайдите. Сарафанов у нее... Да и сама она баба добрая. А фамилия ее как? Да и без фамилии ее каждый укажет.

* * *

Машка оказалась большой, краснощекой и удивительно суетливой бабой лет сорока.

Вид у нее был такой, словно она страшно торопилась и никуда не успевала. Будто что-то неистово искала в своей избе и никак не могла найти.

— У вас есть набивные сарафаны?

— А кто сказывал вам, кто сказывал? — забеспокоилась Машка. — А вы покупаете или как?

— А мы и так и этак. Кто музею дарит — тому благодарственный

акт пишем. А когда в музей придете то будете нашим бесплатным и желанным гостем.

— А в газете о таких пишут?

— Можно и в газете написать.

— Ну, тогда выбирайте, что надо. Уж очень хочу в газету попасть.

И откинула тяжелую крышку сундука. Стала выбрасывать сарафаны...

— Хариеста,— крикнула она женщине, появившейся в дверях.— Тащи свой сарафан, что с наляпками.

И Хариесту словно ветром понесло. А Машка кричала с лихим отчаянием:

— Берите, какой нравится, какой на вас смотрит!

Снова в дверях появилась Хариеста, уже с сарафаном. Наляпки оказались аппликациями. И тоже крикнула в тон подруге:

— Берите!

А Машка все приговаривала:

— Да разве для хороших людей чего жалко? Для хороших людей ничего не жалко.

Это была большая удача. И художники, не помня себя от радости, захватив только что полученные ценности, побежали купаться на речку. Но не прошло и десяти минут, как они увидели Машку. Она стремительно бежала к реке.

Все стало ясно — соседи сказали Машке: «Что ж ты, дурында, наделала? Отдала сарафаны, что маткой тебе подарены». И теперь Машка непременно отберет все сарафаны и даже тот, что Хариеста подарила — с наляпками. И не отдаст ни за какие деньги.

Художники выскочили из речки как ошпаренные, чтобы защищать уже музейное добро. И мокрые, растерянные стояли перед запыхавшейся, не менее растерянной Машкой. Она затараторила так быстро, что никто поначалу не мог ничего понять:

— Ой, как ругают меня все. В соседней избе нынче пива наварили. Пировать будем. А я вот хороших людей так вот и отпустила. Ничего не сказала. Так, пожалуйста, приходите. Все ждать будем...— И снова побежала, тяжело и смешно переваливаясь с боку на бок.

* * *

Пиво на столах в чайниках. Пиво хмельное. Тесно, гулко в избе. Но гости еще не очень пьяные и поэтому рассказывают, у кого какая в доме старина.

— Вы мою избу приходите посмотреть,— говорит один мужик.— Она у меня архитектурная. Пилой не тронута.

Другой смешливо-жалобно просит:

— А вы заместо прялок мою жену в музей не заберете?

Бабы зовут к себе в избы смотреть прялки. А Машка, уже полупьяная, сидит, обнявшись с мужиком, и смотрит на художника, который постарше, говорит тягуче:

— Ох, и ласковая, видать, у тебя жена. Столько по голове ласкала, что все волосы выгладила.

Люди смеются. Кто-то громко-крикливо затянул песню. И ее подхватили несколько голосов.

Рядом со мной — две пожилые женщины. Одна, благообразная, накрахмаленная, наглаженная, брезгливая к наспех приготовленной еде, рассказывает:

— Вот муж был у меня. Нет нынче таких. Ищи не ищи — все равно не сыщешь. Он у меня и счетоводом жил. И бухгалтером жил, и секретарем сельсовета жил. Хозяйственный да аккуратный...

— Только тебе, Матвеевна, малость память отшибло,— ехидно и услужливо подсказывает ее сосед.— Что частенько твой хозяин забывал домой ночевать ходить.

И снова изба наполняется громким смехом. А бабка обиженно поджимает губы, замолкает.

Женщина, сидящая по другую сторону от меня, не смеется. Она будто не слышит, что говорят. Она все время молчит. И вдруг обращаясь ко мне, начинает рассказывать просто, спокойно, что месяц тому назад в Мурманск ездила к сыну — внука хоронить. И вот как все чудно-то получилось, что сама понять никак не может. Сначала он лыжной палкой ухо ударил. Осложнение на ухо, а потом на голову, а потом...

Она говорит спокойно. Но в глазах ее страшное непонимание: почему так шумно и весело в избе, почему песни поют и что здесь всем, собственно, нужно? С таким же непониманием смотрит она на второго своего сына — хозяина избы, который буквально вопит на всю горницу:

— Да слушайте вы все! Волк идет — у него след один. А рысь идет — словно колхозным плугом кто прошелся.

Машка, уже дерзко развязная, кричит:

— Эй, идемте все ко мне в избу догуливать!

И подруга ее Харнеста откликается весело:

— Остановись, бесстыжая!

* * *

...Наутро Машка другая — застенчивая, виноватая: чувствует, что не совсем так вела себя перед чужими людьми. Свои-то давно привыкли. Она провожает нас за деревню, чтобы указать дорогу. Идет молчаливо, наклонясь всем корпусом вперед, стараясь не смотреть на нас.

— Ой, вот она, церква, видите? — говорит она так, словно давно должна была сообщить об этом, да вот не сообразила.— Так ее обогнете и все прямо, прямо...

Она протягивает руку вниз ладошкой, улыбается грустно. И сначала идет неторопливо. Потом бежит, словно вспомнив: что-то должна сделать очень важное и теперь боится не успеть.

Мы же идем дальше...

Одноглавая, покосившаяся церквушка осталась уже позади. Быть может, здесь когда-то стояла деревня, но теперь вокруг — ни одной избы. Облака рассеялись и теснились только по краям неба. Земля была податлива после короткого ночного дождя. И было хорошо ступить по ней...



ГОФФРЕДО ПАРИЗЕ
★
ЧЕТЫРЕ РАССКАЗА

О Т А В Т О Р А

Посылаю для «Нового мира» несколько своих рассказов из сборника «Человек — вещь», который вскоре выйдет в московском издательстве «Прогресс».

Перед тем как разъяснить советским читателям моего романа «Хозяин» и очерка «Несколько слов о Вьетнаме» замысел предлагаемых рассказов, мне бы хотелось сказать несколько слов о теперешнем положении литературы в Италии.

Прежде всего отмечу, что в последние месяцы читающая публика, итальянская интеллигенция напрочь утратила интерес к искусству и литературе. Всеобщее внимание приковано к молодежному движению, к так называемой «контестация» — противоборству, неподчинению всем и всяческим авторитетам. «Контестация» эта приняла такой бурный, неодолимый, повседневный характер, что заполнила все газеты, все журналы, все периодические издания. Короче говоря, интересы большинства итальянцев сосредоточились исключительно на политике, на политической борьбе во всех ее проявлениях, будь то студенческое движение или возникновение так называемых «протестантских» политических групп и группочек, коих расплодилось великое множество, начиная от «Студенческого движения» и кончая «маоизмом».

Как грибы после дождя, возникают новые газеты и газетенки всех мастей и оттенков. Они часто называют себя «марксистско-ленинскими», но на деле, по своим идейно-политическим установкам, приближаются к прокитайским. (Как это ни странно, молодые «бунтари» не уловили, не увидели, не поняли, что истинная левизна — не там, что они могут прочесть ее на серьезном, худощавом, вдохновенном лице своего товарища по аудитории — Энрико Берлингуэра¹.)

Вихрь «несогласия» задел даже левое крыло капитализма (звучит абсурдно, но есть и такое). Возможно, что этот политический снобизм есть отражение «комплекса вины», нет-нет да и проскальзывающего у нашей буржуазии, но вернее всего это просто дань моде.

Факт таков, что единственный вид «литературы», которая пользуется сегодня спросом и к которой прислушиваются, это та, что разрабатывает вышеупомянутую тематику. Почему это произошло, трудно сказать, хотя объяснение наверняка существует, и не одно. Главную причину следует искать в неистребимой и искренней тяге молодого поколения (учащейся молодежи) к обновлению, к нравственному очищению; в том, что молодежь почувствовала себя «ударной силой», решила установить контакты с рабоче-крестьянскими массами, восстала против узкоклассового принципа, упорно проводимого буржуазией в системе школьного и высшего образования. Возможно, это результат более или менее сознательного подражания действиям и настроениям молодого поколения других стран, ибо студенческие волнения — не только в Италии — ширятся с каждым днем; а может быть, это лишь совпадение, и «контестация» — явление исконно итальянское.

¹ Заместитель генерального секретаря ИКП. (Прим. перев.)

Противоборство охватило и сферу религии. Были случаи религиозного «бунта» со стороны духовных лиц, сопровождавшиеся неповиновением священников церковным властям, занятием церквей прихожанами. Так было во Флоренции, в Парме и в других городах Италии.

Я привел лишь часть возможных объяснений, их можно было бы дополнить еще многими вескими и весьма приемлемыми соображениями. Но я лично убежден, что в жизни гораздо больше тени, нежели свега (по крайней мере в данный момент), что разум не всегда в силах охватить все стороны наблюдаемого явления, чаще всего он вынужден долгое время пребывать в мучительном сомнении. Разум — истинный разум! — не подчиняется команде, он всегда аналитичен, а иной раз питается воображением, интуицией. Пока что трудно составить себе ясное представление о происходящем. Так, я не исключаю, что кое-кто хотел бы нажать себе на «контестации» политический капитал, что где-то за кулисами ее кипят политические страсти.

Тем не менее надо признать: «контестация» привела к тому, что все или почти все, что имеет отношение к культуре, сегодня насквозь политизировано. Интерес к художественной прозе резко упал. И все-таки я твердо убежден, что заниматься искусством или литературой, если это подлинное искусство и настоящая литература, есть высочайший акт противоборства, есть подлинная революционность. Настоящее искусство революционно по своей сути.

Доказывать это трудно, может быть, даже невозможно, а может быть, и не нужно. Может быть, потребность в искусстве как высочайшем самовыражении личности и впрямь отпала?.. Вот о чем надо спорить с ними, с молодыми «противоборцами», заявляющими, что всякое искусство, всякое художественное творчество бесполезно!

Но это долгий разговор, он увел бы меня слишком далеко от поставленной мною скромной задачи познакомить советского читателя с замыслом моих рассказов.

Сборник «Человек — вещь» представляет собой серию психологических зарисовок, с помощью которых мне хотелось в какой-то мере воспроизвести воцарившуюся в Италии атмосферу идейного, духовного и политического вакуума, которая, собственно, и послужила предпосылкой для студенческих волнений. Многие считают, что я — пессимист, что я сгустил краски, но кто эти «многие»? Та самая буржуазия, которая целиком виновата в создавшемся положении, те самые промышленные тузы, которые до того наводнили западный мир предметами потребления, что в последние годы человек оказался погребенным под ними, утонул в море вещей. Естественный ритм человеческой жизни нарушился, стал искусственным, механическим. В итоге сам человек низведен до уровня «вещи», стал вещью среди вещей.

В своих рассказах я изобразил такого типичного для нынешней Италии человека — человека, утратившего свое человеческое достоинство или мучительно сознающего, что оно от него уходит, человека, который не знает иного общения, кроме «вещного».

Эти рассказы «пессимистичны» лишь настолько, насколько это нужно для того, чтобы вызвать у читателя чувство возмущения и боли, чтобы вскрыть и осудить тот факт, что человек в нашем обществе расценивается наравне с вещью, с предметом потребления: износился — значит, больше не нужен, можно выбросить.

Я писал эти рассказы в течение четырех лет, почти одновременно с романом «Хозяин», а именно — с 1962 по 1966 год. Они представляют собой отражение в литературе той щемящей душу тоски, которую испытываешь, наблюдая жизнь нынешнего человека — безымянного колесика неумолимой промышленной машины.

Последние события, борьба и мироощущение молодежи связаны с этим неразрывно. Поэтому мне так важно сознавать, что я одним из первых сигнализировал об опасности, которая, кстати говоря, отнюдь не миновала, ибо промышленная

машина уже нацелилась: вот-вот превратит в предмет потроения даже чувство протеста, чтобы оно поскорее «израсходовалось». Мне важно, что я отреагировал одним из первых: опечалился и возмутился. Что я уже в 1965 году выступил с книгой, направленной против хозяев (она так и озаглавлена — «Хозяин»): сегодня я вижу в руках молодых демонстрантов плакаты, на которых начертан лозунг: «Мы — против хозяев». И я очень рад, что остался верен своему творческому «я» и пользовался теми выразительными средствами, которые нынче именуются «отжившими», то есть теми словами, которые мне были подсказаны воображением и чувством и благодаря которым я создал, как мне кажется, лучшее из всего, что мною сделано в жизни.

Гоффредо Паризг.

Анкета

Фирма брала меня к себе на работу охотно; тем не менее я должен был представить характеристику и заполнить длиннейшую анкету. И то и другое — в порядке вещей: желание работодателя оградить себя от неприятных неожиданностей или хотя бы в общих чертах знать, что ты за человек, вполне естественно.

С заявлением все оказалось просто. Я сам вручил его человеку, который, видимо, настроен ко мне вполне благожелательно: стало быть, с этой стороны ничто мне не грозит. Меня точит мысль об анкете.

Дорабатывая последние дни на старом месте, я частенько о ней задумываюсь, силюсь припомнить, в каком порядке шли вопросы и как я на них отвечал.

Из фирмы, в которой я проработал целых десять лет, я решил уйти исключительно из материальных соображений. Руководство вошло в мое положение и даже пошло навстречу: предложило лучшие условия, которые, однако, намного уступали тем, что мне предоставляла, без всякого нажима с моей стороны, другая фирма.

В конце концов начальство смирилось с моим уходом, все стали меня поздравлять и даже приняли участие в небольшом банкете, устроенном в мою честь отделом кадров (хотя я лично никого ни о чем не просил). По окончании тостов и напутствий я отвел в сторонку главного устроителя банкета и сказал ему, что считаю своим долгом взять все расходы на себя, а если делить, то лишь символически.

Но об этом никто слышать не хотел. Мало того, к моему крайнему удивлению и смущению, мне преподнесли авторучку, на которой на американский манер было выгравировано «О. К.», то есть «о'кей».

Как я уже говорил, меня одолевает беспокойство по поводу анкеты, которую мне пришлось заполнить на новом месте. Не знаю почему, но кое-какие обстоятельства я обошел молчанием, словно желая скрыть от самого себя... Что толку таиться, лучше уж выложить все начистоту!

Прежде всего к анкете требовалось приложить четыре фотографии: мою собственную, моего отца, матери и жены. Я спросил у сотрудника, ведающего анкетными делами, обязательно ли это. Ни слова не говоря, с этакой назидательной улыбкой на лице он ткнул пальцем в первые строчки первого анкетного листа, где под четырьмя квадратиками для фотокарточек большими красными буквами было написано: «Важно».

В этом жесте не было ничего враждебного. Напротив, как я уже говорил, во взгляде и в жестах этого вполне интеллигентного человека сквозило доброжелательство. Позднее я узнал, что он ученый, филолог.

Я принес фотографии, наклеил их и сел за пишущую машинку (почерк у меня не ахти какой). Время от времени я ласково поглядывал на другие мне лица: как-никак, это моя семья!

Преисполненный сознанием, что мне предстоит занять ответственный пост в крупнейшей и всемирно известной фирме, я мысленно повторял: «Ах вы мои дорогие... Дорогие вы мои...»

Я сидел один в небольшом кабинете, специально оборудованном для заполнения анкет, и бормотал: «Дорогой папа, дорогая мама, дорогая Мария». Видимо, кадровик в соседней комнате что-то услышал — обернувшись, я увидел, что он стоит в дверях и улыбается. Он предупредил меня, что пишущей машинкой можно пользоваться только до четвертого листа; далее положено заполнять от руки. Я, улыбаясь, сказал ему насчет своего неразборчивого и весьма неказистого почерка; он посмеялся, но добавил:

— Какой есть, такой есть! Ведь изменить вы его не можете? Почерк в какой-то мере раскрывает ваш характер. А прочесть — прочтем, не беспокойтесь. Это наша обязанность...

Он угостил меня сигаретой и вернулся в свой кабинет.

Я заполнил анкету так, как мне было велено, вручил ее приятному господину в собственные руки и пошел домой. Вспомнил я о ней только теперь, по прошествии нескольких дней, и, признаться, всполошился.

Прежде всего в памяти всплыли фотографии, особенно — отца и жены. Я впервые в жизни взглянул на своих близких как бы со стороны, точнее — глазами служащего отдела кадров.

У отца — лицо человека лет шестидесяти, явно низкорослого, о чем свидетельствует почти полное отсутствие шеи: голова уходит в плечи. Глядя на эту фотографию, можно подумать, что перед вами человек с деформированным позвоночником или в лучшем случае сутулый коротышка без шеи. Нахохлившийся горбун. Усугубляет это впечатление крючковатый нос с кустистой растительностью, рот в виде прорези или щели между костлявыми, выдающимися вперед челюстями, водяные (именно водяные, а не воднистые), блуждающие глаза под тонкими, будто нарисованными бровями и, наконец, маленькие, с загнутыми краями, круглые уши, на одном из которых не хватает мочки и части ушной раковины.

Все это придает моему отцу какой-то хищный вид, делает его похожим то ли на ярого пропойцу, то ли на противную полоумную птицу неизвестной породы — нечто среднее между скворцом и нетопырем, из тех, что, соскучившись в одиночестве, любопытно зыркая по сторонам, усаживаются на кромку шоссе, посидят-посидят, а потом все разом, будто по команде, тяжело хлопая крыльями, улетают.

В довершение всего в графе об отце на вопрос: «Страдает ли какой-либо болезнью?» — пришлось ответить, что у него больная печень, а на вопрос: «С какого времени?» — написать, что установить это не представляется возможным.

Сами посудите, какое впечатление мог произвести такой портрет не то что на высокопоставленное начальство (мне начинало казаться, что вряд ли моя анкета дойдет до него), но на того же работника отдела кадров!

Свою молодую двадцатитрехлетнюю жену я всегда считал хорошенькой; если хотите — очень хорошенькой, но не более того. На фотографии же, если присмотреться, она выглядит не просто красивой — красавицей! Но боже ты мой, что это за красота! Под стать какой-нибудь певичке или крале с рекламной картинки. Какая-то помесь мюзик-холльной «герл» с породистым животным, а то и еще похуже. Во взгляде, в линии рта ---

что-то неистребимо хищное, плотоядное. Шея — мясистая, круглая, гладкая, будто надутая воздухом, как у жирной лягушки из Патагонии. Вопрос: «Род занятий жены?» Ответ: «Домашняя хозяйка».

Так как же быть?!

Мне снова слышится голос господина из отдела кадров: «Каждый человек представляет собой то, что он есть: сына своего отца, мужа своей жены. Если отец — любитель выпить, а жена — человек... как бы это выразиться... примитивный, вам не остается ничего иного, как «включить в себя» и его и ее со всеми их достоинствами и недостатками».

Ах, как легкомысленно я поступил! Почему перед тем как сделать шаг, которому суждено повлиять на всю мою будущую жизнь, я не взвесил хорошенько все «за» и «против»?!

На старом месте мне осталось работать восемь дней. Вчера, задержавшись в секретариате правления, я узнал, что руководство предприятия составило на меня характеристику для моих новых хозяев. Секретарь был столь любезен, что дал мне ее прочесть.

Характеристика отличная, на одиннадцати страницах, с такими подробностями, которые я и сам бы не упомянул. Я чуть не прослезился, читая. Но, дойдя до последних строк, похолодел.

Характеристика заканчивалась следующими словами: «Счел возможным покинуть нашу фирму, руководствуясь исключительно материальными соображениями».

Это чистая правда, тем не менее последние полторы строчки как бы сводили на нет все, сказанное выше.

Поблагодарив секретаря, я попросил его, нельзя ли опустить эту концовку, поскольку новых моих хозяев она, на мой взгляд, ни с какой стороны не интересует. Секретарь покачал головой, посмотрел на меня долгим-долгим взглядом и со вздохом, в котором я уловил неприязнь, настойчиво и многократно повторил:

— Э-э, нет, нет, нет...

Я стоял на своем. Тогда он — нехотя и по большому секрету — сообщил мне, что руководство было весьма и весьма огорчено моим решением, вернее тем, что я пожелал уйти в другую фирму из чисто корыстных побуждений. Прекрасно все понимая, памятуя о том, что я десять лет служил фирме верой и правдой, и нисколько не умаляя моих заслуг, они все же не сочли себя вправе умолчать о побудительных причинах моего ухода.

Секретарь добавил, что он своими ушами слышал, как на заседании правления многие по этому поводу охали и ахали. А господин президент высказался так: «Коль на то пошло, было бы, по-моему, в тысячу раз лучше, если бы он бросил нас из каких-либо нравственных побуждений или просто из желания поработать в другой фирме, в данный момент пользующейся большей популярностью, чем наша. Но менять место из голой корысти... Ну да ладно, переживем! Зато теперь мы знаем, что это за птица».

Из секретариата я ушел совершенно подавленный. Значит, с характеристикой дело обстоит далеко не так гладко, как я думал поначалу. Уйти-то я уйду, но путь обратно для меня заказан.

Сегодня утром я отправился к господину из анкетного отдела. Я цепенел от страха, но старался владеть собой: сжав зубы, изображал на своем лице спокойствие, достоинство и уверенность в себе, которых на самом деле не было и в помине. Означенный господин вышел из своего кабинета — он был очень бледен — и подошел ко мне. Меня ждал удар...

Сентиментальный человек

Я сам из провинции, но вот уже много лет живу и работаю в большом городе. Друзей у меня мало: человеку занятому, да еще семейному выкроить время на что-нибудь, кроме семьи и работы, например на дружбу, очень трудно. Люди, с которыми я общаюсь, это не столько друзья, сколько знакомые — преимущественно коллеги. Они тоже обременены семьями, так что видимся мы редко и как бы против воли.

Рассказывать нам друг другу, естественно, нечего. Живем мы все одинаково, по одному раз и навсегда установившемуся шаблону, делаем, в итоге, одно и то же; даже изъясняемся, наверное, одними и теми же словами.

Когда мы собираемся в пятницу или в субботу поужинать компанией вместе с женами, вечер неизменно кончается походом в кино, поскольку тем для бесед раз-два и обчелся. Жены наши, не связанные давней дружбой, чуть что не так — дуются: достаточно одной из дам выглядеть по-лучше, появиться чересчур расфуфыренной или разговориться сверх меры.

Короче говоря, даже с теми немногими знакомыми, которые еще остались, мы видимся все реже и реже. У меня складывается твердое убеждение, что каждый из нас — то ли из-за жены, то ли из-за отсутствия общих интересов — склонен порвать даже эти слабые и ни к чему не обязывающие узы. Не под горячую руку, не в приступе раздражения, а просто так, потому что отношения наши себя изжили, отпала потребность в общении, в том, чтобы побыть вместе, сходить в ресторан поужинать или в кино посмотреть новый фильм.

К тому же есть еще одно обстоятельство, которое неизменно отравляет каждую такую встречу. Как правило, все расходы мы делим поровну. При этих подсчетах мне всегда как-то ужасно неловко. Или, что еще хуже, одна пара расплачивается за ужин, а вторая покупает билеты.

В ресторане меньше чем полутора-двумя тысячами лир не обойтись (чаще всего набегают именно две тысячи), а билеты в лучший кинотеатр, на премьеру стоят от силы тысячу двести лир. Эта разница в цене, эта отнюдь не компенсируемая «компенсация», тоже играет отрицательную роль, отражается в глазах жен, а то и мужей. Но ведь главное — соблюсти декорум, поэтому каждый спешит сделать красивый жест, расплатиться первым, что в конце концов и ведет ко взаимному охлаждению.

Без труда могу себе представить, о чем беседуют мои коллеги со своими женами после очередной «встречи друзей». Впрочем, за примерами далеко ходить не приходится, достаточно послушать, что говорит моя собственная супруга.

— Извини, пожалуйста! — горячится жена (или муж, что, в сущности, не меняет дела).— Они купили билеты в кино, это — четыре тысячи восемьсот лир. Ну, угостили кофе: еще двести лир... Итого пять тысяч. Но за ужин ты выложил пять семьсот, с чаевыми — шесть тысяч лир! На целую тысячу больше. С какой стати?! Лучше сходили бы вдвоем, истратили бы всего пять четыреста! Я — человек не мелочный, крохоборство — не в моей натуре, но швырять деньги на ветер... ради чего? Была бы хорошая компания, интересные собеседники, куда ни шло: можно бы и потратиться. Но в том-то и дело, что говорить не о чем, скучища такая, что скулы сводит. Не удивительно, что все рады-радешеньки, когда кто-нибудь предлагает сходить в кино.

— Так-то оно так, — отвечает дражайшая половина, — но если согласиться с твоей точкой зрения, то в конце концов вовсе перестанешь общаться с людьми!

— Тоже верно. Но, с другой стороны, сам (сама) посуди, что хорошего в этих встречах? Какой интерес? Какой толк? Жалованье все равно каким было, таким и останется.

Так называемые «деловые обеды», то есть принудительные сборища коллег по работе, происходящие время от времени в связи с предстоящим профсоюзным собранием или необходимостью принять сообща какое-нибудь решение, нам тоже не по нутру. Кому охота заниматься профсоюзными делами и принимать совместные решения? Всякий мечтает свалить это неблагодарное занятие на чьи-нибудь крепкие плечи. Пусть бы всеми этими делами управлял кто-то один, облеченный полномочиями и всей полнотой власти.

Так или иначе, у меня теперь нет ни друзей, ни знакомых. Не бывает у меня и случайных встреч, потому что, когда ведешь уединенный образ жизни, волей-неволей наловчишься избегать людей. Теперь я вижу только со своей женой и детьми — шестилетней дочкой и четырехлетним сыном. Хотя, по правде говоря, я и их вижу мало. Отчасти потому, что пропадаю на работе, отчасти из-за телевизора: когда я прихожу вечером домой, гостиная уже погружена во мрак, все сидят, уставившись на голубой экран, до тех пор, пока не одолевает зевота, а там и спать пора. По утрам я тоже вижу своих домочадцев редко. Они встают позже меня; когда я ухожу, все трое еще нежатся под одеялами.

Мало-помалу, в силу всех этих обстоятельств, я даже начал забывать их лица. Когда я силюсь припомнить родные черты, они всплывают перед моим мысленным взором не иначе, как во мраке гостиной, освещенные мерцающим светом телевизора, и потому у них больше сходства с изображениями, мелькающими на телевизионном экране, нежели с людьми из плоти и крови, которых я встречаю на улице.

Жену свою я знаю преимущественно на ощупь. Подчас меня даже берет сомнение, в состоянии ли я узнать ее с первого взгляда. С помощью осязания ориентируешься, конечно, намного лучше, чем с помощью зрения, так что я почти перестал пользоваться таким, казалось бы, важным органом чувств, как глаза. К тому же, когда пользуешься одним осязанием, создается иллюзия, что время не так уж быстротечно. Осязание обманчиво, но в конечном итоге обман этот не столь огорчителен.

Таким образом, я обхожусь не только без друзей и знакомых, но и без близких. Они все больше ускользают от меня, и я уверен, что рано или поздно, с годами, по мере утомления и притупления органов чувств, я совсем перестану их видеть или буду смотреть на некогда родные мне существа глазами постороннего человека.

Поскольку «визуальное» отчуждение в значительной мере уже произошло и семья утратила для меня истинное значение, превратившись в некую безликую ячейку общества, иначе говоря, поскольку реальная действительность от меня отчуждена — в силу установившегося в современном обществе ритма и образа жизни, — мне бы хотелось приучить себя, как это делают старики в богадельне, жить только прошлым, воспоминаниями. Но как я ни стараюсь, не получается, потому что выпадает целый кусок жизни: я в состоянии сосредоточиться только на детстве, только там я могу различить живых людей, краски, запахи. А весь последний период, связанный с женой и детьми, — как бы «черно-белый», погружен в темноту и безмолвие.

Поэтому я был вынужден перенести остатки чувств, которые некогда связывали меня со школьными товарищами, а в зрелые годы с друзьями, с женой и детьми, на вещи, на неодушевленные предметы, одним словом — на все то, что зримо, что предстает передо мной при свете солнца или, вернее, при свете дня. Я имею в виду не только природу — скажем, деревья (их на пути от моего дома до службы попадает как раз до-

вольно мало), но — улицы, дома, автомооили, короче говоря, все то, что меня окружает, составляет часть материального мира; на нем-то я и сосредоточил отныне все свои эмоции. Бывает, я подолгу стою и смотрю на какой-нибудь дом или на чей-то чужой автомобиль. А иной раз ловлю себя на том, что заговариваю с предметами, выставленными в витринах магазинов. Разговор, конечно, получается односторонний, поскольку неодушевленные предметы, как известно, даром речи не обладают. Но для меня это не имеет значения. Я завожу разговор, и это только видимость, что я разговариваю сам с собой; в действительности же общение мое с неодушевленными предметами куда реальнее, чем общение со знакомыми, с женой и с детьми.

Я прекрасно понимаю, что со стороны это может показаться странным и может быть даже расценено как симптом истощения нервной системы, но я-то знаю, что это не так! Если бы люди дали себе труд поразмыслить как следует над своей жизнью, я убежден, все пришли бы к тем же выводам, что и я; для этого не надо быть великим философом. (Кстати, я философию вообще не изучал, так как получил техническое образование.)

Живется мне теперь совсем не так уж плохо, гораздо лучше, чем раньше, когда я разрывался на части, стараясь поддерживать отношения со знакомыми, общаться с женой и детьми. В этих отношениях никогда не было ясности и четкости; то ли дело — улица, автомобиль, дерево, любой из существующих на свете предметов. Взгляните сами... Помимо законченности, меня пленяет их устойчивость, прочность и то, что они не мнят себя одушевленными. В них есть нечто обнаженное, чистое и прямолинейно честное — то, что еще способно вызвать отклик в душе, искру уверенности.

Пора спать!

Жизнь его протекала следующим образом. Он вставал в семь утра, отправлялся в ванную, брился электрической бритвой, которую через день прочищал металлической щеточкой. Одеваясь, старался производить как можно меньше шума, чтобы не разбудить жену. Время от времени он поглядывал то на нее, сладко посапывавшую во сне, то на спавшего рядом ребенка, их сына.

В семь двадцать он выходил из дома, на троллейбусной остановке покупал газету, бегло ее перелистывал, садился в троллейбус, не доезжая одной остановки, выходил, чтобы забежать в бар — выпить чашку кофе с бриошью. Затем в проходной совал свою карточку в щель часов; отметившись, поднимался к себе и начинал очередной рабочий день.

Работа, которую он выполнял, была довольно безликой — в том смысле, что почти не требовала инициативы, шла по однажды заведенному порядку, автоматически.

В полдень он шел обедать, во время обеда читал газету, звонил жене. Затем возвращался в свой офис и трудился до шести. С шести до восьми вечера он позволял себе пройтись не спеша по центральным улицам: делать было нечего. От этого отсутствия дела, от вынужденного простоя, от этой зиявшей, как черная пучина, пустоты его начинала грызть тоска. Наверное, так чувствует себя бездействующая электронно-счетная машина. Но машина есть машина, состояние покоя для нее есть просто погружение в мрачную, тупую пассивность, наступающую всякий раз после того, как служащие в соответствии с распорядком рабочего дня покидают служебные помещения.

Для нашего М. — назовем его так — вынужденная бездеятельность в течение двух часов досуга была источником тоски и даже страдания. Ему — человеку, а не машине — эти два часа свободы тоже были навязаны, вменены. Дескать, хочешь не хочешь, а распоряджайся собой как знаешь! Именно это и выводило его из равновесия. Он чувствовал, что с ним творится что-то неладное, но в чем причина, понять не мог.

Машине хорошо: она ничего не чувствует, с завистью думал он. Однако в один прекрасный день, поразмыслив, М. пришел к выводу, что фактически никакой разницы между ним и электронно-счетным устройством не существует, что жизнь у них складывается, в общем-то, одинаково: распорядок дня — один и тот же, перерывы на обед и на отдых совпадают. Единственным реально осязаемым отличием его от машины состоит в том, что ему на два часа в день предоставляется свобода, двухчасовая свобода, которая ему в тягость, что он в течение целых двух часов вынужден отдавать себе распоряжения, словно какой-нибудь босс, возглавляющий крупное предприятие, должен делать вид, будто у него есть потребности, которых в действительности нет.

Гуляя по улицам и глядя по сторонам — на дома, на магазины, на уставленные всякой всячиной витрины, — он невольно связывал впечатления со своим душевным состоянием. Ход его мыслей был примерно таков: «Ведь вот когда я ухожу с работы, голова моя — в полном порядке. Но стоит мне побродить по улицам, наглядеться на эти дома, на людей, на магазины и на выставленные в витринах товары, как мне становится тошно. Стало быть, эти люди, эти улицы, эти витрины и есть источник моей хандры, они — всему причиной!»

М. на какое-то время застыл на месте, потом зашагал дальше.

Автомобилей на улице становилось все больше и больше, они нетерпеливо гудели, выли, гаркали — как живые существа, видом своим напоминавшие каких-то гигантских жесткокрылых насекомых: тараканов-прусаков или жуков-скарабеев. Выстроившись длинными вереницами, впритык, они в своей неистовой жажде движения напирали друг на друга, рвались вперед.

Тем временем М. продолжал размышлять и неожиданно для самого себя сделал прискорбный вывод, что все это, вместе взятое, — улицы, магазины, вещи — суть не что иное, как жизнь! А раз так, если причина его тоски и боли сама жизнь, если ему противна сама идея его теперешнего существования, то стоит ли удивляться, что у него так скверно на душе.

Он сел в троллейбус — пора было ехать домой. По дороге он продолжал свои размышления уже в свете сделанного им только что открытия. Он спросил себя, отчего же все-таки все вокруг ему опостылело. Ответ не заставил себя ждать: «Если я не приемлю жизнь — значит, осуждаю ее, а осуждая, пользуюсь особой меркой, порожденной какой-то иной, лучшей действительностью. Но где она, эта лучшая действительность? Вот в чем вопрос! Я ее не вижу. Моим глазам, моему восприятию доступна лишь эта, столь для меня мучительная».

Никогда еще М. не размышлял так долго и интенсивно, он даже утомился. Но в то же время почему-то успокоился, словно мысли эти развеяли его тоску, подобно мощным ледяным ветрам, веющим в межзвездных пространствах.

М. сошел с троллейбуса и направился к своему дому. Жена, как всегда, ждала его ужинать. Они прошли в свою уютную столовую, прислуга подала на стол.

После ужина жена включила телевизор. Сначала на экране появилась певица, потом показали танцевальный номер и, наконец, несколько рекламных скетчей.

М. сосредоточенно смотрел на экран, как вдруг совершенно машинально подумал: «А ведь мне не нравятся ни эта певица, ни танцоры... Какие-то развязные, вульгарные... А то, что они делают, полнейшая бессмыслица!» Он поделился своими мыслями с женой. Та ответила немногословно, но безапелляционно:

— Как?! Неужели тебе не понравилось? Прекрасные артисты! Только дикторша не годится: размазня! Вчерашняя была гораздо красивее и не такая мямля.

М. попытался растолковать жене, что он имел в виду всю передачу в принципе. Если бы выступали какие-нибудь другие артисты, более одаренные, они бы тоже показались ему вульгарными, а их выступления бессмысленными.

— Как можно судить не глядя?! — возмутилась жена. — Предположим, тебе не нравятся эти, которых ты смотрел сейчас, но нельзя же ругать всех без разбору!

Немного подумав, М. невозмутимо и умиротворенно проговорил:

— Будь они хоть семи пядей во лбу, они мне все равно не понравятся.

И поделился с женой сомнениями, которые обуревали его весь вечер после работы. Он досказывал ей свою мысль, уже лежа в постели.

— Не понимаю, — недоумевала жена, — почему тебе все на свете разонравилось? Я и сама это стала замечать. Может быть, ты и во мне разочаровался?

— Ну что ты! — солгал М., только в этот момент сообразив, насколько жена была права.

— Убей, не понимаю, что тебе нужно? — продолжала она. — Работа у тебя интересная, зарабатываешь ты прекрасно; у нас великолепная квартира, красивая мебель; живем мы в большом городе, вокруг — масса увлекательных вещей; у тебя отличный сын и любящая жена. Что тебе еще надо? Может быть, ты просто переутомлен? Впрочем, что я говорю! Когда подходит отпуск, ты погибаешь от скуки! По субботам и воскресеньям не знаешь, куда себя девать. Спорт ты не любишь, ездить за город — тоже. Скажи на милость, есть что-нибудь такое, что ты любишь?

— Нет, — с горечью признался М.

— И меня ты тоже не любишь? — упавшим голосом спросила жена.

М. промолчал. Лгать он больше не мог; к тому же он чувствовал, что и смысла нет: она все равно догадается.

— Если разлюбил, то зачем же ты со мной живешь? Никто тебя не неволит. Найди себе другую! — продолжала она; в голосе ее прозвучало неподдельное горе.

Жестокие слова сами слетели с его губ:

— Я живу с тобой по привычке — потому же, почему ежедневно хожу на службу. Я все делаю по привычке. Когда я вечером после работы прогуливаюсь по улицам, меня и там ничто не тешит; на дома, на витрины магазинов, на выставленные в витринах товары я тоже взираю равнодушно. Будь ты иной, будь иными эти улицы, эти вещи — все равно ничто бы не изменилось...

— Ты уже однажды вел подобные разговоры, лет десять тому назад, когда у тебя было истощение нервной системы, — оживилась жена. — Странно, откуда это у тебя снова... Все эти годы ты чувствовал себя неплохо. Придется опять сходить к врачу подлечиться. Обещай мне, что сходишь!

— Да, непременно, непременно, — рассеянно поддакнул М. — Если ты считаешь нужным, давай ходим. У меня, должно быть, в самом деле нервы пошаливают. Ты на меня не обиделась?

— Сначала — да, особенно когда ты сказал, что живешь со мной по

привычке. Но услышав, что тебе вообще весь свет не мил, я поняла, что то, что ты называешь привычкой, есть попросту жизнь! Ну конечно же, жизнь — это привычка, а что же еще?! Извини, пожалуйста, но разве ты для меня — не привычка? Такая же, как есть, спать, ну, в общем, ежедневно делать одни и те же вещи. Но ведь это прекрасно. Не понимаю, чего еще желать?..

— И тебя это не угнетает? — спросил он.

— Нисколько! Я всегда мечтала именно о такой жизни, какую веду сейчас. С какой стати я буду расстраиваться? Что за странный вопрос!

Жена смотрела на него отчужденно. Она уже не улыбалась, губы ее были плотно сжаты, и М. подумал, что, вероятно, так выглядит зверек, почуявший опасность — приближение неведомого и более сильного зверя: ошестинился, убрал уязвимые места под панцирь, приготовился к схватке. Но сейчас же пришла в голову другая мысль — что жена излучает жизнь, ту же жизнь, которая бурлит на улицах, в магазинах, исходит от всех этих вещей, которые ему опостытели. Так устроен мир, никуда не денешься. Другой жизни, других улиц, других магазинов, других вещей и других женщин, которые были бы ему по душе, верно, попросту не существует.

— Да я просто так... размышлял вслух,— успокоительно проговорил он, желая разрядить сгустившуюся атмосферу. (На какое-то мгновение жена напомнила ему разъяренное насекомое, готовое вонзить жало.)

Она тотчас успокоилась, подобрела:

— А ты поменьше думай! — И по-матерински ласково прошептала: — Поди ко мне... пора спать. Скоро два часа, а тебе в семь вставать.

Слегка нажав ярко-розовым ногтем кнопку выключателя, она погасила свет.

Деньги — это все!

Работой своей я вполне удовлетворен, зарабатываю много, положение мое в обществе хорошее, я бы даже сказал отличное, если бы от излишнего оптимизма меня не удерживали вполне естественная неуверенность в завтрашнем дне и сознание, что все на свете относительно. В пределах своих возможностей я достиг, как говорится, потолка.

Живу я в Милане, в самом центре, но в тихом месте. Живу в собственной квартире, которая обошлась мне миллионов в сорок — пятьдесят. Построил себе на побережье четырехкомнатный коттедж для летнего отдыха. Доходы свои я ни от кого не скрываю: в месяц набегают до миллиона лир. У меня два автомобиля: одним пользуюсь я сам, другим — жена. Добавлю для ясности, что я езжу на обычной малолитражке, а супруга моя пожелала иметь шикарнейшую машину английской марки.

Мои двое сыновей учатся в лучших школах и с малых лет вращаются в лучшем обществе. Не думаю, чтобы в моих делах мог произойти заметный спад. Конечно, все мы, люди свободных профессий, как говорится, под богом ходим, а посему зарекаться не следует, но до тех пор, пока я буду в состоянии работать так, как работаю сейчас, я могу с уверенностью сказать, что на жизнь себе и своей семье я всегда заработаю.

Короче говоря, я — буржуа, точнее — крепкий средний буржуа, представитель той категории серьезных, честных, трудолюбивых людей, которых многие так по-глупому ненавидят, — я уж не знаю, что этому причиной: зависть или, как многие уверяют, и в самом деле — классовая вражда.

«Ступенька», на которую я взобрался, или положение, которое я сейчас занимаю внутри этого класса, было всегда пределом моих мечтаний, и добился я его лишь к сорока годам. При этом я, как мне кажется, принадлежу к числу так называемых просвещенных буржуа, поскольку не так уж цепляюсь за собственность и отнюдь не одержим манией накопления. Квартиру и дачу я приобрел потому, что мы ими пользуемся, это удобно, но, в сущности, и квартира и дача записаны на имя жены: она придает этому большое значение. На нее же записаны и обе машины, вернее одна — на нее, а вторая — на тестя (у него в Милане небольшое дело).

Мебель у нас старинная, настоящая, я сам подбирал. Признаюсь: коллекционировать старину — моя страсть. Однако не могу сказать, чтобы я над этой мебелью трясся. Я ее приобрел, поскольку надо было обставить квартиру; следовательно, она — моя собственность. Но если бы можно было взять нечто подобное напрокат, я бы не возражал — почему нет?

То же самое я могу сказать о картинах. Я очень люблю картины и вовсе не рассматриваю их как способ выгодно вкладывать деньги, даже если это так и если жена моя подходит к ним именно с такой меркой и очень радуется, когда я прихожу домой с очередной покупкой. Кое-что ее, правда, в моем хобби не устраивает. Не столько мой вкус — она его, в общем, одобряет и ценит, — сколько то, что я редко останавливаю свой выбор на «перспективных» художниках, то есть на таких, чьи картины можно приобрести по дешевке, но цена на которые в короткий срок, за каких-нибудь несколько лет, наверняка подскочит.

В этом смысле я — коллекционер никудышный. Картины, которые я покупаю, принадлежат кисти добротных мастеров, которых я всегда любил; я сразу выкладываю за них солидную сумму — на таких не наживешься.

Разговор этот я завел, желая подчеркнуть, что, хоть я и буржуа, чувство частной собственности у меня не гипертрофировано. Во всяком случае я считаю, что неправильно судить о человеке по количеству нажитого им добра или денег. Я склонен думать, что подлинная сила и богатство человека — это его голова и его выносливость, то есть способность к труду и к постоянному самообновлению.

Таков вкратце мой автопортрет. Я нарисовал его, как бы глядя на себя со стороны, глазами непредубежденного человека, чтобы затем, исходя из сказанного, повести разговор с самим собой. Я хочу разобраться, в чем причина неудовлетворенности, которая в последнее время гложет мою жену, да и сыновей, пожалуй, тоже.

Жена моя в ответ на мои расспросы о причине ее подавленного состояния сказала:

— Деньги — это все, дорогой! Я всегда была с тобой откровенна, не стану хитрить и на сей раз. Деньги — главное в жизни. Я больше всего на свете люблю деньги.

— Больше, чем меня? — спросил я шутливо, но, признаться, встревоженный и огорченный.

Посмотрев на меня в упор своими светлыми, спокойными глазами, она ответила:

— Да, больше, чем тебя.

И надолго умолкла, с улыбкой наблюдая за мной. Я стоял рядом, не смея взглянуть ей в лицо.

— Вот видишь, дорогой, ты обиделся за то, что я сказала правду. А что мне стоило сказать «нет»?Пусти я в ход немного дипломатии, слегка посулюкай, иначе говоря — слукавь, и ты бы поверил, что я люблю тебя больше, чем деньги. Большинство женщин так и делает и без труда

добивается успеха. Но я не такая. Я сказала, что люблю деньги больше, чем тебя (а тебя я люблю очень сильно), потому что хотела быть искренней и показать, как велика моя любовь к тебе. Давай рассуждать вместе. Деньги у нас есть, я тебя люблю, стало быть — никаких проблем: ведь ты и деньги — это одно и то же, хотя деньги и стоят на первом месте. Но не будь денег, я бы, наверное, тебя не любила. Я бы никогда тебя не полюбила...

Я ее прервал:

— Но когда мы познакомились, у меня было совсем мало денег и — никакой уверенности в том, что они будут. И все-таки ты вышла за меня замуж, не ставя никаких условий!

Она, весело смеясь, погладила меня по голове:

— Да, но я знала, что ты будешь много зарабатывать.

— Откуда ты могла это знать?!

— Очень просто! Ведь ты меня любил. Кроме того, ты принадлежишь к той породе мужчин, при первом же взгляде на которых сразу видно, на что они способны. Мне трудно тебе это объяснить, но даже выражение лица, даже твои жесткие, пружинистые волосы, твой рост — весь твой облик! — служили гарантией того, что ты будешь загребать кучу денег. Во-первых, ты крепкий, выносливый. Во-вторых, добрый. Разумеется, только по отношению к своей семье и ко мне. С чужими ты весьма суров и непреклонен. В сущности, все твои помыслы — о нас, мы для тебя — свет в оконце. А поскольку ты ни о чем ином, кроме как о нашем благе, не печешься, то твоя жизнь есть лишь производное от моей жизни, от жизни твоих детей. Это последнее обстоятельство очень существенно, поскольку отсюда вытекает то, что ты не интересуешься политикой, равнодушен к проблемам культуры и искусства (если не считать твоей слабости к картинам и старинной мебели, но ведь это — совсем другое дело) и, главное, не ломаешь себе голову над мировыми проблемами, не думаешь...

— То есть как это «не думаю»?! В моем деле не думать невозможно. По-твоему, мне, хирургу, чтобы сделать операцию или поставить диагноз, нужны только руки, а голова тут ни при чем?

— Ты меня не понял, глупыш! — безмятежно рассмеялась моя благоверная. — Как не думать, конечно же, ты думаешь. Ты у меня умный, на редкость умный. Но лишь постольку, поскольку тебе это требуется для дела, для того, чтобы иметь такую жену, как я, детей, эту мебель, эти картины, эту квартиру, автомобили, летний отдых и все прочее. Ты умен настолько, насколько это требуется твоей семье. Когда я говорила «ломать себе голову», «думать», я имела в виду нечто совершенно иное...

— Что же ты имела в виду, разреши полюбопытствовать?

— Я имела в виду бесплодные раздумья, размышления о таких вещах, которые ничего не дают... как бы это выразиться... которые существуют сами по себе и с нуждами семьи никак не связаны.

— Например?

— Те вещи или идеи, из-за которых мужчины впадают в ничтожество, становятся плохими мужьями, никудышными отцами и чаще всего сидят без гроша. Ну, теперь понял? Я не мастер философствовать, меня это просто утомляет, но, думаю, тебе ясно, о чем я толкую: о тех вещах, которые не дают денег...

— Нет уж, извини, пожалуйста, договаривай до конца! Что же ты все-таки имеешь в виду — мораль, религию, красоту, свободу... так, что ли? Но какие же это «вещи»?!

— Вот-вот! Ты попал в точку. Как бы то ни было, я знаю одно: что эти вещи и деньги — как кошка с собакой — не уживаются.

Вот в каком духе высказалась моя дражайшая половина. На первый

взгляд ее суждения были вполне разумны. Казалось, и она сама, и дети мною довольны. В действительности же дело обстояло как раз наоборот. Я это чувствовал нутром, ежедневно и тысячекратно убеждался на более или менее наглядных примерах.

Нередко жена срывалась, в голосе ее звучало нескрываемое раздражение, почти недоброжелательство. Взвинченная до предела, она тем не менее целыми днями валялась на диване и о чем-то все думала, думала... Время от времени хватала карандаш, бумагу и принималась что-то подсчитывать. Правда, ее хватало ненадолго: с раздраженным «уф-ф!» она снова откидывалась на подушки.

Наступил наконец день, когда я решился поговорить с ней начистоту. Я спросил, что с ней все-таки творится, и попросил поведать мне со свойственной ей откровенностью, в чем причина ее дурного настроения.

— Напрасно ты относишь мое тяжелое состояние на счет плохого настроения. Глубоко ошибаешься! — сухо возразила она. — Можно подумать, что у меня нет забот, одни развлечения. Заботы есть, и немалые... Есть о чем призадуматься... Я просто места себе не нахожу...

Я удивился. Что могло ее тревожить? Всем обеспечена, все есть. Все, что может пожелать женщина! Да она и сама это не раз признавала. Денег — вволю... О чем ей еще беспокоиться, по какому поводу терзаться? Неужели она начала понимать, что ее всегданнее безапелляционное утверждение: «Деньги — это все!» — не так уж верно?

Я спросил ее об этом. Она посмотрела на меня с нескрываемым удивлением и сказала:

— Помилуй, что ты говоришь? Конечно же, деньги — это все, дорогой. Оттого-то я и тревожусь, оттого и места себе не нахожу.

— Ничего не понимаю! — возмутился я. — У тебя куча денег, о чем тебе тревожиться?

Она взглянула мне прямо в глаза; во взгляде ее, остром, как бритва, блеснуло недоброжелательство:

— Ах, ты не понимаешь? Не понимаешь потому, что тугодум, или потому, что не желаешь понять? Ну да, у меня есть деньги. Но они есть сейчас, в данный момент. А откуда я знаю, что будет завтра, через год, через пять, десять лет?! В материальном отношении я полностью завишу от тебя. А что, если ты завтра умрешь? Смогу ли я жить так, как живу сейчас? Найти другого мужа я вряд ли сумею: стара. Специальности у меня нет, ничего особенного я собой не представляю...

Она умолкла. По щекам поползли две крупные слезы. Grimаса неподдельного горя, подлинного, глубокого отчаянья исказила все еще красивые черты любимого лица.

Перевела с итальянского Ю. Добровольская.



ЛЕНИНСКИЕ СТРАНИЦЫ

М. ГЕФТЕР

★

ИЗ ИСТОРИИ ЛЕНИНСКОЙ МЫСЛИ

1

В № 15 газеты «Вперед» 20 апреля 1905 года (н. ст.) была напечатана ленинская статья «Маркс об американском «черном переделе». Она не принадлежит сейчас к числу «хрестоматийных». В кратких биографиях Ленина и в общих трудах по истории КПСС ее обычно не упоминают. Мы говорим об этом не в порядке упрека авторам. Ведь почти одновременно в других статьях на страницах «Вперед» Ленин сформулировал основные принципы марксистской тактики в начавшейся революции, — естественно, что к произведениям, прямо воплощающим центральные идеи большевизма, внимания больше. Но побочен ли сюжет — Маркс об американской социально-аграрной утопии? И какое место занимает маленькая статья (семь книжных страниц) в собственной истории ленинской мысли?

Примечательно, что, вспоминая о Ленине начала первой русской революции, Н. К. Крупская выделяет интересующую нас статью. Не менее любопытно, в каком окружении фактов, людей и идей предстает в ее воспоминаниях рождение этой статьи¹. «Все мысли Ильича были прикованы к России» — к ближайшим перспективам революции. Один круг идей — подготовка социал-демократией вооруженного восстания. Другой круг — земельный, крестьянский вопрос. Он как будто далек от первого. Там речь шла по преимуществу о городе, о рабочих. Там упор делался на непосредственную организацию революции. Здесь революционная социал-демократия выясняла свое отношение к стихии, к подымающемуся движению «мелкобуржуазного народа», к чаяниям и иллюзиям миллионов.

В первый момент может несколько озадачить, что в скупой, почти конспективной записи впечатлений от эмиграции того времени Н. К. Крупская подробно рассказывает о священнике Гапоне. Конечно, его колоритная фигура, резко отличавшаяся от привычной среды Ленина, не могла не запомниться. Но ведь писала Крупская много лет спустя, прекрасно зная и эпилог гапонады («скатился в бездну провокаторства»), и результаты борьбы, опрокинувшей представления и претензии этого кумара на час еще темной массы. Все дело, однако, в том, что Надежда Константиновна писала не о Гапоне, а о Ленине. И фиксирует она со строгим отбором то, что объясняет его интересы: ту подспудную работу интеллекта, которая к нам дошла уже в чеканных формулах ленинских произведений, в стремительном движении нашедшей себя мысли.

«Запомнилась мне такая сценка. Однажды Гапон попросил Владимира Ильича прослушать написанное им воззвание, которое он начал с большим пафосом читать. Воззвание было переполнено проклятиями царю. «Не нужно нам царя, — говорилось в воззвании, — пусть будет один хозяин у земли, — бог, а вы все у него будете арендателями!»... Владимир Ильич расхохотался — больно уж наивен был образ, а с другой стороны, очень уж выпукло выступило то, чем Гапон был близок к массе: сам крестьянин, он разжигал у рабочих, наполовину еще сохранивших связь с деревней, исконную затаенную жажду земли.

¹ Н. К. Крупская. Воспоминания о Ленине. М. 1957, стр. 95—97.

Смех Владимира Ильича смутил Гапона. «Может, не так что,— сказал он,— скажите, я поправлю». Владимир Ильич сразу стал серьезен. «Нет,— сказал он,— это не выйдет, у меня весь ход мысли другой, пишите уже своим языком, по-своему».

Соблазнительно было бы поставить разговор с Гапоном эпиграфом к истории весеннего (1905) цикла ленинских статей о пролетариате и крестьянстве. Не этими ли разговорами и не сообщениями ли о крестьянских волнениях вызвано письмо Ленина III съезду РСДРП, его предложение внести в аграрную программу партии изменения, которые не оставляли бы сомнений в том, что социал-демократия будет поддерживать крестьянство во всех его «революционно-демократических предприятиях», отстаивая при этом самостоятельные интересы сельского пролетариата? Но, как говорится, упаси нас бог от соблазна так просто (хотя, быть может, это было бы и красочнее, и доступнее всего) разъяснять происхождение ленинских идей. «У меня весь ход мысли другой»,— сказал Ленин Гапону: другой не только в том отношении, в каком взгляд идеолога пролетариата отличается от взгляда хозяйственного мужичка. Ленин не закрыл себе глаза шорами доктрины, но шел он к явлениям жизни от теории и вновь возвращался к теории, обогащенный соприкосновением с «живой жизнью». (Собственно, теория эта — тоже «живая жизнь», притом в наиболее зрелом, синтетическом ее выражении.)

И тут для нас важно свидетельство Н. К. Крупской. Рождение статьи «Маркс об американском «черном переделе» она связывает с диалогом Ленин—Каутский. Теперь Каутский, пишет она в 1925 году,— один из самых видных предателей рабочего дела, а тогда, после борьбы с Бернштейном, его имя было «окружено ореолом наиболее революционного и последовательного ученика Маркса». Каутский считался крупнейшим среди европейских марксистов знатоком аграрного вопроса. И когда в феврале 1905 года в «Neue Zeit» появилась его статья «Крестьяне и революция в России», естественно, что Ленин отнесся к ней не просто с интересом. Мы не станем сейчас говорить об этом сколько-нибудь подробно, поскольку читатель может сам познакомиться с реакцией Ленина — статьей «Пролетариат и крестьянство» (март 1905 года). Отметим лишь наиболее существенное для нашей темы. Основная идея Каутского в этой статье: «Революционное городское движение должно оставаться нейтральным в вопросе об отношениях между крестьянином и помещиком». Конечно, сочувствие социал-демократов всецело на стороне первого. Но задачей пролетариата «вовсе не является также натравливание крестьян на помещиков». Те и другие сами определяют свои отношения в ходе революции.

Ленин не отбрасывает с порога соображения Каутского. И идею «нейтральности» он не отвергает полностью. «При одних условиях, при известных конъюнктурах это отношение должно быть отношением не только сочувствия, но и прямой поддержки, и не только поддержки, но и «натравливания». При других условиях это отношение может и должно быть нейтральным». Такая неоднозначность — необходимое условие правильной постановки задачи. Вся трудность в России и «состоит в определении, возможно более ясном и точном, того, при каких условиях обязателен для пролетариата нейтралитет и при каких поддержка и «натравливание»¹.

Общее решение вопроса ясно Ленину. Критерий — революционность крестьянского демократизма. Задача пролетариата — способствовать тому, чтобы сделать этот демократизм революционным. Но что это значит практически, сегодня? Идти навстречу крестьянству в его уже выявленном законном стремлении отнять у помещика, у казны, у царя награбленное и вместе с тем двигать крестьянство вперед. Но возможно ли это сделать, не зная заранее, как далеко способно пойти само крестьянство, и не решив для себя, до какого предела его движение может совпасть с общественным развитием в целом, чьи интересы призван представлять пролетариат? В этом состояла суть вопроса — судьба взаимоотношений социалистического авангарда со всем народом. И к сути еще надо было пробиться, пробиться теоретически, опережая работой мысли современную русскую действительность, которая пока не давала всех данных, необходимых для того, чтобы уже сейчас ввести «будущее» в движение «настоящего».

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 9, стр. 343—344.

Вот почему и после диалога с Каутским, и после публикации письма к съезду, и после того, как отдельные стороны сложнейшей проблемы объединились в формуле революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства, Ленин продолжает искать конкретное решение вопроса, вглядываясь в прежний российский и еще больше во всемирно-исторический опыт. Эти размышления и приводят его к одной из статей Маркса и Энгельса времен Брюссельского коммунистического корреспондентского комитета — «Цирюляру против Криге» (1846)¹. Собственно, не все произведение это привлекло внимание Ленина, а один из его разделов, специально посвященный аграрному движению, американскому «черному переделу».

Напомню, что в Соединенных Штатах после буржуазной революции XVIII века вопрос о земле наряду с вопросом о рабстве стоял в центре социальной борьбы. Конфискация земель, принадлежавших ранее английской короне и крупным владельцам-торгашам, а особенно национализация огромных земельных пространств на Северо-Западе заложили основу фермерского хозяйства, но на пути «свободного» мелкого землевладельца стояли рабовладелец-латифундист и хищник-спекулянт, крупный капиталист, боявшийся потерять дешевые рабочие руки, и правящая олигархия. Против них нарастало демократическое движение, пестрое по составу, социально-экономическим целям, их идейным облачениям. Общим было разочарование в результатах революции. Старый джефферсоновский демократизм служил почвой для социалистической утопии, имевшей и европейские истоки. Герман Криге пытался соединить первое со вторым, в духе немецкого «истинного социализма» выразив требования американской аграрной реформы. Он пропагандировал план: изъять все 1400 миллионов акров государственных земель из торгового оборота как «неотчуждаемое общее достояние всего человечества» и распределить их в виде строго ограниченных по размеру участков между крестьянами, превратив последних из бедняков в обеспеченных навсегда (!) тружеников. Маркс и Энгельс не сомневались в объективно-буржуазном содержании этих идей, как и в их утопизме. Мечта превратить всех в частных собственников, писали они, «столь же не осуществима и столь же коммунистична», как мечта превратить всех людей в императоров, королей и пап». Осуществись планы аграрных реформаторов — их результатом был бы только «толчок развитию индустриализма современного буржуазного общества»².

В свою очередь для Ленина несомненна внутренняя близость утопизма Криге и русских народников. Критика Маркса и Энгельса совпадает с критикой русскими марксистами тех же идей и иллюзий. Но все же не это обстоятельство само по себе привлекло внимание Ленина весной 1905 года — в момент, когда размежевание между народниками и марксистами в целом уже совершилось, а размежевание внутри марксистского лагеря, размежевание по поводу исторического своеобразия русской революции, было еще далеко не окончено. Ленин и начинает с того, что критика «направления Криге» представляет громадный интерес для современных социал-демократов. В чем же он заключается?

Прежде всего в однотипности объективных условий: в тогдашней Америке, как теперь в России, «речь шла как раз не о развитом капиталистическом обществе, а о создании первоначальных, основных условий для настоящего развития капитализма». Иначе говоря, капитализм уже есть, по меркам своего времени он быстро развивается, создавая соответствующую себе классовую группировку, а условия «настоящего» —

¹ См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 4, стр. 1—16 (название статьи дано Институтом марксизма-ленинизма). Произведение вошло во второй том публикации Ф. Меринга «Aus dem literarischen Nachlaß von Karl Marx, Friedrich Engels und Ferdinand Lassalle» (Stuttgart, 1902) и, по-видимому, вскоре после выхода издания было прочтено Лениным. Автором работы тогда считался один Маркс. В Ленинском сборнике, V, опубликованы выписки, сделанные Лениным, под названием «Marx против Krieger» (стр. 125—126). Ссылки на это произведение есть также в ленинских статьях марта — апреля 1905 года: «О нашей аграрной программе (Письмо III съезду)» и «Аграрная программа либералов» (последняя статья напечатана в том же № 15 газеты «Вперед»). Впоследствии Ленин неоднократно возвращался к статье Маркса и Энгельса против Криге.

² Здесь и дальше текст «Цирюляра» цитируется по рассматриваемой нами статье Ленина «Маркс об американском «черном переделе» (Полное собрание сочинений, т. 10, стр. 53—60).

широкого, свободного — развития буржуазного общества еще не завоеваны. В их завоевании — объективный смысл движения, борющегося за наиболее радикальное решение аграрного вопроса упразднением абсолютной ренты. Такова коренная черта «американского пути» (истоки этого понятия уходят в более ранние пласты ленинской мысли, но в «Циркуляре против Криге» мысль Ленина получает сильный импульс; быть может, отсюда пойдет и сам термин «американский путь»).

От первого положения Ленин сразу же переходит ко второму: к двустороннему характеру критики Марксом и Энгельсом «направления Криге». С одной стороны, яд и сарказм. А с другой? Авторы пишут: «Мы вполне признаем движение американских национал-реформистов в его исторической правомерности». Правомерность же эта, если освободить ее от напыщенных фраз Криге, состоит не просто в расширении базы буржуазного развития в результате превращения национализированных земель в фермерские parcelлы. Она простирается за пределы непосредственно демократических задач. «Если бы Криге взглянул на движение, стремящееся к освобождению земли, как на необходимую при известных условиях первую форму пролетарского движения, если бы он оценил это движение, как такое, которое в силу жизненного положения того класса, от которого оно исходит, необходимо должно развиваться дальше в коммунистическое движение, если бы он показал, каким образом коммунистические стремления в Америке должны были первоначально выступать в этой аграрной форме, на первый взгляд противоречащей всякому коммунизму,— тогда против этого ничего нельзя было бы возразить».

Именно это место привлекло особое внимание Ленина, дав пищу его мыслям и укрепив его в собственных размышлениях о России, о русской революции. Потому так страстно звучат слова Ленина о Марксе — критике утопизма, что он «далек в то же время от простого «отрицания» этого мелкобуржуазного движения, от доктринерского игнорирования его, от боязни, свойственной многим начетчикам, запачкать себе руки прикосновением к революционной мелкобуржуазной демократии». Ленин выделяет и усиливает главную мысль статьи 1846 года: то капиталистическое зло, которое пытаются избежать и победу которого облегчают утописты типа Криге, является исторически добром, ибо оно, ускоряя развитие, «приблизит во много раз новые, высшие формы коммунистического движения. Удар, нанесенный поземельной собственности, облегчит неизбежные дальнейшие удары собственности вообще; революционное выступление низшего класса с преобразованием, временно дающим узенькое благоденствие далеко не всем, облегчит неизбежное дальнейшее революционное выступление самого низшего класса с преобразованием, которое действительно обеспечит полное человеческое счастье всем трудящимся».

Эти слова в высшей степени характерны и по содержанию и по форме. Ленин 1905 года, который до того, в полемике с русскими утопистами, опирался (и продолжает опираться) на строгую экономическую теорию «Капитала», обращается теперь к раннему Марксу, представлявшему, по словам Ленина, «лишь *будущего* экономиста». Обращается в поисках решения вопроса, занимавшего Маркса также в преддверии нового — по условиям и расстановке сил — цикла буржуазно-демократических революций. Ленин понимает, что обстановка России начала XX века сильно отличается от условий европейских и американских конца XVIII — начала XIX века. Ставя вопрос, суждена ли нам революция типа 1789 или типа 1848 года, он тут же разъясняет: «Говорим: *типа*, чтобы устранить нелепую мысль о возможности повторения безвозвратно минувшей социально-политической и международной ситуации 1789 и 1848 годов»¹. Но Ленин знает, что сравнение однотипных явлений, выяснение законов их воспроизведения и видоизменения в разной исторической среде не только полезно, но и абсолютно необходимо для того конкретного анализа, без которого, собственно, и нет марксизма. Критика Криге позволяет русскому марксисту додумать и договорить то, что пунктиром намечено в старой, забытой Марксовой статье. И это прежде всего вопрос о потенциях мелкобуржуазной демократии в специфических обстоятельствах стран, где отсутствуют многие из «основных условий для настоящего развития капитализма», но

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 9, стр. 380.

уже сложился или складывается класс, индустриальный пролетариат,— класс, способный возглавить нападение на поземельную собственность и своим сознательным участием в общенародной борьбе довести это нападение до логически последовательного конца. Борьба за максимум свободного развития капитализма приблизит новые и высшие формы самого коммунистического движения.

Конечно, это только возможность, наиболее благоприятный вариант развития данной, русской революции. Это отнюдь не прямой путь, ибо, кроме могущественного врага — абсолютизма, кроме неминуемой помещичьей и крупнобуржуазной контрреволюции, существует и более глубокий, скрытый до поры, до времени источник сопротивления переходу к «высшим формам» — двойственность положения, психологии, поведения мелкого производителя. «Особая организация самостоятельной партии пролетариата, стремящейся через все демократические перевороты к полной социалистической революции, должна быть нашей постоянной, ни на минуту не упускаемой из виду целью», — пишет Ленин чуть ниже, делая выводы из сказанного. Но в чем должна состоять деятельность самостоятельной рабочей партии и почему постановка вопроса Марксом против Криге призвана служить для нее «образцом»? Достаточно ли для социал-демократов признания мелкобуржуазного характера современного крестьянского движения в России? Достаточно ли беспощадной, непримиримой борьбы с иллюзиями на этот счет эсеров, «примитивных социалистов»? Это необходимо, но недостаточно. Ибо мелкобуржуазность в данных условиях — самое массовое, глубинное и боевое демократическое движение, по отношению к которому долг пролетарских революционеров — «всеми силами поддерживать его, развивать, делать политически-сознательным и классово-определенным, толкать его дальше, идти вместе с ним, рука об руку до конца а...» (Разрядка моя.— М. Г.). А дойти до конца переворота, направленного на полное преобразование поземельных отношений, можно, только преобразовав все данное общество сверху донизу: его строй, учреждения и людей, страну и народ, то есть совершив работу такого объема и столь всестороннюю (хотя и ограниченную вначале освобождением буржуазного развития), что она составит громадный шаг вперед к «полному человеческому счастью всех трудящихся». Дело пролетариата, заканчивает Ленин, поддержать революционный натиск крестьянства, чтобы этот натиск «не оставил камня на камне в старой, проклятой, крепостнически-самодержавной рабьей России, чтобы он создал новое поколение свободных и смелых людей, создал новую республиканскую страну, в которой развернется на просторе наша пролетарская борьба за социализм» (Разрядка моя.— М. Г.).

2

Современному читателю не просто почувствовать новизну ленинского, «вторичного» открытия Марксовой идеи, суть которой в словах «гегемония пролетариата», слова, столь неотъемлемо вошедших в обиход марксистов, что подчас забывается, как они вошли. Между тем это существенно не только в историческом отношении.

Было бы наивным полагать, что побудительным мотивом для подлинно крупного мыслителя может быть стремление выразить себя иначе, чем предшественники. Но всегда поучителен ход его мысли в ранее проложенном русле, приводящий (поначалу незаметно) к результатам, представляющим больше, чем дополнение, — к новой системе взглядов, которая продолжает и вместе с тем «отрицает» старую, исходную. Особенность марксизма в том, что он принимает такое движение сознательно, как норму развития. Однако всегда будет трудным установить решающий момент рождения нового. Задним числом можно, разумеется, сказать: перелом в развитии теоретической мысли обусловлен круглыми переменами, назревавшими в жизни общества. Это так, если только иметь в виду, что наиболее глубокие перемены чаще всего наименее очевидны. Их надо не просто заметить — их надо открыть, а это в свою очередь требует нового взгляда на вещи. Образуется порочный круг, и вся история мысли постоянно «замыкает» и вновь разрывает его. Как всякая драма, и больше, чем всякая иная, драма идей многоактна. Симптом развязки — появление неясности там, где вчера была еще ясность. Но для развязки этого мало, ибо она требует огромного усилия, не исключая борьбы ищущей мысли с собой самой, со своим вчерашним днем. И, как это

ни парадоксально, — чем ближе к истине была эта мысль вчера, тем труднее дается ей перелом, тем больше ресурсы, интеллектуальные и нравственные, нужны ей, чтобы продолжить движение на собственной основе.

Мы теперь хорошо знаем, что в проблеме гегемонии пролетариата сошлись, как в фокусе, все запросы и задачи освободительных движений человечества XX века. Но было ли это в такой же мере ясно марксисту начала века, не исключая единомышленников Ленина? Ведь не случайно на II съезде РСДРП при обсуждении программы самой острой была дискуссия не по коренным принципам (диктатура пролетариата), а по аграрной части, дискуссия, которую было бы натяжкой представить лишь спором ортодоксов с оппортунистами. Еще раньше переломная ленинская статья третьего номера «Искры» — «Рабочая партия и крестьянство» — вызвала недоумение, по свидетельству самого Ленина, «у весьма многих русских социал-демократов»; спустя два года во время парижской дискуссии по аграрному вопросу Ю. Стеклов, возражая Ленину, противопоставил ему Ильина — автора «Развития капитализма в России» (вспомним, что так же сформулировал несогласие с Лениным в 1909 году большевик И. Скворцов-Степанов)¹. Стало быть, Ленину в этом вопросе надо было идти не просто против течения, но против такого течения, источник которого оппоненты видели, наряду с программой группы «Освобождение труда», в ленинских же работах девяти-десяти годов, то есть в утвердившейся в результате сражения с народничеством общепризнанной марксистами концепции социально-экономического развития России и — соответственно — концепции русской революции. Учитывает ли эти трудности современный исследователь, столь часто изображающий единую линию ленинского творчества в виде прямой?

Не претендуя на освещение вопроса в целом, попробуем взглянуть на некоторые стороны его сквозь призму статьи «Маркс об американском «черном переделе».

Первая трудность, вставшая перед Лениным, — необходимость уяснить себе конкретное содержание, которое приобретало в данных условиях «нападение на поземельную собственность». Стоит напомнить, что неясным и спорным было соотношение в русском аграрном строе элементов крепостничества и капитализма (оно и по сей день остается камнем преткновения для исследователя, когда он пытается количественно, в чистом виде, определить те и другие). Спорным был и вопрос о происхождении кабальных форм эксплуатации крестьянина: в какой мере они могут считаться пережитком дореформенной эпохи, а в какой новообразованием? То или иное решение этих вопросов предвзяло решение более общего и самого сложного из них: существует ли в преформенной России крестьянство как класс или процесс капиталистического расслоения зашел настолько далеко, что превратил это понятие в фикцию, прикрывающую действительность или отчасти лишь отражающую ее — в виде политического и юридического, сословного неравноправия? Слово «фикция» употреблял и Ленин, и он поначалу отвергал существование в этих условиях особого класса «крестьян». Трудность же, которую предстояло преодолеть, заключалась не только в ограниченности данных, но и в инерции первичного, верного в самом общем виде решения вопроса о судьбах капитализма в России. Трудность состояла также в методе постановки и решения задачи. Впрочем, прежде всего нужно было признать самое существование этой трудности.

Отмечая в конспекте парижской дискуссии 1903 года, что его оппоненты — и эсеры и Невзоров (Стеклов) — уходят от конкретных условий (их решение «годится куда угодно, ерго: никуда»), Ленин представляет эти условия, с одной стороны, в виде «горизонтальных полос», графически выражающих социальную группировку земельных владений, создаваемую развитием капитализма: крупная и крестьянская буржуазия, среднее крестьянство, пролетариат и полупролетариат. Россия в этом отношении такая же буржуазная страна, как и страны Западной Европы. «Если бы только это, то не надо бы и аграрной программы». Что же делает ее необходимой? Тот, другой аспект конкретного, который воплощает своеобразие ситуации: «Еще есть вертикальные перегородки = община, круговая порука, отрезки, отработки, кабала»².

¹ См. В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 6, стр. 307; Ленинский сборник, XIX, стр. 285; Полное собрание сочинений, т. 47, стр. 227.

² Ленинский сборник, XIX, стр. 287.

За доступностью, наглядностью образа не сразу угадывается его теоретическая новизна. Ленин середины девятидесятых годов считал, что, если опустить вымирающие остатки крепостного хозяйства, эксплуатация в России повсюду является по существу своей капиталистической. Он добавлял, правда, что эта эксплуатация опутана средневековыми формами. Он называл остатки «стародворянского» наслоения вместе с тем и могущественными, объясняя самый факт существования их тем, что русский капитализм не успел их разрушить вследствие своей задержки на первоначальной, «средневековой» ступени. Но чем в таком случае объяснить самую задержку: краткостью срока? Или невероятной устарелостью законов и всего государственного строя, устранение которой, будучи первоочередным делом, позволяло отнестись к предстоящую России буржуазную революцию, по аналогии с Европой XIX века, к разряду «политических революций» (их задача — привести надстройку в соответствие со сложившимся раньше капиталистическим базисом)?

Так полагал Плеханов, и вывод его естественно заключал ход мыслей относительно пореформенной эволюции России. Крепостное право потому и пало, что страна задолго до этого вступила на путь капитализма. Распад деревенской общины — финал процесса: старый экономический строй, писал он в 1892 году, «рассыпается, как картонный домик, как гнилушка, истлевшая и обратившаяся в пыль». Вместе с общиной уходит в небытие и материальная основа абсолютизма; власть царей находится «при последнем издыхании»¹. Нужно добить ее, и это сделает организованный социалистический пролетариат. Он и только он довершит дело европеизации России. «Начатое когда-то *сверху*, железной волей самого *деспотичного* из русских *деспотов*, оно будет закончено *снизу*, путем *освободительного* движения самого *революционного* из всех классов, какие только знала история»².

И сейчас, когда читаешь эти плехановские строки, обдает жаром революционной страсти, веры в близость освобождения России и Европы от азиатского деспотизма (каково же было действие этих строк в эпоху свинцовой послепервомартовской реакции!). Но и другая мысль приходит в голову: могла ли бы эта революционная страсть удержаться в движении, не соединись она с «сухим» анализом, обращенным к самой что ни на есть прозе русской жизни: не к одним лишь красноречивым фактам-иллюстрациям раскрестьянивания деревни, а к совокупности фактов, отображающих целое — общественно-экономический организм — в его становлении, формировании как процесс смены господствующих укладов?

Нигде эта смена не происходила в виде прямолнейного, одноактного замещения старого новым, тем менее можно себе представить таким развитие капитализма в России. Напротив, доминировало переходное, а чтобы учесть, взвесить его, нужна была не только доскональность исследования, но и «сеть» понятий, которая способна уловить действительность, выявить ее конкретную, особую историческую форму. Ленин был не единственным, кто взялся за решение задачи (имя Н. Е. Федосеева следует упомянуть в числе первых), но Ленину удалось продвинуться в решении ее дальше всех и — что еще более существенно — дальше собственных исходных представлений. Вот этим-то важным различием способа исследования и характера мышления объясняется в конечном счете разная судьба единых по происхождению воззрений: в первом случае — затвердевание схемы (несмотря на ряд коррективов, которые Плеханов внес в начале девяностых годов), во втором — развитие и обновление ее.

Именно обновлен ие, так как уточняются не одни количественные оценки; самые члены формулы меняют места. Следствие оказывается главной из причин: отсталость капитализма — производным от стойкости крепостничества, корень которой — в фактической силе поземельных отношений. Вымирающие «остатки» потому и могущественны, что это не разрозненные реликты, а система, имеющая материальную основу; они не просто доживают рядом с капиталистической земельной собственностью, рентой, эксплуатацией («горизонтальные полосы»), но и проникают внутрь, в глубь их. Теоретическая мысль движется от конкретизации применительно к русским условиям поло-

¹ Г. В. Плеханов. Сочинения, т. III, стр. 378, 385.

² Там же, стр. 78.

жения Маркса: капитализм перерабатывает, приспособливает для себя доставшиеся ему в наследство формы землевладения и хозяйствования — к открытию особого типа аграрно-капиталистической эволюции: пережитки крепостничества и патриархальщины в огромной мере приспособливают к себе складывающиеся в недрах крестьянства буржуазные отношения и тем «варваризируют» ход общественно-го развития страны. Вот почему в России начала XX века, имеющей крупную индустрию, железные дороги и банки, существует крестьянство не как единое (более или менее единое в феодальную эпоху), но все же как целое — социально разнородное и вместе с тем объединенное общей враждой к помещику-латифундисту и ко всему аграрному строю, то есть не только к прямым остаткам барщины, но и к «прусскому», аграрно-помещичьему капитализму. (В исторической ретроспективе следовало бы назвать этот тип капитализма российским, имея в виду масштабы воспроизводства крепостнических отношений и внеэкономического принуждения, их сочлененность с абсолютным произволом — «самодержавием полиции», почти вотчинной властью земского начальника и патриархальным гнетом «мира», — и как итог — преобладание в пореформенной деревне пауперизации над пролетаризацией.)

Мы не станем сейчас излагать результаты ленинского анализа. Это особая задача. Для нас важно в данном случае другое. Открытие, сделанное Лениным, относилось к материальным условиям русской революции, но его невозможно было сделать «со стороны», вне движения революции, и не только потому, что участие в последней стимулировало поиски, но и в более широком объективном смысле.

Вряд ли кто станет оспаривать, что пережитки крепостничества накануне и в эпоху первой русской революции были менее распространенными и грубыми, чем в семидесятые или восьмидесятые годы XIX века. Однако стали ли они более терпимыми, менее злостными? Напротив, их злостность усилилась. Особенно нетерпимыми их сделал для всего крестьянства и для всего русского общества рост капитализма. Но не только он, не одна стихия экономического развития, хоть она лежала в основе обострения противоречий, а превращение этих противоречий в открытую борьбу классов, переход от ее начальных к более зрелым формам. Чтобы пережитки крепостничества стали действительно невыносимыми, локализованный протест крестьянства, его «инстинктивный, первобытный демократизм»¹ должен был под влиянием пролетариата перерасти в революционное действие и раскрыться, самостоятельно выявить себя в этом действии. Ту же мысль можно сформулировать иначе: русское крестьянство начала XX века не просто оставалось классом (в смысле класса — сословия крепостного общества), оно вместе с тем конституировалось как класс, впервые в истории России вступающий в борьбу за преобразование всех (!) видов старой поземельной собственности и политической надстройки, возвышающейся над этой собственностью.

Завершится ли это конституирование одного из «низших классов» или оно будет оборвано на полпути самодержавным цезаризмом, подкупом и натравливанием одной части народа на другую, изменой зажиточных слоев деревни, а если завершится, то в какой форме, — это смогла показать только революция: крестьянскими восстаниями, но не в меньшей мере аграрным проектом трудовиков, тем поразительным и в самое сердце поразившим социал-демократических доктринеров фактом, что темный русский крестьянин, оратор на деревенской сходке и депутат Государственной думы, заговорил вдруг языком народников-интеллигентов, обнаружил приверженность к идее национализации, выбросил своим знаменем уравнительность и трудовое начало. В какой-то мере и для Ленина явилось неожиданностью превращение старого русского социализма в непосредственную массовую идеологию и программу крестьянского движения. Однако характер неожиданности был в этом случае иным. Лишь история могла ответить на вопрос, который Ленин задавал в самом конце XIX века: сумеют ли революционные элементы русского крестьянства «проявить себя хоть так, как проявили себя западноевропейские крестьяне при низвержении абсолютизма»?² — но именно Ленин шел навстречу неожиданно скоро данному историей ответу.

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 9, стр. 357.

² Там же, т. 4, стр. 229.

Зарождение концепции двух путей развития капитализма («прусского» и «американского») неотрывно от движения ленинской концепции народничества. Если открытие тайны аграрной эволюции в России позволило объяснить и феномен народничества, то первое открытие в свою очередь было в громадной степени подготовлено проникновением Ленина в объективное содержание, в исторический смысл народнической теории. Мы имеем в виду не только то, что, неверная в целом как попытка объяснить пореформенное развитие России, эта теория содержала весьма существенные для марксизма фрагменты верного — в их числе выявление кабальных форм эксплуатации крестьян, отработочной системы. Мы также имеем в виду и не одну общность ближайших политических задач, которая, несмотря на принципиально различное понимание их, обязывала социал-демократию к продолжению поисков решения роковых вопросов, над которыми бились и народники, и весь XIX век: природа и источники силы самодержавия, степень независимости абсолютной власти от классов и общества, пути к сокрушению могущества самодержавия вообще и престижа царского имени в частности? Речь, однако, шла у Ленина о большем: об исторической правомерности данной формы демократической идеологии, утопического социализма, и тем самым о необходимости ее для становления данной формы научного социализма и пролетарского демократизма (и в специфически русском, и во всемирно-историческом плане).

Самый факт существования народничества представлял собой для марксистов проблему, во многом новую и вместе с тем отнюдь не очевидную именно с точки зрения ее новизны. Не вызвала сомнений необходимость отмежевывать нарождающееся пролетарское движение России от мелкобуржуазного социализма; признание этого служило со времен «Наших разногласий» критерием принадлежности к марксистскому направлению. Столь же общепризнанной была необходимость преемственности революционной традиции: достаточно вспомнить заключительный абзац «Манифеста Российской социал-демократической рабочей партии», принятого ее I съездом¹. Проблема же, притом не частная, а принципиальная, относилась не к прошлому, а к настоящему. Суть ее — применительно ли к России положение, неоднократно и недвусмысленно высказывавшееся Марксом и Энгельсом: утопизм, который был не только предшественником, но и зародышем материалистически-критического социализма, с появлением его может быть лишь «нелепым, пошлым и в самой основе своей реакционным»?²

Для Плеханова-марксиста решение этого вопроса было само собой разумеющимся. Никаких отклонений от общемарксистской позиции в отношении русского утопизма он не допускал. Правда, Маркс и Энгельс не совсем так относились к народничеству. Но Плеханов имел основание считать, что возникновение группы «Освобождение труда» и общие успехи европейского социал-демократического движения в корне меняют дело. Времена корифеев старого русского социализма прошли. Маленькие люди, писал он по поводу эпигонов, кажутся большими, когда великие сходят со сцены.

Однако что представляла собой тогда историческая сцена, если рассматривать ее с точки зрения соотношения социалистической утопии и научного социализма? Опыт Западной Европы подсказывал ответ: в той мере, в какой пролетариат сменяет в процессе буржуазного развития предпролетариат, утопия, не гегяя полностью своего демократизма и революционности, становится в целом ретроградной. С точки зрения Плеханова, и в России капитализм стал столь заметным и всеопределяющим фактом, что только слепые могли не делать из этого всех необходимых выводов. Те же условия, та же ретроградность.

Ленинская позиция, как известно, была иной, хотя отличие поначалу не проявилось открыто и резко. Общность коренных пунктов критики либеральных эпигонов народничества и всего народнического мировоззрения налицо. Но там, где у Плеханова царила полная ясность, для Ленина существовала трудность, не поддающаяся однозначному и чисто идеологическому решению. Из утверждения о победе капитализма в России, из тезиса: новый, буржуазный строй «засел уже прочно, сложился и определился вполне не только в фабрично-заводской промышленности, а и в деревне и вообще вез-

¹ «Первый съезд РСДРП. Март 1898 года. Документы и материалы». М. 1958, стр. 81.

² К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 34, стр. 235.

де на Руси»¹, — вытекало признание народнической утопии безусловным анахронизмом. Однако Ленин не формулировал последнюю мысль столь категорично, как первую. Что-то ему мешало это сделать, и современный исследователь вправе видеть в несовпадении разных плоскостей ленинского подхода не слабость, а преимущество. Ибо, говоря о несовпадении, мы имеем в виду не внешнее противоречие, несогласованность отдельных текстов, а противоречие движения мысли, имеющее объективную почву и потому не разрешимое в одной лишь сфере мысли.

Утопизм народнической программы Ленин видел в том, что ее авторы пытаются найти выход из бедствий крестьянства на пути, противоположном общественно-экономическому прогрессу. Она реакционна, поскольку отражает стремление класса мелкой буржуазии сохранить свое положение как мелкой буржуазии. Но она и прогрессивна, поскольку выставляет общедемократические требования — борется против каких бы то ни было остатков средневековой эпохи и крепостничества. Каждое из этих положений бесспорно. Взятые же вместе, они толкали к поискам более конкретного ответа на вопрос: что принесет осуществление демократических требований тем, кто их выдвигает, к каким объективным переменам оно приведет? Мелкий производитель не может не стремиться к увековечению своей парцеллы. Но парцелла ли крестьянский надел, прикованный «освобождением» к помещицкой латифундии? И если на этом клочке земли ограбленный крестьянин получает урожай более высокий, чем помещик на землях, обрабатываемых тем же крестьянином в порядке отработок, то не свидетельствует ли это, что в данных условиях мелкая земледельческая культура, освободившая себя от крепостничества, будет выше крупной ретроградной «культуры» (даже в том случае, когда на части своих земель латифундист ведет рациональное капиталистическое хозяйство)? Более того: если русский крестьянин прежде, чем стать, и для того, чтобы стать мелким буржуа, должен превратиться в противника крупной и всякой частной собственности на землю, то не несет ли в себе такое превращение новую перспективу социальной эволюции, идущую много дальше того, что имел в виду Плеханов, говоря (в обоснование аграрной программы РСДРП 1902—1903 годов) об устранении исторической несправедливости, с одной стороны, и модернизации русского буржуазного общества — с другой?

Позиция Плеханова была тем «удобна», что не требовала пересмотра отношения к народничеству. Несовпадения же в первоначальном ленинском взгляде обязывали двигаться вперед. Проникновение в путаницу русских аграрных отношений показывало Ленину неслучайность иллюзий народничества, а анализ стойкости этих иллюзий помог увидеть за общностью путей социально-экономического развития России и современной ей Западной Европы различие, которое трудно объяснить одним несовпадением этапов. Еще не были произнесены слова «крестьянская буржуазная революция», но они подспудно подготавливались, отчетливее всего проступая там, где Ленин возвращался в своих ранних работах к революционному прошлому, эпохе Чернышевского и старого народнического социализма, где он в полемике с прогрессистами типа Струве как будто неожиданно, в конце спора, решительно подчеркивал достоинства народнически-демократической программы с точки зрения технического, производственного прогресса крестьянского хозяйства и — таким образом — всего развития России по капиталистическому пути («...с марксистской точки зрения нельзя сомневаться в абсолютной предпочтительности народничества в этом отношении»²). Антиномия «либерализм — народничество» — это зародыш, из которого в начале XX века вырастет концепция двух возможностей буржуазного прогресса в России.

Теперь стало ясно, что препятствия этому прогрессу не исчерпываются малоземельем, налоговым ограблением крестьян, всепроникающим гнетом бюрократии. Поскольку крепостничеством заражены и капиталистические экономии помещиков, и хозяйства крестьян на надельной земле, постольку преобразовать аграрный строй нельзя по частям, а можно лишь сразу и в целом. Поэтому и крестьянский утопический социализм — не одно прошлое, но и историческое настоящее. За народнической уравнительностью, иллюзорной и консервативной с точки зрения научного социа-

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 1, стр. 393.

² Там же, стр. 531.

лизма, скрывается реальность самого радикального в непосредственно демократическом смысле «американского пути»: уничтожение всех средневековых перегородок на всей земле в результате превращения ее в одно колоссальное общее поле, предназначенное быть поделенным заново,— извечная крестьянская мечта, идиллия равенства «навсегда» как момент и условие максимально свободного развития капитализма, а тем самым максимально свободного развития классовой борьбы (в том числе и в деревне)¹.

Ибо «черный передел» — не только окончательное раскрепощение патриархального крестьянина. Экономически равносильный национализации, политически он возможен лишь при полном обновлении государственного строя. А на это не способны даже левые фракции либерализма, которые неизбежно переходят в критический момент на сторону «порядка» — и делают это не только (как было везде в Европе XIX века) перед лицом реальной опасности использования демократических свобод пролетариатом. В России их понуждает изменять демократии также привязанность, прямая и косвенная, к старой земельной собственности. Такова альтернатива русской революции: либо мнимоконституционная монархия помещиков при частной собственности на землю, либо республика фермеров, сочетающая буржуазно-правовой строй с прямым народовластием, — «...историческая альтернатива, подкрашиваемая лицемерием кадетов (ведущих страну по первому пути) и социально реакционным утопизмом народников (ведущих ее по второму)»².

Экономический анализ лишь в конечном счете (мы можем назвать примерную дату — конец 1907 года, время написания «Аграрной программы социал-демократии в первой русской революции») разъяснил полностью то, что еще раньше рассмотрела в ходе событий тактическая мысль Ленина: возможность «и на базисе данного, буржуазного порядка» не только политического, но и общественно-экономического переворота — такой же социальной революции, «каковой была великая французская революция»³. Стало быть, и возможность нового левого блока, новой демократической коалиции, вождь и главный «автор» которой — пролетариат — не мог не признать свои и социальные требования мелких производителей, как и последние не могли, если они становились (и в той мере, в какой они становились) на почву революции, не признать свою политическую программу класса-гегемона. Оптимизм аграрный обязывает к оптимизму политическому, говорил Ленин, адресуясь к тем, кто канонизировал прошлый опыт и не замечал назревания одной из наиболее глубоких исторических перемен. Именно: возникновение общности у мелкобуржуазной и пролетарской демократии, не простой и не цельной, сугубо противоречивой, таящей сближение и расхождение, союз и острый конфликт, но все же общности в том самом пункте, где раньше, в западноевропейских революциях 1848—1871 годов, обнаруживалось непримиримое расхождение, — в вопросе о революционной власти, об осуществлении диктатурой победивших классов преобразований, ближе всего отвечающих интересам народа.

3

Удивительно ли, что в идейной борьбе «Горы» и «Жиронды» российской социал-демократии, большевиков и меньшевиков, аграрный вопрос и проблема власти в демо-

¹ Мы обращаем внимание на этот центральный пункт ленинского анализа, поскольку и в современных дискуссиях приходится встречаться с не вполне верным истолкованием его. Механическое отделение демократического «ядра» от утопической «оболочки» ведет к тому, что последняя начинает восприниматься как нечто инородное, абсолютно чуждое «ядру». Но стоит задуматься: мог ли бы крестьянский демократизм в данных условиях выразить себя иначе? Мог ли бы он, с одной стороны, объективно воплощать в себе не только борьбу с крепостничеством, но и борьбу с реакционным аграрным капитализмом, не будучи субъективно-социалистическим? С другой стороны, мог ли бы этот самый почвенный мелкобуржуазный демократизм выразить и свои темные, стихийно-разрушительные стороны иначе, чем в форме утопии всеобщего поравнения? Однако не в суммировании обеих сторон заключалось решение вопроса, а в анализе конкретных условий, формирующих новый в истории тип крестьянской буржуазной революции. И именно в диалектике связи, единства «оболочки» и «ядра» — ключ к пониманию природы как слабостей, так и силы этой революции в России, ее действительного значения для общенационального (а через него и всемирного) развития.

² В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 15, стр. 227.

³ Там же, т. 6, стр. 315.

кратической революции сплелись в один общий вопрос — о типе этой революции в ее отношении не только к прошлому, но и к будущему. Доктринеры социал-демократии искренне полагали, что они сохраняют верность классовому взгляду, когда видят в русской революции буржуазную революцию «вообще» и отвергают как бланкизм и народолюбчество ленинскую идею национализации всех земель в результате совместного «захвата власти» пролетариатом, чуждым всякой собственности, и крестьянством, жаждущим земли. «Каким образом борьба за свою собственность может превратиться в борьбу против нее? Каким образом крестьянин, мелкий буржуа, перестанет быть мелким буржуа? Не фантазия ли это, товарищи?» Эти вопросы, которые Костров (Н. Жордания) ставил в бурной полемике на IV съезде РСДРП, несли в себе казавшийся очевидным ответ. Плеханов придал ему общетеоретическую окраску. «...В проекте т. Ленина,— говорил он,— сказывается не только частный его взгляд на наш аграрный вопрос, а весь характер его революционного мышления. Бланкизм или марксизм,— вот вопрос, который мы решаем сегодня». «Ленин смотрит на национализацию глазами социалиста-революционера. Он начинает усваивать даже их терминологию,— так, например, он распространяется о пресловутом народном творчестве. Приятно вспомнить старых знакомых, но неприятно видеть, что социал-демократы становятся на народническую точку зрения». Мартынов добавлял: «Ткачев и Бакунин писали о восстании совершенно то же самое, что рассказывал нам здесь т. Ленин в своей речи об аграрном вопросе; они говорили не о кучке заговорщиков, а о широком стихийном движении революционных масс, о «революционном творчестве» народа...»¹.

Остановимся здесь. Нам нет необходимости доказывать, какая из аграрных программ была не только более революционной, а и наиболее реалистической. Это выяснила история. Однако и сейчас небезынтересна аргументация в споре. Небезынтересно возвращение к русской революционной традиции и выделение в ней той стороны, которая связана с «творчеством народа», словами, которые не только ортодоксы меньшевизма, но и законно гордившийся своим якобинизмом Плеханов считал неприличными в устах марксистов.

На съезде Плеханову отвечал Воинов — А. Луначарский: «Одна фраза в речи т. Плеханова поразила меня. Он признал, что старая бледная аграрная программа была принята социал-демократией из страха перед крестьянской революцией, из боязни, чтобы торжество ее не повлекло за собой и торжества народников над марксистами. Тов. Плеханов — испытанный и победоносный боец, 20 лет громил он твердыни народничества всех видов. При этом одним из врагов его была революционная мечта, революционная фраза. Но вот наступила русская революция. Она поставила перед партией задачу выработать новые приемы борьбы, создав небывалую в истории комбинацию — наличность развитого более или менее организованного пролетариата в эпоху буржуазной революции, имеющей притом все шансы размахнуться невероятно широко, так как она осложнена неслыханным по широте и глубине аграрным кризисом. И вот тут-то кое-что из некогда праздных мечтаний превратилось в реальную возможность, кое-какие фразы стали практическими лозунгами. Тов. Плеханов не рассмотрел сущности того нового, чего искали, что вносила наиболее живая и активная часть партии, он услышал кое-какие старые нотки и отшатнулся; из страха перед мнимым торжеством народничества он убоялся новых решительных смелых лозунгов, он проявил ту неофобию, ту боязнь новизны, которая часто свойственна старым и закаленным ветеранам»².

Ответ Луначарского примечателен в ряде отношений. Нельзя не оценить объективность в споре, особенно вспомнив остроту тогдашней внутривнутрипартийной борьбы. Луначарский оттеняет неслучайность расхождения Плеханова и большевиков, но он далек от того, чтобы выводить прямоком меньшевистскую схему из раннего Плеханова-марксиста. Это значит, между прочим, что Плеханов, переходящий (но еще не перешедший окончательно) на сторону реформизма, изменял не только вообще марксизму, но и самому себе, и было бы неисторичным представлять такую измену фатально пред-

¹ «Четвертый (объединительный) съезд РСДРП. Апрель (апрель—май) 1906 года. Протоколы». М. 1959, стр. 109, 139, 59, 192.

² Там же, стр. 201—202.

определенной. Ведь социальное не просто проявляет себя в личности, существенна и сама личность — те качества, которые делают революционного мыслителя способным или неспособным удержаться на высоте им же провозглашенных задач.

«Неофобия» Плеханова нуждается в объяснении. В ней переплелось многое. Это и потеря непосредственного контакта с движением. Это и утрата внутренней неудовлетворенности уже достигнутым, а этот индивидуальный недостаток мыслителя у лидера движения перерастает в опасную для всего движения глухоту к новому слову. Это, наконец, особенности склада мышления. Сильной стороной Плеханова было стремление к целостности, логической завершенности мировоззрения. Эклектика, будь то неонародническая или бернштейнианская, находила в нем действительно победоносного критика. Но это достоинство превращалось в свою противоположность, когда завершенность мысли становилась самоцелью, а задача ограничивалась лишь защитой исходных положений марксизма. Убеденный в неизменном превосходстве своего взгляда, Плеханов все меньше мог исторически взглянуть на теорию, которую он отстаивал, как и увидеть объективную подоплеку «заблуждений». До поры, до времени это был также личный недостаток, но в еще большей мере, чем другие, он становился выражением общей тенденции, в конечном счете погубившей самое влиятельное еще недавно крыло марксистской ортодоксии. А эта тенденция имела и более непосредственное проявление — сдерживание активности революционного авангарда тактическими шаблонами, приемами вчерашнего дня, — и более глубокое проявление, как будто бы не связанное, по крайней мере прямо, с первым: абсолютизацию той формы исторического материализма, которая несла на себе печать эпохи восходящего капитализма, эпохи, когда пролетариат еще не мог в буржуазной революции «из пассивной роли главного двигателя подняться до активной роли вождя»¹. Правда, философия истории Плеханова была шире и вернее его тактических взглядов. Но и она не могла не пострадать, и притом в самых существенных пунктах.

В полемике с народниками Плеханов неизменно противопоставлял их утопизму и романтизму детерминизму Маркса. Вновь и вновь повторял он свое любимое изречение: социалистическое движение есть сознательное выражение бессознательного, слепого исторического процесса. Он нисколько не отрицал роли революционной энергии и страсти, но в этих рамках, в этих пределах: крот истории хорошо роет, нужно иметь выдержку и не пытаться совершить то, что еще не подготовлено объективно. Многие слова Плеханова на сей счет, своевременные тогда, в немалой мере злободневны и сегодня, притом не только те слова, которые направлены своим острием против старых русских субъективистов. В абстрактно-общем виде, вне контекста, они могут показаться убедительными и в тех случаях, когда употреблялись им в полемике против большевизма. Их изъян — именно абстрактность, неизменность аргументов, наводящая на мысль, будто опыт истории имеет значение лишь в сфере приложения общих истин марксистской теории, сами же истины остаются без перемен.

Правда, в другой связи Плеханов замечает вполне справедливо, что критики Маркса оконфузились не потому, что были критиками, а потому, что, восставая против сильных, а не слабых сторон учения, сами представляли собой слабую его сторону. Последуем за этой формулой. Поставим вопрос: был ли упор на объективность сильной стороной ортодоксии на рубеже XIX—XX веков, то есть тогда, когда марксизм уже одержал во всех крупных европейских странах идейную победу над мелкобуржуазным социализмом и анархизмом, а объективный ход вещей стал вновь выдвигать на первый план проблему революционного действия?

Пришло время дать новое конкретное решение задаче, общеполитический смысл которой выразил Маркс, когда назвал революционную практику совпадением изменения обстоятельств и человеческой деятельности (или самоизменения)². Трудно не заметить, насколько богаче эта мысль плехановского «сознательного выражения слепо

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 15, стр. 381.

² См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Фейербах. Противоположность материалистического и идеалистического воззрений. (Новая публикация первой главы «Немецкой идеологии»). М. 1966, стр. 103.

го исторического процесса». Ибо из тезиса Маркса вытекало не только то, что изменение обстоятельств невозможно вне деятельности, но и то, что оно невозможно без изменения самой деятельности. Обусловленная и потому ограниченная объективными условиями, она вместе с тем несет в себе большее, чем то, что в этих условиях предварительно содержится. В каком смысле большее? Прежде всего в том, что исторический процесс содержит в себе (во всяком случае с определенного рубежа) две полярные тенденции изменения. Условно их можно назвать оптимальной и минимальной, лучшей и худшей возможностями прогресса. Каждой из них свойственна стихийность — естественность, объективность развития, но коренное отличие первой в том, что ее победа немислима без противодействия инерции, рутине, «слепоте», от которых вторая по природе своей не в силах освободиться. Поэтому сознательная деятельность передового класса не сводится только к реализации. Он призван (и вынужден) изменять и содержание и механизм исторического движения.

Вот почему Маркс, писавший в 1867 году, что общество «не может ни перескочить через естественные фазы развития, ни отменить последние декретами», предварял этим вывод: «Но оно может сократить и смягчить муки родов»¹. Речь шла тогда о вторичных «родах» капитализма в странах европейского континента, следующих за Англией и США, и конкретно о возможности для пролетариата принудить господствующие классы к введению фабричного законодательства. Характерно, однако, что Маркс связывал эту перспективу для Германии и других стран континента не только с более развитыми условиями борьбы против «живых» — капитализма и буржуазии, но и с освобождением от «мертвых» — от унаследованных бедствий, изживших себя способов производства и сопутствующих им общественных и политических отношений. Но что означала альтернатива «более жестокие или более гуманные формы» прогресса по отношению к странам третьего эшелона, составлявшим огромную пограничную область между крепостничеством и капитализмом?

Над этой проблемой раздумывали и Маркс и Энгельс начиная с середины столетия и особенно с того времени, когда падение крепостного права открыло революционную перспективу перед Россией. Тема эта требует специального рассмотрения. Здесь мы лишь отметим, что Плеханов, превосходно знавший литературное наследство Маркса и Энгельса вообще и их России в частности, прошел в последнем счете мимо самого существенного, общетеоретического и всемирно-исторического в исканиях шестидесятых — восьмидесятых годов. Ленин же шел по-своему к тому, на что натолкнулась, обнаружив огромную трудность проблемы, мысль Маркса.

Новое в мышлении, как и в жизни, не рождается на пустом месте. Ни одному серьезному исследователю не придет в голову выводить Марксову идею некапиталистического развития из воззрений народников, однако сам Маркс в письме в редакцию «Отечественных записок» не оставил сомнения в том, что он, применительно по крайней мере к России, искал ответ на вопрос, поставленный Чернышевским. Нет необходимости также напоминать, что вопрос этот возник отнюдь не умозрительно, что в основе его лежали реальные обстоятельства предреформенной и пореформенной России. Можно спорить по поводу того, наличествовали ли в тогдашней действительности — русской и общеевропейской — возможности перевода общественного развития страны, где уже ясно обозначались, но еще не восторжествовали тенденции капиталистического развития, на другие рельсы, но нельзя отрицать, что проблема заключалась именно в этом. Непосредственно речь шла о том, чтобы переделать дело, изгаженное сделкой между царизмом и помещиками в 1861 году превратить недовершенную «революцию сверху» в подлинную революцию, которая, если бы даже она началась (как предполагали Маркс и Энгельс) конституционным кризисом или дворцовым переворотом, могла победить лишь при вовлечении в действие крестьянской массы.

Дабы не было недоразумений, повторим, что в понимании проблемы в целом между вождями пролетарского социализма, с одной стороны, и русскими демократами, с другой, существовало глубокое различие. Но проблема была общей и принципиально новой для тех и других. Когда вслед за Лениным мы усматриваем в революционной

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 23, стр. 10.

ситуации шестидесятых — семидесятых годов XIX века исходный пункт борьбы за «американский путь», то в должной ли мере мы учитываем значение этого исходного пункта для будущего? Если же в него входила не только объективная тенденция, но и ее субъективное отражение и выявление — народническая программа и деятельность, то нас не может не занимать вопрос: каково соотношение этой программы и деятельности с последующей, более высокой ступенью борьбы, борьбы уже не одного крестьянства, но и пролетариата за тот же «американский путь»?

Детерминизм Ленина не нуждается в доказательствах с помощью отдельных цитат — им проникнуто все вышедшее из-под ленинского пера. Молодой Ленин говорил о Марксе, что, выясняя противоречия капиталистического развития «гораздо точнее, полнее, прямее, искреннее, чем это делали когда-либо романтики», Маркс «нигде не опустил ни до одной сентиментальной фразы, оплакивающей это развитие. Он нигде не проронил ни словечка о какой бы то ни было возможности «свернуть с пути». Он понимал, что подобной фразой люди прикрывают лишь то обстоятельство, что они сами «сворачивают» в сторону от вопроса, который ставит перед ними жизнь, т. е. данная экономическая действительность, данное экономическое развитие, данные, вырастающие на его почве, интересы»¹. Сказанное Лениным о Марксе можно отнести и к самому Ленину. Попытки искать революционное решение на ином пути, чем тот, который создавался развитием капитализма, исключались Лениным с первых шагов его сознательной деятельности. Никаких точек соприкосновения с народничеством в данном, решающем отношении не было и нет. Но Ленин и не «сворачивал» в сторону от вопроса, который поставила перед ним жизнь, впервые поставила в той неадекватной содержанию форме, которую представляло собой народничество (самая неадекватность служила при этом характерным признаком, свойством действительности).

А вопрос и в начале XX века состоял в том, как совместить политический переворот с социальным (не социалистическим, но социальным) — уничтожение абсолютизма с демократическим, революционным пересмотром пресловутой «крестьянской реформы»². Критики искровского проекта аграрной программы упрекали Ленина в утопической попытке задним числом «пересвободить крестьян». Они упрекали его также в «сентиментальности», в том, что он поступает объективностью во имя сострадания к судьбе неумолимо вытесняемого капитализмом мелкого производителя. Правда, критики соглашались с тем, что «отработочное хозяйство — зло, но, говорили они, взывая к авторитету Маркса и самого автора «Развития капитализма в России», это хозяйство уже уступает и неизбежно уступит место крупной капиталистической экономии. Да и дело ли партии рабочего класса вносить свои поправки в ход капиталистического развития, естественным образом идущий в том направлении, которое отвечает собственным революционным интересам пролетариата? Можно ли интересы будущего приносить в жертву интересам настоящего? «Нам нужна не крестьянская земля, а крестьянская борьба», — красочно выразил позднее эти сомнения и возражения один из делегатов-меньшевиков на IV съезде РСДРП³. Но эти вопросы возникали и тогда, когда социал-демократы в своих конкретных требованиях не шли дальше возвращения отрезков⁴.

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 2, стр. 261.

² Там же, т. 6, стр. 348.

³ «Четвертый (объединительный) съезд РСДРП», стр. 84.

⁴ Плеханов позднее вспоминал об этом времени: «Крестьянский вопрос» вообще решался большинством наших товарищей до крайности прямолинейно. Всякая мысль о повышении уровня крестьянского благосостояния, — если можно применить к быту нашей крестьянской массы слово: благосостояние, — пугала многих из них, как уклонение от марксизма, как угроза экономическому прогрессу» (Сочинения, т. XV, стр. 24). Любопытно, однако, что в 1905 году, усматривая в среде меньшевиков такого же рода боязнь и призывая социал-демократов не только «не противиться» крестьянскому «черному переделу», но и по-революционному действовать — способствовать крушению, как писал тогда Плеханов, полуфеодальных производственных отношений в деревне, — он ограничивал это действие одной аграрной сферой, склонялся к муниципализации земли, не замечая что в таком случае и само «действие» обречено на поражение, что все дело в том, чтобы изменить способ буржуазного преобразования в целом, изменив этим и тип капиталистического развития страны.

Споры накануне II съезда уже тогда уводили в глубины мировоззрения. Поэтому, отвечая критикам, Ленин не ограничивался указанием на важнейший экономический факт: отработочное хозяйство уступает место крупному капиталистическому не всегда непосредственно, а сплошь и рядом создавая слой полузависимых, полубатраков, полусобственников. Он выделял и другую сторону этого же вопроса — возможность замены одного способа вытеснения старого другим: метода постепенного и незаметного превращения крепостнической зависимости в буржуазную методом открытого революционного превращения. Да, патриархальное крестьянство, «живущее трудами рук своих при системе натурального хозяйства, осуждено на исчезновение, но вовеки не «обязательно», не «имманентным» законом общественно-экономической эволюции осуждено на пытки «выколачивания податей» и розги, на муки затычного, ужасающего своей длительностью вымирания голодною смертью»¹.

Есть еще другая форма эволюции. У нее тоже есть материальная основа — всюду, где сталкиваются интересы крепостника-латифундиста и крестьянина. Но материальная основа здесь иного порядка. Ее объективность может выявить и утвердить себя лишь в революционном действии, которое обретает благодаря этому новое качество — конфликта и борьбы двух возможностей. Если же учесть, что первая из них — помещицье-реформистская, «прусская» — имела перевес, явное преимущество экономической и розги, а частью и политической силы, то вторая (позднее названная «американской») возможность могла осуществиться лишь как крутой перелом «слепого» хода развития, производимый действиями передового класса и народных масс, иначе говоря, как выбор пути, как революционное творчество, призыв к которому только в этом случае звучал не риторикой, заимствованной из чужого репертуара.

Так история переходила в современность, а современность переосмысливала прошлое, в измененном виде включая его в себя. Догматическое отрицание «народнической» перспективы вело к застреванию марксистской мысли на первично-общем. Творческое же «снятие» (отрицание и преемственность вместе) этой перспективы вело к открытию двух вероятных путей, двух линий русской революции. Поэтому, кстати, неточно, ненаучно рассматривать взгляды Ленина на народничество отдельно от ленинской концепции революции. Первое внутри второго, но и второе не существует без первого: без усвоения и критической переработки традиции ленинская концепция если не вовсе не могла бы родиться, то во всяком случае появилась бы со значительным опозданием, небезопасным для дела завоевания пролетарской партией руководящей роли в общедемократической борьбе.

Выше мы отмечали значение ленинского анализа народничества для раскрытия наиболее глубокой, скрытой стороны экономической эволюции. Теперь мы отмечаем значение этого анализа для раскрытия природы и специфики нового типа социальной революции, открывшего собой XX век. Нового не в том смысле, что отпали старые задачи и формы революционного процесса. Напрогив, никто так решительно, как Ленин, не подчеркивал генетическую связь русской «крестьянской буржуазной революции» с классическими революциями XVII—XVIII веков. Понятие «европеизация» близко и Ленину. Отвергал он, как и Маркс, лишь роковую повторяемость в истории. И ранний и зрелый Ленин оставался верен основной идее «Наших разногласий»: никакие исторические особенности данной страны не избавляют ее от действия общих «социологических» законов. Однако то, что было всей истиной для Плеханова, для Ленина и здесь было только частью ее. Если задача, поставленная им еще в девяностые годы, заключалась в анализе «конкретной и исторически особой действительности» пореформенной России, то работа мысли, идущая в этом направлении, вела к тому, что изменилась и самая задача, которая в конечном счете стала звучать так: выяснить, учесть, свести воедино все, что вносит в общие законы исторически особая действительность, включая сюда и деятельность людей, вступивших в борьбу за переделку этой действительности.

Мы погрешили бы против истины, сказав, что это изменение было «запрограммировано» и в историческом процессе, и в развитии мысли. У того и другого были разные возможности не только в пределах одной страны, но и всего мира. Рассмотрение про-

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 6, стр. 333, 347 Разрядка моя.— М. Г.

блемы под данным углом зрения далеко увело бы нас за рамки статьи. Заметим лишь, что отклонение от перспективы в том ее виде, в каком она рисовалась в марксистской литературе XIX века, также трудно считать случайностью, имея перед глазами по крайней мере полувековой опыт. Один из величайших уроков этого опыта гласит: подлинно победоносной может быть лишь общенациональная революция. И не в том ли (спросим мы себя сейчас) главная причина задержки социальной революции на Западе, что к рубежу империалистической эпохи «1789 год» буржуазной революции был для Запада позади, а «1789 год» революции социалистической еще не назрел? Потому так тяжело давались даже самым проницательным и безусловно революционным представителям европейской социал-демократии поиски перехода от завоеванных буржуазных свобод к пролетарскому восстанию против капитализма. И потому наиболее новое — новое не только для себя — могла дать тогда марксистская мысль, ищущая путь народам и странам, которым суждено было решать заново задачу «1789-го» или, точнее, «1793 года», но уже преобразованную и собственным развитием, и всемирно-историческим движением.

Новое — в невозможности очиститься от средневековья, завоевать основные условия прогресса, не затронув в той или иной мере как первичные, так и более высокие формы капитализма. Новое — в невозможности высвободить колоссальные нетронутые источники революционной энергии и овладеть ими, оставаясь в пределах как идей, так и средств старых революций. Отдельные моменты складываются в решающий фактор новизны: восходящее движение буржуазной революции, потребовавшее на Западе радикальной передвигки внутри демократической коалиции справа налево, а затем и смены класса-гегемона (начатой, но не завершенной европейскими революциями 1848—1871 годов), совершается впервые в виде движения «самого низшего класса», вступившего в блок с другими негосподствующими классами и слоями народа, сознательно продолжающего всемирную и свою демократическую традицию, опирающегося на пример, опыт, поддержку социалистического пролетариата более развитых стран.

Гегемония, рождаясь заново, несла в себе и неизведанные возможности, и невыявленные еще трудности, препятствия, опасности. Учесть все плюсы и минусы, замечал по этому поводу Ленин, сможет, конечно, только история. И только она, добавим мы, смогла определить действительную степень осуществимого. Но смогла потому, что революционная мысль, проникая в будущее, стремилась к познанию максимально возможного и претворению его в жизнь. Наша программа, писал Ленин в начале 1902 года, отвечая критикам, нападавшим на проект аграрной программы РСДРП с позиций «осуществимости», «должна быть осуществима только в том широком, философском смысле этого слова, чтобы ни единая буква ее не противоречила направлению всей общественно-экономической эволюции. А раз мы верно определили (в общем и в частности) это направление, мы должны — во имя своих революционных принципов и своего революционного долга должны — бороться *всеми силами* всегда и непременно за *максимум* наших требований»¹. Понятия принципа и долга революционного пролетариата здесь слиты воедино с программой максимума реальной демократизации, максимума улучшения положения массы — материального и духовного, максимума не только требований, но и усилий. Выясняя генезис концепции «американского пути», современный исследователь не может не включать в него эту особенность всего ленинского склада мышления, направленность его на то, что Чернышевский называл в более узком смысле слова *качеством средств*, — проблему, которая с неизбежностью вставала в центре поисков и идейных столкновений марксистов начала XX века.

4

Мы подошли к пункту, где история и современность соседствуют ближе всего, где в оценке прошлого размежевание происходит вновь и вновь — в каждом переломном, критическом моменте последующего революционного и общественного развития, и уже не одной России. У разнородных (по происхождению и намерениям) версий исключительности ленинизма, противопоставляемого классическому марксизму XIX века, есть

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 6, стр. 316.

общая черта: представление о том, что новое и собственно ленинское заключено по преимуществу, если не исключительно, в сфере осуществления, в сфере практического действия; здесь Ленин и более всего «народник», берущийся за решение задач, которые нормальными — даже с точки зрения социал-демократа — средствами решить нельзя. Обвинения в бланкизме, которые как в разбираемой нами дискуссии, так и до и после нее не сходили с уст меньшевиков и их преемников, выдвигаются именно в данном расширительном смысле.

То, что в этом противопоставлении скрыта двойная неправда — и по отношению к Марксу и Энгельсу, и по отношению к Ленину, — давно уже сказано и доказано. Но подчас чрезмерное подчеркивание органической связи двух эпох истории марксизма переходит в их отождествление, которое также грешит против фактов и, как часто в таких случаях бывает, незаметно соединяется с противоположной точкой зрения. Ибо и у крайней правой, и у крайней «левой» поразительное сходство в образе мышления. И там и здесь господствует буква, применяется один критерий: непосредственного совпадения действительности с теоретическими представлениями и прогнозами. Все, что совпадает, — истинно, все, что не совпадает, — от лукавого. Правда, признаются зигзаги, но потому они и зигзаги, что существует прямой, вымеренный путь. Конечно, скажем мы, было бы по меньшей мере странно возводить каждое отклонение в добродетель. Приоритет «живой жизни» и практического действия может завести далеко, вплоть до амнистирования всякого зигзага и оправдания в иезуитском духе любого средства. Любопытно, однако, что как раз приверженцы буквы скорее всего встают на этот путь, исходя из своего представления о единстве бытия и сознания, должного и сущего. Не потому ли сторонникам представления о предуготованности одного единственно возможного «маршрута» исторического движения свойственна опасная самоуверенность в отношении собственной роли наставников истории? И не в том ли, между прочим, состояла одна из наиболее глубоких причин грехопадения многих ортодоксов, начиная с русских меньшевиков, что, притязая учить революцию, они не видели необходимости в том, чтобы учиться у нее?

Без самоизменения, считал Маркс, нет подлинной революционной практики, а напротив, возникает стремление делить общество на две части, воспитателей и воспитуемых, «из которых одна возвышается над обществом», — взгляд, простительный материалистам XVIII века, но не простительный представителям передового класса XIX и XX веков. Дialeктика же материалистов и революционеров, видящих противоречие между мыслью и действием, между возможностью и ее реализацией, оказывается не только вернее, но и — в принципе — нравственнее. Если историческое творчество всегда включает в себя, в большей или меньшей степени, отклонение от «нормы» (иначе оно не было бы творчеством, иначе и работа теоретической мысли представляла бы собой, как иронически заметил Энгельс, решение уравнений первой степени), то не в том ли заключается одна из высших задач марксизма, чтобы с возможно меньшим запозданием выявить вероятность, объективную необходимость такого отклонения и тем облегчить зарождение и отбор новых норм и способов человеческого действия, которые содержат в себе, в виде потенции, более высокую ступень развития? Не обоготворение революционного действия, но и не «аристократическое» третиование его. Не казенный оптимизм, прикрывающий детерминистской фразеологией старую пошлость «все к лучшему в этом лучшем из миров», а оптимизм пролетарских революционеров, основанный на разуме, на высоком чувстве ответственности, учете и физических и моральных превратностей действия — неминуемой загрязненности его всем старым и невозможности освободиться от этой грязи иначе как в ходе самого действия, выводящего массу из привычного, рутинного, косного состояния.

Исторический опыт позволяет сегодня лучше рассмотреть под этим углом зрения коллизии начала XX века. Прошло почти два десятилетия с тех пор, как были произнесены Плехановым знаменитые слова, заключившие спор о будущем освободительного движения России: оно может восторжествовать только как движение рабочих, другого выбора быть не может. Но как следует русскому пролетариату осуществить свою миссию? Ответить на последний вопрос было и легче и неизмеримо труднее, чем на первый: легче потому, что плехановское решение протерло путь, открывало возможность

использования опыта и организационных форм европейской социал-демократии; труднее, ибо задача, которую предстояло решать, отличалась от западноевропейской и своим содержанием, и, еще более, способом осуществления. Крепостническая, самодержавная, «рабья Россия» и в конце XIX — начале XX века представляла собой твердую реакцию. Рабочая партия в России, чтобы стать действительным политическим лидером народа, должна была стать той искомой антиабсолютистской революционной партией, к созданию которой самый крупный шаг в прошлом сделало народничество, но создать которую оно не могло. Плеханов-марксист жалел, что вместе с Зимним дворцом революционеры-террористы не взорвали и своих предрассудков. Однако только ли предрассудки были помехой на их пути?

Для эпохи, которую, имея в виду ее начало и конец, можно назвать эпохой Чернышевского и «Народной воли», характерна и недостаточная объективная зрелость задачи, и несоответствие ей избранных революционерами средств. Антропологическому и рационалистическому мышлению свойственно было искать решение в развитии разума, в просветительной деятельности «новых людей» в народной среде и в их же революционном почине и самостоятельном действии, меняющем ход истории (два полюса, которые в разной мере всегда присутствуют в разночинском движении и его идеологии). Но современный исследователь крайне упростил бы анализ эпохи, если бы попытался вывести незрелость ее средств из одной лишь незрелости домарксистской мысли, не замечая, что и следующее поколение революционеров вовсе не располагало готовым ответом на вопросы предшественников: как воздействовать и внешне на спящую еще массу, превратить ее скрытое недовольство в открытое возмущение и восстание? Как уберечь эту массу от участи европейских «работников», сделавших главную работу уничтожения феодализма и затем обращенных обманом и силой в новое рабство? Как, наконец, уберечь и самую революцию от честолюбцев-бонапартов, от кавеньяков, приходящих к власти на волне страха и озверения эгоистического обывателя?

Инициатива и опора на реальное соотношение общественных сил, инициаторы и масса, вера в народ и неверие в способность его к сознательному освободительному делу, невозможность действовать без конспиративной, состоящей из подготовленных людей организации революционеров и опасность, кроющаяся в стремлении «все сделать силой прихоти, бесконтрольного решения» (слова Чернышевского), — в этих антиномиях двигалась десятилетиями народническая мысль, совершались тяжкие поиски истины. Говоря, что революционная мысль России выстрадала марксизм, Ленин имел в виду не одну Владимируку, шлиссельбургские виселицы, якутское заточение. В свою очередь рахметовское начало, которое так явно выражено в самом Ленине и прекрасно обрисовано в очерке Горького о нем, не было, разумеется, только индивидуально ленинским, психологическим и бытовым. Оно было историческим и социальным, участвовавшим в формировании и нравственных качеств, и интеллекта, и образа действия.

Не только история, но и собственный опыт, сравнительно быстрая катастрофа, постигшая петербургский «Союз борьбы за освобождение рабочего класса», стояли перед взором Ленина, когда он в шушенской дали вынашивал идею своего «архимедова рычага». Организационный план рождается одновременно с мыслями об особом значении аграрного вопроса, крестьянской революционности для России. И сквозь всю эпоху старой «Искры» проходит интенсивное продумывание обширного комплекса вопросов, в центре которого — взаимоотношение пролетариата и буржуазной демократии. Это продолжение линии, идущей от «Социализма и политической борьбы», и одновременно конкретизация ее, выявляющая новое, особенное. Плеханов делал акцент на классовой самостоятельности пролетариата. Ленин не забывает об этом ни на миг. Но там, где Плеханов кончил, Ленин начинает. Идеальная, политическая самостоятельность рабочего класса — не самоцель. Она нужна не только для убеждения будущего борца за социализм от чужеродных влияний. Она необходима сейчас как условие и залог победоносной демократической революции. Тогда и самостоятельность эта должна найти для себя соответствующую форму. «Точка опоры» — организация революционеров, неуловимая для самодержавия и одновременно близкая массе, включающая в себя лучшие элементы передового класса (его-то и не было у предшественников).

Но это еще не все, и не это специфично для России, для XX века. Специфичность в

том, что организация революционеров, партия пролетарского авангарда, выступает как организация, пробуждающая весь народ. Пока ее нет, круг замкнут: самодержавие вековыми средствами устрашения и политического развращения поддерживает аморфное состояние подавляющего большинства населения, а его темнота и придавленность питают силу деспотизма. Разделенная по социально-экономическому признаку (уклад, формы собственности) страна не знает по существу социально-политического классового деления. Невозможность действия — это и невыявленность интеллигентов, незрелость сознания. На пути общественной мысли, усилий передовых людей — непреодолимый реакционный заслон: «Бюрократически-военно-придворные элементы... *п л ю с* элементы народной темноты»¹. Разрушить этот «конгломерат» («организация очень высока тахішт»²) может только более высокая организация, обладающая средствами, достаточными для осуществления этой цели: для внесения сознания в народ, в его деревенские глубины, для преобразования «русского бунта, бессмысленного и беспощадного», в классовую борьбу против помещиков и абсолютизма.

Из однолинейной общественно-экономической и философской концепции Плеханова вытекала однолинейная концепция действия. Понимал ли ее автор, что превращение пролетариата в решающую силу демократического движения влечет за собой глубочайшую перестройку всей структуры этого движения по сравнению с революциями XIX века? Плеханов не был тривиальным реформистом. Даже на исходе первой русской революции, когда формула блока с кадетами уже полностью завладела Плехановым, он продолжал утверждать: «Мы делаем буржуазию орудием пролетариата». Это не одна лишь риторика и, конечно, не лицемерие. Это ошибка, притом глубокая и, как показала судьба Плеханова, непоправимая. В основе ее — механическое соотношение настоящего и будущего: по отношению к будущему, к рабочему социализму, враждебны все — и крупные и мелкие буржуа; по отношению же к настоящему, к борьбе за конституцию, за модернизацию общества, все, за исключением царистской «партии палки и кнута», также и в равной мере могут и должны служить орудием в руках пролетариата. Либералы — считал Плеханов — даже более выгодные «орудия», поскольку они конституционно способнее и вместе с тем откровенно враждебны социалистическому идеалу пролетариата.

У ленинской концепции иные посылки. Ей чужды не только иллюзии насчет либералов, но и отношение к действительным и дееспособным, хотя и шатким, неустойчивым мелкобуржуазным союзникам как к простому орудью в руках революционного авангарда. Ибо сделать Россию демократической можно лишь демократическим путем. А этот путь — «плебейская» расправа со средневековьем и вместе с тем просвещение, сплочение, организация масс, завоевывающих себе новые условия жизни и быта, новое положение в обществе. То, что Плеханов и его единомышленники рассматривали как промежуточное звено на пути от «чужой», буржуазной революции к «своей», социалистической, было для Ленина бльшим: средой, которую класс-гегемон должен создать для всего народа вместе со всем народом, другой Россией, новой не только в политическом, но и в социальном отношении, новой и по образу действия, по взаимоотношениям между людьми, между классами, между народом и властью.

Конечно, и это новое вовсе не вечно. Свободное развитие капитализма есть развитие капитализма со всеми его дурными сторонами и антагонизмами. Самый же способ, которым достигается это свободное развитие, несет в себе принципиально иную, антикапиталистическую потенцию. Ибо данный способ — обновление не только привычных форм и средств борьбы, но и самих действующих классов и масс. Своей социально-человеческой стороной он способен в определенной мере и до какой-то трудно уловимой наперед границы обогнать общественно-экономический процесс в строгом смысле слова, открывая неизведанную еще переходную перспективу («приблизит новые и высшие формы коммунистического движения»).

Характерно: во всех ленинских аграрных проектах, от конца XIX века до 1917 года, присутствует требование передать осуществление преобразований в руки

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 10, стр. 360.

² Там же.

крестьянских революционных комитетов. Ленин рассматривал это требование не как частное, а как коренное, связанное с демократизацией всей России. Дискуссия на IV съезде помогла Ленину довести свою мысль до конца. Крестьянские комитеты — это и национализация снизу, и выход массы за пределы общинных мирков, естественный ввод ее в политику, в самые главные проблемы политики. Плеханов и здесь видел народофильскую отрывку. Вчерашний критик Бернштейна сомкнулся с ним, называя анархизмом создание прямой демократии, притом не в привычной избирательной сфере, а в области революционных социальных перемен.

«Проповедовать крестьянскую революцию, говорить сколько-нибудь в серьезном смысле слова об аграрной революции и не говорить вместе с тем о необходимости настоящего демократизма, т. е., между прочим, и выбора чиновников народом,— это вопиющее противоречие»¹. История не раз и по-разному подтверждала эти слова, обращенные тогда против меньшевистских ортодоксов. Обвиняя большевиков в бланкизме, в развязывании стихии нового «пугачевского бунта», они противопоставляли программе превращения локальных вспышек борьбы во всероссийское народное восстание — программу «муниципального» закрепления крестьянской раздробленности, программе освобождения крестьянина от иллюзий старого, патриархально-монархического закала — программу затемнения сознания крестьянина новыми, либерально-монархическими иллюзиями. Доктринерам-то и грозила участь помимо своей воли стать пленниками «пугачевщины», если не «российской Вандеи»². Ленин же, трезво учитывавший темные стороны взрыва народной стихии, искал решение не в устранении авангарда от движения «наинизших низов», не в воздержании его от крайних форм борьбы, только и способных сокрушить старую Россию, а в развитии этой борьбы и снизу и сверху — созданием (в самом процессе революционного разрушения и преобразования) новой, революционной власти. Закрепление завоеваний — еще не все в ленинской идее диктатуры пролетариата и крестьянства. Не менее важно, что, лишь становясь властью, «рабья Россия» могла превратиться в республику «свободных и смелых людей», а малочисленный пролетарский авангард мог вырасти в революционный народ, вбирающий и преобразующий политически и нравственно передовую часть непролетарской массы. Ленин создавал при этом опасности обратного воздействия ведомых на ведущего — в мелкобуржуазной России особенно серьезные и в определенном смысле объективно неотвратимые опасности. Но и их преодоление, считал он, не в отчуждении авангарда от массы, а в возрастающих — по мере развития революции, особенно по мере приближения к взятию власти, — требованиях к самому авангарду, к его «самоизменению», к его способности пойти против течения и вместе с тем поднять к свету, к сознанию своих прав и возможностей самые широкие слои населения.

Почему, спрашивал Ленин, мы говорим о диктатуре только революционного, а не всего народа? «Потому, что во всем народе, страдающем постоянно и самым жестоким образом... есть люди, забытые физически, запуганные, люди, забытые нравственно, например, теорией о непротывлении злу насилею, или просто забытые не теорией, а предрассудком, обычаем, рутинной, люди равнодушные, то, что называется обыватели, мещане, которые более способны отстраниться от острой борьбы, пройти мимо или даже спрятаться (как бы тут, в драке-то, не влетело!). Вот почему диктату-

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 12, стр. 364.

² «И наша Вандея,— писал Ленин в ноябре 1905 года,— тоже не сказала еще своего последнего слова... Она тоже только начинает еще разворачиваться как следует. У нее тоже есть еще «запасы топлива», накопленные веками темноты, бесправия, крепостничества, полицейского всевластия. Она соединяет в себе всю дикость азиатчины со всеми омерзительными сторонами утонченных приемов эксплуатации и одурачения всех тех, кто всего более задавлен, замучен городской капиталистической цивилизацией, кто доведен до положения хуже зверя. Эта Вандея не исчезнет ни от каких манифестов царя, ни от каких посланий синода, ни от каких перемен в высшей и низшей бюрократии. Ее может сломить только сила организованного и просвещенного пролетариата, ибо только он, эксплуатируемый сам, в состоянии поднять всех стоящих ниже него, пробудить в них людей и граждан, показать им дорогу к избавлению от всякой эксплуатации. Только он может создать ядро могучей революционной армии, могучей и своими идеалами, и своей дисциплиной, и своей организацией, и своим героизмом в борьбе, перед которыми не устоять никакой Вандее» (Полное собрание сочинений, т. 12, стр. 57).

ру осуществляет не весь народ, а только революционный народ, несколько не боящийся, однако, всего народа, открывающий всему народу причины своих действий и все подробности их, привлекающий охотно *весь* народ к участию не только в «управлении» государством, но и во власти, и к участию в самом устройстве государства»¹.

Так развязывались — мыслью и действием — узлы, завязанные предшествующей историей, рождались ответы на вопросы, мучившие поколения революционеров до пролетарской поры. Но могут ли родиться ответы без вопросов? Могло ли появиться новое, если бы старое было лишь «пустыней утопического социализма» (Сталин)? Могло ли самое злободневное из «своего» стать всемирным достоянием, если всемирное не содержалось в этом «своем» как проблема, ищущая решения? Начисто чуждый мессианизма, Ленин отнюдь не исходил наперед из того, что специфически российское выражает всемирно новое. К пониманию этого он пришел позже рассматриваемого нами времени, но мог прийти лишь потому, что с самого начала самостоятельно шел в генеральном для марксизма, для марксистской диалектики русле интернационального и конкретного.

В свете результатов ленинского творчества это, вероятно, покажется самоочевидным. Однако оно может показаться таким в немалой степени из-за неисторического подхода к творчеству Ленина — из-за стремления уже в исходной фазе обнаружить в неразвитом виде все или почти все из идей, вошедших в конечном счете в систему, имя которой — ленинизм. Ретроспективный взгляд полезен и необходим, если не забывать о его ограниченности. И не в том лишь дело, что результат и путь, ведущий к нему, не «накладываются» просто друг на друга. Дело также и в том, что не вошедшее в логический итог обладает собственной ценностью, будь то поиски и свершения, находки и утраты, возвращение к исходным мыслям на новых «витках» исторического процесса, который не только подтверждает и выявляет теоретически предсказанное, но и исправляет его. Исправляет в свою очередь работой мысли. Точнее, способен исправить в тех пределах, которые создаются саморазвитием и неотделимой от него самокритикой мысли (и Маркс и Ленин считали, что способность к ней не монополия их теории, а ее величайшее преимущество). В конечном счете речь идет об условиях включения революционной мысли в революционный, преобразовательный процесс, и уже поэтому исторический анализ движения ленинской мысли представляет далеко не только исторический интерес.

Настоящий очерк ограничен рамками лишь одного из этапов этого движения. Еще многое впереди. Действие и мысль никогда не развязывают все узлы, и тем более одним махом. Развязывая старые, они завязывают новые узлы. Однако в высшей степени знаменательно, что гигантский сдвиг в развитии человечества, возможность которого содержали в себе в начале XX века развитие капитализма вглубь и вширь, пробуждение масс и народов, превращение пролетариата в гегемона общедемократической борьбы, этот сдвиг был предвосхищен марксистской мыслью, не замкнутой на однозначной трактовке объективного процесса. Старая и вечно новая для человечества проблема исторической активности вставала теперь и для марксизма не только с особой остротой, но и во многом иначе, чем в недавнем прошлом. Философский смысл идейных коллизий и битв начала века нам во многом виднее, чем самим участникам этих битв, а возможно, он для нас сейчас еще более важен. Во всяком случае преимущество обозрения исторического пути, уже в какой-то мере завершившегося и обозначившего свои результаты, только в том случае является действительным преимуществом, когда прошлое становится критерием и стимулом нового действия.

Именно так относился к прошлому Ленин. И в этом смысле статья «Маркс об американском «черном переделе»» возвращает нас к истокам современности.

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 12, стр. 321.



ПУБЛИЦИСТИКА

ЯЧЕЙКА ХОЗРАСЧЕТА

(Две статьи на одну тему)

I

ГЛАВНОЕ ЗВЕНО

В позапрошлую весну одно поле в наших краях стало показательным. К нему стремились и пешие и шинные.

С секретарем Оконешниковского райкома партии Омской области В. И. Никоновым, депутатом Верховного Совета РСФСР, ездили мы по полям и видели всюду землю иссохшую, изолившуюся, без признаков жизни. Осенью была сушь каленая, зимой немного почиркало сухим, колючим снегом, зыграл однажды «несучий» буран, весна опять-таки выдалась сухая, и вот не всходят даже сорняки. И людям — страшно сказать — весной в поле нечего было делать.

К вечеру мы приехали к Полевому, звеньевому-механизатору, и тут увидели то самое поле, как бы чуть обрызнутое свежим, веселым таким сорнячком, и трактор с луцильником, и конных паломников — управляющего отделением и агронома из соседнего совхоза.

Один из приезжих поднимается с колена чуть-чуть смущенно, очевидно устыдившись каких-то своих мыслей, еще раз оглядывает поле. Начинается тугая такой разговор.

— А влага-то у вас откуда? Я смотрю, вы все же дотянете до дождей в любом разе.

— Хм... Ваша влага! — отвечает Полевому. — Зимой, помнишь, буря шла. Все портки сушили, а мы работали. Все, что от вас унесло, у нас осталось. В бурю-то снег как гвоздем в борозду вбивает.

Все трактористы в буран сидели дома, а эти работали все трое суток, пока дуло — даже не заглушали трактора. Два раза прошлись с угольником по всем шестистам тридцати гектарам. И вот везде поля были голые, ребрами гребни торчали, а у этих — полметра снега. Весной заборонили в два следа и сразу, тоже два раза, закатали. Потом, пока до появления сорняков делать было нечего, они отремонтировали комбайны, сеялки, начали скотный двор в порядок приводить. А другие боронили долго и прикатать успели только то, что пошло под кукурузу.

Гости уехали. Никонов отряхнул руки (он тоже смотрел влагу), проговорил: — С удовольствием пригласил бы я на это поле кое-кого, чтобы посмотрели, кабы время.

Я знаю, кого Никонов имеет в виду. Он убежденный приверженец хозрасчетных отрядов, или, как их первоначально называли у нас и продолжают называть в других местах, звеньев. Он пестовал Полевому, его отряд, он на память знает все их показатели. В звеньях — самая высокая производительность труда, самая дешевая продукция. Отряду Полевого центнер привеса говядины (считая прямые затраты) обошелся в 1966 году в 48 рублей, а Золотнинскому совхозу, где этот отряд работает, в 98 рублей, центнер зерна отряду — 2 рубля 11 копеек, а совхозу — 4 рубля 36 копеек. На центнер привеса говядины в отряде затрачено 2,07

человеко-дня, а по совхозу — 6,3. В 1964 году каждый в отряде заработал в среднем по 344 рубля в месяц, в 1965 году — по 288. А месячный заработок тракториста-погектарника 100—120 рублей. Каждый член отряда произвел продукции в 1966 году на 9900 рублей, а «средний рабочий» на 2800 рублей. За три года отряд дал совхозу 100 тысяч рублей чистой прибыли, а хозяйство в целом работало с убытками.

У Никонова и у меня есть цифры и по другим хозрасчетным отрядам нашей области, а также других краев и областей. И всюду намного большая производительность труда, намного более дешевая продукция по сравнению с общими показателями.

Причины этой разницы понятны.

...Вот трактор вдоль узкого длинного поля борону таскает, но что-то плохо ровняет: оказывается, по второму-то разу не поперек поля идет тракторист, а снова вдоль. Ему это выгодно, потому что на длинных гонах всегда больше заработаешь. На следующем поле боронят хорошо, а на третьем — опять по второму разу вдоль тянут. На одном поле не найдешь никаких отступлений от правил, а на другом обязательно на огрех наткнешься и слышишь объяснения, даваемые с тем наивным простодушием, за которым что-то скрывается: «Мне как наладили, я пошел и пошел...» или «Ой, не заметил...»

С подобным сталкивается всякий, кто имеет хоть какое-то отношение к полю. Одних это тревожит, для других же остается за чертой их забот, и они не ищут объяснений. А между тем и причина-то этих явлений лежит на ладони: она — в устаревшей организации труда, в погектарной оплате.

Тракторист-погектарник получает за свой труд не в зависимости от того, какой урожай он вырастит, а от того, как он выполнит норму. Чем больше он напашет, наборонит, насадит, тем больше и заработает. Вот он и начинает гнаться за количеством работы, не заботясь о качестве. Если он будет пахать на глубину в 12 сантиметров, то даст полторы нормы, заработает рублей 10—12 за смену, а если на 18 — тогда только норму вытянет и получит 6—7 рублей. И вот как только контролер с поля, так тракторист уже думает: а не поднять ли плуг? Вспомним Овечкина: «Митька, заглыбляй, директор едет».

И так тянется годами! Постепенно человек теряет чувство ответственности за землю. Можно сказать (да уже и не первый год говорится), что погектарная оплата приводит к безнравственному результату, потому что материальная заинтересованность при ней вступает в противоречие с интересами урожая. И не случайно столь разветвленная сеть контроля на селе. Кто только не следит за работой пахаря: учетчик, управляющий, бригадир, представитель народного контроля, сельский Совет, агроном, агитатор-политорганизатор, корреспондент да еще доброволец-качественник. Но что это за крестьянин, если за ним следом нужно ходить и надзирать за тем, как он пашет и боронит?

А на полях отряда мы во всем видим следы хозяйской заботы. У них пять механизаторов, два пастуха, и в их распоряжении 200 голов молодняка, 630 гектаров пашни и небольшой лужок у болота под выпас, скотный двор арочного типа — «радуга в ненастный день», три трактора с набором орудий и два комбайна. Трактористы выращивают зерновые и корма, пастухи откармливают на этих кормах скот. Заработок всем идет с привесов и с урожая зерновых. И поэтому трактористы заботятся не только о том, чтобы больше кормов заготовить, но чтобы они были хорошего качества и чтобы скоромлены были бережно.

Утром, только отзарится, когда у других тракторы еще на приколе, а хозяева их завтракают, — эти уже в поле. Возвращаются они обычно потемну. Вечером собираются все вместе, оценивают сделанное за день и обмозговывают, как и что делать завтра. У каждого из них, а не только у звеньевого голова болит о том, как лучше сделать, на чем сэкономить. Они тоже заинтересованы, чтобы вспахать больше, но их «больше» имеет всегда и другую сторону — «лучше». Количество у них никогда не вступает в противоречие с качеством. И все у них идет ладом.

Я рассуждаю просто: было бы у нас в области не тридцать звеньев, а три тысячи, то производилось бы в год хлеба тонн этак миллиона два, а не миллион триста — миллион четыреста тонн. И мяса тоже было бы больше, и оно было бы дешевле в два раза. Оконешниковский райком партии и производственное управление задумали большое дело: перевести на новые рельсы все хозяйства района, создать сначала один отряд, на следующий год пять таких же по типу отряда Полеводы и еще три деревни перевести целиком на аккордную оплату, затем совхоз целиком и наконец весь район. Но дело у них не пошло...

После первых подсчетов вырисовывалось нечто чрезвычайно заманчивое. Оказалось, что в Грибоедове (деревня, которая должна специализироваться на откорме крупного рогатого скота и работать по типу отряда Полеводы) с прежним объемом работ справились бы тридцать человек вместо теперешних семидесяти двух. Ольховку решили специализировать на овцеводстве и откорме молодняка, коров перевести на другие фермы, а поголовье овец увеличить в четыре раза. Производство продукции, если все перевести на деньги, увеличилось бы в три раза при том же количестве народа.

Всего было намечено выделить в специализированные хозрасчетные единицы на безарядной оплате пятнадцать деревень, в Чистовском совхозе создать вместо пяти отделений десять хозрасчетных отрядов. Получалось в итоге, что при том же количестве людей можно было выработать в два раза больше продукции и, главное, вдвое более дешевой.

Были и хорошие планы, были и убедительные доказательства, что все это реально, но...

Там, где нужно было убрать коров и добавить овец, нужно было строить кошару, там, где концентрировался откормочный молодняк, надо было строить новый скотный двор. Новое дело требует финансирования, и это естественно: ведь речь идет о резком расширении производства. Но район не имеет средств.

Мешало и другое.

Я помню просторный зал райкома партии, почти полный народа. На трибуне сначала Полевода, затем Никонов. В зале «среднее звено»: управляющие, агрономы отделений, учетчики, бухгалтеры. Именно им придется пускать в жизнь новые хозрасчетные отряды, пестовать их, и секретарь райкома обращается к ним со словом. Но странно: у всех сидящих в зале лица как бы на одну колодку — равнодушно-непроницаемые и чуточку снисходительные.

Называются цифры, характеризующие отличные достижения хозрасчетного отряда, а зал молчит! Просят высказаться относительно перспектив развития нового дела, а зал молчит!

А через десять минут Полевода говорил Никонову в его кабинете:

— Я-то понимаю, Валентин Иванович, почему такое молчание было. Дело самое простое. Если, допустим, у нас в совхозе будет десять таких отрядов, как наш, то почти вся эта армия, что сидела в зале, ненужной окажется. Управлять нами не надо, — продолжает Полевода, — а только направлять. Значит, управляющий, какой он есть, не нужен. Ходить за нами и мерить не надо — учетчика долой. То, что знает агроном-полевод, то и мы знаем, его надо на трактор посадить, старшим отряда назначить. Руководитель среднего звена совсем другим должен быть. Вот как я: работаю и руковожу.

Никонов слушает его несколько напряженно и в то же время рассеянно, — это, видимо, все близко ему и есть у него какие-то свои соображения. Он протягивает мне бумажку:

— Вот, посмотрите, у нас восемь совхозов, восемь тысяч рабочих и служащих. Из них участвуют непосредственно в производстве продукции только три тысячи девятьсот двадцать. Восемнадцать процентов от общего количества занято в растениеводстве и тридцать в животноводстве. А остальные — всякая обслуга. И она узаконена, как говорят, заложена в профинплан. Как же не быть высокой себестоимости? Не надо ли нам подумать о сокращении всяких излишеств в сфере управления? При отрядной системе это все быстро подожметя.

То, что хозрасчетные отряды несут обществу блага материальные, это было ясно, но дело не только в них. Не меньше значат блага моральные.

...Весенние сумерки в деревне Соловьевка. В этот час по одному возвращаются с поля тракторы. Завернет в улицу, скользнет светом фар по кирпичному углу мастерской, охватит бревешки с сидящими на них людьми и затухнет. Они, члены отряда Полеводы, каждый вечер сходятся здесь минут на пятнадцать, разговаривают о том, как прошел день, и намечают, что делать завтра.

— Ну, дней через пяток пшеничку зачнем? — говорит, не обращаясь определенно ни к кому, Иван Приходько. — Только вот сеялка-то «СУБ-48» сушит сильно.

Все лица оборачиваются к старшему, к Полеводу.

— Я и то хотел вам сказать, агроном советовал: мол, «сорок восьмая» по этому году не годится.

— Надо «СУ-24» в отделении взять.

— Шесть же штук надо. А эти шесть стоять будут? Амортизация-то на нас пойдет.

— Так что ж, влагу терять?

— Иваныч, слышь, а если сошники переставить с «двадцать четвертой» на «сорок восьмую»? С сошников-то, поди, амортизация маленькая. Ну, потерять день одному человеку А?

— Давайте попробуем.

Я всматриваюсь в их посеревшие в сумеречном воздухе лица, в их особое выражение удовлетворенности и озабоченности и думаю, что это — радость крестьянских забот.

Следующим вечером заехали мы в Соловьевку с Никоновым и увидели на «пятачке» мужиков и парней из отряда, ожесточенно спорящих о чем-то. Никонов осведомился, из-за чего сыр-бор горит.

— Да силос отделение берет, — ответил Полевода, как обычно чуточку загадочно улыбаясь. — Мы меж собой обговорили все: раз такое дело, что скот кормить у вас нечем — берите тонн двадцать. А они сверх того берут. В общем, ругают меня ребята.

И тут посыпалось вразнойбой:

— Мы не за то, что берут, а за то, что не знаем, почем берут, по какой цене. Ты ведь, Миша, даже не спросил, сколь платить будут за тонну.

— А еще, Валентин Иванович, по пятьсот грамм концентратов на голову недодали против договора. Это нами-то заработанных!

— А если бы мы в рацион по пятьсот грамм в сутки добавили, так еще сколь привеса получили бы!

У тех, которые заседали на Полеводу, вид немножко потерянный, они чем-то удивлены, чего-то не понимают. Я слушал и постепенно начинал догадываться, что именно их обескуражило. Они не понимали, как это их старшой, такой счетливый хозяин, готовый каждую гайку из пыли поднять, вдруг поступил так не по-хозяйски, даже о цене не договорился.

Полевода все еще загадочно улыбался, но и он, я заметил, тоже был обескуражен чем-то.

— Ну, что вы, мало заработали, что ли? — проговорил он и перевел взгляд на Никонова. — И так уже... уж больше зарабатывать вроде стыдно! Нас и так кулаками на деревне зовут.

— А сколько бы вы заработали, если бы этот силос и концентраты, что вам недодали, скоту скормили?

— Да рублей бы по триста пятьдесят.

Минут через десять, когда я пошел проводить Никонова до машины, уже в глухой темноте он говорил несколько возбужденно:

— Вот новое явление какое, только подумать — стесняются много зарабатывать! А другие думают: раз те много зарабатывают — значит, и мы можем так зарабатывать. Меня уже в Чистове, в Сергеевке, в Крестиках трактористы спра-

шивали, когда у них отряды будут. А эти зарабатывать стесняются. Я знаю, кое-кто давно бы нашел выход из этого положения — уже давно подрезали бы отрядникам заработок, да дело-то в том, что нормы и тарифы, на основании которых им технологическая карта составлена, узаконены, одинаковы для всех. Все у них на общих основаниях. Меня вот это-то и заставляет волноваться — какие огромные упущенные возможности вот в этих цифрах: два человеко-дня на центнер привеса в отряде и шесть человеко-дней — у остальных!

Теперь давайте подумаем о том, что говорят противники нового дела, вспомним все «контра». И оценим их. Не так давно встретился я в дороге с двумя товарищами, приехавшими изучать в глубинке причины отлива из села в город. Выяснилось, что достижения отряда Полеводы их не привели в восхищение, они говорят, что звенья, аккордная оплата — это потогонная система, что этим мы только отпугнем молодежь от села.

«Контра» 1: «В звеньях невозможно хорошо использовать технику, потому что у них маленькие участки».

Они не маленькие. Сначала были маленькие, но эта ошибка исправлена. За отрядами, как правило, закрепляют целый севооборот. У Остера — 1500 гектаров, у Кренца — 1800, у Нурписова — 2100, у Полеводы — 700 гектаров и 200 голов скота. И народу у них порядочно — от семи до четырнадцати человек. И вообще это «контра» касается техники дела, не самого принципа.

«Контра» 2: «Звенья мешают производительному использованию техники и пробуждают в нашем человеке-коллективисте собственника. Вот пример. В бригаде на возвышенном месте, на бугре, земля поспела, а на участке звена возвышенных мест нет, работы начнутся дней через пять, и тракторы стоят без дела. Если по-хозяйски, так надо бы бросить тракторы звена туда, где пора пахать или боронить. Но звеньевой не дает свои машины: «Что я их бить буду, скоро самим работать». Таким образом, мелкогрупповые интересы оказываются выше интересов общественных. Вывод: звенья пробуждают в человеке собственника, индивидуалиста».

Убедительно как будто бы? А на самом деле чушь. Так может говорить только тот, кто не понимает хозрасчетной сути звеньев.

Если получится так, что бездействующие тракторы звена куда-то потребуются, то пожалуйста: ведь звенья на хозрасчете, они с удовольствием берутся за самые различные работы, когда у самих нет дела. Они «на стороне» пашут, боронят, возят сено, заготавливают корма, кладут печи, ошиновывают колеса, и притом каждый кладет свой заработок в общий котел.

«Контра» 3: «Звенья — это потогонная система. Работа в звене выматывает человека. В этом отношении они напоминают фермерские хозяйства, где высокая производительность труда идет рядом с интенсивностью почти нечеловеческой».

Что ж, доля правды тут есть. В фермерских хозяйствах производительность труда выше, чем в колхозах. Наши экономисты, партийные и хозяйственные работники, министры, трактористы, агрономы, писатели объездили всю Европу и знают это. Вот что видел писатель Залыгин в Дании. Небольшая ферма. Восемнадцать гектаров земли, в основном под кормовыми; двадцать свиноматок, которые дают по два с половиной помета в год, двенадцать поросят каждый; восемнадцать коров с удоем 4500 литров. Хозяева фермы — муж и жена, обоим по шестьдесят лет. Наемной рабочей силой не пользуются даже в период уборки. Работают они по двенадцать часов в день. Скотный двор у них построен в виде круга. Хозяин на тракторе заезжает и сталкивает навоз в яму, над которой устроен колпак, и под ним собирается газ, образующийся от перегорания навоза, — метан. На этом газе работает электростанция, которая обслуживает электродойку. Раздача корма производится на том же тракторе с помощью кормораздатчика.

Я об этой ферме рассказываю моим оппонентам, и происходит у нас такой разговор. Начинается он издали, с того, что окружающие Полеводу «погектарники» работают намного хуже, не думают об урожае.

— Но позвольте,— возразили мне,— что вы такое говорите: ведь вы же клеветаете на советского труженика, изображаете его так, будто у него нет сознательности, нет совести, как будто он не патриот. Ведь колхоз-то — его родной колхоз, так неужели же он плюет на него, на интересы своих односельчан? Не может же он руководствоваться интересами кармана и пренебрегать интересами общества.

— Может,— отвечаю я.— Может. И очень часто пренебрегает. И объясняется это очень просто: он в производстве поставлен в определенные условия. Он в этом не виноват, а виноваты те, кто никак не хочет понять тех бед, которые несет с собой погектарная оплата, оплата за норму.

Они мне говорят:

— Но ведь есть доплата за урожай, узаконенная соответствующим приказом, так что тракторист заинтересован в получении высокого урожая. Вы, очевидно, не знаете действительности.

— Правильно,— отвечаю я,— трактористам установлена доплата за перевыполнение плана урожайности, и вроде солидная: если урожай на два центнера выше плана, то тракторист получает на два рубля больше за каждый вспаханный гектар. Вроде бы хорошо. Но опять же — за гектар! Значит, опять давай количество. Противоречивое положение получается. Но самая-то беда в том, что план урожайности выполняют редкие хозяйства, и практически получается, что доплата за урожай — дело мифическое. Если она и есть, то обычно составляет около десяти процентов от общего заработка за гектары, и ее влияния тракторист не замечает.

Потом уже переходим мы к тем датчанам. Разговор примерно такой.

Они: «А стоит ли этим восхищаться?! Зачем так работать? Это же рабский труд. Вряд ли они читают газеты и ходят в кино. Они живут, как кроты. Имейте в виду и другую сторону: у них идет процесс разорения мелких фермеров, поглощения их крупными земельными капиталистическими предприятиями. Эти двое вынуждены работать без оглядки, потому что они понимают: если остановятся хоть на минутку, то споткнутся, упадут и их переедут. У нас же другие стимулы действуют».

Я: «Вот давайте поговорим о наших стимулах».

Они: «Когда мы вас спрашивали, зачем так работать, то это не мы спрашивали, а это сегодняшний деревенский парень спрашивал. Мы рассказали группе молодежи об аналогичных примерах из западной практики, а они нам говорят: зачем же работать, не видя белого света? В городе семь часов отработал — и все. Введение семичасового рабочего дня на селе — одно из главных условий пресечения демографической волны. Нужно дать сельскому человеку свободное время — выход в этом».

Я: «У колхозника сейчас семичасового рабочего дня все равно никак не получится».

Они: «Почему же?»

Я: «Потому что, отработав семь часов на ферме или в поле, человек, придя домой, опять за работу берется: в огороде копается, за скотом ухаживает или по дрова, по сено едет, причем часто на ферме и в поле он старается работать без напряжения, чтобы сэкономить силы для второй половины дня. Рабочий день у него все равно те же одиннадцать — двенадцать часов получается».

Они (после большой паузы): «Это в известной мере правильно, но только по отношению к пожилому крестьянину, а у молодежи другие требования».

Я: «А что же, деревенский молодой человек хозяйством не должен заниматься? Это не крестьянин? Кто же он тогда? Разве он должен жить не той жизнью, которой его отец и мать живут сейчас?»

Они: «Должен! Должен. Но надо и перспективу видеть. В перспективе личного подсобного хозяйства не будет. И молодые люди села в своем мышлении, очевидно, опередили нас. Они по уровню развития, по запросам гораздо больше

нуждаются в свободном времени, нежели их родители и нежели это нам с вами представляется».

Я: «Скажите, пожалуйста, а что такое перспектива в данном случае? С точки зрения практических возможностей сегодняшнего дня. Вы можете сказать, когда примерно у нас установится в деревне одна форма собственности? Через сколько лет?»

Они (с возмущением): «Это вопрос демагогический, нам нужно сейчас, немедленно принимать меры. Молодежь уходит из села. Вот главное. Мы, безусловно, понимаем, что в этом уходе, как ни парадоксально это может прозвучать, сказываются преимущества нашей социалистической системы. У нас все блага общедоступны, наша молодежь свободна в своем выборе, ей не грозит безработица. И когда мы предлагаем молодому человеку двенадцатичасовой рабочий день в деревне, так он, естественно, предпочитает город с его семичасовым рабочим днем. Нам нужен семичасовой рабочий день в деревне — вот главное. А звенья, за которые вы ратуете, неприемлемы, потому что там человек выматывается, делается рабом земли. Да, они дают дешевую продукцию, но какой ценой это достигнуто! И кто в звеньях! Мужички лет по тридцать или тридцать пять, да к тому же не из очень грамотных. Таким это еще подойдет, а молодого человека разве этим привлечешь? Он не пойдет в звено по той причине, что сейчас он «сильно грамотный» и знает, что в городе его сверстник, отработав семь часов, нацепляет галстук и идет куда хочет».

Я: «Вы не знаете точно, как обстоит дело. В хозрасчетных отрядах немало молодежи. В тех четырех отрядах, опыт которых я изучаю, сорок три человека, из них девять моложе двадцати пяти лет. Не забывайте, что у человека, кроме потребности иметь свободное время, есть и потребность производительно работать. От этого он получает удовлетворение. При том условии, конечно, что его труд оплачивается по заслугам. Работая в хозрасчетном отряде, молодой человек дает продукции в два раза больше, чем его ровесник из бригады, и зарабатывает при этом двести пятьдесят — двести восемьдесят рублей в месяц. Разве это не приносит удовлетворения?»

Конечно, работают они не восемь часов. И даже не десять. У них своя точка зрения на продолжительность рабочего дня. Они работают столько, сколько нужно. В посевную и уборочную по четырнадцать часов, в сенокос по десять — двенадцать. Переработка сразу же, как кончится напряженный период, погашается отгулом. На зимнее время они установили для себя пятичасовой рабочий день, если более продолжительный не диктуется какой-либо производственной необходимостью. А в итоге в среднем за год получается семичасовой рабочий день».

Они: «Ну вот видите, четырнадцатичасовой рабочий день! Это же запрещено советским законодательством».

Я: «Не уходите вы, пожалуйста, от реального положения вещей. Нельзя же не учитывать особенностей сельскохозяйственного производства. Ведь оно в отличие от промышленности связано матерью-природой, человек пока еще не в состоянии по-своему распорядиться природными процессами. Хлеб, трава, кукуруза, свекла зимой не растут. Есть целый ряд работ, которые нужно выполнить только ранним утром до наступления жары. А весной, когда «день год кормит», кто хочет быть с хлебом, должен использовать весь световой день, а значит, начинать работу в четыре-пять утра. Именно так в отряде Полеводы и работают. У них там все делается «по уму», горох они подбирать не будут после одиннадцати утра, когда горошины из стручков выпрыгивать начнут, они это сделают по росе. А погектарники? Они работу с восьми часов начинают, и третья часть гороха на полосе остается...»

«Контра» 4: «В звеньях много техники, им легче, вот поэтому здесь много зарабатывают. Руководители хозяйств не могут дать всем то, что имеют единицы».

Правильно, некоторая часть звеньев лучше оснащена, например — звено Первицкого или Светличного. Но таких звеньев, находящихся в особых условиях, единицы. А большая их часть имеет такое же, как у всех, количество тракторов и техники. В звене Полеводы нет новых орудий, приспособленных для работы в засушливой зоне, нет ни плоскорезов, ни глубоких рыхлителей, ни сеялок-культиваторов, хотя в некоторых хозяйствах эти орудия становятся уже основными. Нет даже плугов с узкой стойкой, и звено пашет отвально, уничтожая стерню, теряя из-за этого влагу. Минеральных удобрений им не выдали. Скотный двор у них примитивный, холодный, все там приходится делать вручную. Зимой они воду в бочках возят. Колодцев на выпасах у них нет.

И вот тот факт, что все у них одинаковое со всеми, заставляет меня волноваться — мы видим, какие огромные упущенные возможности выражены вот в этих цифрах: два человеко-дня на центнер привеса в отряде и шесть человеко-дней у остальных. За счет чего же они добились таких результатов, если у них все одинаковое с остальными? За счет более удлиненного рабочего дня в период сезонных работ, более уплотненного рабочего времени, более высокой интенсивности труда, а главное — за счет более разумного, заботливого применения агроприемов и использования технических средств, в общем, за счет хозяйского отношения к делу.

Хозрасчетные отряды показали нам огромный резерв, который я бы назвал резервом хозяйского отношения к делу. Это более качественное проведение всех полевых работ, более экономное расходование кормов и материалов. Этим полевых работ масса, и если ставку делать не на желание самого тракториста выполнить все их качественно, а на контроль, то меж пальцев утекает сама суть земельного труда.

«Контра» 5: «Безнарядная система оплаты — это уравниловка. От природы люди наделены разными способностями, квалификация и опыт у них тоже разные. А ведь при безнарядной оплате не учитывают, кто сколько сделал. Тем более качество не учитывают. Какой же смысл лучшему стараться, поскольку он знает, что получит за свою работу одинаково с более слабым? Теперь дальше. Человек только в конце года, когда будет урожай, узнает, сколько он заработал. А до этого, чтобы ему было на что жить, выдается аванс. Разве это не действует разлагающе? Они еще ничего не сделали, ничего не довели до конца, а им дают деньги, всем одинаковые. Лучший не будет стараться потому, что он переработает по сравнению с худшим, а ленивый останется доволен авансом: что ему стараться?»

Обдумывая это возражение, я вспоминаю разговор в кабинете секретаря райкома Никонова, у которого мы однажды сидели вместе с Полеводой.

— Насчет аванса,— говорил Полевода,— дело, конечно, спорное. И так и так можно рассудить. Авансирования надо бояться какого? Большого. Кое-где по сто двадцать рублей авансируют, тогда, конечно, люди рассуждают: дождя не будет, мы и этим довольны будем, а дождь будет — нам добавят. Надо скромно авансировать. Рублей по семьдесят на месяц.

— А с уравниловкой как же? — спросил я.

У Полеводы появилась на лице едва различимая загадочная улыбка.

— Уравниловки можно избежать! А вообще-то ее бояться нечего!

— ?

— Избежать очень просто. В отрядах вводят свои тарифы, учитывая квалификацию, опыт. Если, конечно, люди подобрались разные. Одни получают по пять долей из общей кучи, другие — по четыре с половиной, третьи — по четыре. А у нас примерно равные подобрались, так мы делим заработок поровну. Правильно, это уравниловка! Но при нашей уравниловке нет ни одного разгильдя и лодыря. Николая Приходько в отделении лодырем величали, а у нас он работником стал, не нарадуемся. При нашей уравниловке заработок в три раза больше, чем у поектарников. Вот ведь что. И хорошо, если бы к нам ученый человек приехал и разобрался, почему при уравниловке такие результаты.

Я спросил Полеводу, как он сам это объясняет.

— По-моему, все дело в возможности высоких заработков. У нас ведь по существу поденная оплата. Учет у нас такой: был, не был — вот и все. Был — палочка тебе, не был — по уважительной, ясно, причине — ноль. Был, но плохо работал — полпалочки. Еще раз полпалочки заработал — уходи из звена. Только такого почти не бывает: уходить никому не хочется...

Тут заговорил Никонов:

— При хозрасчете да при оплате за конечный продукт, при высокой организованности, при больших заработках. какие-то новые огромные возможности, новые стимулы действовать начинают. Но, к сожалению, мы их еще не изучили толком.

— Ну, я поеду, Валентин Иванович,— сказал Полевода.

Никонов распрощался с ним, сказал, что денька через два заглянет в отряд. Только закрылась дверь, как Никонов снова заговорил возбужденно:

— Вот за таких, как Михаил, обидно. Все чего-то мы боимся. Как бы уравниловки не получилось, не является ли это возвратом к прошлому. А мне так и хочется сказать: да что вы, люди добрые, это же хозрасчет, тот самый хозрасчет, о необходимости быстреего внедрения которого еще Ленин говорил, а после него мы сами говорили лет сорок! И еще: пожалуйста, идите от фактов. А факты вот: в хозрасчетном отряде растет новый крестьянин, радетельный, вдумчивый, коллективист настоящий. Если создать ему условия, чтобы он мог развернуться как следует, он весь мир удивит...

В канун уборки я снова приехал в эти места.

Позади были три месяца, полные тревожных надежд: все ждали, дотянут ли где-то хлеба до дождей. В одних местах дожди подоспели ко времени, в других пошли слишком поздно. И хотя это сильно уравнивало, как бы сгладило усилия хлеборобов, все же было видно, кто как трудился. Я уже знал, что угол, где работает отряд Полеводы, опалило особенно. В совхозе из 14 тысяч гектаров списали и стравили скоту 460 гектаров зерновых, в Соловьевке осталось для уборки меньше тысячи...

Поля отряда тоже пострадали, но общий урожай у них центнера на два выше, чем на остальных полях отделения, а то поле, где они накопили много снега, дало вполне приличный по такому лету урожай — более семи центнеров с гектара. А пропашные им удались очень хорошо, особенно кукуруза.

И все-таки я ехал с тревогой. Ведь природа рассчиталась с ними не по их труду. Тракториста-погектарника засуха не очень больно ударила по карману, он все равно получит, что положено за гектары. А ведь у отрядников заработок прямо зависит от урожая. Не станет ли им жаль своих забот, своих сил? Не колебалась ли их вера? Один раз не по труду рассчиталась природа, да другой раз... Ведь и заколеблется человек.

Когда я приехал, был облачный, переменчивый день, и на отделении с утра возили на склад запрессованное сено. Но к полудню раздождилось, трактористы разбрелись по домам. Отрядники же, возившие сено, после обеда пошли настлать полы в новом скотном дворе и работали до вечера. Ночью снова пошел дождь, и с утра им пришлось заняться переоборудованием силосного комбайна. Они сделали так, чтобы тракторист мог работать без подручного, прямо из кабины управлять мотовилом. Когда подсохло, они опять принялись возить сено и работали до одиннадцати вечера.

Со склада по чавкающей под сапогами мокрой дороге мы шли вместе, и я опять слушал их негромкий разговор. Говорили о том, что если дожди еще будут, то сено, хоть и в тюках, все равно промокнет и придется его пересушивать и что на будущий год надо построить крытый сеновал. Поговорили еще о том, что дня через три надо будет косить кукурузу.

И опять я видел в полумраке вечера озабоченные лица, слышал мягкие интонации...

Следующим утром Михаил Иванович Полевода отправился в райцентр выпрашивать четыре самосвала. Они нужны были отряду, чтобы не затынуть с закладкой силоса и не испортить его.

Машина небыстро катилась по раскисшей дороге. Остановились возле поля с хорошей, выше человеческого роста, кукурузой. Полюбовались, поехали дальше.

— Попробуй-ка возьми нас недород,— говорил Полевода со своей всегдашней полуулыбкой на лице.— Пшеница не очень удалась, так мы на кормах, на привесах свое возьмем. Привесы сейчас у нас под девятьсот граммов. Кормов в избытке будет. Я уже знаю, что отделению опять силосом помогать будем. Нет, труженника настоящего сейчас недород не возьмет!

Теперь я уже понимал, что о настроении в отряде его можно было не спрашивать. Он вдруг вздохнул невольно как-то.

— Чего вы?

— Да я вот о чем. Вот еду в район самосвалы выпрашивать. Месяц назад ездил прямо в область — сенопресс выпрашивать. С главным инженером совхоза ездил. Дали, правда. Зимой ездил железный лист выпрашивать, чтоб было на чем навоз вывозить. Ни с чем вернулся. Так и остались без удобрения у нас поля. Ездил еще пресс-подборщик выпрашивать, тоже не выпросил. Пришлось нам впятером подбирать, сгребать, копнить, метать сено руками. Хлебнули здорово! Ну, то, что у нас нет на выпасах колодца, вы уже знаете. Живем мы в засушливой зоне, а новых орудий, специально приспособленных для таких мест, у нас нет. Четвертый год работаем, я вот и думаю: неужели за это время нельзя было действительно сделать наш отряд механизированным?

Машина уже въехала на главную улицу районного центра.

Полевода пошел утрясать свои вопросы.

П. РЕБРИН.

II

ЗВЕНО В ЦЕПИ

Первое, что вызвала у меня статья П. Ребрина,— это желание поддакивать: ведь я видел то же самое, что и он, над тем же думал, делал те же для себя открытия. И хотя за время, прошедшее после того, как я первый раз записал о том, что составляет предмет этой статьи, в моих выводах поубавилось оптимизма, я повинуюсь первому порыву и начинаю с тех имеющихся у меня наблюдений, которые сходны с выводами П. Ребрина,— так будет естественно с точки зрения законов спора. Они же, эти законы, мне кажется, дают право и на некоторые повторы: несколько фактов, просящихся сейчас сюда, уже изложены мною на страницах «Комсомольской правды» с целью содействовать насколько возможно становлению и признанию того явления, которое в наших разговорах мы называли просто звеньями.

Кстати, у нас в газете однажды предложили называть звенья артелями. Это название представлялось мне точным, и я даже использовал его как-то в заголовке очерка, привезенного из колхоза имени Ленина Черноградского района Ростовской области: «Артельные люди». Я излагаю там размышления председателя Бориса Алексеевича Захарченко.

— Вы замечали,— спрашивал он меня,— что все слабые колхозы одним похожи друг на друга: люди там плохо работают и тащат по мелочам? Большинство председателей, которым достаются разваленные колхозы, как правило, начинают с того, что объявляют войну хищениям и разгильдяйству. Но... когда и почему колхозник начал плохо трудиться на себя? Очевидно, когда перестал ощущать это самое «на себя».

Колхозы долго не могли в необходимой мере проявлять инициативу в самостоятельном планировании производства. Продукцию сдавали почти всю и по мизерным ценам. Нужда заставляла колхозника сосредоточиваться на приусадебном участке. Однако приусадебный участок облагался таким налогом, что колхозник начал рубить свой личный сад — известная страница в истории «волевой» политики в деревне.

В самое последнее время некоторые авторы предлагают нам новое объяснение всего этого. И. Мотяшов в восьмом номере журнала «Москва» за прошлый год вскользь, как о чем-то словно бы не требующем доказательства, замечает: «...не по злomu какому-то умыслу, не по глупости подрывалось в былые годы хозяйское отношение крестьянина к земле: к этому привела неизбежная логика борьбы с собственническими, капиталистическими тенденциями в деревне». Однако подобная амнистирующая ссылка на «логику борьбы», к сожалению, ничем не подтверждается. Ни в одном из документов КПСС, начиная с известного партийного постановления о расширении прав колхозов в планировании и кончая мартовским (1965) Пленумом, не было сказано, что ошибки и недостатки, с которыми объявлялась борьба, есть побочный продукт мер, направленных к переделке сознания крестьянина. Нет, причины всегда указывались более действительные; тот же мартовский Пленум, например, весьма подробно рассмотрел явление волюнтаризма.

— После пятьдесят третьего года,— продолжал Захарченко,— многое делалось для того, чтобы заинтересовать колхозы, как предприятия. Но меры эти

не всегда касались колхозника. Он не всегда чувствовал живую, мгновенную связь между, скажем, повышением закупочной цены на мясо и своим личным бюджетом. А кроме того, не было такой связи между заработком человека и результатами хозяйственной деятельности бригады, в которой он числился.

Борис Алексеевич привел элементарный пример. Однажды проанализировали работу пятой и шестой бригад. В пятой собрали 28 центнеров зерна с гектара, в шестой — 22. Собрали в шестой меньше, а заработали больше! Выходит, гнались за количеством в ущерб качеству. Думать, что это можно изменить только контролем и воспитательной работой, наивно. Так в колхозе пришли к мысли установить непосредственную зависимость между заработком колхозника и количеством продукта, который он производит.

Все механизаторы объединены в звенья, по десять — пятнадцать человек каждое. За ними закреплена вся колхозная пашня — по полторы-две тысячи гектаров. Звену выделен лимит средств, даны машины и орудия, «доведен» план производства конечного продукта. Оплата — за центнер. То, что сверх плана, оплачивается намного дороже. Форма промежуточной оплаты — повременный аванс, в зависимости от квалификации человека.

Личная заинтересованность в звене вытекает из коллективной заинтересованности и ответственности. И вот как действует, скажем, звеньевой Белан. Все клинья, лоскутки возле дворов поселка он занял ячменем, чтоб земля не пустовала, пообсевал дороги. Осенью не заказывали трактористам глубину вспашки, никто их не подгонял и не контролировал. А зябь везде получилась — борозда к борозде.

Интересные были у меня наблюдения об отношениях товарищей Белана с другими звеньями. Звено Гречишкина у них скосило тридцать пять гектаров кукурузы на силос. Белан выдал ему справку, по ней с его счета бухгалтерия снимает Гречишкину деньги. «Сейчас они тремя комбайнами валят у нас ячмень, — рассказывал Белан, — свой у них еще зеленый. Наш человек делает прокосы на их поле. Они свой комбайн за горох настроили, не перестраивать же из-за прокосов!» Между прочим, все чаще они обходятся без справок, а значит, без чьего-либо посредничества в расчетах. В этих отношениях — хозрасчет и товарищеская взаимовыручка.

Теперь стоит, призывал я в газете, вдуматься в права, которыми наделено звено. Оно может повышать или понижать тарифный разряд любому механизатору. За нарушение трудовой дисциплины и брак материально наказывать. Изменения в технологическую карту могут быть внесены только с согласия звена. Члены его вправе освободить или принять любого механизатора. И это — не в теории. Один увидел, что в звене не повольнишь, и сбежал до конца года. Потом видит, что после сдачи продукции его товарищи получают по четыреста — четыреста пятьдесят рублей, — «и мне тоже кое-что причитается». А звено отвечает: «Ничего». Он к прокурору — не помогло.

Что такое права звена по их сути? Они — как бы практическая конкретизация уставных прав колхозника. Они буквально вынуждают каждого участвовать в решении судьбы хозяйства и своего товарища. Не в общем, не «по идее», а на деле, ежечасно.

Все признаки, писал я, свидетельствуют о том, что звено или отряд, — современная артель в полном смысле слова. Полная зависимость заработка от конечного продукта — раз. Самоуправление — два. Хозрасчетность отношений с колхозом и другими артелями — три. Чисто практически они есть форма внутрихозяйственной организации труда, позволяющая лучше всего воплотить принцип прямой оплаты за центнер.

Теперь-то мне ясна моя ошибка. Я выдал желаемое за действительное. Во всяком случае не надо было обобщать, относить это утверждение ко всем местам, где существовали звенья и отряды, надо было подчеркнуть, что говорится это применительно к одному только конкретному колхозу.

Главное же, следовало ясно подчеркнуть условность самого наименования «артель» применительно к звену. Ведь оно не обладает многими важными качествами, присущими сельскохозяйственному кооперативному образованию в нашем обществе. Звено не имеет права самостоятельно планировать свое производство, сбывать продукции столько и там, сколько и где ему выгодно, покупать машины, орудия, удобрения и другие материалы; оно не властно над своим валовым доходом, не может решать, какую его часть пустить на потребление, а какую вложить на цели воспроизводства. Да звену права истинного кооператива и не нужны: ведь иначе оно превратилось бы в самостоятельный маленький колхозик, а такое дробление колхозов немислимо. Употребление, говоря о звеньях, термина «артель» даже в переносном, ограниченном толковании можно оправдать только надобностью образного изложения, да и то при условии четкого обозначения фактической сути звена, состоящей в том, что оно — первичное хозрасчетное подразделение колхоза или совхоза.

От таких вот мимолетных натяжек, от переполненных благими намерениями преувеличений и умолчаний, от всего этого, чем грешили мы, яростные «артельщики», рисуемая нами картина постепенно получалась чересчур «художественной», настолько яркой, что нам самим начинало казаться: из всех социально-экономических сельских проблем в стране наиболее первоочередная и решающая — повсеместное создание хозрасчетных звеньев. Серьезных ученых — экономистов и политэкономов — это от нас отталкивало, а нашим противникам давало лишний козырь в руки.

И ведь уже тогда имелись у меня факты, которые, вдумайся в них побольше, заставляли судить трезвее. Я столкнулся с ними в колхозе тоже имени Ленина Гиагинского района Краснодарского края, куда поехал прямо от Захарченко. Зимой здесь задумали создать звенья — семь. Составили технологические карты, рассчитали затраты, заработки, продумали все условия, старались предвидеть случайности. Положение об их хозрасчетных ячейках единогласно приняло общее собрание. Они начали жить. Не отдельные клочки, а вся земля — под персональной ответственностью, у каждого механизатора — полная ясность, сколько чего вырастить и затратить, что он за это получит. Но потом руководителей колхоза приглашают в райцентр и говорят: «Району велено иметь шестнадцать звеньев передовой технологии Первицкого и Светличного. Мы тут разверстали — у вас будет два». — «Позвольте, у нас уже есть. И не два звена, а семь. В них не одиночки, они объединяют всех механизаторов. Они уже работают — зачем же ломать?» — «Придется».

У председателя колхоза Рогова не хватило ни мужества, ни упорства, чтобы отстоять свое. И вот что он рассказывал, как бы определяя цену своей слабости:

— Едем в третью бригаду, в звено Радченко. Пашут, сеют, все спокойно, деловито. И не подозревают, что мы сейчас скажем: «Звено ваше создано неправильно. Из него выделяется только пять человек. Они будут выращивать сто шестьдесят восемь гектаров свеклы и двести тридцать шесть — озимой пшеницы. Им будет такая-то техника», — и вручим список, отпечатанный в типографии. А остальные, мол, на таком же положении, что и всегда. Коллектив распался в один миг. Целая зима такой работы — и как корова языком. «Радченко, значит, лучше всех? Им землю под личную ответственность, им лучшую технику, а мы, значит, нечистые, не доросли до этого?!» Представляете весь идиотизм моего положения?

Представить было нетрудно. Люди требуют передового, сами хотят победить в себе старое отношение к земле, но встречают противодействие. Дальше — еще хуже. Радченко посеял 168 гектаров свеклы. Машин, которые обещала ему типографская бумажка, он, конечно, не получил. Плантацию его обрабатывали все организации райцентра. Сколько насмешек вытерпел человек: «Без ручного, значит, труда, передовик, обходишься?» Да если бы Радченко и получил все необходимые орудия, это мало что могло изменить. Он получил бы на свои 168 гектаров, а в колхозе свеклы 1300 гектаров...

Вспоминаю еще одну, тоже в самый разгар звеньевой кампании, поездку в совхоз «Степнянский» Краснодарского края. Половина блокнота — сплошные восклицательные знаки, сопровождающие записи о личном составе, количестве земли и техники в каждом из восьми звеньев, получивших в свое распоряжение всю совхозную пашню. Ни одного обезличенного гектара. Но вот страничка, начинающая вторую половину блокнота. Цифры, цифры, цифры — и поверх них крупными буквами фраза: «Вот где звеньям — конец!»

За ряд лет, расшифровываю пометки, клещевина в совхозе не давала больше трех центнеров с гектара ни разу начиная с 1958 года, когда стали ею заниматься. Теперь же звеньям плановая урожайность установлена в семь центнеров. За последние три года (1961—1963) средняя урожайность свеклы — 84 центнера с гектара, плановая же цифра звеньям на нынешний (1964) год — 144 центнера. «Мужик знает,— говорил старший экономист хозяйства,— что ни по клещевине, ни по свекле он план не выполнит, мы ему так и говорим, вручая технологическую карту». — «Но стремиться будет?» — следует мой вопрос, и печальная ирония экономиста в ответ: «Предполагается». Объективной основой для такого предположения в том случае было планирование: совхоз получил заказ продать 20 520 тонн свеклы, а засеять ею больше 1425 гектаров не имел возможности, иначе остались бы без кормов коровы и не был бы выполнен хлебный заказ. Вот и пришлось делить 20 520 тонн на 1425 гектаров...

В то время это было массовым явлением. Планы звеньям устанавливались нереальные, и в итоге механизатор, заработок которого формально был связан с конечным продуктом, часто получал даже меньше, чем на сделщине.

Но тогда необходимые выводы от меня куда-то ускользнули.

«Посмотреть же в корень» меня, нисколько о том не заботясь, заставил Вячеслав Николаевич Бобраков, председатель колхоза в родном моем селе Старая Рябина Сумской области, когда я пригласил его от имени редакции на совещание по звеньям, которое собирала года три тому назад «Комсомольская правда».

Приезжая, я несколько раз подолгу говорил с Вячеславом Николаевичем, убеждал взяться за организацию звеньев, сыпал примерами из своих командировок — о том же ростовском колхозе имени Ленина и о некоторых других, а он слушал и... ничего не делал. Я возвращался в Москву и снова ехал туда, где звенья, и, знакомясь с ними, не мог не думать о Старой Рябине, а вспоминая свои беседы с Бобраковым, злился от собственной беспомощности, от того, что олицетворяю для него легион тех, кто легко дает советы, потому что делать и отвечать придется другим. Тем более что у Бобракова было основание меня не слушать: звенья я пропагандировал ему после того, как двумя годами раньше расхваливал «елочку», от которой его «в самый последний момент бог уберет».

Да, выступать в качестве представителя «коллективного пропагандиста» было легче, чем в качестве представителя «коллективного организатора», и это выбивало меня из колеи, лишало делового спокойствия. И когда редколлегия «Комсомольской правды» решила провести «круглый стол» по звеньевой системе и надо было составить список приглашенных, я включил в него Бобракова, хотя никаким опытом внедрения помянутой системы поделиться он не мог. Но для меня это был последний шанс. На что я рассчитывал? На то, что здесь он будет слушать не щелкопера, а специалистов, хозяйственников, председателей колхозов и директоров совхозов.

И вот Бобраков начал слушать. Среди присутствующих он выделялся. Самый старший по возрасту. Невысокий, очень грузный, лысый, в сапогах, галифе и кителе — эта внешность типичного председателя из «отрицательных», каким его несколько лет назад показывали в кино, резко контрастировала с отличными «штатскими» костюмами, белыми рубашками и галстуками председателей колхозов, директоров совхозов и агрономов, преимущественно молодых, с высшим образованием.

Неприметно сидя в углу нашего «голубого зала», Бобраков что-то все время записывал в блокноте. Поскольку за «круглым столом» у нас порядок был на-

подобие того, каков на пирушках у кавказцев — каждый должен высказаться, — слово было предоставлено и ему. Неожиданно для меня его речь произвела, пожалуй, самое сильное впечатление на присутствующих.

— Я пожилой человек, — сказал он, — и много лет нахожусь на руководящей работе в масштабах района. Не было ни одной недели за много лет, чтобы не довелось присутствовать на каком-либо мероприятии в райцентре или в области: то бюро, то пленум, то конференция, то совещание, то семинар. И всегда и везде нас то критикуют, то поучают. Я не помню, чтоб собрали нас, как вот вы здесь, и чтоб состоялась серьезная беседа о колхозной жизни, о всех вопросах, которые в масштабах района или области и не решишь, — но чтоб люди по ним высказывали свое мнение, свои предложения, свою заботу. А ведь это, товарищи, важнее всего! Насколько я понял, система, о которой тут столько говорили, только тогда пойдет в жизнь, когда я и любой другой председатель пропустит ее через свой ум. Сверху, директивно ее никогда нельзя внедрить, она, товарищи, только тогда будет успешно проведена, когда вызреет снизу, завладеет умом каждого сельского жителя. Для начала хотя бы умом каждого председателя и агронома.

Вот в этой речи и содержалось то простое, общеизвестное, что по-другому высветлило все мои «звеньевые» кубанские наблюдения.

Давно знаком тот тип людей, которые, с одной стороны, без указки сверху не могут ступить шага, но, с другой стороны, не формалисты, напротив, инициаторы, понятие «указки» толкующие для себя очень широко, способные как бы упреждать должным образом оформленную директиву, как письменную, так и изустную. А потому смотришь на иное дело, знаешь, что оно — добровольная самодеятельность, а не можешь отделаться от ощущения, что совершено оно «во исполнение». Это как раз и было характерно для процесса организации многих звеньев на Кубани.

Стоит ли удивляться той гримасе, которую у иного председателя колхоза и сейчас еще вызывает одно слово «звенья»? И легко также представить, как реагировал он, читая мои пассажи о том, что «звенья», оказывается, название не точное, надо «артели».

Мне бы, думаю теперь, не о звеньях-артелях как таковых следовало писать, а о тех обстоятельствах общественного бытия, которые предшествовали октябрьскому (1964) Пленуму и сказывались на всем, в том числе и на судьбе звеньев.

После октября 1964 года кубанские звенья распались почти все, иные — по форме и существу, иные — только по существу. Это была, не в последнюю очередь, реакция на способ их внедрения. Заодно, замечу в скобках, многие и на Кубани, и в других местах к ценностям и лицам, подлежащим переоценке, автоматически отнесли и Светличного с Первицким, хотя я не знаю другого столь же чистого опыта — «чистого» в значении научного термина и в смысле нравственности. О многом можно догадаться хотя бы по такому факту: Светличный уходил из звена, год работал управляющим отделением и только потом вернулся. С гордостью за свою газету вспоминаю, что мы первые выступили против такой переоценки.

Но допустим, что всего этого нет. Да, собственно, и большого допуска не требуется, бюрократического ажиотажа вокруг звена сейчас действительно нет, не заметно особой регламентации. Однако может ли это серьезно изменить, облегчить его судьбу? Судя по всему, не может — и вот по какой причине.

С 1961 года в сельском хозяйстве действует аккордно-премиальная система оплаты труда. Начать с того, что она резко противоречит задаче повышения производительности. Главный довод при этом такой: в среднем по стране доплата за конечный продукт в общем заработке механизатора не поднимается выше десяти процентов. Значит, продолжает действовать сдельщина, которая в сельском хозяйстве означает погоню за гектарами. Декларируемая аккордно-премиальной системой зависимость оплаты от центнера продукции оказывается фикцией.

Стоит коллективу поднять урожайность — сразу же увеличивается план, а колу увеличивается план, снижается аккордная расценка за центнер. Стоит коллективу уменьшить число людей, занятых, скажем, производством свеклы, механизировать или совместить часть технологических операций — снижается фонд оплаты, а значит, опять же и расценка за центнер. Внедрять современную технологию становится невыгодно. Таким образом, чем лучше механизатор работает, чем больше производит он пшеницы, кукурузы или свеклы, тем меньше он получает за каждый центнер этой продукции. Всего нагляднее: звено Владимира Светличного, в котором собраны мастера экстра-класса, мастера, равных которым сегодня нет в стране, уже в течение семи лет за центнер свеклы получает 20 копеек. А в соседних хозяйствах, где и технология, и формы организации старые, люди получают по 70 копеек и даже больше — до 1 рубля 30 копеек.

Рамки аккордно-премиальной системы тесны, сковывают инициативу. Потому что в основе ее — нормирование средств и труда на десятки видов отдельных работ, технологических операций. Совхоз составляет профинплан, и финансисты, исходя из объема предусмотренных работ, по твердым нормам отпускают деньги: на пахоту столько-то, на сев столько-то и так далее.

Колхозы — теоретически — вправе не нормировать затраты на объем физических — ручных и механизированных — работ. Они не зарплату людям выдают, а распределяют фонд личного потребления, размер которого устанавливает общее собрание, а объективно он зависит от того, сколько произведено и продано продукции. Значит, колхозы уже сейчас имеют полную возможность и право не делать нормы выработки главным критерием при распределении фонда личного потребления, и некоторые, как тот же колхоз имени Ленина Черноградского района Ростовской области, это уже делают. Однако большинству такое пока и в голову не приходит, и среди прочего тут важен и следующий момент — сила совхозного примера. Колхоз, уже имеющий возможность платить людям не меньше совхоза, начинает копировать его нормы и расценки, которые тем более совершенствуются, устанавливаются специалистами-нормировщиками с помощью хронометража и иных заслуживающих доверия научных методов. Порядки государственного предприятия воспринимаются колхозом как государственное ему установление, да оно и фактически к нему поступает в виде различных рекомендаций из районного и областного центров.

Разумеется, лучшим был бы такой принцип: поскольку стране нужны не гектары вспаханной или продискованной зяби, а центнеры, то на них-то, на центнеры, и разумнее было бы нормировать труд и средства. Но сделать это в условиях, например, Павлодарской области невозможно. Иначе у совхозов нечем будет людям платить. Посудите сами: средняя урожайность пшеницы в совхозах области за последние десять лет — три центнера с гектара. Если нормировать затраты на центнер, исходя из плановой урожайности хотя бы и в семь-восемь центнеров, хозяйства просто не смогут существовать, у них катастрофически не будет хватать денег на проведение технологических операций.

Если пшеница раз в десять лет с натугой дает десять центнеров, а семь раз сам-один — сам-три, стоит задуматься, не лучше ли производить что-либо другое. Павлодарские совхозы задумываются давно, но делать практические выводы они пока не в состоянии, и в результате земледелие в области убыточно.

Любопытен в связи с этим типичный диалог звеньевика со сдельщиком. Последний спрашивает: «Платить от урожая хорошо, а как быть, если засуха?» — «Иметь переходящий фонд от предыдущего заработка». — «А если засуха три года подряд?» Надо бы ответить: там, где такие условия, или не сейте, или специально планируйте покрытие убытков из бюджета, но звеньевик теряется, потому что это уже разговор не просто о формах организации и оплаты.

Нет и нет, мне не надо было в свое время так много писать о звеньях. Я должен был раньше понять, что существование их, даже самых лучших, — все это счастливые исключения из правила, согласно которому безнадёжно-звеньевая

организация и оплата труда получить широкого распространения, стать фактом деятельности каждого колхоза и совхоза не может. Во всяком случае — пока не может.

Подразделение будет жить — не спору, нас будут потрясать результаты его деятельности, но серьезное влияние на сельскохозяйственное производство в целом оно едва ли сможет оказать. Речь ведь, при всей ее часто ложной многозначительности, идет всего-навсего о формах внутреннего хозрасчета, а они не так уж много значат, если во внешних своих связях предприятие еще далеко не во всем подошло к полнокровному хозрасчету, предусмотренному хозяйственной реформой. Видимо, как раз в этом — объективная причина того, что, несмотря на убедительность сотен экспериментов со звеньями, дело идет туго, в одном месте звено появляется, а в другом распадается, и так уже десять лет.

Правда, в части совхозов сегодня уже испытывается механизм перехода на полный хозрасчет, хотя наши представления о том, как надо, по-прежнему идут, так сказать, впереди действительности. С их высоты, с точки зрения принципов экономической реформы и ленинского понимания роли социалистического рынка, совхозный фонд оплаты, очевидно, не должен столь строго нормироваться в централизованном порядке, ибо это противоречило бы требованиям полноценного хозрасчета.

В сегодняшних условиях, когда уже начался переход совхозов на полный хозрасчет, представляется реальным, что свержение нормы выработки произойдет почти автоматически.

В самом деле, представьте: вы — директор совхоза, ваш коллектив, допустим, решил истратить миллион рублей на оплату производства миллиона пудов хлеба. Норма выработки, тарифная расценка, указанные сверху, — таких понятий в совхозе нет даже в качестве учетных категорий. Что вам остается делать, как платить людям? Выход один: пусть платят себе сами. Но чтобы коллектив мог справедливо распределить между своими членами аванс под урожай, он должен быть небольшим, таким, в котором каждый ежечасно на виду у всех, и за ним нужно закрепить землю и технику. Вам — новатор вы или консерватор — ничего не остается, как внедрять безарядно-звеньевую организацию труда, иначе хозяйство просто перестанет существовать.

Сдельщина, оплата крестьянского труда «от колеса» мне представляется лишь частным отражением тех явлений нашей жизни, к преодолению которых стремится КПСС, объявив в своей Программе: партия будет полностью использовать товарно-денежные отношения. Только практическая реализация этого тезиса, видимо, может заменить «колесо» центнером, и тогда звено, представленный в нем механизм доведения хозрасчета до непосредственного производителя окажется как нельзя кстати.

Короче, я хочу сказать, что проблема оплаты и организации труда, как и все другие проблемы сельской жизни, упирается, видимо, в одну — в последовательное осуществление принципов экономической реформы, в совершенствование практики отношений государства со всеми имеющимися в нем предприятиями, а также принципов и практики их отношений между собой. О своей ошибке я как раз и говорил в том плане, что как-то так получалось: звено в моем изложении оказывалось панацеей, в суждениях о нем не чувствовалось, что автор понимает — оно именно звено, только звено в цепи, причем такое, ухватившись за которое всю цепь не вытащишь.

Да, Полевода чувствует себя настоящим хозяином положения. Но и его деятельность нельзя рассматривать изолированно от положения совхоза в целом. Нам не хватает ясного понимания того, что совхоз, став хозяином положения, неизбежно сделает хозяином и каждого Полеводу, а наоборот — практически неосуществимо. Серьезные экономисты пока не опускаются в своих построениях ниже совхоза, и они не правы. Но еще больше не правы и мы, не поднимаясь выше звена. А нам бы надо идти навстречу друг другу. Особенно сейчас, когда в печати заметна новая волна интереса к нашей теме и когда в иных выступле-

ниях проглядывает убеждение, что хозрасчет остается проблемой лишь на уровне человек — звено...

Вместе с тем нам самим стоит больше обращать внимания на еще одно условие процветания звеньев, а именно — видеть в них не только организационно-экономический рычаг, но и средство вообще улучшить жизнь деревенских людей. Показательной в этом смысле кажется мне история внедрения безнарядно-звеньевой системы в моей Старой Рябине.

Я не ожидал, что так скоро после зимней встречи в Москве получу от Вячеслава Николаевича Бобракова письмо, в котором он сообщит столь радостные для меня факты: одно звено из шести человек уже создано, за ним закреплено пятьсот с лишним гектаров земли, выделена техника, а руководить сагитирован восемнадцатилетний комсомолец Иван Одражий, выпускник техникума механизации.

Первого мая я приехал погостить домой. Был дождь, и никто не работал как по этой причине, так и по случаю праздника. И вдруг подъезжает к дому на «газике» Бобраков и предлагает вместе с ним отправиться в село Катериновку, где находится звено Одражего. Я был потрясен. Первое мая, праздник, никто нигде не работает, все по домам, а тут — шестеро в рабочей одежде по собственной воле сидят на полевом стане и ждут погоды.

Летом следующего, уже 1967 года я снова приезжаю в Старую Рябину. Узнаю, что среди звеньевых — один мой школьный приятель, Виктор Волошин. Как бы близко ни сошелся с человеком, первым толчком к которому была профессиональная надобность, полноценное приятельство получается довольно редко, и это замечаешь только тогда, когда встретишься — пусть по той же надобности — с тем, для кого ты, как, скажем, я для Виктора, школьный товарищ, односельчанин, и когда он продолжает именно так к тебе относиться. Информация поступает к тебе из самой глубины, не искаженная никакими помехами.

Бобраков сказал, что Виктор приболел, лежит дома, и мы поехали к нему. И вот когда зашел разговор о том, как теперь работается Виктору, он сказал: «Долго так не поработаешь. Хлопцы уже не хотят». Понимаете, он так просто, без всякой сердитости, стал говорить, как выматывает их пятнадцатичасовой труд и как в силу этого не приносит он им радости.

В первый год, когда все было для них внове (сами себе хозяева, никто не понукает, есть перспектива видимого, конкретного, осязаемого результата), они вкалывали по пятнадцать часов — все затмевала для них прелесть того сознания, что вот никто над ними не стоит, а они сами с зари до зари не покидают поле и в выходной и в праздник. Но когда состояние «я — хозяин» стало входить в привычку, когда закончился праздник и начались будни — они зороптали. (Бобраков этот ропот принял как вполне естественное явление, он сказал мне: «Мы допустили ошибку: мало дали людей в звенья. На следующий год обязательно прибавим».)

И знаете, я не смог в душе осудить Виктора. А вернее, не в осуждении или одобрении дело. Просто я хочу сказать, что если мой Виктор уже ни за какие деньги не хочет работать пятнадцать часов в сутки, то это надо рассматривать как некий объективный социальный факт. Полевода хочет, а Виктор не хочет, я не берусь судить, за кем из них большинство, но что за Виктором тенденция, подлежащая учету, — несомненно.

На Кубани был колхоз, который всё полностью — и полеводство, и животноводство, и все подсобные подразделения — перевел на звеньевую систему. В этом колхозе совершили неслыханное: целую молодежную ферму сделали самоуправляемой, убрали с нее заведующего, зоотехника, учетчика, всем вершить стал совет фермы. За каждой дояркой была закреплена группа коров, но заработок ее зависел от того, сколько к концу года найдет вся ферма. Ввели две смены, два выходных в неделю (задолго до того, как страна перешла на пятидневку), большинство девчат стало учиться.

Потом в колхозе сменился председатель, и все стало по-старому. Когда я приехал после этого в район, несколько ответственных товарищей, как только заходила речь об этой ферме, то и дело повторяли: она была на одном из последних мест в районе.

Я пошел к бывшему председателю колхоза и прямо спросил его, как он это объясняет. И знаете, что он ответил? «Да пусть,— сказал он,— ферма будет на последнем месте в крае, а не только в районе. Думаете,— говорил он дальше,— я не знал, что если почти целиком вся ферма едет сдавать экзамены в техникуме, то удои снижаются? Но для меня,— продолжал бывший председатель,— в тысячу раз важнее другое: что девочки живут по-человечески, спокойны за завтрашний день, получая ежемесячно твердые семьдесят рублей, два раза в неделю отдыхают, в две смены работают, что у них там дом с залом и тремя комнатами, где чистые постели и цветы! Я начинал это дело и о том думал при этом, что коль людям будет хорошо, то и коровам пусть не сразу, но станет лучше. Мы уже дожили до того времени,— развивал он свою мысль,— когда можем и обязаны делать все, чтобы улучшались условия жизни и работы колхозника. Вы вдумайтесь,— страстно призывал он меня,— в такой факт: у доярки болят руки, она бросает коров, а мы заставляем ее доить и при этом как убеждаем ее? Коровы ведь, говорим, страдают, производство. Самое страшное, что ни у председателя, ни у бригадира, ни у доярки не возникает простейшей мысли: так держите этих коров столько, чтобы с ними могли управляться только здоровые люди. Я не могу с этим мириться, когда знаю, что есть все возможности за счет полеводства покрыть первоначальный убыток от создания условий, при которых молодой и здоровый человек с радостью пойдет на ферму».

Так порассуждать, может быть, всякий не прочь, но так действовать... Чтобы так действовать, в умах должен совершиться переворот, подобный тому, что идет сейчас — от представления о первичности технологии к убеждению в первичности экономики,— подобный этому перевороту, но более трудный и принципиальный.

В общем, я хочу сказать, что, толкуя о тех же звеньях, видимо, стоит упирать не столько на то, каких производственных показателей они добиваются — меньшими, чем обычно, показатели все равно не будут,— сколько на то, как изменяется жизнь людей, их отношения между собой, с колхозом или совхозом, как они зарабатывают и какое оно для них, чувство хозяина, в чем выражается.

Зимой 1968 года я снова ездил в Краснодарский край. В качестве подверстки к законченной уже статье хочу сказать несколько слов о том, что там увидел.

Общее положение такое. Земля распахана практически вся — от 90 до 96 процентов сельхозугодий в основных районах. Зерновыми хозяйства края занимают 50—55 процентов пашни. Пшеница в общем объеме производства товарного зерна составляет 70 процентов. Посевы ее за четыре года расширились на 420 тысяч гектаров — за счет трав и кукурузы, последнюю столь активно ставили на свое место, что, кажется, «переставили»: в 1966 году не был выполнен план ни по гибридным семенам, ни по продаже государству на фураж.

Машин стало больше. В 1967 году заявка края на уборочную технику впервые была удовлетворена полностью. За то же время нагрузка на трактор уменьшилась на 30 процентов, а на зерновой комбайн — вдвое.

Общественное мнение Кубани, показалось мне, впервые осознало один факт: все резервы увеличения производства зерна исчерпаны, за исключением единственного — урожайности. А она-то именно и не растет. 1962 год — 27,3 центнера; 1963-й — 28,2; 1964-й — 21,7; 1965-й — 25,6; 1966-й — 29,4 и, наконец, 1967-й — 25,4 центнера.

Правда, 1968-й вырвался до тридцати центнеров. Не потому ли, кроме всего прочего, что, оставаясь для страны эталоном, Кубань как бы очнулась и стала говорить про себя жестокие вещи — о том, что она зарастает сорняками, да не простыми — карантинными, амброзия, паслен, повилка перекинулись из Адыгеи на все районы; о том, что, боясь мелочной опеки над хозяйствами, перестала разрабатывать агрономические указания и правила для

различных зон; о том, что плохо и неразумно пашет и сеет: три-четыре года подряд пшеницу по пшенице, а в колхозе «Путь Ильича» одно поле засевали пшеницей одиннадцать (!) лет подряд; о том наконец, что в крае нет ни одного хозяйства, где бы правильно готовили и хранили навоз. «Беспорядочное нагромождение больших и малых куч, покрытых непроходимыми зарослями самых разнообразных сорняков,— цитирую докладную записку местных ученых,— вот, к сожалению, характерная для большинства хозяйств картина хранения навоза».

О причине всего этого авторы докладной пишут прямо и недвусмысленно: «Сдельщина, погоня механизаторов за гектарами, обезличка труда и земли. Именно это, по нашему мнению, является сейчас главным препятствием на пути повышения урожайности зерновых. Без оптимальных форм соединения труда и средств производства решение всех других проблем ничего не даст (под другими проблемами они имеют в виду такие, которые под силу краевым властям.— А. С.). Мы предлагаем внедрить на возделывании зерновых безнарядно-звеньевую форму организации и оплаты труда».

Вот почему в конце заговорил я об этой поездке.

Москва.

А. СТРЕЛЯНИЙ,



ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

ИСТОРИЯ УЧИТ

«История учит нас тому, что она никогда никого ничему не научила» — этот старый парадокс вспоминается при чтении некоторых откликов западногерманской прессы на Ноябрьскую революцию 1918 года. В частности, напоминает о нем серия статей «Немцы и революция» в распространенном еженедельнике «Шпигель».

Открывается эта серия вступлением одного из редакторов журнала — Иоахима Феста, намечающим, так сказать, философско-национально-исторический разрез темы. Его исходный тезис — ненависть немцев к революции и предпочтение ей более высоких понятий, таких, например, как порядок и отечество. «Немецкой памяти, — замечает Фест, — неизвестны ни обезглавленные короли, ни убитые гаулейтеры, она не знает никакого штурма Бастилии...» С удовольствием цитирует он презрительное замечание французского историка Токвиля: «Революции в Германии не происходят, потому что их запрещала бы полиция»...

Тщательно отобранные высказывания мыслителей, художников, политиков призваны доказать, что немецкая революция ничего не боится больше, чем самой революции, и подвести читателя по крайней мере к двум выводам:

1. То, что обычно называют «Ноябрьской революцией», было лишь хаотической, возникшей из истощения и депрессии военной стачкой, было не подъемом, а крахом; в памяти нации те недели и месяцы запечатлелись вовсе не как начало новых времен, а как беспорядочное смешение мятежа, предательства, поражения, хаоса и ужаса перед «красной чернью»...

2. Лишь в 1933 году Германия получила революцию, соответствующую ее представлениям; осуществленный спокойно и в полном порядке, не «слева», а «справа», пережитый как час единения, а не раскола нации, узаконенный государственным авторитетом, именно этот фашистский переворот оказывается, по убеждению автора, «истинно немецкой революцией».

Конечно, подготавливая свое резюме, автор философско-исторического вступления к серии статей «Немцы и революция» стремится предстать перед читателями свободомыслящим, ироничным и объективным. Иоахим Фест кокетничает цитатами из Маркса, почтительной критикой Гитлера, ссылкой на Якоба Бурхардта. Но вступление редактора, так же как четыре последующие статьи его коллеги Вольфганга Малановского — «Картошку — и никакой революции!», — украшены не одними лишь цитатами. Они сопровождаются не менее яркими фотографиями. И этим иллюстрациям уже недостает не только свободомыслия и философской иронии, но чего-то элементарно человеческого.

«Шпигель» печатает фотографию мертвого Либкнехта и обезображенного лица Розы Люксембург (ее труп 15 января был брошен в Ландверский канал и найден лишь 30 мая). Подписаны фото словами из последней ее статьи, где сказано о революции: «Я была, я емь, я буду...» Зато Пабст, отдавший приказ уничтожить организаторов «Союза Спаргака», предстает на фотографии бравым офицером. Он улыбается, он счастлив совершенным подвигом и тем, что социал-демократический палац революции Густав Носке, как гласят приведенные под фото слова Пабста, «долго жал мне руку».

ФРГ

«Шпигель» («Зеркало»), иллюстрированный еженедельный журнал, №№ 45—49, 1968. Гамбург. Год издания 22-й. Издатель Рудольф Аугштейн. Главный редактор Иоганнес К. Энгель.

«Штерн» («Звезда»), иллюстрированный еженедельный журнал, №№ 46—49, 1968. Гамбург. Год издания 21-й. Издатель и главный редактор Генри Наннен.

★

Разумеется, и вожди правого крыла социал-демократии, в ту пору ставшие во главе правительства — Эберт, Шейдеман, Носке, — выглядят так же почтенно, как, по мнению «Шпигель», должны выглядеть истинно немецкие, добропорядочные мятежники. Они уступают разве что импозантным карателям в генеральской и адмиральской форме, галерея которых увенчана на страницах «Шпигель» портретами Гитлера.

Трудно излагать содержание этих статей без отвращения. Вольфганг Малановский докапывается до национальных корней каждого из деятелей революционного Ноября. Особенно важно для него, что у Розы Люксембург было «типично еврейское лицо». Исторически значительно для Малановского также и то, что Роза Люксембург была маленького роста или, как он говорит, «едва достигала полутора метров». Что она тратила на обед 60 феннигов и выпивала в день литр молока...

Надо ли удивляться, что эти подло-шовинистические, реакционно-милитаристские статьи, главный герой которых Густав Носке, заканчиваются набором цитат, среди которых отзывы о революции Иозефа Геббельса и Германа Геринга.

В кривом зеркале журнала «Шпигель» отразилась Германия, слишком хорошо нам известная.

Однако в прессе ФРГ и Западного Берлина, в многочисленных и очень различных откликах на Ноябрьскую революцию, слышен голос и другой — мыслящей Германии.

В конце 1967 года в Западном Берлине возникло социал-демократическое, но оппозиционное правящим кругам своей партии «Общество Розы Люксембург и Карла Либкнехта», поставившее перед собой задачу восстановить их облик в памяти юного поколения. Инициаторы создания общества, принадлежащие к молодежной организации «соколов», направили четверемстам ученым, художникам, политикам, духовным лицам, промышленникам, различным общественным организациям письмо с вопросом: как вы относитесь к установлению памятника или мемориальной доски Розе Люксембург и Карлу Либкнехту в Берлине?

Пришло сто пятьдесят пять ответов. Часть их вместе с последними статьями Либкнехта и Розы Люксембург, вместе с документальными материалами, рисующими картину убийства, была издана в виде брошюры. На ее обложке — памятник жертвам 15 января, сооруженный по проекту Мис ван дер Рое в 1926 году (памятник стоял на кладбище Берлин-Фридрихсфельде и был разрушен нацистами).

Оттенки каждого «да» и «нет» (а преобладает «да»), мотивы, которыми ответы подсказаны, дают немало для понимания идейного мира и настроений Западной Германии. Три лаконичных, но, думается, характерных примера.

Генрих Бёль: «В последние годы я много занимался Розой Люксембург и должен подчеркнуть, что независимо от нынешней моды я еще три года назад повесил ее фотографию у себя в доме, в моей комнате. Убийство этих великих деятелей немецкого рабочего движения отравило всю Веймарскую республику, у истоков которой оно свершилось, утвердив наглость правых элементов. Об этом можно много говорить и долго размышлять. Разумеется, я нахожу, что памятник предпочтительней, чем мемориальная доска».

Но может быть, это высказывание всемирно известного писателя отражает взгляды, характерные лишь для какой-то группы художественной интеллигенции? Что же в таком случае говорят представители иных сил?

Курт Шарф, епископ евангелической церкви: «Совершенно независимо от политических воззрений и характера того или иного человека, убийство как средство дискуссии должно быть отклонено и отвергнуто. Убийство Розы Люксембург и Карла Либкнехта было в действительности примером пагубных последствий преступного образа действия. Я также придерживаюсь мнения, что именно в ответственных за это убийство кругах развились тенденции, которые позднее привели к катастрофе Германии».

Эрнст Леммер, министр по общегерманским делам: «Это и целый ряд других убийств стоят у начала фантастической оргии уничтожения человеческих жизней, совершавшегося в миллионных масштабах по чисто идеологическим мотивам».

Конечно, западноберлинский сенат отказался предоставить место для строительства памятника Карлу Либкнехту и Розе Люксембург. Многого должно еще измениться в ФРГ, прежде чем станут возможны памятники бунтарям, а не правителям, убитым, а не убийцам. И прав Мартин Вальзер, заявивший: «До тех пор, пока каждому проспекту Гинденбурга не будет противостоять улица Розы Люксембург, а площади Бисмарка — площадь Либкнехта,— наши демократические традиции останутся подпольными». И не очень-то заблуждается Ганс Магнус Энценбергер, считающий, что установка памятника вождям революции была бы выражением бесстыдства нынешнего берлинского сената, а не знаком почтения с его стороны: у сената нет морального права прийти на могилу героев, чтобы оплакать их гибель...

Но, конечно, никаким решением сената полемика о Либкнехте и Розе Люксембург не завершилась бы. Опубликованные в брошюре «за» и «против» дают представление о том, насколько глубоки процессы, происходящие в общественной мысли Западной Германии, процессы, которыми вызваны, как нам кажется, выступления и другого еженедельника — «Штерн».

Крупнейший в ФРГ (тираж его сейчас превысил два миллиона экземпляров) и широко распространяющийся в Европе журнал этот тоже напечатал на своих страницах цикл очерков о Ноябрьской революции.

Но, может быть, их появление на фоне рекламных объявлений, портретов кинозвезд и набора уголовной и светской хроники случайно или носит сенсационный характер? Думается, как раз то, что очерки публикуются не «в специальных», а в рассчитанных на массового читателя изданиях,— факт в высшей степени знаменательный и серьезный.

Серьезно следует отнестись и к автору очерков Себастьяну Хаффнеру, чьи выступления считаются левыми. У Хаффнера нашлись веские аргументы против проведения президентских выборов в Западном Берлине. Он осмотрительно и трезво оценивал положение на Ближнем Востоке. Широкообразованный, одаренный литературно, он завоевал репутацию одного из самых ярких публицистов западногерманской прессы.

Первый очерк Хаффнера — «Убийство по приказу» — посвящен событиям 15 января, тема второго ясна из заглавия — «Кровавая весна 1919 года». В третьем — «Убийство по разрешению» — говорится о конце Баварской Советской республики. И последний — «Три легенды немецкой революции» — как бы венчает весь цикл, объединенный общим заголовком «Великое предательство».

С первого взгляда видно, что статьи в «Штерн» спорят со статьями в «Шпигель». По очень многим вопросам публицисты конкурирующих журналов занимают полярные позиции. И все же специалист-историк слишком всевозмездно к очеркам Хаффнера не отнесется. Он, очевидно, поддерживает его идею, что победоносная Ноябрьская революция спасла бы Германию от фашизма; что события 1918—1919 годов были гражданской войной, а следовательно, как всякая гражданская война, борьбой классов; что войну против рабочих и революции вело социал-демократическое правительство — на нем и остается клеймо «великого предательства». Но даже принимая некоторые исходные мысли автора, историк будет вынужден критически отнестись к общей концепции, поступающей в очерках С. Хаффнера,— политически и общественно знаменательной.

Знаменательно уже то, что публицист «Штерн» за Революцию. Именно так: за Революцию в принципе и с большой буквы, ибо народы, пережившие великие революции, должны, по словам Хаффнера, не отворачиваться от них, а гордиться ими. Как ни мучительны и кровавы роды, они несут жизнь.

Известно, однако, что, провозглашая здравицу в честь Революции «в принципе и вообще», совсем нетрудно выносить осуждающий приговор революции конкретной. Публицист «Штерн» убежден, что немецкий Ноябрь был подлинной революцией. Подлинной — это означает, если учесть весь комментарий Хаффнера, не большевистской, не ленинской, не «импорто-русской», вообще не марксистской, а лассальянской. А это в свою очередь означает, что она совершена не «массами», а «спартаковцами» и нацелена на государственную власть, а не на средства производства.

Правда, у Хаффнера сразу же возникает множество неувязок хотя бы потому, что великими революциями он называет революции победоносные. И в то же время национальной трагедией Германии, так же как трагедией и позором каждой страны, он считает те революции, которые были задушены, оклеветаны, преданы.

«После погубленной предательством революции 1918 года Германия больна до сих пор» — вот очень существенный, несмотря на все противоречия, итог, заключительная фраза последнего очерка.

Потому-то свой главный удар Хаффнер обрушивает на тех, кто полвека назад затопил в крови восставшую, рванувшуюся к свободе страну. Желчным презрением обливает он тогдашнего премьера Эберта и его правую руку — главнокомандующего, тоже «социалиста», Густава Носке, выступившего в роли карателя. Хаффнер цитирует Франца Меринга, социалиста подлинного, который, получив известие о смерти Либкнехта и Розы Люксембург, сказал: «Ниже не опускалось ни одно правительство». Цитирует он и Густава Ландауэра, министра Баварской республики, забитого насмерть во время расправы над ее деятелями: «Во всей истории я не знаю ничего более омерзительного, чем социал-демократическая партия».

Здесь не стоит вникать в современные мотивы, по которым публицист «Штерн» рассчитывается с немецкой социал-демократией, обращаясь к позорнейшим страницам ее истории. Страницы эти сами по себе достаточно современны.

Образы героев революции, погибших в дни черного предательства, на страницах «Штерн» обретают новые краски.

В Карле Либкнехте и Розе Люксембург, пишет Хаффнер, нашла свое воплощение немецкая революция, они стали ее символами, и вместе с ними она была убита... Убийство ее вождей явилось «убийством превосходящего мужества и превосходящего интеллекта, убийством ничем не опровержимой истины». Оно оказалось вступлением ко «временам Носке», к тысячекратным убийствам кровавых месяцев весны 1919-го, к миллионнократным — в годы гитлеровского господства. «И оно остается все еще не оплаченным, все еще не искупленным, все еще не отмоленным. Поэтому до сих пор вызывает оно к немецкому небу, поэтому до сих пор шлет оно свой палящий свет в немецкую современность — как смертный луч лазера».

Нет, не хотелось бы после этих строк упрекать Себастьяна Хаффнера в искажении исторической истины. Но обойтись без упрека тоже нельзя: ведь в конце концов выясняется, что вовсе не Либкнехт и Роза Люксембург, а один лишь Курт Эйснер, глава Баварской республики, — истинное воплощение революции.

Выясняется, что только Эйснер — человек, как подчеркивает Хаффнер, не имевший за собой организации, — «срежиссировал революцию», причем за два дня до берлинских событий. «Единственный, кто точно знал, что он хочет», и — не странно ли? — единственный, кто понял, что революция вовсе не поставила альтернативы между диктатурой Советов и парламентской демократией. Эйснер, если верить Хаффнеру, только благодаря своей изобретательности, энергии, гибкости, идеализму и прочим блистательным качествам господствовал над положением, трезво понимал революцию, тонко и чутко улавливал ее пути, завоевывая при этом любовь народа.

Мы вовсе не хотим разрушать симпатии Хаффнера к Эйснеру и бросать малейшую тень на того, кто в феврале 1919-го вслед за Либкнехтом и Розой Люксембург был тоже убит. Разумеется, наша задача не сводится и к тому, чтоб умалить роль и личность отважного Евгения Левинэ — вождя баварских коммунистов, расстрелянного карателями и принявшего смерть с возгласом: «Да здравствует мировая революция!» Но не нужно смешать пропорции и масштабы, исказить в угоду своим симпатиям действительный облик Либкнехта.

Хаффнер признает, что Либкнехт был одним из отважнейших людей, которых когда-либо рождала Германия. Но тутчас же добавляет: «Крупным политиком Либкнехт не был... До 1914 года его едва ли кто-нибудь знал за пределами партии, да и внутри ее он значил немного — этот незначительный сын великого отца, Вильгельма Либкнехта, основателя партии социал-демократов». (Любопытно все-таки, кто же в предвоенные годы выступил в рейхстаге с прогремевшим на всю Германию обвинением против Круппа, чьи разоблачения и процессы вызвали столь же громкий резонанс,

кому восторженно внимали на митингах рабочие Англии и Франции, кого вождь партии Август Бебель еще в 1908 году прочил в свои преемники?)

Хаффнер признает, что Роза Люксембург на фоне своей эпохи — политическая фигура первого ранга, крупнейший политик и одновременно мыслитель, блестящий стилист и превосходный оратор, только вот получается, что красной «Красная Роза» не была. По словам Хаффнера, в те считанные дни, что отделяют ее освобождение из тюрьмы от смерти под ударами прикладов и под пулями, она совершила своими статьями в «Роте фане» журналистский, но отнюдь не революционный подвиг. Да и вообще по сути дела ни Карл Либкнехт, ни Роза Люксембург революционером не были.

Позвольте... за что же сражались и погибли они в те дни? Кем же были они — основатели «Союза Спартака» и компартии Германии?

По мнению Хаффнера, крайне различные, почти не имевшие общего друг с другом и объединенные только смертью, Карл Либкнехт и Роза Люксембург обнаружили единство лишь в одном — в нежелании быть большевистскими вождями немецкой революции, следовать по ленинскому пути. По тем же утверждениям, в отличие от Ленина, который в апрельские дни 1917 года, только что вернувшись в Россию, бросил призыв: «Организация! Организация и еще раз организация!» — Либкнехт и Люксембург ничего не организовывали, ибо лозунгом первой была «агитация», а лозунгом второй — «просвещение».

Если поверить Хаффнеру, то придется счесть «просветительским» даже завещание «Красной Розы», ее статью «Порядок царит в Берлине?», напечатанную 14 января, уже после разгрома восстания, — статью Хаффнер цитирует. «Тупые палачи, ваш порядок жидется на песке. Революция завтра вновь воспрянет, бряцая доспехами, и к вашему ужасу возвестит при трубных звуках: «Я была, я емь, я буду». Придется счесть, что появившуюся там же, в «Роте фане», на следующий, роковой день последнюю статью Либкнехта «Несмотря ни на что!» — ее тоже цитирует Хаффнер — писал не революционер, а «агитатор», да к тому же требуя «от революции того, чего она совсем не хотела». «Наш корабль идет своим курсом твердо и гордо к намеченной цели. А будем ли мы живы или нет, когда удастся достигнуть цели, все равно — жить будет наша программа. Она станет господствующей в мире освобожденного человечества!»

На этом можно бы и закончить эти заметки, но в еще одном журнале — «Конкрет» — леворадикальном органе, выражающем взгляды так называемой АПО — «ауссерполитишен», или, иначе, внепарламентской оппозиции, — 13 января 1969 года появилась статья, пренебречь которой по многим мотивам невозможно.

Во-первых, потому, что своей радикальной окраской она выделяется на общем, более сдержанном фоне. Во-вторых, по той причине, что своим модным максимализмом она отвечает устремлениям анархистствующих бунтарей.

Есть и еще одна причина: статья в журнале «Конкрет» принадлежит перу того же Себастьяна Хаффнера.

Слова, посвященные революции, — «Я была, я емь, я буду...» — Хаффнер относит на сей раз к самой Розе. По его представлению, она никогда не была более живой, чем сегодня, через полвека после смерти; в ее возрождении, однако, повинны не «журналистский подвиг» (журналистикой не проложишь дорогу к бессмертию), не труды теоретика, не итоги политической деятельности. Важнейшими в наследии «Красной Розы» Хаффнер считает два иных пункта: критику немецкой социал-демократии и русского большевизма.

Так прокладывается дорога к теме, занявшей центральное место почти во всей западногерманской прессе, которая откликнулась на годовщину январской трагедии.

Себастьян Хаффнер не унижается до обычных пристрастно-односторонних, ограниченно-узких оценок. Его статья демонстрирует эффектную широту взглядов. Поэтому, вольно процитировав «Заметки публициста», где напомнимание об ошибках Розы Люксембург Ленин закончил словами: «Несмотря на эти свои ошибки, она была и остается орлом», — Хаффнер признает и глубину, и моральную высоту ленинского отзыва: «Это благородно сказано и делает честь как тому, кто это сказал, так и той, о ком это сказано».

Но бойся данайцев! Чем почтительнее поклон, тем резче следующий поворот мысли. Роза Люксембург и Ленин, уверяет Хаффнер,— полюсы, антагонисты, и за прошедшие полвека спор между ними не угас, а только разгорается.

Кто же выходит победителем в этом споре?

Радикальных читателей «Конкрет» Себастьян Хаффнер знает не хуже, чем либеральных читателей «Штерн». И он делает снова эффектный ход. Критерий для окончательной оценки современного и броско сконструированного спора он обнаруживает, погрузившись в древность.

Кто оставил более глубокий след в истории — император Тибериус или не добившийся успеха провинциальный «путчист», странствующий проповедник, распятый в какой-то из дней правления императора? Именно погружение в древность — обращение к Христу — оказывается решающим доказательством: Роза Люксембург, чья воля была слишком чиста и душа слишком горда, чтобы стремиться к практическим успехам, остается символом совершенного, а значит, невозможного и как раз поэтому — вечного. Величие Розы Люксембург составляет не то, что она сделала, и не то, что написала, а то, чем она была и что только благодаря трагической смерти принадлежит будущему.

Надо ли разъяснять цель и смысл этой зыбкой постройки, говорить об идейном ландшафте, в который она вписывается?

Ясно одно: обращение западногерманской прессы к именам Либкнехта и Розы Люксембург продиктовано не только круглой календарной датой. В резко обострившемся в Западной Германии интересе к проблемам революции, в несравненно более пристальном, чем раньше, внимании к ее героям и их судьбам — дыхание современности, ее грозные ритмы и социальный накал. Сегодня с революцией борются и кокетничают, революцией устрашают и спекулируют — таков «современный стиль». Но если в наблюдении этом есть хоть крупинка истины, то в годовщину гибели Карла Либкнехта и Розы Люксембург оправдана вселяющая надежду мысль: значит, история все же чему-то учит.

М. КОРАЛЛОВ.

ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ДЕЗИНФОРМАЦИЯ?

Италия

«Стампа» («Печать»),
ежедневная газета, от
2 марта 1969 года. Турин.
Год издания 103-й. Редактор
Альберто Ронкэй.

«Стампа» — крупная и влиятельная газета, претендующая на точность и объективность своей информации. За нею стоят деловые круги Турина. А Турин — это «Фиат» и ряд других крупнейших итальянских фирм. «Стампа» располагает широкой сетью корреспондентов за границей. Есть у нее и постоянный корреспондент в Москве.

★

За последние годы, как известно, значительно укрепились и расширились культурные и деловые связи между нашей страной и Италией. Немалую роль в этом играла и играет взаимная информация. Поэтому когда на страницах «Стампа» появилось сообщение ее московского корреспондента относительно напечатанной в «Новом мире» (№ 12 за 1968 год) большой статьи профессора А. Бирмана «Суть реформы» — это было вполне естественно, тем более что экономическая реформа, которая проводится в СССР, вызывает большой интерес и различные, порой противоречивые, толки за рубежом.

Хотя корреспонденция в «Стампа» во многом излагает статью А. Бирмана верно, но общий тон ее таков, что не может не вызвать возражения. Хотела ли того «Стампа» или нет, но у ее читателей эта корреспонденция составит совершенно неправильное представление о ходе экономической реформы и об отношении к ней в нашей стране.

Начнем с того, как преподносится итальянскому читателю появление статьи А. Бирмана в «Новом мире». «Экономист Александр Бирман, — пишет газета, — после более чем годового «изгнания» возвращается сегодня на авансцену, публикуя статью об экономической реформе в «Новом мире»... Как обстоятельства этой публикации, так и содержание статьи делают ее одним из значительных моментов»... и т. д. Зачем понадобилась эта мнимая сенсационность, какова ее цель? Автор корреспонденции, видимо, хочет создать впечатление, что в Советском Союзе ведутся гонения на экономистов, происходит какая-то дискриминация их, и в частности профессора Бирмана.

Но корреспондент, господин Каретто, либо просто недостаточно осведомлен и поэтому невольно дезинформирует своих читателей, либо — что хуже — делает это умышленно. Допустим все же не худшее. И напомним ему — чтобы облегчить исправление ошибок, — что в 1968 году в издательстве «Молодая гвардия» вышла в свет книга А. Бирмана «Талант экономиста» (в апреле), в издательстве «Финансы» — монография «Очерки теории советских финансов» (в декабре). Статьи этого же автора были опубликованы в «Правде» (12 января), «Литературной газете» (10 апреля), журнале «Проблемы мира и социализма» (№ 6), в «Новом мире» (№ 12).

Если верить «Стампа», содержание статьи А. Бирмана в «Новом мире» резко диссонирует с той оценкой хода реформы, какая сложилась, мол, в Советском Союзе. Из корреспонденции можно заключить, что в нашей стране все или многие разочарованы в реформе, и статья в «Новом мире» — нечто неожиданное, необычное. Но в действительности дело обстоит совершенно не так.

Хозяйственной реформе четвертый год. Она вводится постепенно, по мере готовности к ней предприятий и отраслей, по мере накопления опыта. Большинство промышленных предприятий уже переведено на новые условия планирования, управления и экономического стимулирования. Многие транспортные, торговые предприятия также работают по-новому. Совхозы переходят на полный хозрасчет, что существенно меняет условия их хозяйственной деятельности. Но реформа пока еще не осуществлена в такой исключительно важной сфере деятельности, как капитальное строительство. Идут поиски новых форм планирования и финансирования научно-исследовательских организаций. Только начинается постепенный переход от фондируемого материально-технического снабжения к оптовой торговле средствами производства. Да и в самой промышленности продолжаются преобразования: переходят на хозрасчет главки, расширяется масштаб объединения предприятий в фирмы. Короче говоря, реформа разрастается вширь и вглубь.

Тем не менее, хотя реформа еще далеко не завершена, факты убеждают всех в жизненной важности проводимых мероприятий. Повышается темп роста общественного продукта, увеличивается фондоотдача, значительно растет прибыль. Возможности проявления инициативы со стороны предприятий, привлечения широких масс трудящихся к повседневному участию в управлении все больше и больше увеличиваются. Поэтому отношение к реформе в самых широких кругах общественности безусловно положительное. Но при этом общественный глаз зорко следит за всеми недостатками в ее проведении, и это находит отражение в нашей прессе.

Разумеется, не может быть абсолютного тождества взглядов по конкретным вопросам, относящимся к формам и способам планирования, стимулирования, и тому подобному. Среди экономистов и хозяйственников ведутся споры. Если б «Стампа» так или иначе осветила положение дел, это отвечало бы действительному положению вещей. Но выдавая мнение отдельных экономистов за общественное мнение, газета явно вступает в противоречие с истиной. Впрочем, происходит это с нею и дальше.

Если верить корреспонденту «Стампа», то притеснениям подвергаются не только пишущие экономисты, но и хозяйственники. В корреспонденции приводятся в кавычках (а это, как известно, должно означать цитирование какого-либо оригинала) слова о том, что хозяйственники должны проявлять необходимую инициативу, «освободившись от страха». Читатель, располагающий двенадцатым номером «Нового мира», напрасно будет искать эти слова в тексте: их нет. (Может, тут сказались некие особенности перевода с русского на итальянский?..)

Чтобы усилить впечатление, газета приводит слова, действительно содержащиеся в статье А. Бирмана, а именно, что мужество требуется не только космонавтам и подводникам, но и экономистам. Для чего же требуется мужество экономисту? В статье А. Бирмана дается такой ответ: каждое предприятие и каждая отрасль имеют громадные возможности дополнительного повышения эффективности производства; они приходят в Госплан с заявками на дополнительные капитальные вложения, и журнальная статья разъясняет: мужество нужно работнику Госплана, «чтобы отказать в удовлетворении заявки, пусть даже самой необходимой и неотложной, если нет реальных возможностей для ее удовлетворения...». Совершенно очевидно, что речь идет о мужестве научном, профессиональном, а не административном: как раз в административном отношении работник Госплана занимает более высокое служебное место, нежели представитель предприятия или министерства.

Статья в «Новом мире» перечисляет интересы советских людей, стимулирующие их труд. «Что главное в этих интересах?» — спрашивает профессор Бирман. И отвечает: «Многочисленные социологические обследования дают поразительный по своей однозначности ответ на то, что важнее всего работающему человеку на любом посту — от вахтера до министра? Оказывается, больше всего ценится сам характер работы, по душе ли работа».

Как же излагает это место «Стампа»? Цитируем: «Первый и законный интерес рабочих, — продолжает Бирман, — заключается в том, чтобы хорошо зарабатывать».

Никто у нас не отрицает значения оплаты труда как материального стимула, и «Стампа» может не соглашаться с мнением советского экономиста, — но зачем передегивать?

Так, вместо объективной информации, в равной степени полезной обеим сторонам во имя дальнейшего развития экономических и культурных связей Италии и Советского Союза, солидная газета встала на путь дезинформации.

К. ГОРОХОВ.



ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

ПИСЬМА МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ

Архив Марины Цветаевой: сафьяновые альбомы юности; самодельные тетради революционных лет; тетради дареные — в нарядных переплетах; грошовые тетради эмигранции — в истрепанных обложках; тетради чернорабочих будней и праздничных беловиков. Тетради, тетради, тетради. И в большинстве из них, на равных правах со стихотворными и прозаическими произведениями, — письма: черновые их отрывки, наброски, полубеловые варианты, переписанные — на долгую память — чистовики.

Вопреки создавшейся легенде, отождествляющей творческое одиночество Цветаевой, обусловленное неприятием современниками-эмигрантами ее внеканонического искусства, с человеческим ее одиночеством, как бы являвшимся неким врожденным состоянием, — Марина Цветаева была человеком открытым, общительным, отзывчивым на любой окликающий ее голос — не тянувшимся, а — рвавшимся к людям; отсюда — обилие явных и сокровенных посвящений лирических ее стихов, вдохновленных встречами и разлуками; отсюда — богатство и разнообразие ее эпистолярного наследия.

В переписку с близкими и далекими друзьями — истинными или мнимыми — Цветаева вкладывала не только ту же страстную, жизнеутверждающую, действительную силу, что и в личные отношения с людьми (ибо «друг есть действие», как говорила сича), но и высокую творческую взыскательность к начертанному слову, к сформулированной мысли; во многих, даже самых обыденных и про обыденное, письмах ее ощущается та же работа ума, чувства и воображения, что и в самых совершенных и завершенных ее произведениях.

Не все письма создавались Цветаевой «прямо набело»; некоторые из них, обращенные к братьям по перу, великим и малым, равны как и к людям, в той или иной мере причастным к искусству, рождались в ее рабочих тетрадях, начинались с черновиков. Благодаря этому уцелели до наших дней в цветаевском архиве первоначальные варианты большинства ее писем к Б. Л. Пастернаку, об утрате которых он с горечью вспоминал в своих автобиографических заметках «Люди и положения» («Новый мир», № 1, 1967), письма к одному из любимых ее поэтов — Райнеру Мариа Рильке, и многие, многие другие.

Случалось, что «в скудном труженичестве дней» эпистолярные дружбы заменяли Цветаевой личное общение с дорогими ей современниками; так, она была едва знакома с Пастернаком, с которым переписывалась долгие годы; с Ахматовой познакомилась лишь в 1940 году; с Рильке, как и с еще некоторыми своими собеседниками, не встречалась никогда.

Предлагаемая ниже подборка писем Марины Цветаевой печатается в основном по рукописным тетрадям и по оригиналам, находящимся в ее архиве; письмо I — по оригиналу, хранящемуся в рукописном отделе Государственной библиотеки имени Ленина, письма II, III, XXII — по оригиналам, находящимся в ЦГАЛИ. В тех случаях, когда в письме отсутствует авторская дата, в скобках указывается дата, установленная по тетради. Купюры, касающиеся несущественных деталей, отмечены отточием в скобках.

Публикация, подготовка текста и вступительная заметка А. С. Эфрон.

Комментарии А. А. Саакянц.

I

В. Я. БРЮСОВУ¹

Москва, 15-го марта 1910 г.

Многоуважаемый Валерий Яковлевич,

Сейчас у Вольфа Вы сказали: «...хотя я не поклонник Rostand'a».

Мне тут же захотелось спросить Вас, почему? Но я подумала, что Вы примете мой вопрос за праздное любопытство или за честолюбивое желание «поговорить с Брюсовым». Когда за Вами закрылась дверь, мне стало грустно, я начала жалеть о своем молчании, но в конце концов утешилась мыслью, что могу поставить Вам этот же вопрос письменно.

Почему Вы не любите Rostand? Неужели и Вы видите в нем только «блестящего фразера», неужели и от Вас ускользает его бесконечное благородство, его любовь к подвигу и чистоте?

Это не праздный вопрос.

Для меня Rostand — часть души, очень большая часть.

Он меня утешает, дает мне силу жить одиноко. Я думаю — никто, никто так не знает, не любит, не ценит его, как я.

Ваша мимолетная фраза очень меня опечалила.

Я стала думать: всем моим любимым поэтам должен быть близок Rostand. Heine, Victor Hugo, Lamartine, Лермонтов — все бы они любили его.

С Heine у него общая любовь к Римскому королю², к Mélissand'e, триполийской принцессе³; Lamartine не мог не любить этого «Amant du Rêve»⁴, Лермонтов, написавший Мцыри, сразу увидел бы в авторе «l'Aiglon»⁵ родного брата, Victor Hugo гордился бы таким учеником..

Почему же Брюсов, любящий Heine, Лермонтова, ценящий Victor Hugo, так безразличен к Rostand?

Если Вы, многоуважаемый Валерий Яковлевич, найдете мой вопрос достойным ответа, — напишите мне по этому поводу [...]

Искренне уважающая Вас

М. Цветаева.

¹ В воспоминаниях М. Цветаевой о Брюсове «Герой труда» описана ее встреча с «живым Брюсовым» в книжном магазине Вольфа, после которой Цветаева и написала публикуемое письмо. В те годы Цветаева переживала увлечение романтическим творчеством французского поэта и драматурга Эдмона де Ростана (1868—1918) и перевела его пьесу «Орленок».

² То есть к Наполеону II — герцогу Рейхштадскому, герою пьесы Ростана «Орленок»; Гейне несколько раз упоминает его в очерках «Французские дела».

³ Мелисанда, графиня Триполийская, жившая в XII веке, героиня пьесы Ростана «Принцесса Греза»; была воспета Гейне в стихотворении «Жоффруа Рюдель и Мелисанда Триполи» и в поэме «Иегуда бен Галеви».

⁴ «Возлюбленный мечты» (франц.).

⁵ «Орленок» (франц.).

II

В. В. РОЗАНОВУ¹

Феодосия, 8-го апреля 1914 г.

[...] Пишу Вам о папе². Он нас очень любил, считал нас «талантливыми, способными, развитыми», но ужасался нашей лени, самостоятельности, дерзости, любви к тому, что он называл «эксцентричностью» (я, любя 16-ти лет Наполеона, вставила его портрет в киот, — много было такого!). Асе³ было 8, мне 10 лет, когда мы уехали за границу, — у мамы⁴ открылся туберкулез легких. За границей мы прожили безвыездно

3 года — мама, Ася и я. Первый год все вместе в Nervi, потом папа уехал в Россию, мы с Асей — в Лозанну в пансион, мама осталась на второй год в Nervi. После Лозанны мы — мама, Ася и я — переехали в Шварцвальд. Лето провели с папой. Следующую зиму мы с Асей были в немецком пансионе во Фрейбурге, мама жила недалеко от нас. В феврале у нее возобновился туберкулезный процесс (совершенно окончившийся в Nervi), и она уехала в одну шварцвальдскую санаторию.

Зима 1905—06 г. прошла в Ялте. Это была мамина последняя зима. В марте у нее началось кровохарканье, вообще болезнь, раньше почти не заметная, пошла с жестокой быстротой. «Хочу домой, хочу умереть в Трехпрудном!» (Переулоч, где был наш дом.)

Мама умерла 5 июля 1906 г. в Тарусе Калужской губ., где мы все детство жили по летам. Смерть свою она предвидела ясно. «Теперь начинается агония».

За день до смерти она говорила нам с Асей: «И подумать, что какие угодно дураки вас увидят взрослыми, а я...» И потом: «Мне жаль только музыки и солнца!» Три дня перед смертью она ужасно мучилась, не спала ни минуты.

«Мама, тебе поспать бы»...

«Выплюсь — в гробу!»

Мама была единственной дочерью. Мать ее, из польского княжеского рода, умерла 26-ти лет. Дедушка всю свою жизнь посвятил маме, оставшейся после матери крошечным ребенком. Мамина жизнь шла между дедушкой и швейцаркой-гувернанткой — замкнутая, фантастическая, болезненная, недетская, книжная жизнь. 7-ми лет она знала всемирную историю и мифологию, бредила героями, великолепно играла на рояле.

Знакомых детей почти не было, кроме девочки, взятой в дом, вместо сестры маме. Но эта девочка была безличной, и мама, очень любя ее, все же была одна. Своего отца — Александра Даниловича Мейн — она боготворила всю жизнь. И он обожал маму. После смерти жены — ни одной связи, ни одной встречи, чтобы мама не могла опускать перед ним глаз, когда вырастет и узнает.

Мамина юность, как детство, была одинокой, болезненной, мятежной, глубоко скрытой. Герои: Валленштейн, Поссарт, Людовик Баварский. Поездка в лунную ночь по Одру, где он погиб. С ее руки скользит кольцо — вода принимает его — обручение с умершим королем. Когда Рубинштейн пожал ей руку, она два дня не снимала перчатки. Поэты: Heine, Goethe, Schiller, Shakespeare. — Больше иностранных книг, чем русских. Отвращение — чисто девическое — к Zola и Мопассану, вообще к французским романистам, таким далеким.

Весь дух воспитания — германский. Упоение музыкой, громадный талант (такой игры на рояле и на гитаре я уже не услышу!), способность к языкам, блестящая память, великолепный слог, стихи на русском и немецком языке, занятия живописью.

Гордость, часто принимаемая за сухость, стыдливость, сдержанность, неласковость (внешняя), безумие в музыке, тоска.

12-ти лет она встретила юношу — его звали Сережей Э. (Фамилии я не знаю, инициалы моего Сережи! ⁵) Ему было года 22. Они вместе катались верхом в лунные ночи. 16-ти лет она поняла и он понял, что любят друг друга. Но он был женат. Развод дедушка считал грехом. «Ты и дети, если они будут, — останетесь мне близки. Он для меня не существует». Мама слишком любила дедушку и не согласилась выходить замуж на таких условиях. Сережа Э. уехал куда-то далеко. 6 лет мама жила тоской о нем. Поклон издали в концерте, два письма — всё! — за целых 6 лет. Тетя (швейцарская гувернантка, с которой дедушка и не был в связи!) обожала маму, но ничего не могла сделать.

Дедушка всё замолчал.

22-х лет мама вышла замуж за папу с прямой целью заместить мать его осиротевшим детям — Валерии 8-ми лет и Андрею ⁶ — 1 г. Папе тогда было 44 года.

Папу она бесконечно любила, но 2 первых года ужасно мучилась его неугасшей любовью к В. Д. Иловской ⁷.

«Мы венчались у гроба», — пишет мама в своем дневнике. Много мучилась она и с Валерией, стараясь приручить эту совершенно чужую ей по духу, обожавшую свою покойную мать и резко отталкивавшую «мачеху» 8-летнюю девочку. — Много было горя!

Мама и папа были люди совершенно непохожие. У каждого своя рана в сердце. У мамы — музыка, стихи, тоска, у папы — наука. Жизни шли рядом, не сливаясь. Но они очень любили друг друга. Мама умерла 37-ми лет, неудовлетворенная, непримиренная, не позвав священника, хотя явно ничего не отрицала и даже любила обряды.

Ее измученная душа живет в нас, — только мы открываем то, что она скрывала. Ее мятеж, ее безумие, ее жажда дошли в нас до крика.

С 14-ти до 16-ти лет я бредила революцией, 16-ти лет безумно полюбила Наполеона I и Наполеона II, целый год жила без людей, одна в своей маленькой комнатке, в своем огромном мире.

Но об этом периоде пусть Вам напишет Ася.

Напишу Вам о папе.

Он умер 30-го августа 1913 г. от старческой болезни сердца, появившейся в последние годы. Самый последний год он чувствовал нашу любовь, раньше очень страдал от нас, совсем не зная, что с нами делать. Когда мы вышли замуж, он очень за нас беспокоился. Ни Сережи, ни Бориса⁸ он не знал. Серезу он потом полюбил, поверив в его желание высшего образования, — это для него было главное. Как людей он не знал ни Сережи, ни Бориса, совсем не знал, кто те, кого мы любим.

Алю и Андрюшу⁹ он очень любил, очень им радовался и, как потом мы узнали, всем о них рассказывал. Но он видел их совсем маленькими, до года. Это ужасно жаль! Как странно! Я Вам это расскажу.

Я приехала в Москву числа 15-го августа, сдавать дом (наш дом с Серезей). Папа был в имении около Клина, где все лето прожил в прекрасных условиях.

22-го мы с ним увидались в Трехпрудном, 23-го поехали вместе к Мюру¹⁰, — он хотел мне что-нибудь подарить. Я выбрала маленький плюшевый плед — с одной стороны коричневый, с другой золотой. Папа был необычайно мил и ласков.

Когда мы проходили по Театральной площади, сверкавшей цветами, он вдруг остановился и, показав рукой на группы мальв, редко грустно сказал: «А помнишь, у нас на даче были мальвы?»

У меня сжалось сердце. Я хотела проводить его на вокзал, но он не согласился: «Зачем? Зачем? Я еще должен в Музей».

«Господи, а вдруг это в последний раз?» — подумала я и, чтобы не поверить себе, назначила день — 29-е, — когда мы с Асей приедем к нему на дачу.

Господи, у меня сердце сжимается! — 27-го ночью его привезли с дачи почти умирающего. Доктор говорил, что 75 процентов людей умерло бы во время переезда. Я не узнала его, войдя: белое-белое осунувшееся лицо. Он встретил меня очень ласково, вообще все время был ласков и кроток, расспрашивал меня о доме, задышающим голосом продиктовал письмо к одному его любимому молодому сослуживцу. Вообще он все время говорил, хотя не должен был говорить ни слова. Говорил о Серезе, о его занятиях, о его здоровье, об Але, об Андрюше — «хочу заработать им по десять тысяч», — о болезни своей говорил, что «доктора раздули», и строил планы о будущих лекциях. Что-то сказал о Музее, Ася переспросила. «Да, Румянцевский музей, откуда меня прогнали!»¹¹.

Он прожил двое с половиной суток. Все время говорил о самых обыкновенных вещах, умолял нас идти спать, не утомлять себя, расспрашивал о погоде. Я что-то рассказывала о феодальном замке.

«Теперь прошел век феодальных замков — настал век людей труда!»

За день — меньше! — до смерти он спросил меня: «А как твоя... этот... плед?»

Господи!

Последний день он был почти без памяти. Умер он в 1¼ часа дня. Мы с Андреем были в его комнате. Он ужасно задыхался, дыхание пропадало ровно на одну треть минуты каждую минуту. Дышал отрывисто и страшно громко: «Ах! Ах!»

С первого момента до последнего ни разу не заговорил о возможности смерти. Умер без священника. Поэтому мы думаем, что он действительно не ви-

дел, что умирает,— он был религиозен.— Нет, это тайна. Теперь уже никогда не узнаем, чувствовал он смерть или нет.

Его кончина для меня совершенно поразительна: тихий героизм,— такой скромный [...]

У папы в гробу было прекрасное светлое лицо [...]

¹ Розанов Василий Васильевич (1856—1919) — писатель, философ, публицист и критик. Письмо Цветаевой — одно из трех сохранившихся писем к Розанову в Петербург, написанных весной 1914 года.

² Иван Владимирович Цветаев (1846—1913), известный филолог и искусствовед, профессор Московского университета, директор Румянцевского музея, основатель Московского музея изящных искусств (ныне — Музей изобразительных искусств имени Пушкина).

³ Сестра М. Цветаевой, Анастасия (р. 1894).

⁴ Мария Александровна Мейн (1868—1906).

⁵ Сергей Яковлевич Эфрон, муж М. Цветаевой (1893—1941).

⁶ В. И. Цветаева (1883—1966), сводная сестра М. Цветаевой; А. И. Цветаев (1890—1933), сводный брат М. Цветаевой.

⁷ Первая жена И. В. Цветаева.

⁸ Борис Сергеевич Трухачев (1893—1920), муж А. И. Цветаевой.

⁹ Аля — Ариадна Сергеевна Эфрон (р. 1912), дочь М. И. Цветаевой. Андрей — Андрей Борисович Трухачев (р. 1912), сын А. И. Цветаевой.

¹⁰ Магазин в Москве (по фамилии одного из владельцев).

¹¹ И. В. Цветаев был уволен из Румянцевского музея в 1909 году по интригам министра просвещения А. Н. Шварца.

III

А. А. АХМАТОВОЙ

Москва, 26-го русск. апреля 1921 г.

Дорогая Анна Андреевна!

Так много нужно сказать — и так мало времени! Спасибо за очередное счастье в моей жизни — «Подорожник». Не расstaюсь, и Аля не расstaется. Посылаю Вам обе книжечки², надпишите.

Не думайте, что я нищу автографов,— сколько надписанных книг я раздарила! — ничего не ценю и ничего не храню, а Ваши книжечки в гроб возьму — под подушку!

Еще просьба: если Алконост³ возьмет моего «Красного коня» (посвящается Вам) — и мне нельзя будет самой держать корректуру,— сделайте это за меня, верю в Вашу точность.

Вещь совсем маленькая, это у Вас не отнимет времени.

Готовлю еще книжечку: «Современникам» — стихи Вам, Блоку и Волконскому⁴. Всего двадцать четыре стихотворения. Среди написанных Вам есть для Вас новые.

Ах, как я Вас люблю, и как я Вам радуюсь, и как мне больно за Вас, и высоко от Вас! — Если были бы журналы, какую бы я статью о Вас написала! — Журналы — статью — смеюсь! — Небесный пожар!

Вы мой самый любимый поэт, я когда-то—давным-давно—лет шесть тому назад—видела Вас во сне,— Вашу будущую книгу: темно-зеленую, сафьянную, с серебром — «Словеса золотые»,— какое-то древнее колдовство, вроде молитвы (вернее — обратное!) — и — проснувшись — я знала, что Вы ее напишете.

Мне так жалко, что все это только слова — любовь — я так не могу, я бы хотела настоящего костра, на котором бы меня сожгли.

Я понимаю каждое Ваше слово: весь полет, всю тяжесть. «И шпор твоих легонький звон»⁵, — это нежнее всего, что сказано о любви.

И это внезапное — дико встающее — з р и т е л ь н о дикое «ярославец»⁶ — Какая Русь!

Напишу Вам о книге еще.

Как я рада им всем трем — таким беззащитным и маленьким! Четки — Белая Стая — Подорожник. Какая легкая ноша — с собой! Почти что горстка пепла.

Пусть Блок (если он повезет рукопись) покажет Вам моего Красного Коня. (Красный, как на иконах.) — И непременно напишите мне, — больше, чем тогда! Я ненасытна на Вашу душу и буквы.

Целую Вас нежно, моя страстнейшая мечта — поехать в Петербург. Пишите о своих ближайших судьбах, — где будете летом, и всё.

Ваши оба письма ко мне и к Але — всегда со мной

МЦ.

¹ Об А. Ахматовой М. Цветаева упоминает впервые в 1914 году; в 1915 и 1916 годы посвящает ей ряд стихотворений. В двадцатые годы между Цветаевой и Ахматовой завязывается переписка; личная же их встреча состоится лишь в 1940 году в Москве.

² Сборники А. Ахматовой «Белая стая» и «Четки».

³ Организованное в 1918 году в Петрограде издательство, в котором много печатался А. Блок и в котором Цветаева предполагала издать свою поэму «На красном коне» (1920).

⁴ Волконский Сергей Михайлович (1860—1937) — внук декабриста, театральный деятель, друг Цветаевой, которому она посвятила цикл стихотворений «Ученик» (1921).

⁵ Из стихотворения А. Ахматовой «По твердому гребню сугроба...».

⁶ Из стихотворения А. Ахматовой «Ты — отступник: за остров зеленый...»; Цветаева имеет в виду следующие строки:

Для чего ты, лихой ярославец,
Коль еще не лишился ума,
Загляделся на рыжих красавиц
И на пышные эти дома?

IV

А. А. АХМАТОВОЙ

31 рус. августа 1921 г.

Дорогая Анна Андреевна! Все эти дни о Вас ходили мрачные слухи¹, с каждым часом упорнее и неопровержимее. Пишу Вам об этом, потому что знаю, что до Вас все равно дойдет — хочу, чтобы по крайней мере дошло верно. Скажу Вам, что единственным — с моего ведома — Вашим другом (друг — действие!) — среди поэтов оказался Маяковский, с видом убитого быка бродивший по картонажу «Кафе Поэтов».

У б и т ы й горем — у него, правда, был такой вид. Он же и дал через знакомых телеграмму с запросом о Вас, и е м у я обязана радостью известия о Вас... Об остальных (поэтах) не буду рассказывать — не потому, что это бы Вас огорчило: кто они, чтобы это могло Вас огорчить? — просто не хочется тупить пера.

Эти дни я — в надежде узнать о Вас — провела в кафе поэтов — что за уроды! что за убожества! что за ублюдки! Тут всё: и гомункулусы, и автоматы, и ржущие кони, и ялтинские проводники с накрашенными губами.

Вчера было состязание: лавр — титул с о р е в н о в а т е л я в действительные члены Союза. Общих два руслу: Надсон и Маяковский. Отказались бы и Надсон и Маяковский. Тут были и розы, и слезы, и пианисты, играющие в четыре ноги по клавишам мостовой... и монотонный тон кукушки (так начинается один стих!), и поэма о японской девушке, которую я любил (тема Бальмонта, исполнение Северянина) —

Это было у моря,
Где цветут анемоны...

И весь зал хором:

Где встречается редко
Городской экипаж...

Но самое нестерпимое и безнадежное было то, что больше всего ржавшие и гикавшие — сами такие же, — со вчерашнего состязания.

Вся разница, что они уже поняли немодность Северянина, заменили его (худшим!) Шершеневичем.

На эстраде — Бобров, Аксенов, Арго, Грузинов². — Поэты.

И — просто шантаннные номера...

Я, на блокноте, Аксенову: «Господин Аксенов, ради Бога, — достоверность об Ахматовой». (Был слух, что он видел Маяковского.) «Боюсь, что не досижу до конца состязания».

И ушаченный кивок Аксенова. Значит — жива.

Дорогая Анна Андреевна, чтобы понять этот мой вчерашний вечер, этот аксеновский — мне — кивок, нужно было бы знать три моих предыдущих дня — неск аз а н ы х. Страшный сон: хочу проснуться — и не могу. Я ко всем подходила в упор, вымаливала Вашу жизнь. Еще бы немножко — я бы с л о в а м и сказала: «Господа, сделайте так, чтобы Ахматова была жива!» [...] Утешила меня Аля: «Марина! У нее же — сын!»

Вчера после окончания вечера просила у Боброва командировку: к Ахматовой. Вокруг смеются. «Господа! Я вам десять вечеров подряд буду читать бесплатно — и у меня всегда полный зал!»

Эти три дня (без Вас) для меня Петербурга уже не существовало, — да что Петербурга... Вчерашний вечер — чудо: «Стала облаком в славе лучей»³.

На днях буду читать о Вас⁴ — в первый раз в жизни: питаю отвращение к докладдам, но не могу уступить этой чести другому! Впрочем, всё, что я имею сказать, — осанна!

Кончаю — как Аля кончает письма к отцу:

Целую и низко кланяюсь.

МЦ.

¹ Одно время в 1921 году в Москве прошел ложный слух о смерти Ахматовой.

² Ш е р ш е н е в и ч Вадим Габриэлевич (1893—1942) — поэт, теоретик имажинизма; Б о б р о в Сергей Павлович (р. в 1889 г.) — поэт и переводчик, автор работ по стиховедению; А к с е н о в (правильно: Оксенов) Иннокентий Александрович (1897—?), поэт и критик; А р г о (Гольденберг Абрам Маркович, 1897—1968) — поэт-сатирик и переводчик; Г р у з и н о в Иван Васильевич (1893—1942) — поэт-имажинист.

³ Из стихотворения А. Ахматовой «Молитва».

⁴ Доклад Цветаевой о творчестве А. Ахматовой не состоялся.

V

ПИСЬМО КРИТИКУ¹

20 апреля 1923 г.

Я не знаю, принято ли отвечать на критику иначе, как колкостями и в печати. Но поэты не только подчиняются обрядам, они и творят их.

Позвольте же мне нынче, в этом письме, утвердить обряд благодарности поэта — критику.

(Случай достаточно редкий, чтобы мы не слишком рассчитывали на последователей!)

Итак: я благодарна Вам за Ваш отзыв... Это — отзыв во всем первичном смысле слова. Вы не (только) буквами на буквы, Вы существом на сущность отозвались. Благодарят ли за это? Но и благодарность — о т з ы в. Кроме того, Вы ведь писали не для меня, так и я (это письмо) пишу «не для Вас», хотя и к Вам.

Я не люблю критики, не люблю критяков. Они в лучшем случае производят на меня впечатление неудавшихся, и посему озлобленных, поэтов. Но хвала их мне еще неприемлемее их хулы: почти всегда м и м о, не за то. Так, например, сейчас в газетах хвалят не меня, а Любовь Столицу² — т. е. всё, сказанное обо мне, отношу на ее счет: э т о н е я!

Ваша критика умна, ибо у Вас редчайший подход между фотографией (всегда лживой!) и — отвлеченностью. Вы берете то среднее, что и составляет сущность поэзии: некую преображенную правду дней. Вы вежливы, вне фамильярности — неустанно «на Вы». Вы точны: не «поэтесса», а — поэт.

У Вас хороший нюх: так, задумавшись на секунду: кунштюк³ или настоящее? (ибо сбиться легко и подделок больше, чем сущностей!) — нет, н а с т о я щ е е! — утверждаю: Вы правы. Так, живя стихами с да с тех пор, как родилась! — только этим летом узнала от своего издателя Геликона⁴, что такое хорей, что такое ямб, дактиль. (Ямб знала по названию блоковской книги, но стих определяла, как «пушкинский размер» и «брюсовский размер».)

Я живу — и, следовательно, пишу — по слуху, т. е. на веру, и это меня никогда не обманывало... Вам будет любопытно узнать, что Белый свою «Глоссалолию»⁵ написал после моей «Разлуки»⁶, равно как и свою «После разлуки»⁷. Я была тем живым примером, благодаря которому возникла теория: т. е. подтверждение на сей раз предшествовало теории.

Говорю Вам это вне тщеславия [...]

Что еще? Ах, пожалуй, главное! Спасибо Вам сердечное за то, что не слелали из меня бабу «style gusse»⁸, не обманулись в и д и м о с т ь ю — (NB! баба — бабы не напишет!) — что, единственный из всех, за последнее время обо мне писавших, удостоили наконец внимания с у щ н о с т ь, т о б, что н а д и в н е.

Спасибо Вам за заботливость: «Куда дальше? В Музыку, т. е. в конец?»⁹ Верю, что Вы искренне в тот час задумались, потому отвечаю: нет! Из Лирики (почти музыки) — в Эпос. Флейта, дав максимум, должна замолчать.

Это не Ваш «планирующий спуск»¹⁰, это — разряжение гóлоса — в голосах, единого — в множествах. Чем на тысячу голосов выражать одну свою душу, я буду одним голосом выражать тысячу чужих, из которых каждая — тоже одна! То, чего не может один, могут — в одном — многие. Единство множества. Оркестр — тоже единство.

Вам ясно?

А что за «Ремесло»?¹¹ Песенное, конечно. Противовес и вызов и слову и делу (не делу) «искусство». Кроме того — м о е ремесло, в самом простом смысле: то, чем живу — смысл, забота и радость моих дней. Д е л о дней и рук.

Есть у Каролины Павловой изумительная формула:

О ты, чего и святотатство
Коснуться в храме не могло —
Моя напасть, мое богатство,
Мое святое ремесло¹².

Эпиграф этот умолчала, согласно своему правилу — нет, инстинкту! — ничего не облегчать читателю, как не терплю, чтобы облегчали мне. Чтоб с а м.

Читатель ведь, пока ты с ним не столкнулся,— друг, и пока о тебе не написал — ты его чтись.

Посылаю Вам свою Царь-Девуцу¹³ — не для отзыва, а потому что Вы, очевидно, ее не читали. Вот он, источник всех навязываемых мне кокошников! [...]

¹ Так озаглавлено в тетради 1923 года. Обращено к эмигрантскому критику и журналисту Александру Бахраху. Первое из публикуемых писем представляет отклик на статью А. Бахраха «Поэзия ритмов» о книге М. Цветаевой «Ремесло», напечатанную в одной из берлинских газет.

² Столица Любовь Никитична (1884—1934) — поэтесса, после Октября — эмигрантка.

³ Фокус, ловкая штука (от нем. Kunststück).

⁴ Вишняк А. Г., владелец берлинского издательства «Геликон».

⁵ «Поэма о звуке» Андрея Белого (Берлин, 1922).

⁶ Книга стихов М. Цветаевой (Берлин, 1922).

⁷ Книга стихов Андрея Белого (Пг.— Берлин, 1922).

⁸ В русском стиле (франц.).

⁹ А. Бахрах писал: «Дальнейшее шествование этим путем — шествование к пропасти в бездну; в сторону от поэзии к чистой музыке. Для поэзии... конец».

¹⁰ Цветаева имеет в виду слова: «Отсюда, т. е. от «Ремесла», должен начаться тихий планирующий спуск... П е р е в а л п р о й д е н».

¹¹ «Какое это, кстати, «Ремесло?» — спрашивал недоуменно критик.

¹² Из стихотворения Каролины Павловой (1807—1893) «Ты, уцелевший в сердце нищим...».

¹³ Поэма-сказка М. Цветаевой, вышла в 1922 году двумя изданиями, в Москве и в Берлине.

VI

ИЗ ПИСЬМА КРИТИКУ

[1923 год.]

...Недавно напала случайно на Ваш отзыв в «Днях» о N. Хотите мой взгляд? Трагедия N — в невытравимости (собственного) благополучия.

Там у него жены и любви тонут, пропадают, а он считает (учитывает) — и размещает: Марину — в такой-то разряд, Елену — в такой-то (точно: по такому-то разряду!) — без всякого страха, в полном уюте — как коллекцию жуков на память. (Умерли-то оне, я-то—живу!) И даже жути нет: не до жути доведенное благополучие, не герой Гофмана,— читатель Гофмана, в шерстяных носках, с очками на носу и кисточкой колпака над носом, читающий ужасы собственной жизни, понятные только Гофманам.

Никогда не забуду. Кажется, 1920 год. Москва. Лето. Скамейка Тверского бульвара. Я на скамейке. Возле, в песке, т. е. в пыли,— Аля. Кто-то, с тростью или с зонтиком, вразвалку, мягкая шляпа — N! Присаживается. Только что приехал из деревни — по театральным делам (ТЕО — звалось) и скоро опять едет. Живет? Великолепно. Мало ест — отлично, а то вместо лица — что-то свиное. И т. д.

— А что вы там делаете, в своей деревне?

— Я — пишу, а оне — пашут.

Оне — мать и жена, друг друга ненавидящие и соревнующиеся в любви к нему.—

Вот.

Со страстным увлечением и всеми подробностями рассказывает мне свой роман (тот, который пи-ишет, пока те па-ашшут.)

«Природу и обстановку я нарочно даю пошлыми: скамейки, клумбы с астрами, пруд... — «Природу — пошлой? (И — ne peut pas qui veut!) — как же Вам это удастся? Природу — пошлой? И это где-нибудь у Вас оговорено? А то еще подумают...» — «Ничего не подумают. Даже не заметят». — «Я тоже думаю».

Ваша отповедь ему [...] мне близка только, как отповедь вообще... [пропуск в рукописи] «Проза жизни»... что думает Ходасевич, и что думаете Вы, и что думает N, когда вы всё это пишете? Девушка выходит замуж за старика — «проза»?! Противоестественность, чудовищность, тайна такая, что куда там — Тристанам и Изольдам! Куры под столом и самовар на столе, чеховские герои — «проза»! Какая проза, когда от этого — слезы от умиления (NB! не у меня!) — или волосы дыбом становятся от ужаса: живы е! РАЗ живут! — есть Этна и Эмпедокл², а они... «хотя: в Москву!»³ NB!⁴ Только слухом (зато с самого раннего детства) слыхала, никогда, по сей 1932 г., августа 31-е, не читала ни «Дяди Вани», ни «Трех сестер», ни «Чайки», которую по детским запечатлениям всегда читала — мне даже тогда казалось, что в театре всегда играют про птиц — и не читала, просто: не пришлось, в полном собрании сочинений, которое в доме было, нужно думать, — всегда пропускала — от заведомости чуждости, в которой, верно, не ошиблась: ведь вся моя жизнь, внешне (1922—1932), — жизнь трех сестер, только не трех, а одной, без двух других, без эхо, без всего, что у тех, счастливых, было, и главное — с достоверной невозможностью Москвы, — и не только Москвы достоверной, но всех и всяческих «Москв!» — Жизнь трехсестринской кухарки, т. е. еще бедней и серей: без кума-пожарного, а главное — без достоверной трехрублевки — пусть даже рублевки — на рынок. Вот!

Да ведь это же — куры и самовар, пар самовара и пар московского поезда — ТРАГЕДИЯ! Не самовар и куры, а они сами, люди, которые в этом видели трагедию. Вспомните трех сестер Бронте⁶ и сделайте вывод! Проза — это то, что примелькалось. Мне — ничто не примелькалось! — Этна — потому, что сродни, куры — потому, что ненавижу, даже кастрюльки не примелькались, потому что их: либо ненавижу, либо не вижу.

Я никогда не поверю в «прозу», ее нет, я ее ни разу в жизни не встречала, ни кончика хвоста ее. Когда подо всем, за всем, и над всем, и над всеми — боги, беды, духи, судьбы, крылья, хвосты, — какая тут может быть «проза»? Когда всё — на вертящемся шаре?! Внутри которого — огонь!

N — бюргер с порываниями в Трагедию. Байрон в Трагедию не рвется, он в ней живет. Ине ее — не живет. Она за ним по пятам гонится и загоняет его в Грецию...

¹ Не каждому дано (франц.).

² Эмпедокл — древнегреческий натурфилософ, врач, государственный деятель и проповедник; по преданию, покончил с собой, бросившись в кратер вулкана Этна.

³ Речь идет о пьесе Чехова «Три сестры».

⁴ Эта часть письма (набранная курсивом) написана в 1932 году при переписке чернового текста в беловую тетрадь.

⁵ Пьеса Генрика Ибсена (1828—1906).

⁶ Английские писательницы Шарлотта (1816—1855), Эмили (1818—1848) и Анна (1820—1849) Бронте, творчески преобразовывавшие в своих произведениях провинциальную действительность Англии прошлого века.

VII

Б. Л. ПАСТЕРНАКУ¹

Мокропсы [Чехия], 11 нов. февраля 1923 г.

Дорогой Пастернак,

Это письмо будет о Ваших писаниях и — если хватит места и охота не пропадет! — немножко о своих. Ваша книга² — ожог. Та³ — ливень, а эта — ожог: мне больно было, и я не дула. (Другие — кольдкремом мажут, картофельной мукой присыпают! — под-ле-цы!) Ну, вот, обожглась, обожглась и загорелась, — и сна нет, и дня

нет. Только Вы, Вы один. Я сама — собиратель, сама не от себя, сама всю жизнь от себя (рвусь!) и успокаиваюсь только, когда уж ни одной зги моей — во мне. Милый Пастернак, — разрешите перескок: Вы — явление природы. Сейчас объясню, почему. Проверяю на себе: никогда ничего не беру из вторых рук, а люди — это вторые руки, поэты — третьи. Стало быть, Вы так и не вжились — ни во что! И — конечно — Ваши стихи не человеческие: ни приметы. Бог задумал Вас дубом, а сделал человеком, и в Вас ударяют все молнии (есть — такие дубы!), а Вы должны жить. (На дубе не настаиваю: сама сейчас в роли дуба и сама должна жить, но — мимо!)

Пастернак, чтобы не было ни ошибки, ни лжи: люди — вторые руки, но: народы, некоторые, в очень раннем детстве, дети и поэты — без стихов, это первые руки! Вы — поэт без стихов, т. е. так любят, так горят и так жгут — только не пишущие, пишущие раз, — восмистишие за жизнь, не ремесленники (пусть гении) пера.

Почему каждые Ваши стихи звучат, как последние? «После этого он больше ничего не писал».

Начинаю догадываться о какой-то Вашей тайне. Тайнах. Первая: Ваша страсть к словам — только доказательство, насколько они для Вас средство. Страсть эта — отчаяние сказа. Звук Вы любите больше слова, и шум (пустой) больше звука, — потому что в нем все. А Вы обречены на слова, и, как каторжник изнемогая... Вы хотите невозможного, из области слов выходящего. То, что Вы поэт — промах. (Божий — и божественный.)

Вторая: Вы не созерцатель, а — вершитель, — только дел таких нет здесь. Не мыслю Вас: ни воином, ни царем. И оттого, что дел нет, — вся бешеная действительность в стихах: ничто на месте не стоит.

А знаете, Пастернак, Вам нужно писать большую вещь. Это будет Ваша вторая жизнь, первая жизнь, единственная жизнь. Вам никого и ничего не станет нужно. Вы ни одного человека не заметите. Вы будете страшно свободны. Ведь Ваше «тяжело» — только оттого, что Вы пытаетесь: вместить в людей, втиснуть в стихи. Разве Вы не понимаете, что это безнадежно, что Вы не протратитесь. (Ваша тайная страсть: протратиться до нитки!) — Слушайте, Пастернак, здраво и трезво: в этом веке Вам дана только одна жизнь, столько-то лет — хоть восемьдесят, но мало. (Не для накопления, а для протраты.) Вы не израсходуетесь, но Вы задохнетесь. Пена вдохновения превратится в пену бешенства. Вам надо отвод: ежедневный, чуть ли не ежечасный. И очень простой: тетрадь.

Лирические стихи (то, что называют) — отдельные мгновения одного движения: движение в прерывности. Помните в детстве вертящиеся калейдоскопы? Или у Вас такого не было? Тот же жест, но чуть продвинутый: скажем — рука. Вправо, чуть правей, еще чуть и т. д. Когда вертишь — двигается. Лирика — это линия пунктиром, издадека — целая, черная, а взгляды: сплошь прерывности между [нрзбр] точками — безвоздушное пространство — смерть. И Вы от стиха до стиха умираете. (Оттого «последность» — каждого стиха!)

В книге (роман ли, поэма, даже статья!) этого нет, там свои законы. Книга пишущего не бросает, люди — судьбы — души, о которых пишешь, хотят жить, хотят дальше жить, с каждым днем пуще, кончать не хотят! (Расставание с героем — всегда разрыв!) А ведь у Вас есть книга прозы, и я ее не знаю. Чье-то детство? Не приснилось же? Но глазами ее не видела. Не Вы ли сами обмолвились в Москве? Вроде Лилит. Кажется, и Геликон⁵ говорил.

Не забудьте написать.

Теперь о книге вплотную. Сначала налюбимейшие цельные стихи.

До страсти: Маргарита. «Облако. Звезды. И сбоку...», «Я их мог позабыть» (сплошь), — и последнее.

Жар (ожог) — от них.

Вы вторую часть книги называете «второразрядной». — Дружочек, в людях я загораюсь и от шестого сорта, здесь я не судья, но — стихи! «Я их мог позабыть» — ведь это вторая часть!

Я знаю, что можно не любить, ненавидеть книгу — неповинно, как человека. За то, что написано тогда-то, среди тех-то, там-то. За то, что это написано, а не то.— В полной чистоте сердца, не осмеливаясь оспаривать, не могу принять. В этой книге несколько вечных стихов, она на глазах выписывается, как змея выпроставается из всех семи кож. Может быть, за это Вы ее и не любите. Какую книгу свою Вы считаете первой и — сколько — считаете — написали? [...]

¹ Дружба М. Цветаевой с В. Пастернаком началась с переписки, хотя они познакомились еще до отъезда Цветаевой за границу. В 1922 году Пастернак, прочитав «Версты» — сборник стихов Цветаевой, написал ей, только что уехавшей из России; она ответила. Около семнадцати лет поэты обменивались не только письмами, являющими собою как бы летопись «трудов и дней» каждого из них, но и рукописями и книгами — и жизнь их текла в непрестанном творческом единении.

² Цветаева пишет о книге В. Пастернака «Темы и вариации».

³ Книга В. Пастернака «Сестра моя — жизнь», о которой М. Цветаева написала в 1922 году статью под названием «Световой ливень».

⁴ Повесть В. Пастернака «Детство Люверс».

⁵ Так М. Цветаева называла А. Вишняка, владельца издательства «Геликон».

VIII

Б. Л. ПАСТЕРНАКУ

[Середина июля 1927 года.]

О, Борис, Борис, как я вечно о тебе думаю, физически оборачиваюсь в твою сторону — за помощью! Ты не знаешь моего одиночества... Закончила большую поэму. Читаю одним, читаю другим — полное — ни слога! — молчание, по-моему неприличное, и вовсе не от избытка чувств! — от полного недохождения, от ничего-не-понятности [...]. А мне — ясно, и я ничего не могу сделать. Недавно писала кому-то: «Думаю о Борисе Пастернаке — он счастливее меня, потому что у него есть двое-трое друзей — поэтов, знающих цену его труду, у меня же ни одного человека, который бы — на час — стихи предпочел бы всему». Это — так. У меня нет друзей. Есть дамы — знакомые, приятельницы, покровительницы, иногда любящие (чаще меня, чем стихи, а если и берущие в придачу стихи, то, в тайне сердца, конечно, стихи 1916 года). Для чего же вся работа? Это исписыванье столбцов, и столбцов, и столбцов — в поиске одного слова, часто не рифмы даже, слова посреди строки, почему — не знаю, но свято долженствующее звучать как — — —, а означать — — —! Ты это знаешь. Поэтому меня и прибывает к тебе, как доску к берегу...

В жизни я как-то притерпелась к боли... Даже физически: беру раскаленное — и не чувствую, все говорят: липы цветут — не слышу, точно кто-то — берега и решив — довольно! — залил меня, бескожную, в нечто непроницаемое. Помнишь Зигфрида и Ахиллеса? Помнишь липовый лист одного и пята — другого?¹ — Ты.

Ты наверное переоцениваешь мою книгу стихов². Только и цены в ней, что тоска. Даю ее, как последнюю лирическую, знаю, что последнюю. Без грусти. То, что можешь, — не должно делать. Вот и все. Там я всё могу. Лирика (смеюсь, — точно поэмы не лирика! Но условимся, что лирика — отдельные стихи) — служила мне верой и правдой, спасая меня, вывозя меня — и заводя каждый час по-своему, по-моему. Я устала разрываться, разбиваться на куски Озириса³. Каждая книга стихов — книга расставаний и разрываний, с перстом Фомы в рану между одним стихом и другим. Кто же из нас не проставил конечную черту без западания сердца: а дальше? [Между] поэмой и поэмой промежутки реже, от раза до разу рана зарастает. Большие вещи — вспомни Шмидта⁴ — stable fixe⁵, лирика — разовое, дневное, вроде грабежа со взломом счастливого часа. (Если попадет в твою лирическую волну — посмейся!)

Борис, ты когда-нибудь читал Тристана и Изольду в подлиннике? Самая безнравственная и правдивая вещь без виноватых, со сплошь невинными, с обманутым ко-

ролем Марком, любящим Тристана и любимым Тристаном, с лжеклятвой Изольды, с постоянным нарушением самых святых обетов, с — наконец! — женитьбой Тристана на другой Изольде (как будто есть другая!) — «aux blanches mains»⁶ — из малодушия, из безнадежности, из, если хочешь, душевного расчёта. И как из этого ничего не вышло, и как из всей любви ничего не вышло, потому что умерли врозь...

История ничем не отличная от истории Кая и Герды⁷ [нрзбр].

Сдаю в один журнал «С моря» (прошлотнее — тебе) и «Новогоднее» (письмо к Рильке), переписываю для другого «Поэму воздуха», не знаю, возьмут ли, сейчас должна приняться за Федру, брошенную тогда (31 декабря 1926 г.)⁸, на 2-й картине. Долг чести.

Лето проходит, не осуществившись. По три, часто не разрешившихся, грозы в день, по два хороших ливня, но... в летних платьях холодно, наспех вытаскиваю зимние шкуры. Вчера, 14 июля, глядела с нашего медонского железнодорожного моста на ракеты — и дрогла. И этого уже не люблю, не так люблю — больше по долгу службы.

Борис, ты не знаешь «С моря», «Новогоднего», «Поэмы воздуха» — сушайшего, что я когда-либо написала и напишу. Знаю, что надо собраться с духом и переписать, но переписка — тебе — безвозвратнее подписания к печати, то же, что в детстве — неожиданное выбрасыванье какого-нибудь предмета из окна курьерского поезда. Пустота детской руки, только что выбросившей в окно курьерского поезда — что? Ну, материнскую сумку, что-нибудь роковое...

Борис, я соскучилась по русской природе, по лопухам, по неплющевому лесу, по себе — там. Если бы можно было родиться заново [...]

¹ Липовый листок, упавший на спину Зигфрида в то время, как он омылся в крови дракона, даровавшей непроницаемость от вражеских ударов, сделал уязвимым сердце этого героя германского эпоса. Пята — уязвимое место Ахиллеса, героя греческого эпоса.

² Рукопись сборника «После России».

³ По египетской мифологии, бог солнца Озирис был убит братом и разбит на куски.

⁴ Поэма В. Пастернака «Лейтенант Шмидт».

⁵ Прочная устойчивость (франц.).

⁶ Белорукая (франц.).

⁷ Герои сказки Андерсена «Снежная королева».

⁸ 31 декабря 1926 года Цветаева узнала о смерти поэта Р. М. Рильке.

IX

Б. Л. ПАСТЕРНАКУ

[Конец октября 1935 года.]

Дорогой Борис! Отвечаю сразу — бросив всё (полувслух, как когда читаешь письмо. Иначе начну думать, а это заводит далёко).

О тебе: право, тебя нельзя судить, как человека [...]. Убей меня, я никогда не пойму, как можно проехать мимо матери¹ на поезде, мимо 12-летнего ожидания. И мать не поймет — не жди. Здесь предел моего понимания, человеческого понимания. Я, в этом, обратное тебе: я на себе поезд повезу, чтобы повидаться (хотя может быть, так же этого боюсь и так же мало радуюсь) И здесь уместно будет одно мое наблюдение: все близкие мне — их было мало — оказывались бесконечно-мягче меня, даже Рильке мне написал: Du hast recht, doch Du bist hart² — и это меня огорчало потому, что иной я быть не могла. Теперь, подводя итоги, вижу: моя мнимая жестокость была только — форма, контур сути, необходимая граница самозащиты — от

в а ш е й мягкости, Рильке, Марсель Пруст и Борис Пастернак. Ибо вы в последнюю минуту — отводили руку и оставляли меня, давно выбывшую из семьи людей, один на один с моей человечностью. Между вами, нечеловеками, я была только человек. Я знаю, что ваш род — выше, и мой черед. Борис, руку на сердце, сказать: — О, не вы: это я — пролетарий³. — Рильке умер, не позвав ни жены, ни дочери, ни матери. А все — любили. Это было печение о своей душе. Я, когда буду умирать, о ней (себе) подумать не успею, целиком занятая: накормлены ли мои будущие провожатые, не разорились ли близкие на мой консилиум, и м. б. в лучшем, эгоистическом случае: не растащили ли мои черновики.

Собой (ду — шой) я была только в своих тетрадах и на одиноких дорогах — редких, ибо я всю жизнь — водила ребенка за руку. На «мягкость» в общении меня уже не хватало, только на общение: служение: бесполезное жертвоприношение. М а т ь - п е л и к а н в силу созданной ею системы питания — з л а. — Ну, вот.

О в а ш е й мягкости: Вы — ею — откупаетесь, затыкаете этой гигроскопической ватой дыры ран, вами наносимых, вопиющую глотку — ранам. О, вы добры, вы при встрече не можете первыми встать, ни даже откашляться для начала прошальной фразы — чтобы «не обидеть». Вы «идете за папиросами» и исчезаете навсегда и оказываетесь в Москве, Волхонка, 14⁴ или еще дальше. Роберт Шуман забыл, что у него были дети, число забыл, имена забыл, факт забыл, только спросил о старших девочках: всё ли у них такие чудесные голоса?

Но — теперь ваше оправдание — только такие создают такое. Ваш был и Гёте, не пошедший проститься с Шиллером и X лет не проехавший во Франкфурт повидаться с матерью — бережась для Второго Фауста — или еще чего-то, но (скобка!) — в 74 года осмелившийся влюбиться и решивший жениться — здесь уже сердца (физического!) не бережа. Ибо в этом вы — растратчики... Ибо вы от всего (всего себя, этой ужасной жути: нечеловеческого в себе, божественного в себе) [...] лечитесь самым простым — любовью [...]

Я сама выбрала мир нечеловеков — что же мне роптать?

Моя проза: пойми, что пишу для заработка: чтения вслух, т. е. усиленно-членораздельного и пояснительного. Стихи — для себя, прозу — для всех (рифма — «услех»). Моя вежливость не позволяет мне стоять и читать моим «последним верным» явно непонятные вещи — за их же деньги. Т. е. часть моей тщательности (то, что ты называешь анализом) — вызвана моей сердечностью. Я — отчитываюсь. А Бунин еще называет мою прозу «прекрасной прозой, но безумно-трудной», когда она — для годовалых детей.

...Твоя мать, если тебе простит, — та самая мать из средневекового стихотворенья — помнишь, он бежал, сердце матери упало из его рук, и он о него споткнулся: «Et voici que le cœur lui dit: T'es-tu fait mal, mon petit?»⁵

Ну, живи. Будь здоров. Меньше думай о себе. Але и Сереже я передам, они тебя вспоминают с большой нежностью и желают — как я — здоровья, писанья, покоя.

Увидишь Тихонова⁶ — поклонись...

МЦ.

¹ Летом 1935 года В. Пастернак приезжал в Париж на Международный антифашистский конгресс в защиту культуры и на обратном пути, проезжая Германию, не смог по состоянию здоровья заехать в Мюнхен и встретиться с родителями.

² Ты права, но ты жестока (нем.).

³ Из стихотворения В. Пастернака «Я их мог позабыть? Про родню?..», из книги «Темы и вариации».

⁴ Адрес В. Пастернака в Москве.

⁵ «А сердце сказало ему: «Не ушибся ли ты, малыш?» (франц.).

⁶ Имеется в виду поэт Н. Тихонов.

X

Е. ЧЕРНОСВИТОВОЙ¹

[Около 15 января 1927 года]

Дорогой друг, отвечаю Вам под непосредственным ударом Вашего письма.

О смерти Рильке я узнала 31-го, под Новый год, от случайного знакомого, и как-то ушами услышала, как-то ушами, т. е. мимо ушей. Осознание пришло позже, если можно назвать осознанием явления — действенное и вызывающее непризнание его. Ваше письмо застает меня в полном (и трудном) разгаре моего письма² — к нему, невозможного, потому что нужно сказать всё. Этим письмом с 31 декабря — жи в у, для него бросила «Федру»³ (II часть «Тезея», задуманного как трилогия — но из суеверия — — —). Это письмо, похоже, никогда не кончу, потому что, когда «новости» изнутри... Еще останавливает меня его открытость (письма). Открытое письмо от меня — ему. (Вы знали его и, может быть, узнаете меня.) Письмо, которое будут читать все, кроме него! Впрочем, может быть, отчасти сам его пишет — подсказывает. Хотите одну правду о стихах? Всякая строчка — сотрудничество с «высшими силами», и поэт — много, если секретарь! — Думали ли Вы, кстати, о прекрасности этого слова: секретарь (secret⁴)?

Роль Рильке изменилась только в том, что, пока жил, сам сотрудничал с —, а теперь — сам «высшая сила».

— Не увидите во всем этом русской мистики! Речь-то ведь о земных делах. И самое небесное из вдохновений — ничто, если не претворено в земное дело.

Очень важно для меня: откуда у Вас мой адрес? Из Bellevue⁵ ему писала всего раз — открытку, адреса не было, на Muzat. На последнее мое письмо (из Ванден) он не ответил, оно было на Ragaz, не знаете, дошло ли оно? Еще: упоминал ли он когда-нибудь мое имя, и если да, то как, по какому поводу? Еще не так давно я писала Борису Пастернаку в Москву: «Потеряла Рильке на каком-то повороте альпийской дороги...»

Теперь — важнейшее: Вы пробыли с ним два месяца, а умер он всего две недели назад. Возьмите на себя огромное и героическое дело: восстановите эти два месяца с первой секунды знакомства, с первого впечатления, внешности, голоса и т. д. Возьмите тетрадь и заносите — сначала без системы, каждое слово, черту, пустяк. Когда будете записывать последовательно, — все это встанет на свое место. Ведь это еще почти дневник — с опозданием на два месяца. Начните тотчас же. Нет времени днем — по ночам. Не поддавайтесь священному, божественному чувству ревности, отрешенность (от я, мне, мое) — еще божественнее. Вспомните книгу Эккермана⁶, единственную из всех дающую нам живого Гёте.

Боюсь, что, получив мифологию⁷, буду плакать. Пока — ни одной слезы: времени нет, места нет (всегда на людях), а может быть, по чести, охоты нет: неохота — есть. Плакать — признать. Пока не плачу — не умер.

Я никогда его не видела, и для меня эта потеря — в духе (есть ли такие?). Для Вас потеря бывшего, для меня — небывшего. Потеря Савойи с ним — куда никогда не поеду, — провалившейся 31 декабря со всеми Альпами — сквозь землю... На некоторые места карты не хочу смотреть — как вообще ни на что.

Ко всему этому присоедините, что не принадлежит ни к одной церкви [...]

¹ Евгения Черносвитова работала в качестве секретаря поэта Райнера Мариа Рильке (1875—1926) с сентября по ноябрь 1926 года. Цветаева и Рильке переписывались в 1926 году.

² Цветаева называет письмом к Рильке свою поэму «Новогоднее», обращенную к нему (1927).

³ «Федра», трагедия М. Цветаевой, над которой она в то время работала.

⁴ Тайна (франц.).

⁵ Пригород Парижа, где тогда жила М. Цветаева

⁶ Книга секретаря Гёте Иоганна Петера Экнермана (1792—1854) «Разговоры с Гёте в последний период его жизни».

⁷ Через Е. Черносвитову Рильке послал Цветаевой немецкую мифологию, которую она получила после его смерти.

XI

А. М. ГОРЬКОМУ

[Начало августа 1927 года.]

Дорогой Алексей Максимович!

Обнимаю Вас и благодарю за Асю¹. Мы с ней мало видели добра в жизни, потому что нас всю жизнь считают сильными и — [...]счастливыми. Очевидно, такие и есть.

Если Ася будет Вас раздражать — не сердитесь, стерпите [...] Она — предельно добра.

Посылаю Вам книги — что есть, может быть, достану для Вас цельного «Крысолова»². Писать мне о них не нужно, так что примите это просто, как знак дружбы, просто — от сердца к сердцу.

...Кстати, одно из первых моих детских, младенческих воспоминаний — слово «Мальва» — то ли наша, осенняя, на клумбе в Тарусе, то ли Ваша, из уст матери, тогда совсем молодой. Еще одно: мать однажды, возвращаясь с концерта Гофмана, привела домой собаку, увязавшуюся за ней, — желтую — и вопреки отцу и прислуге поселила ее у нас в доме. Назвала Челкаш. Через три дня собака ушла. Мы плакали, я — плуце всех. Вот Горький моего младенчества — еще до букв, из которых слагались Вы — моего детства. О позднейшем, вплоть до пражского у Ходасевича, — расскажу потом. При встрече? — Спасибо за пожелание ее.

И еще раз — спасибо за Асю.

Марина Цветаева.

¹ Осенью 1927 года младшая сестра Цветаевой Анастасия Ивановна по приглашению Горького гостила у него в Сорренто. Это письмо М. Цветаевой (по неизвестным причинам до Горького не дошедшее) написано «в благодарность за Асю».

² То есть все номера журнала, в котором печаталась поэма Цветаевой «Крысолов» (1925).

XII

А. М. ГОРЬКОМУ

[Между 4 и 7 октября 1927 года.]

Дорогой Алексей Максимович, пишу Вам на этот раз заказным. В том письме рассказывала Вам о Горьком моего младенчества: 1) первом моем воспоминании: слове мальва — то ли Вашей, то ли клумбовой. значения не понимала, 2) о собаке Челкаше, приведенной моей молодой матерью домой, после концерта Гофмана, и поселенной в доме и, естественно, сбежавшей. И еще благодарила Вас за миртовую веточку, упавшую из Асиного письма в мою открытую тетрадь на строки:

в кустах
Миртовых — уст на устах!¹

Мирт, вернувшийся в мирт, лист, возвращенный дереву.

И еще благодарила за Асю, благодарность повторяю — за Вашу доброту, покрывшую всю людскую обиду.

Ася должна была передать Вам «Царь-Девницу», других книг у меня не было, но скоро выходит моя книга «После России», т. е. все лирические стихи, написанные здесь, — вышлю. Если бы Вы каким-нибудь образом могли устроить ее доступ в Россию, было бы чудно (политики в ней никакой) — вещь вернулась бы в свое лоно. Здесь она никому не нужна, а в России меня еще помнят.

Вы просили о Гельдерлине.— Гений, просмотренный не только веком, но Гёте. Случай чудесного воскресения через с лишним век. Были бы деньги — сразу послала бы Вам изумительную книгу Stephan'a Zweig'a «Der Kampf mit dem Dämon»², с тремя биографиями, одна из них — Гельдерлина — лучшее, что о нем написано. Выпишите и подумайте, что от меня. А вот, на память, один из моих любимейших стихов его:

O Begeisterung! so finden
Wir in Dir ein selig Grab...³

Родился в 1770 г., готовился, сколько помню, сначала в священники — не смог, — после различных передраг поступил в дом банкира Гонтар, влюбился в мать воспитанников (Diotima, вечный образ его стихов — не вышло и выйти не могло, ибо здесь не выходит), — расстался — писал — плутал — и в итоге 30 ти с чем-то лет впал в помешательство, сначала буйное, потом тихое, длившееся до самой смерти в 1843 году. Сорок своих последних безумных лет прожил один, в избушке лесника, под его присмотром. Целыми днями играл на немом клавесине. Писал чудесные стихи. Есть целый ряд стихов этого времени: по немецкому выражению «Aus der Zeit der Umnachtung»⁴. Umnachtung: окутанность ночью, ооченность. Так немцы, у больших, называют безумие. Вот строка из его последнего стихотворения:

Was hier wir sind-wird das ein Gott ergänzen...⁵

Мой любимый поэт. Совершенно бесплотный, чистый дух и — сильный дух. Кроме тома стихов есть у него и проза, чудесная. Гиперион⁶ — героика. Письма юноши, апофеоз дружбы. Родом — с Неккара, духовно же — эллин, брат тех богов и героев. Германский Орфей. Очень германский и очень эллин, по Гельдерлину можно установить определенную связь между душами этих двух народов. Насколько Гёте — мрамор, видимый и осязаемый, настолько Гельдерлин — тень Елисейских полей.

Не знаю, полюбите ли Вы мою любовь к чему бы то ни было, всегда включающую любовь к нему обратному и якобы его исключаящему. Больше скажу, кажется — обратного нет, просто очередной Лик — единого. Отсюда моя земность, моя полная нецерковность: внецерковность. Расскажу Вам как-нибудь смешной случай по этому поводу со мной и о. Сергием Булгаковым.

Возвращаясь же к Гельдерлину и Гёте (все горы братья меж собой) — просто: у меня одна душа для Гёте, другая для Гельдерлина.

Это мне напоминает — одного маленького мальчика — рассказ. «На берегу Черного моря сидит черная птица, на берегу Каспийского моря сидит каспийская птица, на берегу Белого моря сидит белая птица, на берегу — — — — —, а всех птиц — одна».

До свидания. Любопытно, дойдет ли это письмо? — Странная страна.

Еще раз сердечное спасибо за Асю. В том письме, благодаря Вас за Ваше, я просила Вас не отвечать мне, не отрывать из-за письма от дела, ибо письмо — та же работа и то же время, — но раз то письмо пропало, то и той просьбе моей, очевидно, не судьба, нельзя же дважды просить то же самое!

Словом, ничуть не обижусь, если не напишете, и очень обрадуюсь, если напишете. Третье письмо, очевидно, начну словами: «Дорогой Алексей Максимович, пишите скорее!» — (Шучу.)

МЦ.

¹ Строки из 2-й картины трагедии М. Цветаевой «Федра», над которой она работала в то время.

² Стефан Цвейг, «Борьба с безумием».

³ «О, вдохновение! Мы находим в тебе вечное блаженство» (нем.).

⁴ «Когда помрачен рассудок» (нем.)

⁵ «Нашу суть земную лишь бог дополнить может» (нем.).

⁶ «Гиперион» — роман Гельдерлина о современной ему Греции, назван по имени юноши, главного героя.

XIII

Л. О. ПАСТЕРНАКУ¹

11 октября 1927 г.

С благодарностью подтверждаю, дорогой г-н Пастернак, получение Вашей посылки, сожалея, что невольно доставила Вам столько хлопот. Это во-первых. Во-вторых и в главных — позвольте сказать Вам, что Вы, несомненно, счастливейший из отцов, ибо сын Ваш делает Вам честь.

Не так давно в сборнике произведений современных поэтов я прочла его автобиографические заметки, начинающиеся словами: «Многим, если не всем, обязан отцу, академику Леониду Осиповичу Пастернаку, и матери...»². Если Вы помните (чего явно не помнил Ваш сын, когда писал эти строки) — так начал свою книгу «Наедине с собой» Марк Аврелий.

В наше время (которое ненавижу), когда каждый птенчик, выпавший из гнезда, считает себя слетевшим с неба, подобная исповедь в полном смысле слова неслыханна и лишь подтверждает высокое происхождение ее автора. Истинная величина никогда не приписывает себя — самой себе, в чем она, без сомнения, права. Это всегда вопрос преемственности, сыновности.

Просьба к Вам, дорогой г-н Пастернак-старший, когда будете писать своему сыну, передать ему следующее: 1) — я получила его книгу «1905 год», которой восхищена всеми силами души; 2) — дети мои совсем поправились, я — почти; 3) — как только у нас сделают дезинфекцию, pošлю ему большое письмо, которое — день за днем — пишу в свою черную тетрадь.

И — просьба последняя — принять от меня в знак благодарности и восхищения — последнюю мою книгу стихов «После России» (выходит на днях) — не смущаясь ее «новизной». Корнями я принадлежу к прошлому, как и Ваш сын, но — из прошлого рождается грядущее.

¹ Пастернак Леонид Осипович (1862—1945) — художник, отец поэта Бориса Леонидовича Пастернака.

Оригинал письма написан по-французски.

² Автобиография Б. Пастернака 1924 года.

XIV

ИЗ ПИСЕМ Н. П. ГРОНСКОМУ¹

[Август 1928 года.]

...Будет из Вас или нет — поэт?

О стихах скажу: в Вас пока нет рабочей жилы, Вы неряшливы, довольствуетесь первым попавшимся, Вам просто — лень. Но — у Вас есть отдельные строки, которые ДАЮТСЯ (т. е. не даются никаким трудом).

Для того, чтобы Вам стать поэтом, Вам нужны две вещи: ВОЛЯ и ОПЫТ, Вам еще не из чего писать.

Не бросайте стихов, записывайте внезапные строки, в засуху — разверстые хляби.

21 сентября 1928

...Ваш почерк — чудовищен, будь я Волконским, я бы сказала Вам, что такой почерк — испочтение к адресату; нет, просто бы сказала, без «Вам», Вам бы он этого не сказал — потому же, почему не говорю — я. Если мой неразборчив, то — существом своим, замыслом каждой буквы, а не неряшеством. У меня нет недописанных букв... Сосредоточьте руку. Пожалейте букв — этих единиц слова. Каждая — «я».

...У Вас единица начертания не буква, а слово, одно сплошное слово. Но не обижайтесь Вы так обскакали свой возраст — миновав разум — мудрость, самолюбие — гордость и т. д., что мне досадно видеть в Вас — просто школьническое.

О стихах: Вы еще питаетесь внешним миром (дань полу: мужчины вообще внешнее женщин), тогда как пища поэта: 1) мир внутренний, 2) мир внешний, сквозь внутренний пропущенный. Вы еще не окунаете в себя зримость, даете ее как есть. Оттого Ваши стихи поверхностны. Ваши стихи моложе Вас. Дорасти до самого себя и перерасти — вот ход поэта.

Вы сейчас отстае (Вы многое знаете, чего еще не умеете сказать — оттого, что не достаточно знаете) — вровень будете лет через семь, а дальше — перерастание, во всей его неизбывности, ибо — чем больше растет поэт, тем больше человек, чем больше растет человек...

Это я о насущном, внутреннем.

О внешнем: Вы еще не умеете работать, в Вас еще нет рабочей жилы, из которой — струна! Слова в Ваших стихах большей частью заместимы, значит — не те. Фразы — реже. Ваша стихотворная единица пока фраза, а не слово. (NB: моя — слог.) Вам многое хочется, кое-что нужно и ничего еще не необходимо сказать...

И чтобы закончить о речах и стихах: Вы еще немножко слишком громки.

[Октябрь 1927 года.]

...Читаю «Чертов мост»². До чего мелко! Величие событий и малость — не героев, а автора. Червячок-гробок. Сплошная сплетня, ничего не остается. Сплетник-резонер — вот в энциклопедическом словаре будущего — аттестация Алланова.

Такие книги в конце концов разврат, чтение ради чтения. Подделом ему — орден 5-й степени от сербского Александра!

¹ Гронский Николай Павлович (1909—1934) — молодой поэт, с которым Цветаева была дружна и в талант которого верила. О вышедшей посмертно (Гронский погиб в результате несчастного случая) книге его и поэме «Веладонна» она написала положительную рецензию «О книге Гронского «Стихи и поэмы» и статью «Посмертный подарок».

² Исторический роман эмигрантского писателя М. Алданова (1889—1957).

XV

ИЗ ПИСЕМ ШАРЛЮ ВИЛЬДРАКУ¹

[Медон, 1930 год.]

Дорогой г-н Вильдрак, я получила и письмо Ваше, и книгу. Не ответила Вам раньше лишь из нежелания превращать Ваш летний отдых в эпистолярный. Но поскольку Вы уже вернулись...

Вы спрашиваете меня, почему я рифмую свои стихи:

Я католик, я крещеный,
У меня есть пес ученый.
Очень я его люблю,
Хлебом я его кормлю!

(Жако, 6-ти лет, сын лавочки из нашего дома)

Если бы указанный автор указанного четверостишия возгласил: «Я — христианин, обладатель собаки, которую кормлю хлебом», — этим бы он ничего не сказал ни себе, ни другим: этого бы просто не было; а вот — есть.

Вот почему, г-н Вильдрак, я рифмую стихи.

Белые стихи, за редчайшими исключениями, кажутся мне черновиками, тем, что еще требует написания, — одним лишь намерением, не более.

Чтобы вещь продолжалась, надо, чтобы она стала песней. Песня включает в себя и ей одной присущий, собственный — музыкальный аккомпанемент, а посему — завершена и совершенна и — никому ничем не обязана.

(Почему я рифмую! Слово мы рифмуем — «почему»!¹ Спросите народ — почему он рифмует, ребенка — почему рифмует он, и обих — что такое «рифмовать»!)

Вот попытка ответа на Ваш — легчайший! — упрек мне в том, что звуковое начало в моих стихах преобладает над словом, как таковым (подразумевается — над смыслом)! — Милый друг, всю свою жизнь я слышу этот упрек, просто — жду его. И Вы попали в точку, ничего обо мне не зная, с первого взгляда (по первому слуху)! Однако Вы оказались пронизательнее других, сопоставив не только звук и смысл, но и — слово (третью державу!). Упрек же Ваш, вместо того чтобы огорчить или опечалить, заинтересовал меня, как повод к спору, из которого сама я могла бы немало извлечь для себя.

Я пишу, чтобы обратиться до сути, выявить суть; вот основное, что могу сказать о своем ремесле. И тут нет места звуку вне слова, слову вне смысла; тут — триединство.

Поймите, дорогой г-н Вильдрак, я защищаю не свой перевод «Мблодца» — не самоё себя, а свое дело; правильное дело.

Я Вам буду только благодарна, если Вы укажете мне те или иные темные — или просто неудачные — или невнятно-звучащие — места, тем более что я — иностранка. Я могу плохо владеть рифмой — согласна; но Вам никогда не убедить меня в том, что рифма сама по себе — зло.

(Только не сердитесь! Если сержусь я — то в полном к Вам доверии.)

Ваша книга — обнаженное сердце, не защищенное формой, книга — сказанная, не написанная, а поэтому скорее услышанная, чем прочтенная. И себя я нашла в ней (вог Вам случай поверить мне на слово!) — главное в «Быть Человеком». главное в: «Коль встретишь ты того, кто золотом владеет», главное в: «Бесстрастно говорят — подай и принеси», главное в этих «подай и принеси», весомых, как существительное; которые я выделила бы курсивом; которые я и прочла — курсивом!

«Кушать подано» — та, подающая, та, принимающая, о «подаче» не думают; но Вы — я — мы — поэты, мы — обостренный слух, думаем за них: подано обеими моими руками — ее рукам, платиновым и праздным. Не так ли?

И что меня особенно трогает — не знаю и не хочу даже знать, почему, — столь часто повторяемое Вами слово «милый», «милая» — не только к людям относимое, такое скромное и такое не стихотворное!

...Вот всадник без коня...

Этой строкой определен Ваш выбор в жизни, может быть даже — прежде жизни! Кто хочет, может завести себе коня; кто хочет — молитвенник, но не имея их, — быть (всадником, монахом) — высшая гордыня или высочайший огказ.

Как мне знаком этот всадник без коня!..

...Не странно ли, что я, влюбленная в рифму более, чем кто-либо, обратилась именно к Вам, высокомерному ее неприятелю? Не проще ли было бы привести моего «Мблодца» в гостеприимный стан друзей рифмы — если таковой существует?

Прежде всего и во всем: мой инстинкт всегда ищет и создает преграды, т. е. я и инстинктивно их создаю — в жизни, как и в стихах.

Итак, по-своему, я была права.

Дальше: нас с Вами связывают узы родства: Вы ведь любите Россию и Пастернака; и, главное, Рильке, который не поэт, а сама поэзия.

Р. S. Присланный Вами милый стишок о тетушке, которая, подметая пол, нашла апельсин, полон смысла и солнца: солнечное воскресенье, вошенный паркет, апельсин — новый апельсин... и сама тетушка в цепце, смахивающем на фригийский колпак... но меня понесло, и Вы уже морщитесь!

Р P S. Мой Жако незнаком с псалмами, ибо он — истинный язычник и сын язычников, к тому же ходит в коммунальную школу, а не к г-ну кюре.

Только рифма (необходимость срифмовать ученую собаку) превратила его в «крещеного». Как всегда, «в начале было слово», что до самой собаки, вернее — пса, то

он действительно существует, с чего мне и следовало начать. Это — Зиг; ученый или нет, он шастает по помойкам.

¹ Шарль Вильдрак (настоящее имя Шарль Мессэже, род. в 1882 г.) — французский прозаик, драматург и поэт (теоретик и практик верлибра, свободного стиха). Письма Цветаевой с Вильдраком начались с 1930 года, когда Цветаева послала Вильдраку на консультацию один из первых вариантов французского перевода своей поэмы-сказки «Молодец» (1922). Оригинал письма — по-французски.

XVI

Н. А. ТЭФФИ¹

[Октябрь 1932 года.]

Дорогая Н. А.! Весь вечер накануне Вашего письма беседовала о Вас — с дамой, имени которой я не знаю, она знает всех и двоюродная сестра Цетлиных² (маленькая, черная, оживленная, немолодая). Узнала о Вас, о Вашем творчестве, нраве, подходе к себе и к людям, — а утром, очень рано, Ваше письмо, которое читала еще слепыми от сна глазами.

Бесконечно радуюсь, что дошло: дошла. А знаете, почему я Вас так долго не окликала? — от сознания своего неисправимого свинства перед Вами — свинства видимого, не сущего! Вы так помогли мне с вечером, а я вдруг исчезла. А исчезла — Вы мне поверьте — только потому, что потеряла Ваш адрес, только помнила: мост и мимо моста — дом налево. Конечно, могла бы написать на «Возрождение»³, но писать в такое место как-то — психологически — безнадежно...

И как чудно, что сейчас окликнули, т. е. сняли с меня эту кабанью кожу неблагодарности [...] Хотите — встретимся? Позовите меня к себе, т. к. у нас — иной круг (у меня — никакого: stranger heart⁴ — везде), но важно ведь не: круг, а: друг. Никогда не сужу о человеке по его окружению, но окружение — какое бы ни было — всегда сужу за то одиночество, в котором часто оставлен человек.

Я еще в России думала: 150 миллионов — я (т. е. один!) не в счет. Но если я (одна!) не в счет, и мой сосед (один!) не в счет, и этот встреченный на улице дворник с метлой не в счет, и этот станционный телеграфист не в счет, — ведь никаких 150 миллионов не будет! 150 миллионов держатся то ли нами, то ли мной, ка ж д ы м н о й ! !

Обнимаю Вас и жду вестей...

МЦ.

¹ Тэффи Надежда Александровна (1876—1952), писательница и поэтесса, после Октября — эмигрантка.

² Цетлины — Михаил Осипович (поэтический псевдоним — Амари, 1882—1946), эмигрантский литератор, и жена его Мария Самойловна (р. в 1882 г.) — финансировали ряд эмигрантских изданий.

³ Выходившая в Париже эмигрантская реакционная газета, в которой Цветаева не сотрудничала.

⁴ Душа, чуждая везде (англ.).

XVII

В. Ф. ХОДАСЕВИЧУ¹

15 апреля 1934 г.

Когда я, несколько лет тому назад, впервые подъезжала к Лондону², он был весь во мне — полный и цельный: сразу утренний, ночной, дождевой, с факелами, с Темзой, одновременно втекающей в море и вытекающей из него, весь Лондон с Темзой aller et retour³, с лордом Байроном, Диккенсом и Оскар Уайльдом — сосуществующими, Лондон всех Карлов и Ричардов, от А до Z, весь Лондон, втиснутый в мое представление о нем, вневременное и всевременное.

Когда же я приехала в Лондон, я его не узнала. Было ясное утро — но где Лондон туманов? Нужно ждать до вечера; но где Лондон факелов? В Вестминстерском аббатстве я вижу только один бок — но где оно — целиком, со всех сторон сразу?

Мгновенности: места в автобусе, табачные лавки, монеты, опускаемые в отопление, случайности времяпрепровождения и собственного самочувствия, и — всюду лицо N., в моем Лондоне непредвиденного.

Город на моих глазах рассыпался день за днем, час за часом, рассыпался на собственные камни, из которых был построен, я ничего не узнавала, всего было слишком много, и всё было четко и мелко — как близорукий, внезапно надевший очки и увидевший $\frac{3}{4}$ лишнего.

Лондон на моих глазах рассыпался — в прах. И только когда его не стало видно, отъехав от него приблизительно на час, я вновь увидела его, он стал возникать с каждым отдаляющим от него оборотом колес — весь целиком, и полнее, и стройнее; а когда я догадалась закрыть глаза, я вновь увидела его — мой, целый, с Темзой *aller et retour*, с Гайд-Парком, соседствующим с Вестминстерским аббатством, с королевой Елизаветой об руку с лордом Байроном, Лондон единовременный, единоместный, Лондон вне- и всевременный.

Конечно, это — налет. Останься я в нем, живи я в нем, без посещений Музеев и Аббатств, где-нибудь в норе, не глядя на него, но так, кругом ощущая — он бы вошел сквозь мои поры, как я в него — сквозь его, каменные.

Есть три возможности познания.

Первое — под вѣк а м и, не глядя, всё внутри, — единственное полное и верное.

Второе — когда город рассыпается, не познание, а незнание, налет на чужую душу, туризм.

Третье — сживание с вешью, терпение от нее, претерпевание, незанимание ею, но проникновение ею.

Так вот — не удивляйтесь, милый В. Ф., — вот почему, когда Вы написали о встрече, беседе, я — задумалась.

Вовсе не претендую на «целого и полного» Вас, на это исчерпывающее и одновременно неисчерпаемое творческое знание, я все же, наедине хотя бы со звуком тех Ваших интонаций в ушах или букв Вашего письма — больше, лучше, цельнее, полнее, вернее Вас знаю, чем — сидя и говоря с Вами в кафе, в которое Вы придете из своей жизни, а я — из своей, и — того хуже: каждый из своего дня, никогда ничего общего с жизнью не имеющего.

Если бы, как люди в старые времена, когда было еще время на дружбу, вернее — когда дружба считалась хлебом насущным, когда для нее должно было быть время, хотя бы четвертый час утра... итак, будем говорить просто [*нрзбр*] — если бы у этого кафе было будущее, завтрашний день, длительность, я бы сказала да (не Вам, это я не так скажу, а внутри себя!) — я бы просто перевела то общение на это, там — на здесь (хотя мне это всегда безумно трудно, я не привыкла к теснотам, а никогда в жизни такой не бывает свободы, полной и предельной, как внутри, — и не может быть)...

О да, у жизни, как она ни тесна, есть своя прелесть и сила — хотя бы звук живого голоса, ряд неуловимостей, которых не вообразишь.

Но так, туристически, налетом... Смотреть, который час (я же первая буду смотреть, только об этом и буду думать...).

Для этого надо быть человеком городским, общительным, бронированным, дисциплинированным, отчасти даже коммерческим, неуязвимым всем своим равнодушием — к душам, безразличием — к лицам.

Ничего этого во мне нет, а всё — обратное.

Этот (девятый уже!) мой Париж⁴ я вообще ни с кем не вижу, все мои реальные отношения с людьми роковым образом (и рок этот — я, т. е. все мое — от меня) — разрушаются, вернее — рассеиваются, как дни, а последние годы — годы — я вообще ни с кем не общаюсь — само случилось, — и знаю, почему: связанность домом, отдален-

ность Кламара⁵, мое отсутствие привычки к женской «теплоте» — это все ищут, а вовсе не:

легкий огонь, над кудрями пляшущий,
Дуновение — вдохновения...⁶.

А все-таки очень хочу с Вами повидаться, хотя бы, чтобы сообщить последние сомнения ред[акции] «Современных записок» относительно моей прозы⁷ — и вообще всякое другое... Не могли ли бы приехать ко мне — Вы, к 4-м часам. Ведь — просто! Есть № 89 трамвая, доходящий до Clamart-Fourche, а от Fourche — первая улица налево (1 минута).

И есть вокзал Монпарнас с самыми обыкновенными поездами. Вот — поезда, выписаны в точности, безошибочно. Ответьте, когда и какой поезд. Встретим Вас с сыном, посидим у меня и побеседуем спокойно. Иного способа свидеться — нет.

МЦ.

¹ С поэтом Владиславом Фелициановичем Ходасевичем (1886—1939) у М. Цветаевой в эмиграции были сложные и во многом антагонистические отношения. Однако в тридцатые годы, когда в эмигрантской литературе стала очевидной творческая деградация поэтов как старшего, так и младшего поколений, Цветаеву и Ходасевича сближало общее противостояние потоку чуждой им псевдолитературы.

² В Лондоне М. Цветаева была в 1926 году.

³ Приливной и отливной (*франц.*).

⁴ Во Франции М. Цветаева жила с ноября 1925 года.

⁵ Предместье Парижа, где жила М. Цветаева.

⁶ Из стихотворения М. Цветаевой «В черном небе — слова начертаны...» (1918).

⁷ В парижском журнале «Современные записки» печатался очерк Цветаевой «Волгошине «Живое о живом» (в котором она упоминала Ходасевича), подвергшийся большим редакционным сокращениям.

XVIII

В. Ф. ХОДАСЕВИЧУ

[Май 1934 года.]

...Нет, над о писать стихи. Нельзя дать ни жизни, ни эмиграции, ни Вишнякам, ни «бриджам», ни всем и так далеем — этого торжества: заставить поэта обойтись без стихов, сделать из поэта — прозаика, а из прозаика — покойника.

Вам (нам!) дано в руки что-то, чего мы не вправе ни выронить, ни переложить в другие руки (которых — нет).

Ведь: чем меньше пишешь, тем меньше хочется, между тобой и столом встает уже вся невозможность (как между тобой и любовью, из которой ты выше л).

Конечно, есть пресыщение.

Но есть и истощение — от отвычки.

Не отрешайтесь, не отрекайтесь, вспомните Ахматову:

А если я умру, то кто же
Мои стихи напишет Вам?¹ —

не Вам и даже не всем, а просто: кто — мои стихи...

Никто. Никогда. Это невозвратно. Вы обкрадываете Лирику [*чрзбр*], безглагольную, как всякое до, беспомощную, не сущую без нас, поэтов.

И именно потому, что нас мало, мы не вправе..

Это меня беспокоит до тоски — мысль о возможности такого рядом, почти с мной, ибо я давно перестала делить стихи на свои и чужие, поэтов — на «тебя» и «меня».

Я не знаю авторства [...]

¹ Из стихотворения А. Ахматовой «Покорно мне воображенье...».

XIX

А. С. ШТЕЙГЕРУ 1

1-го сентября 1936 г.

Что́ я об этих стихах² думаю?

Первое и резкое — убрать кавычки — отличные стихи.

Зачем и откуда — с Вашим чудесным сердцем — кавычки на таких чудесных, чудодейственных вещах, как жалость, труд, страдание, любовь, подвиг?

Что такое кавычки? Знак своей непричастности — данному слову или соединению слов. Подчеркнутая чуждость их общепринятому толкованию. Знак своего превосходства над попросту, без кавычек, их произносящему. Кавычки — ирония. То же самое, что «так называемая жалость». Так называемая, а мною не так называемая, мною так не называемая, мною называемая — слабость (либо глупость).

Но, родной, вычеркнув из своего душевного обихода и словаря слова (и понятия) — совесть, расплата, нищенство, больница, тюрьма, братство, любовь, труд (о свободе и равенстве — отдельно), — что тогда от мира и от сердца останется?

Вы скажете: М. И., Вы передернули, Вы подменили пошлые (ставшие пошлыми) словесные соединения — именами существительными, пошлыми быть не могущими. Расплату за день — расплатой, нищенскую суму — нищенством, больничную палату — больницей.

Да — ибо я некоторых трафаретов и в рот не беру, и в слух не беру. Но зачем же тогда берете их в рот и в слух — В Ы, зачем Вы пользуетесь этим грошовым орудием, чтобы разбить бессмертные понятия?

(Значит, Вы не с вещами, а с словесным трафаретом сражаетесь? Но как же?)

Ведь два вывода: либо Вы в этих стихах воюете с словесным трафаретом, а не с вещами, — тогда стоит ли? Либо Вы наивно отождествляете бессмертные понятия с пошлыми наименованиями. Почему Вы в этих стихах бьете? По громким фразам 60-х годов? Их не было, ибо для тех эти слова звучали, и за них они — и, главное, их дети — платили кровью. По самим вещам (жалость, любовь, труд)? По себе — таком же глупом и слабом (если это — глупость и слабость) — как те?

Стихи эти я читаю — на оборот: без кавычек, и вовсе никакого, за правдою их, трафарета не чувствую. Перечтите их без кавычек сами — и увидите — человеческое сердце, вечное. Простая болевая правда их уничтожает трафарет, слова эти здесь — звучат заново, совершенно без кавычек. (Как я хотела бы, чтобы они так были написаны и до чего они так внутри написаны!)

Конечно, — говорю сейчас уже не о поэте, а о самих стихах — куда девается тогда дребедень и ерунда (которым, кстати, Вы протнвуставляете какую не дребедень и не ерунду)? Заметьте, что Вы здесь, в восьми строках, израсходовали все человеческое величие, что у Вас на противопоставление не остается ничего — кроме человеческой малости: эгоизма, материализма, со всеми его последствиями и предшествованиями.

Компромиссный совет: если Вы так уж держитесь за жестокие, несправедливые определения жертвы — как дребедени и ерунды, все же уберите кавычки, ибо, помимо их оскорбительности и моей оскорбленности в них за Вас, — нехорошо в стихах столько кавычек, это уже публицистика. Стихи должны писаться словами безусловными — а не условными. Сам прием дешев, не сердитесь, то же самое, когда здесь в «Возрождении» и «Последних новостях»³ «восстановитель русского языка» за ленью употребляет какой-нибудь современный, ходкий, якобы ненавистный ему, а по существу необходимый оборот. Если Вы эти вещи (жалость, любовь, страдание) — ненавидите, разбивайте их по существу (Ницше). Если Вы эти слова (трафарет) ненавидите — не употребляйте их. Нельзя отрекаться от вещи полным ею же — ртом. Отречение прежде всего — изъятие себя из нее, ее из своего оборота.

Тут два стиха Первый кончается на слове «ерунда».

Второе — 5 строк, совершенно законченных и замечательных. Это совсем

отдельные стихи, с теми незнакомые, связанные только одинаковостью размера. Прочтите сами, за бы в начало:

Бедность легко узнают по заплатке,
Годы — по губ опустившейся складке,
Горе?

Но здесь начинаются прятки.
Это любимая взрослых игра.
Все, разумеется, в полном порядке.
(У собеседников с плеч гора.)

Только — разрешите одну маленькую поправку: не у собеседников, а у собеседника — так мне запомнилось, а мне всегда запоминается по-лучшему. Так, например, у Бальмонта — морское дно — последние слова поэмы: «Два слова сказала мне дева со дна — Мне Вам передать их дано. Я видела солнце, сказала она. Что дальше — не все ли равно». Так я, 14 лет, прочла — запомнила. А у него оказалось: после. Ведь насколько хуже — и по звуку (дальше и после) и по ограниченности понятия «после» — временем («дальше» — и время и пространство: даль годов и верст, просто даль — и вообще).

Кроме того, с первой строки до последней мы видим у Вас не ряд лиц, а одно лицо, лицо одного человека, бедного — стареющего, — работу жизни над ним, данным человеческим лицом, может быть, и моим И последнее. Нас всегда спрашивает («как живете?») один собеседник, а не двое или трое. Проведите стихи на единстве. Тогда каждый в них себя узнает, ибо в этом цель и победа стихов, чтобы каждый себя в них узнал, а не все. (Всех — нет, т. е. есть — и тогда нет никого.) Верьте мне [...]

Вот, мой родной, по полной чести и совести, что я думаю об этих Ваших стихах. Пришлите еще, если есть, и вообще пишите больше — стихов, это ведь такая, хотя и горькая, радость

И опять возвращаюсь к письмам и стихам⁴. Слейте. Берите из себя — письменного (не из писем, а из того, кто — или верней: что их — в Вас — пишет). Отождествите поэта с человеком. Слейте эти две руки в одну — единственную — абсолютную тождественность со своей душой. Не заставляйте поэта говорить ни жестче, ни презрительнее, ни горше, чем говорит человек — ни когда с другими говорите и, может быть, даже ни когда со мною, а — с собою [...]

¹ Штейгер Анатолий Сергеевич (1907—1944) — эмигрантский поэт. В 1936 году, будучи тяжело больным туберкулезом и находясь на излечении в швейцарском санатории, он обратился к Цветаевой с письмом, в котором просил о дружеской поддержке. Цветаева переписывалась с ним летом 1936 года. Единственная их встреча состоялась в декабре 1936 года.

² А. С. Штейгер прислал Цветаевой на отзыв свое стихотворение.

³ «Возрождение» и «Последние новости» — парижские русские газеты.

⁴ Цветаева считала, что письма Штейгера намного лучше его стихов, что в письмах он «богатый (сильный), а в стихах — бедный».

XX

А. С. ШТЕЙГЕРУ

(Сентябрь 1936 года. Ванв.]

[...] Мне для дружбы, или, что то же, — службы — нужен здоровый корень. Дружба и снисхождение, только жаление — унижение. Я не бог, чтобы снисходить. Мне самой нужен высший или по крайней мере равный. О каком равенстве говорю? Есть только одно — равенство усилия. Мне совершенно все равно, сколько Вы можете поднять, мне важно — сколько Вы можете напрячься. Усилие и есть хотение. И если в Вас этого хотения нет, нам нечего с Вами делать.

Я всю жизнь нянчилась с немощными, с не хотящими мочь, и если меня от этого не убыло, то только потому, что меня, должно быть, вообще убить не может; если меня от этого не убыло, тем от меня — не прибыло. С мертвым грузом нехотения мне делать нечего, ибо это единственный, которого мне не поднять.

Если бы Вы ехали в Париж — в Национальную библиотеку или поклониться Вандомской колонне — я бы поняла; ехали бы туда самосжигаться на том, творческом, Вашем костре — я бы приветствовала. Если бы Вы ехали в Париж — за собственным одиночеством, как 23-летний Рильке, оставивший о Париже бессмертные слова: «Я всегда слышал, что это — город, где живут, по-моему — это город, где умирают» — ехали в свое одиночество, я бы протянула Вам обе руки, которые тут же бы опустила: будь один!

Но Вы едете к — — — овичу и К°, к ничтожествам, в ничтожество, просто — в ничто, в богему, которая пустота большая, чем ничто; сгорать ни за что — ни во чью славу, ни для чьего даже тепла — как Вы можете, Вы, поэт!

От богемы меня тошнит — любой, от Мюржера¹ до наших дней; назвать Вам разницу? Тогда, у тех, был надрыв с гитарой, теперь — с «напитками» и наркотиками, а это для меня — помойная яма, свалочное место, — и смерть Поплавского², случайно перенюхавшего героина (!!! NB! всё, что осталось от «героя») — для меня не трагедия, а пожатие плеч. Не жалась, убей меня Бог, — не жалась. И умри Вы завтра от того же — не жалась будет.

Да, недаром Вы — друг своих друзей, чего я совершенно не учла и не хотела учитывать, ибо свое отношение к Вам (к Вашему дару) — построила на обратном.

Бедное «дитя города!» Вы хотите за такое — жизнь отдавать? Да такое ее и не примет.

Этой зимой я их (вас!) слышала — слушала целый вечер в Salle Trocadéro — «смотр поэтов». И самой выразительной строкой было:

И человек идет домой
С пустою головой...

Честное слово, этим человеком я себя почувствовала — после этого вечера.

Когда человек говорит: я — мертв, что же: попробуем воскресить! (И воскресал а!) Но когда человек говорит: я мертв и НЕ хочу воскреснуть, — милый друг, что же мне делать с трупом???

Мертвое тело с живой душой — одно, а вот живое тело с мертвой душой...

Я могу взять на себя судьбу — всю. Но не могу и не хочу брать на себя случайности (тей). Лень и прихоть — самые меня отвращающие вещи, слабость — третья [...]

¹ Мюржер — французский писатель Анри Мюрже (1822—1861), автор известной книги «Сцены из жизни богемы».

² Поплавский Борис Юлианович (1903—1935), эмигрантский прозаик и поэт; погиб в результате отравления наркотиками.

XXI

ДЕТЯМ¹

[Зима 1937/38 года. Ванв.]

Милые дети!

Я никогда о вас отдельно не думаю: я всегда думаю, что вы — люди или нелюди, — как мы. Но говорят, что вы есть, что вы — особая порода, еще поддающаяся воздействию.

Потому:

— Никогда не лейте зря воды, потому что в эту же секунду из-за отсутствия ее погибает в пустыне человек.

— Но оттого, что я не пролью этой воды, ведь он ее не получит!

— Не получит, но на свете станет одним бессмысленным преступлением меньше.

Потому же никогда не бросайте хлеба, а увидите на улице, под ногами, поднимите и положите на ближний забор, ибо есть не только пустыни, где умирают без воды, но и трущобы, где умирают без хлеба. Может быть, этот хлеб заметит голодный, и ему менее совестно будет его взять так, чем с земли.

Никогда не бойтесь смешного, и если видите человека в смешном положении: 1) постарайтесь его из него извлечь, если же невозможно — 2) прыгайте в него к человеку, как в воду, вдвоем глупое положение делится пополам: по половинке на каждого — или же на худой конец — не видьте смешного в смешном!

Никогда не говорите, что так все делают: все всегда плохо делают, раз так охотно на них ссылаются! (NB! ряд примеров, которые сейчас опускаю.) У «всех» есть второе имя — никто, и совсем нет лица — пробел. Ну а если вам скажут: «Так никто не делает» (не одевается, не думает и т. д.) — отвечайте: «А я — кто!»

Не ссылайтесь на «немодно», а только на: «неблагородно».

Не слишком сердитесь на родителей, помните, что они были вами и вы будете ими.

Кроме того, для вас они — родители, для самих себя — я. Не истощивайте их — их родительством.

Не осуждайте своих родителей на смерть раньше (своих) сорока лет. А тогда — рука не поднимется!

Увидя на дороге камень — уберите, представьте себе, что это вы бежите и расшибаете себе нос; из сочувствия (хотя бы себе — в другом!) уберите.

Не стесняйтесь уступить старшему место в трамвае. Стыдитесь — не уступить!

Не отличайте себя от других — в материальном. Другие — это тоже вы, тот же вы. (Все о д и н а к о в о хотят есть, спать, сесть и т. д.)

Не торжествуйте победы над врагом. Достаточно — сознания. После победы — протяните руку.

Не отзывайтесь при других иронически о близком (хотя бы даже о любимом животном!); другие уйдут — свой останется.

Книгу листайте с верхнего угла страницы. Почему? Потому что читают не снизу вверх, а сверху вниз.

Это у вас должно быть в руке — как у меня.

Доедая суп, наклоняйте тарелку к себе, а не от себя к другому: чтобы в случае беды пролить суп не на скатерть и не на визави, а на собственные колени.

Когда вам будут говорить: «Это — романтизм», вы спросите: «Что такое романтизм?» — и увидите, что никто не знает; что люди берут в рот (и даже дерутся им! и даже плюются! и запускают вам в лоб!) — слово, смысла которого они не знают.

Когда же окончательно убедитесь, что не знают, сами отвечайте бессмертным словом Жуковского:

— «Романтизм — это душа».

¹ Открытое письмо, написанное для предполагавшегося детского журнала на русском языке.

XXII

ДОНУ АМИНАДО¹

Vanves, 31-го мая 1938 г.

Милый Дон Аминадо,

Мне совершенно необходимо Вам сказать, что Вы совершенно замечательный поэт. Я уже годы от этого высказывания удерживаюсь — à quoi bon?² — но в конце концов, — несправедливо и неразумно говорить это всем, кроме Вас, — который, един-

ственный, к этому отнесется вполне серьезно и, что важнее, — не станет спорить. (Остальные же (дураки) Вам верят на слово — веселее.)

Да, совершенно замечательный поэт (инструмент) и куда больше — поэт, чем все те молодые и немолодые поэты, которые печатаются в толстых журналах. В одной Вашей шутке больше лирической жилы, чем во всем «на серьезе».

Я на Вас непрерывно радуюсь и Вам непрерывно рукоплещу — как акробату, который в тысячу первый раз удачно протанцевал на проволоке. Сравнение не обидное. Акробат, ведь это из тех редких ремесел, где всё не на жизнь, а на смерть, и я сама такой акробат.

Но помимо акробатизма, т. е. непрерывной и неизменной удачи, у Вас просто — поэтическая сущность, сущность поэта, которой Вы пренебрегли, но и пренебрега которой Вы — больший поэт, чем те, которые на нее (в себе) молятся. Ваши некоторые шуточные стихи — совсем на краю настоящих, ну — одну строку переменить: раз не пошутите! — но Вы этого не хотите, и, ей-Богу, в этом нехотении, небрежении, в этом расшвыривании дара на дрянь (дядей и дам) — больше grandezza³, чем во всех их хотениях, тщениях и «служениях».

Вы — своим даром — роскошничаете.

Конечно, вопрос: могли бы Вы, если бы Вы захотели, этим настоящим поэтом стать? На деле — стать? (Забудем читателя, который глуп, и который и сейчас не видит, что Вы настоящий поэт, и который — заранее — заведомо — уже от вида Вашего имени — *bêtement et bêtément*⁴ — смеется — и смеяться будет — или читать не будет.)

Быт и шутка, Вас якобы губящие, — не спасают ли они Вас, обещая больше, чем Вы (в чистой лирике) могли бы сдержать?

То есть: на фоне — не газеты, без темы дам и драм, которую Вы повсеместно и неизменно перерастаете и которая Вам посему бесконечно выгодна, потому что Вы ее бесконечно — выше — на фоне простого белого листа, вне трамплина (и физического соседства) пошлости, политики и преступлений — были бы Вы тем поэтом, которого я предчувствую и подчувствую в каждой Вашей бытовой газетной строке?

Думаю — да, и все-таки этого — никогда не будет. Говорю не о даре — его у Вас через край, говорю не о поэтической основе — она видна всюду — кажется, говорю о Вас, человеке.

И, кажется, знаю: чтобы стать поэтом, стать тем поэтом, который Вы есть, у Вас не хватило любви — к высшим ценностям; ненависти — к низшим. Случай Чехова, самого старшего — умного — и безнадежного — из чеховских героев. Самого — чеховского.

Что между Вами — и поэтом? Вы, человек. Привычка к шутке, и привычка к чужой привычке (наклонная плоскость к газетному читателю) — и (наверное!) лень и величайшее (и добродушное) презрение ко всем и себе — а может быть, уж и чувство: поздно (т. е. та же лень: она матушка!).

Между Вами и поэтом — быт, Вы — в быту, не больше.

Не самообольщайтесь: писать всерьез Вы не будете, но мне хочется, чтобы Вы знали, что был все эти годы (уже скоро — десятилетия!) человек, который на Вас радовался, а не смеялся, и вопреки всем Вашим стараниям — знал Вам цену.

Рыбак — рыбака видит издалека.

Марина Цветаева.

— А дяди! А дамы! Любящие Вас, потому что невинно убеждены, что это Вы «Марию Ивановну» и «Ивана Петровича» описываете А редактора! Не понимающие, что Вы каждой своей строкой взрываете эмиграцию! Что Вы ее самый жестокий (ибо бескорыстный — и добродушный) судья.

Вся Ваша поэзия — самосуд: эмиграции над самой собой.

Уверяю Вас, что (статьи Милюкова⁵ пройдут, а...) это — останется. Но мне-то, не а в и д я щ ей политике, ею — б р е з г у ю щ ей, жалко, что Вы пошли ей на потребу.

— Привет! —

¹ Д о н А м и н а д о — псевдоним Аминада Петровича Шполянского (1888— ?), известного еще до революции поэта-сатирика, впоследствии эмигранта, постоянного сотрудника русской парижской газеты «Последние новости», где выступал со стихотворными фельетонами. М. Цветаева не была лично знакома с Доном Аминадо.

² К чему? (франц.).

³ Величия (итал.).

⁴ Блаженно и глупо (франц.).

⁵ М и л ю к о в П. Н. (1859—1943) — историк, лидер кадетской партии, после Октябрьской революции — эмигрант; был главным редактором газеты «Последние новости».

XXIII

ИЗ ПИСЬМА ДОЧЕРИ

[Москва, весна 1941 года.]

...Мне 48 лет, а пишу я — 40 лет, если не 42,— и я, конечно, по природе своей — филолог, и — нынче, в крохотном словарчике, и даже в трех, узнаю, что ПАЖИТЬ — пастбище, а вовсе не поле; нива: сжатое, отдыхающее поле. И так, я всю жизнь считала и (о ужас!), может быть, писала пажить — полем, а это — луг, луговина. Но — вопреки трем словарям — (не сговорившись: один французский, старый, другой — советского издания, третий — немецкий) — всё еще не верю. Пáжить звучит: жать, жатва.

А вчера один (незнакомый мне) композитор — по радио — собственным голосом: «Эту оперу я должен написать очень быстро, потому что театр приступает к постановке уже тогда-то». Спросила мысленно: «А как Вы делаете, чтобы писать быстро? Написать — быстро? Разве это от Вас (— нас —) зависит? Разве Вы — списываете?»

Еще: «Театр приступает к постановке уже тогда-то». К постановке ненаписанной, несуществующей оперы! Фамилия композитора — единственная достоверность.

Быстро. Можно писать не отрываясь, спины не разгибая, и — за целый день — ничего. Можно не, к столу не присесть — и вдруг — всё четверостишие готово, вс время выжимки последней в стирке рубашки, или лихорадочно роясь в сумке, набирая ровно 50 коп., — думая о: 20 и 20 и 10. И т. д.

Писать каждый день. Да. Я это делаю всю (сознательную) жизнь. На авось. Авось да — — —. Но от «каждый день» до: «написать быстро»... Откуда у него уверенность? Опыт? У меня тоже — опыт. Тот же. «Крысолов»¹, сданный в журнал и т р е б о в а в ш и й по главе в месяц. Но — разве я когда-нибудь знала, что допишу к сроку? Разве я знала — длину главы: когда глава кончится? Глава — вдруг — кончалась сама, на нужной ей слове (тогда — с л о г е). На нужной вещи — слог. Можно впасть в отчаянье, что так медленно, но от этого — до писать быстро...

Да, да, так наживается благополучие, так, может быть (поверим в злостное чудо!), пишутся, получаются, о к а з ы в а ю т с я гениальные оперы, но этими словами роняется достоинство творца.

Никакие театры, никакие гонорары, никакая н у ж д а не заставит меня сдать рукопись до последней проставленной точки, а срок этой точки — известен только Богу. Богу поэтов.

«С Богом!» или «Господи, дай!» — так начиналась каждая моя вещь, так начинается каждый мой даже самый жалкий перевод. Это не молитва, хотя бы потому, что — т р е б о в а н и е. Я никогда не просила «свыше» — рифмы (э т о — мое дело!) — я просила (требовала!) — силы найти ее, силы на это мучение. И это мне давалось; подавалось.

Вот сейчас — два дня билась над — оцени подстрочник! —

А я — полный всех даров, науками, искусствами,
 Все же сентиментален, готов сказать глупость банальную:
 «Такая тоска ноет у меня в сердце
 От полей только что сжатых!»

Конечно, «только что сжатые поля» не влезали в размер. Вертела, перефразировала, иносказывала, ум за разум заходил — важна здесь простота возгласа. И когда, наконец, отчаявшись, забралась на кровать под вязаное одеяло — вдруг — сразу — строки:

Какая нá сердце пустота
 От снятого урожая!

Это мне — в награду за старание. У д а ч а — т. е. сразу само приходящее — дар. А такое — после стольких мучений — награда.

Зимой работала над книгой стихов для Госиздата² — и над самими стихами, что в нее вошли, — видя, что можно еще точнее, вернее (некоторые строки и даже четверостишия), а раз можно — значит, дóлжно, значит — нельзя не [...]

¹ Поэма М. Цветаевой, писавшаяся в 1925 году (с марта по ноябрь).

² В 1940 году М. Цветаева готовила книгу стихов, выходу которой в Гослитиздате помешала война; многие стихотворения она подвергла правке и переработке.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

А. ДЕМЕНТЬЕВ

★

О ТРАДИЦИЯХ И НАРОДНОСТИ

(Литературные заметки)

Можно было предположить, что бурное обсуждение статей В. Чалмаева «Великие искания» и «Неизбежность» («Молодая гвардия», №№ 3 и 9, 1968) к концу прошлого года затихнет. Отрицательное мнение о них было почти единодушным. Казалось, что дальнейший разговор не имеет смысла.

Однако в январском номере журнала «Москва» за этот год по поводу «Неизбежности» высказался А. Метченко, а в следующем месяце на страницах самой «Молодой гвардии» — Анатолий Ланщиков. Обсуждение статей В. Чалмаева пошло как бы по второму кругу. При этом и по тону и по содержанию новые выступления заметно отличаются от прошлогодних: их авторы пытаются «отдать должное» статьям В. Чалмаева и даже защитить их.

А. Метченко видит в «Неизбежности» «уязвимые места» и «полемиические «заскоки», но его «подкупает искренность статьи и то, что можно назвать «криком души», вызванным нездоровыми явлениями современной «западной культуры», проникающими и в нашу среду». Уважаемый ученый пишет, что помнит соху («именно этим дедовским орудием я провел свою первую борозду...») и улавливает в статье В. Чалмаева «неподдельное, искреннее восхищение нравственной стойкостью и красотой души русского народа» и «веру в то, что народ русский — не Иван, не помнящий родства, расстранжиривший по белу свету сокровища, накопленные его предками, а рачительный наследник этих сокровищ». «Немалое из того, что так дорого В. Чалмаеву, — пишет

А. Метченко, — я мог бы принять не только мыслью, но и сердцем».

Что же касается Ан. Ланщикова, то он без всяких «романтических затей» защищает В. Чалмаева или по меньшей мере пытается смягчить посыпавшиеся на того «удары». И надо сказать, что критик решает поставленную перед собой задачу с остроумием, достойным лучшего применения¹. Избран мишенью две-три фразы из статьи Ю. Суровцева «Придуманная «неизбежность», он открывает по ним огонь длинными очередями. О выступлениях же В. Чалмаева Ан. Ланщиков сообщает читателям, что в них наблюдаются «издержки метода», которые сказываются порой в слишком однозначном, буквальном прочтении текстов. Категорически отрицает Ан. Ланщиков наличие у В. Чалмаева каких-либо дурных замыслов и намерений.

Таким образом, обсуждение статей В. Чалмаева продолжается.

1

Менее всего в этом повинен, как мне кажется, сам В. Чалмаев. Его статьи, если отвлечься от некоторых приводящих обстоятельство, не заслуживают серьезного разговора. Они не отличаются ни глубиной или оригинальностью идей, ни убежденностью, ни блеском изложения. В них больше пены и накипи, брожения смутных эмоций и желаний, чем продуманного содержания.

¹ Впрочем, это остроумие пришлось весьма кстати в последней части статьи, в полемике с Д. Стариковым.

Ошеломляет «эрудиция» автора. Отвага, с которой он ринулся на литературную арену, соединяется в его статьях с паразитической беззаботностью по части знаний. Фауста Гёте В. Чалмаев считает юношей; известные строки Блока: «Но узнаю тебя, начало высоких и мятежных дней!» (из стихотворения «Опять над полем Куликовым...») — приписывает Бунину; про частушку «Эх, завод ты мой, завод, желтоглазина» пишет, что эта частушка рабочих звучит в «Деле Артамоновых», в то время как она «звучит» в поэме «Владимир Ильич Ленин» Маяковского, а не в романе Горького; Нила Саровского Чалмаев, по-видимому, смонтировал из Серафима Саровского и Нила Сорского; роман И. Макарова «Стальные ребра» называет «Стальные ребята»; К. Леонтьева объявляет другом Л. Толстого и т. д. Поистине, «есть от чего в отчаянье прийти».

Статьи В. Чалмаева привлекли внимание и вызывают споры не сами по себе, а — хотя бы вкривь и вкось — затронутыми в них вопросами, симптоматичностью настроений, известной характерностью их тенденций.

Громко высказывает В. Чалмаев свою озлобленность проникновением в нашу жизнь «культы сытости», распространением в литературе и искусстве «бездуховного слова», «дешевой моды», «транзисторных мелодий», «туристских песенок». «Варварство в целлофановой обертке, в «модерной» суперобложке, рекламируемое нередко и голубым экраном и магнитофонной лентой», по мнению В. Чалмаева, превращает людей в роботов и засыпает песком забвения истинные ценности культуры. С таким же пафосом В. Чалмаев славит и утверждает отечественные «истоки» и традиции, «землю» и «почву», патриотизм и народность, «нравственную природу России» и «святыни национального духа». Он как бы пытается придать некое направление примечательному для наших дней интересу широких кругов советского общества, и особенно молодежи, к отечественной старине, древнему зодчеству, живописи и прикладному искусству, памятным событиям отечественной истории.

Конечно, не только В. Чалмаев озабочен проникновением к нам чуждых представлений об идеалах, мещанских нравах, модернизма и упадочничества. Забывать об опасностях такого рода не приходится. Более того, В. Чалмаев встревожен, какжется, по преимуществу популярностью среди молодежи

некоторых советских поэтов и прозаиков, любителей «эстрады» и «небрежной современной манеры» и по этому поводу издает свой «крик души», хотя современная идеологическая борьба имеет куда более серьезный и глубокий характер. И угрожает нам не столько проникновение мелодий, мод или манер, сколько влияние идеалистических и вульгарно-материалистических тенденций в области философии, социологии и эстетики, ревизионистских и догматических извращений марксизма-ленинизма, пропаганды «идеологического разоружения», национализма. «Бездуховности» и «культу сытости» В. Чалмаев противопоставляет патриотизм, национальные традиции, душу русского народа. Как уже говорилось, А. Мегченко готов принять немалое из того, что дорого В. Чалмаеву, «не только мыслью, но и сердцем». Порыв ученого понятен и делает честь его «сердцу». Что же касается «мысли», то, прежде чем «принимать», лучше было все-таки основательнее разобраться в том, что Чалмаев имеет в виду, говоря о сокровищах, накопленных предками, или о красоте души русского человека.

Любовь к родине, национальная гордость, уважение к традициям, к прошлому своего народа — безусловные и глубокие чувства. Они формируются еще в детстве и отрочестве и постепенно овладевают разумом и нравственностью человека. Разве не родная природа дарит нам счастливейшие часы, разве не дорога каждому из нас «малая родина» — места, где прошли золотые годы детства и юности? И у кого порой не выступали на глазах слезы от слов и мелодий русской песни? Гордость и волнение вызывают в нас достижения русского творчества, преданья старины глубокой, памятники древнего зодчества и живописи, русское искусство и литература, самоотверженные искания русской общественной, философской, научной мысли. Патриотизм — это та духовная почва, на которой выросли воинская слава русского оружия, беззаветная борьба русского народа против крепостничества и капитализма, угнетения и бесправия, великая русская литература, искусство, культура.

Можно только радоваться, видя, как многочисленные группы наших туристов едут сегодня на Север, чтобы посетить Кижы, Соловецкий монастырь, посмотреть древние города и села, узнать старинные обычаи, послушать народные песни, как год за годом

растет число экскурсий в Новгород и Псков, в Ростов Великий и Суздаль, в Пушкинские Горы и Ясную Поляну, на Бородинское поле и поле Куликово. Нечего и говорить о том, как обогащают и возвышают душу такие встречи с отечественными святынями, как способствуют они эстетическому и нравственному воспитанию молодежи, предохраняя ее от национального нигилизма и вульгарной утилитарности.

Когда во время первой мировой войны буржуазная и социал-шовинистская печать подняла клеветническую кампанию против большевиков, обвиняя их в отсутствии национальной гордости и любви к родине, В. И. Ленин ответил на клевету известной статьей «О национальной гордости великороссов». «Чуждо ли нам, великорусским сознательным пролетариям, чувство национальной гордости? Конечно, нет! — заявил он. — Мы любим свой язык и свою родину, мы больше всего работаем над тем, чтобы ее трудящиеся массы (т. е. $\frac{9}{10}$ ее населения) поднять до сознательной жизни демократов и социалистов. Нам больше всего видеть и чувствовать, каким насилиям, гнету и издевательствам подвергают нашу прекрасную родину царские палачи, дворяне и капиталисты».

После Октябрьской революции любовь к родине стала любовью к социалистической отчизне, и до-новому, нежели во время империалистической войны, встал вопрос о защите отечества. «Ту Россию, которая освободилась, которая за два года выстрадала свою советскую революцию, эту Россию мы будем защищать до последней капли крови!» — писал Ленин в 1920 году.

Советский патриотизм и национальные традиции народов нашей страны, давно и неразрывно связанные с передовой русской культурой, сыграли огромную роль в истории нашего государства, в Великой Отечественной войне.

Однако и в наше время нельзя забывать, что под флагом патриотизма, народности, национальных традиций в нашей дореволюционной истории выступали самые разные — нередко враждебные друг другу — партии, течения, направления, группы вплоть до ультрареакционных и черносотенных. Наряду с патриотизмом борцов за свободу существовала народность официальная, был патриотизм «квасной» и казенный, националистический и великодержавный.

История нашей страны знала много разного рода «патриотов», громко заявлявших о своей любви к родине и национальным традициям, но любивших Россию самодержавную, церковную, поместную, в лучшем случае патриархально-крестьянскую. В прошлом России они восхваляли все, что способствовало укреплению царской власти, православия и крепостничества.

С псевдопатриотизмом разного рода передовая общественная мысль России и унаследовавший ее традиции ленинизм всегда вели непримиримую борьбу. И даже славянофилы и названные в статье В. Чалмаева Ап. Григорьев и В. Ключевский, при всех их достоинствах, не могут быть в наше время высшим авторитетом при решении вопросов патриотизма, народности, национальных традиций.

Обратимся к статьям В. Чалмаева.

Один из критиков «Неизбежности» заметил, что В. Чалмаев «стреляет из негодного оружия». Но почему же это случилось? Почему В. Чалмаев ухватился за негодное оружие? Может быть, это произошло от страха и паники? Может быть, он настолько преувеличил обнаруженные им опасности, что потерял голову? Известно, что у некоторых людей беспокойство легко превращается в мнительность, озабоченность — в растерянность, бдительность — в тотальную подозрительность. Такие люди могут принести немало вреда.

При чтении статей «Великие искания» и «Неизбежность» известные сомнения на счет годности оружия, избранного В. Чалмаевым, возникают еще до того, как постигаешь всю их премудрость. Словно из мешка, сыплет наш автор такими выражениями, как «священный идеализм», «стихия духовности», «идеальность верований», «всеосеняющая, выводящая умы к огненным страстям идея», «неразменная духовная сущность», «Русь изначальная, не тронутая «суетой», «цивилизация души», «смерчи страданий и дум», «порывы к душевной открытости», «огонь просветленной человечности, доброты и сердечности», «окрыляющая праздничность» и т. д. и т. п.

Фразеология особенная, витийственная, корнями своими уходящая едва ли не в церковное красноречие. Но какой же смысл открывается за этим пышноречием, каково реальное содержание статей В. Чалмаева, как понимает он отечественные традиции, народность, патриотизм? Посмотрим.

Начнем с отношения нашего критика к русским революционным демократам и искусству, так или иначе связанному с их идеями. Слова В. Чалмаева о «Современнике», в дискуссиях которого якобы мельчали и покрывались публицистическим налетом культурные ценности тридцатых годов, уже вызвали решительные возражения в нашей печати. Но следует познакомиться с другими высказываниями критика на эту тему.

В статье «Великие искания», рисуя своим размашистым пером атмосферу, воцарившуюся в России в конце XIX и начале XX веков, В. Чалмаев пишет: «Исчерпали себя мелочный рационализм, рецепты общественного блага, годные для аккуратной Дании, померк ореол даже «алюминиевых дворцов» из снов героини Чернышевского, как и писаревского идеала «реалиста» Базарова».

Но почему же идеалы Н. Чернышевского и Д. Писарева поставлены рядом с «мелочным рационализмом» и почему это их «ореол померк»? В чьих глазах? В глазах революционной интеллигенции и передовых рабочих? В. И. Ленина? Авторов известных книг о Чернышевском — Г. В. Плеханова и Ю. Стеклова? Или известных статей о Писареве и Базарове Веры Засулич и В. В. Воробьевского? В глазах восторженного поклонника Базарова — К. А. Тимирязева? Ореол идеалов Чернышевского и Писарева померк лишь в глазах разного рода декадентов и участников позорного сборника «Вехи».

Характерно и мнение В. Чалмаева о художниках-передвижниках. Они, по его словам, тоже «угасали», так как полотна их, «сыгравшие свою роль в разоблачении множества прорех послереформенного уклада России», не могли будто бы «выразить народную тоску по идеалу красоты, нравственной силе, как это делали полотна Нестерова, Врубеля, Серова, Левитана, Малевича, Коровина, словно возродившие рублевскую страстность, трепетность мысли о России и народе, дух вечной, тысячелетней России». Но можно высоко ценить творчество художников, возродивших, по словам В. Чалмаева, «дух вечной, тысячелетней России» и ее тоску по идеалу красоты, — и нисколько не умалять при этом творчества передвижников. Сводить живопись передвижников к «разоблачению прорех» (опять «публицистический налет»?!) и не видеть в ней «трепетности мысли о России и народе» — это просто развязность, и как раз в «западном», снобистском духе.

И. Е. Репин писал о протесте художников шестидесятых годов против рутинности, подражания иностранным мастерам в академической живописи, что этот протест имел глубокое национальное основание: «Художники инстинктивно чувствовали в себе уже представителей земли русской от искусства. Да даже и практически это было так. Их выделил из своей среды русский народ, как художников, и ждал от них понятного ему, родного искусства».

У В. Чалмаева свое, особое понимание отечественных традиций, народности и патриотизма. Его сочувствие и симпатии отданы не революционным демократам или художникам-передвижникам, а «патриотам-пустынножителям», «патриотам-патриархам», «реформаторам церкви», «духовным ратборцам». Именно им он отводит решающую роль в «цивилизации русской души». Особенно восхищен критик «жемчужинами народного духа», которые «выбросила эпоха раскола» и т. д. Из более поздних «праведников» он даже Иоанна Кронштадтского, Серафима Саровского (именуемого Нилом) и других масштабом поменьше готов огнести к людям, рожденным босячкой, крестьянской Русью и ожиданием «чуда».

Все это, естественно, вызвало возражения со стороны критиков. Они напомнили, что «русская душа возвещала о себе» не только в монастырях, но и в восстаниях Разина, Болотникова и Пугачева, в движении декабристов и народников, на баррикадах первой русской революции и при штурме Зимнего дворца.

Действительно, рассуждая о наших отечественных традициях и национальной гордости, В. Чалмаев, казалось бы, должен был вспомнить о героях 1905 и 1917 годов. Тем более что сделать это ему представлялся удобный случай: его статья «Великие искания» посвящена Горькому — писателю, который ввел в мировую литературу образ русского революционного рабочего. Но, увы...

Высшим проявлением национального характера В. Чалмаев считает горьковские образы русских капиталистов. «Горьковские Егор Булычов, Васса Железнова, Артамонов-старший, купцы в «Самгине», — пишет он, — предстали как воплощение силы, мужества, совестливости, не «уложившейся» в безнравственные рамки мелкого стяжания». В бунте и «выламывании» Фомы Гордеева и Егора Булычова из своей среды он видит «признак национальной одаренности», черту

«величия русской души», «исторически сложившееся свойство русского национально-го характера — внутренне присущее ему непрерывное развитие, «текущность», какую-то неуправляемую языческую свободу». Гордевы и Бульчов — это, для В. Чалмаева, «современные Аввакумы, Буслаевы, Пусто-святы», в них отозвалась русская — от Кольцова до Павла Васильева — песня, «этот хмель народной души».

Картина ясная: не без ловкости перетолковывая Горького, В. Чалмаев опять демонстрирует свое особое, «почвенническое» понимание патриотизма и народности. И нельзя не вспомнить здесь известные слова Ап. Григорьева из письма славянофилу А. Кошелеву: «Убежденные, как вы же, что залог будущего России хранится только в классах народа, сохранившего веру, нравы, язык отцов, — в классах, не тронутых фальшью цивилизации, мы не берем таковым исключительно одно крестьянство: в классе среднем, промышленном, купеческом по преимуществу, видим старую извечную Русь».

Характерны не только те пристрастия и отталкивания В. Чалмаева, о которых речь шла выше, но и его отношение к различным периодам русской истории. Впрочем, одно связано с другим. Так, десятилетие, наступившее после поражения первой русской революции, критик считает эпохой революции в духовном мире, временем, когда русская культура сделала новые шаги в «художественном развитии человечества», развив «патриотическую тему в творчестве Врубеля, Нестерова, Блока, Рахманинова, Прокофьева»... В связи с этим он явно недоволен позицией Горького, занятой им в годы реакции. По его мнению, возвеличение деловитости, активности и волевого начала в лице Власова и Находки поставило автора «Матери» в своеобразную «оппозицию» к деятелям русской культуры, «так или иначе исходившим из идей русского мес-сианства, из традиций славянофильской идеализации России, которую «Христос исходил благословляя».

Возражает, конечно, В. Чалмаев и против известной оценки Горького (в докладе на Первом съезде советских писателей): «позорное десятилетие» в истории русской интеллигенции. Он считает, что Горький произнес эти слова «в запальчивости».

Однако напрасно В. Чалмаев выдает борьбу Горького с декадентством в эпоху реак-

ции за своеобразную «оппозицию» к деятелям русской культуры. Критику видится в ней как бы недооценка патриотического направления в русском искусстве и литературе. На деле же это была борьба с псевдо-народными интерпретациями идей патриотизма. Что же касается «позорного десятилетия», то при чем здесь «запальчивость»? Разве Горький раньше или позднее называл его иначе? И разве в эти годы реакции, виселиц и погромов не было или было мало идейного отступничества, «ниудина смеха», оплевывания революции и революционеров, проповеди мистики, порнографии и крайнего индивидуализма — всего того, что заставило Горького говорить о «позорном десятилетии»? Известно, что знаменитая энциклопедия ренегатства «Вехи», что в литературе в это десятилетие процветали «господа Смертяшкины». Известны вопиющие факты, которые приведены в «Разрушении личности» Горького, в известных сборниках «Литературный распад», в статьях В. И. Ленина «О «Вехах» и «Еще один поход на демократию». Конечно, в истории русского искусства и это межреволюционное десятилетие было ознаменовано многообразными и яркими достижениями, и к названным В. Чалмаевым художникам, композиторам, писателям можно прибавить и много других — в частности, самого Горького и молодого Маяковского. Но одно не исключает другого. И стремление В. Чалмаева реабилитировать и возвеличить время столыпинской реакции представляется таковой же сомнительной затеей, как и попытка В. Кожина объявить «духовной Элладой» тридцатые годы прошлого века, период, наступивший после поражения декабристов. А если вспомнить, что оба автора одновременно вольно или невольно набрасывают тень на эпохи общественного подъема («публицистический налет», отсутствие «высшего творческого состояния» и т. п.), то недоумение возрастает еще более. Ведь не думают же В. Чалмаев и В. Кожин, что деспотизм и реакция способствуют развитию литературы и искусства?

Итак, становится яснее, как понимает В. Чалмаев русские национальные традиции и высшие проявления русского национального характера. Обнаружилось, что его понимание ближе к эпигонским вариациям славянофильства и почвенничества, нежели к взглядам, свойственным нашей науке.

Однако некоторым читателям может показаться, что чалмаевская трактовка национальных традиций расширяет и обогащает наши представления о сокровищах, накопленных предками, об их ценности и значении и противостоит обедненным и обуженным суждениям на этот счет.

Да, конечно, вульгарно-социологический подход к проблемам культуры, упрощенно трактующий ленинское положение о двух культурах в каждой национальной культуре, сильно обедняет наше национальное культурное наследие. Немало замечательных картин (вплоть до картин Врубеля, Кустодиева и Малявина) еще в недавние времена лежало в запасниках музеев и картинных галерей, немало прекрасных музыкальных произведений (вплоть до произведений Скрябина и Стравинского) не исполнялось в концертах, немало романов и повестей (вплоть до романов Ф. М. Достоевского) находилось как бы в опале.

Но В. Чалмаев и его единомышленники, исходя из своей интерпретации русской культуры, на место такого сектантского подхода к наследию ставят другой, столь же ограниченный и односторонний. Поэтизируя раскол, они отодвигают на второй и третий план освободительное движение русского народа; выдвигая «мыслителей» славянофильского типа, они пытаются поколебать авторитет революционных демократов и набросить тень на их борьбу с идейной реакцией; преклоняясь перед художниками начала XX века, они недооценивают творчество передвижников; превознося одни периоды русской истории, они принижают другие и т. д. Между тем ничто не мешает высоко ценить «Слово о полку Игореве», «Житие протопопа Аввакума» и «Троицу» Рублева, музыку Глинки и «Могучей кучки» и одновременно Рахманинова и Скрябина, живопись передвижников и В. Серова, Нестерова, Коровина, произведения Чернышевского и Достоевского, Горького и Бунина, Маяковского и Блока. Наше национальное наследие богато и многообразно, и нет никаких оснований его обеднять, урезывать, ограничивать. Анализировать конкретные особенности тех или иных произведений и общие тенденции того или иного направления, разумеется, необходимо. Одно мы можем признать более близким к нашей культуре, другое более далеким от нас, но все подлинное искусство нам ценно как наше

культурное достояние. Таков, как мне кажется, истинный взгляд на проблему наследия.

Это, разумеется, не означает, что нет наследия, от которого мы отказываемся. Достаточно указать хотя бы на такие явления в области идеологии, как «официальная народность», церковное и светское мракобесие, либеральное ренегатство, черносотенство, достаточно сослаться на газеты и журналы Булгарина и Аскооченского, Каткова и Суворина, напомнить об антинигилистическом романе шестидесятых — восьмидесятых годов, о декадентстве в литературе и искусстве, чтобы убедиться в том, что в дореволюционной России существовала не только народная передовая демократическая культура, но и культура господствующих классов, реакционная и антидемократическая. Между этими двумя культурами шла непримиримая борьба.

Вот почему, с гордостью обращаясь к отечественным традициям, мы чаще всего имеем в виду совсем не то, чем гордятся деятели вроде К. Леонтьева и даже К. Аксакова. Так, гордясь ратными подвигами русского народа, мы совершенно чужды пафоса великодержавности, «ура-патриотизма» и отделяем справедливые войны за независимость отечества от несправедливых, захватнических войн царизма.

И слова приходится недоумевать, читая у В. Чалмаева, что К. Маркс якобы «с глубоким уважением» писал в «Секретной дипломатии», как «изумленная Европа... была ошеломлена внезапным появлением огромной империи на ее восточных границах»... Откуда В. Чалмаеву известно, что Маркс писал «с глубоким уважением»? Вот сам В. Чалмаев, несомненно, с восторгом пишет о том, что к XX веку «закончилось многовековое собирание русской земли, добывание неведомой земли под могучую руку властителей». О каком собирании русской земли, закончившемся к XX веку (?!), о каком добывании неведомой земли (?!), о каких могучих властителях (?!) идет речь, В. Чалмаев не разъясняет.

С ненавистью писал В. И. Ленин о царизме, который под видом «защиты отечества» приучал население Великороссии угнетать другие народы «Не может быть свободен народ, который угнетает чужие народы», — так говорили величайшие представители последовательной демократии XIX века, Маркс и Энгельс, ставшие учителями революцион-

ного пролетариата, — писал Ленин. — И мы, великорусские рабочие, полные чувства национальной гордости, хотим во что бы то ни стало свободной и независимой, самостоятельной, демократической, республиканской, гордой Великороссии, строящей свои отношения к соседям на человеческом принципе равенства, а не на унижающем великую нацию крепостническом принципе привилегий».

Слова В. И. Ленина о демократической и гордой Великороссии, строящей свои отношения к соседям и другим народам на человеческом принципе равенства, подводят нас вплотную к вопросу о «России и Западе». Споры о национальных традициях всегда неизбежно переплетаются со спорами о «России и Западе». Не обошел этого вопроса и В. Чалмаев.

В статьях нашего критика Россия и Запад в прошлом и настоящем противопоставлены друг другу не менее резко, чем в публицистике славянофилов и почвенников. Россия, как тысячелетний организм, сохранила свою духовную красоту и под татарским игом, и под натиском буржуазной морали, чистогана, бездушия, рационализма; Запад же стал «благоустроенным муравейником», где царит новое варварство, мещанство, дешевая prostituiрованная культура, власть сытости, куска, комфорта, где душа стала синонимом желудка. «Ведь есть же в сердце России, — пишет В. Чалмаев, — тот заветный ключ, родник, который незаметно, но непрерывно рождает кристально-чистый, светлосный поток идей, чувств, так необходимых в XX веке, когда Запад уже задыхался от бездушия, избытка ненависти, рационализма мещан, культа толпы, террора безнравственного общественного мнения, созидаемого продажной прессой».

В. Чалмаев говорит о России и Западе скорее языком славянофильского мессианства, чем языком наших современников. И опять-таки — с использованием соответствующей фразеологии: «заветный ключ», «светлосный поток идей» и т. д.

Наша наука, конечно, не игнорирует своеобразия исторического развития отдельных наций и особенностей национального характера и культуры того или иного народа. Но современные международные отношения она трактует прежде всего как борьбу мира социализма с миром капитализма. Иначе говоря, в основе современной борьбы «России» и «Запада» лежат не национальные различия, а социальные,

классовые. При этом имеется в виду, что в капиталистическом мире (как в свое время в дореволюционной России) есть две нации в каждой нации, две культуры в каждой национальной культуре. Иной подход ничего, кроме вреда, принести не может.

В статьях В. Чалмаева понятия «Россия» и «Запад» носят внеисторический и асоциальный характер. Он знает лишь вечную, тысячелетнюю и единую Россию и «мелководную Европу», «бездушную Америку», «аккуратную Данию» и т. п. В России, по его мнению, даже капиталисты являлись носителями «общерусского неприятия капитализма» и «общенационального протеста» против буржуазного благоденствия, на Западе же даже трудовой народ превратился в «толпу», живущую утробными интересами, погруженную в болото мещанства. «Капитал, — пишет В. Чалмаев, — неумолимо превращает народ как духовный организм в арифметическую сумму стандартных лиц, в толпу одиночек, помышляющих только о простеньких бытовых потребностях».

Отсюда уже один шаг до национального высокомерия и кичливости, до идеи национальной исключительности и превосходства русской нации над всеми другими, до идеологии, которая несовместима с пролетарским интернационализмом. Еще Добролюбов писал, что «настоящий патриотизм как частное проявление любви к человечеству не уживается с неприязнью к отдельным народностям», что «настоящий патриот терпеть не может хвастливых и восторженных восклицаний о своем народе».

Но В. Чалмаевым владеют иные умонастроения. О таких чертах русского национального характера, как чувство социальной справедливости, патриотизм, мужество, совестливость, правдоискательство, он пишет так, как будто другим народам о них и мечтать не приходится. В России, по его словам, рождаются «человеческие характеры, крупнее которых в тот или иной век во всем мире не было». Иронические слова Чалмаева о том, что история Запада в отличие от русской истории пересыпана «массой занятных происшествий», уже вызвали справедливое возражение со стороны Ф. Чапчачова. «Что понимать под «занятыми происшествиями»? — спрашивает Чапчачов. — Думаю, что критик все же не имел в виду крестьянские войны в Германии и Чехии, восстание Уота Тайлера и Жакерию, казнь Джордано Бруно, подвиги во имя народа,

совершенные Костюшко и Кошутом, героизм силезских ткачей и парижских коммунаров и мученическую смерть тех, кто пал в Чикаго в самую первую демонстрацию рабочей солидарности».

В. Чалмаев предлагает понять то, «что понимал С. Есенин, сопоставляя космополитическую, бездушную цивилизацию Америки с духовностью России: «Америка это тот сирад, где пропадает не только искусство, но вообще лучшие порывы человечества. Если сегодня держат курс на Америку, то я готов тогда предпочесть наше серое небо и наш пейзаж: изба немного вросла в землю, прясло, из прясла торчит огромная жердь, вдалеке машет хвостом на ветру тощая лошаденка...»

Понять настроение С. Есенина можно, но понять и оправдать критика, который пытается выдать это настроение поэта за некую «общую идею», невозможно. Не на «Америку», но и не на «избу, немного вросшую в землю», — курс у нас был взят на социализм. Это, кстати сказать, понимал и С. Есенин. В 1923 году по возвращении из Европы и Америки на родину он писал в очерке «Железный Миргород», что, вспомнив про нашу деревню, где чуть ли не в каждой избе спит телок на соломе или свинья с поросятами, про наши непролазные дороги, он стал ругать всех, цепляющихся за старую Русь, и еще больше влюбился в коммунистическое строительство¹.

После всего сказанного довольно неожиданно появляется в статье «Неизбежность» следующий пассаж: «Сейчас нередко наблюдается своеобразный разрыв между социальным и национальным... Мы имеем целый поток стихотворных произведений, где без конца повторяется слово «Русь», «Россия», идут картины вневременного, внесоциального, какого-то идеализированного деревенского «оазиса», царства фатальной тишины. В этом плане особенно поучителен последний сборник В. Цыбина «Ау», в котором поэт нередко даже трухлявую стену избы ставит выше всего «городского». Это поза, а не позиция защитника национальных устоев, объ-

¹ Говоря об американизме, о том, что Америка живет без идей, В. Чалмаев с сочувствием цитирует еще одного литератора, но не называет его. Это В. В. Розанов («Итальянские впечатления». СПб. 1909. стр. 207—208). Почему же В. Чалмаев не назвал столь известного писателя? В Розанов составил бы хорошую компанию К. Леонтьеву.

ективно очень вредящая осознанию Советской Родины».

Что же происходит? Оказывается, это В. Цыбин «разрывает», «стоит в позе» и «объективно вредит», а В. Чалмаев его осуждает! Но пусть читатель не понимает приведенных слов из статьи «Неизбежность» слишком буквально. Просто В. Чалмаеву выгодно указать на сучок в глазу брата своего, чтобы не увидели бревно в глазу его собственном. Ведь это В. Чалмаев выдает крестьянского Саврасушку за олицетворение русского народа, именно в деревне видит оплот отечественных традиций, поэтизирует вековую тишину во глубине России и возлагает все надежды на крестьянских коней, которым присуще «внутреннее чувство пути» и которые вывезут даже среди бездорожья, среди воя «бесов». Критика уже указывала В. Чалмаеву, что «исключительно в крестьянине видеть типичного представителя народа — по меньшей мере наивно».

Больше того, пожалуй, никто из «мужиковствующих» поэтов и критиков не относился с таким пренебрежением к повышению материального уровня жизни крестьянства, к постройке в деревне новых домов с шиферными крышами, с городской мебелью и санузлами, к росту на селе числа кинотеатров, телевизоров, универмагов, бань и т. д., как В. Чалмаев. Дескать, смысл и цель жизни не в материальном, а в духовном, в идеальном, нравственном, в следовании отечественным традициям. Будущее деревни он ищет в прошлом, в обращении к «родникам», к «истокам», и решение ее судеб переносит из области «бухгалтерии» в «область сердца, нравственных терзаний».

Такая позиция кажется В. Чалмаеву не только мудрой, но и подлинно гуманной. И он охотно декламирует о том, что народ хочет быть «не только сытым, но и вечным», что «совесть и красота больше делают нас людьми, чем любая умная машина» и т. п. Но какая же цена всей этой словесности, если на деле она направлена на защиту старой деревни, связана с противопоставлением «земли» и «асфальта» и является помехой на пути к материальному и духовному развитию советского крестьянства?

В. Чалмаев даже уверяет, что отстаиваемая им «цивилизация» деревни будет подлинным торжеством ленинской программы культурной революции. Он рассказывает вслед за этим об известной беседе В. И. Ленина со студентами-вхутемасовцами в фев-

рале 1921 года: «Прочитав во время посещения Вхутемаса лозунг «Мы разносчики новой веры, красоте задающей железный тон, чтоб природами хилыми не сквернили скверы — в небеса шарахаем железобетон», В. И. Ленин заметил: «Шарахаем, да ведь это, пожалуй, не по-русски, а?» И одновременно защитил и Пушкина, и Некрасова: «Ведь на Некрасове целое поколение революционеров училось»...»

Да, любовь В. И. Ленина к русскому языку и литературе несомненна, и без уважения к отечественному наследию культурная революция в нашей стране немислима. Но В. Чалмаев использовал для своего рассказа о посещении Лениным Вхутемаса частью воспоминания И. Арманд, частью воспоминания С. Сенькина. В таком случае, вероятно, следовало бы указать, что реплика Ленина по поводу вхутемасовского лозунга (В. Чалмаев умалчивает почему-то, что слова лозунга взяты из стихов Маяковского) в воспоминаниях И. Арманд звучит несколько иначе: «Зачем же в небо шарахать? Железобетон нам на земле нужен». В связи со спорами о «земле» и «асфальте», о проблемах «цивилизации», о путях развития советской деревни эти слова В. И. Ленина пред- ставили бы особый интерес.

2

Статьи В. Чалмаева подкрепляются в журнале «Молодая гвардия» выступлениями других критиков. Методологические «открытия» В. Чалмаева получают в них практическое применение. Мелодии, звучавшие в статьях В. Чалмаева, освобождаются здесь от всего побочного и слышатся порою отчетливее, яснее¹.

Бросается в глаза близость исходных суждений, высказанных в некоторых рецензиях журнала. Если один критик хвалит прозаика за то, что у него «все произведение, от первой до последней страницы, проникнуто поэзией сельской жизни, трепетной любовью к людям, трудом своим украшающим родную землю-кормилицу», то другой критик

¹ Далее в моей статье речь пойдет о некоторых идеях и мотивах, явственно различных в произведениях критики и поэзии, печатавшихся в «Молодой гвардии» в 1968 году. Разумеется, я отнюдь не претендую на полный обзор и исчерпывающую характеристику всего разнообразного содержания журнала.

видит одно из главных достоинств поэта в том, что в его стихах звучит «любовь к сельскому миру, к тому «багряному морю рябин», блуждая по которому он обретает успокоение и душевную ясность».

Один критик с сочувствием отмечает постоянную привязанность поэта:

...Я с малых лет к деревне
Любовь свою несусь.

Другой восхищается прозаиком, выбравшим в герои своего рассказа человека, который «не понимает и не хочет он понимать жизни без земли, без деревни. Земля для него — что-то вечное, обязательное».

Каждое из этих высказываний в отдельности не имеет в себе ничего приметного и тем более предосудительного, но взятые вместе они приобретают характерный смысл. Как видно, особое пристрастие поэта или прозаика к «земле», к «деревне» единодушно считается некоторыми рецензентами «Молодой гвардии» важнейшим достоинством того или иного художественного произведения. П. Глинкин еще в 1967 году доказывал на страницах журнала, что «земля» — это хорошо, а «асфальт» — плохо. Другой критерий, с которыми эти критики подходят к литературе, — особая привязанность к старине, к «истокам». И здесь наши рецензенты на редкость единогласны. Не пожалеем места, приведем примеры.

Первый рецензент: «Заявляя о своей преданности «удивительному белоколонному» храму старины», лира поэта стремится «запечатлеть навеки дорогой облик Родины — «березы, избы по буграм», отраженную в пруде церковь — прекрасную, «как соч столегий». Герой поэта, конечно, понимает, что «прогресс несет сельщине благо. Сочувственно отмечает он, что «теперь в полях одни машины и не видать плохих кобыл». Но верно и то, что «по складу лирического дарования» поэт «больше тяготеет к анализу некоторых острых «граней между городом и селом», чем, скажем, к прославлению побед современной техники».

Второй рецензент: «Очень явственно, все отчетливее с годами звучат в поэзии А. Романова мотивы близости человека к своим истокам». Многие из того, «чем дорога и памятна деревня, стоит сохранить не только в памяти. Именно об этом Александр Романов говорит в стихотворении «Бывает, ельниками еду...». Речь в нем о белокаменных красавцах-соборах,

которые один за другим исчезают с лица земли волею равнодушных людей».

Третий рецензент: «Все образы стихов Б. Примерова принадлежат русским просторам, рязанскому небу, всему славянскому... В его поэтическом мире смотрят зеленые, как малахиты, глаза реки, тянутся длинной вереницей лебеди, тоскует разрыв-трава, стонет леший, встают бесстрашные атаманы, мчатся версты-кони, звучат солнечные гусли, открываются русалочки души деревьев и трав».

Вопрос о том, насколько глубоко и убедительно в художественном отношении показаны поэтами церкви, «прекрасные, как сон столетий», «белокаменные красавцы-соборы», «русалочки души деревьев и трав» и т. п., наших рецензентов почти не интересует. Художественный уровень и качество произведений литературы им почти безразличны. Лишь иногда тот или иной рецензент отметит «кристалльность» или «крылатость» стиха или напишет что-нибудь маловразумительное, вроде: «Книга удивительно портретная», «На первом плане всегда цепь деталей, обрамляющих образ» и т. п. Этим обычно дело и ограничивается.

Особого внимания читателей заслуживает статья М. Лобанова «Просвещенное мещанство» (№ 4). Вместе с выступлениями В. Чалмаева она может считаться программной. Но если в статьях В. Чалмаева раскрываются главным образом «позитивные» стороны известной позиции, то выступление М. Лобанова по преимуществу знакомит с тем «злом», с которым борются критики.

М. Лобанов весьма темпераментно и гневно выступает против так называемого «просвещенного мещанства», видя в нем непримиримого врага нашего народа, нашей культуры, искусства. И он прав: проблема мещанства на самом деле является для нас весьма серьезной, беспорно и то, что «просвещенное» мещанство проникает в разные области культуры, всюду распространяя с собой чуждые тенденции.

Но как изображает дело М. Лобанов? Оказывается, молодого человека нашей страны «со всех сторон облепляют — и выхолощенный язык, опустошающий мысль и чувство; и телевизионная суета; и нечто эстрадно-зазывное; и какая-то павильонная беготня кинофильмов». Такова будто бы «среда», «обстоятельство». Никаких иных, более обнадеживающих влияний критик не отмечает.

На самом деле: захотелось М. Лобанову посидеть у себя во дворе, пробежать газету — и вдруг ему стало совсем не по себе. Откуда-то сверху послышалось «что-то магнитофонно-стегающее, с гнусавинкой», и видит он, как «расположившиеся на соседней скамейке женщины («кто вяжет, кто разговаривает, кто с ребенком сидит») стали прищипывать ногами в такт звучащей из окна музыке. Ну не ужасно ли? «...Стало жутковато — что-то стадное было в этом слепом прищипывании, — пишет М. Лобанов. — Это пожилые-то так заработали, — негодует он. — А какой-нибудь вертун вовсе задрожит при звуках этих с гнусавинкой...»¹.

Это «обстановка» во дворе. А вот — на Донском кладбище, куда иногда заходит М. Лобанов (оно близости от его дома): «Не было еще дня, чтобы не слышал: «Скажите, а где могила Салтычихи?» Но не слышал ни разу: «Скажите, а где могила Чаадаева?» Или: «Где могила историка Ключевского?» Видимо, Салтычиха действует поострее... Как короед, мещанство подтачивает здоровый ствол нации», — пишет М. Лобанов.

Везде и всюду усматривает М. Лобанов «просвещенное мещанство». Его не проведешь ни образованием, ни эрудицией, ни артистизмом, ни интеллектуализмом. И в критике, и в науке, и в театре, и в литературе он находит «блеск интеллектуальной синтетикки». После его разоблачений уже не будешь без оглядки, неосмотрительно интересоваться пересадкой сердца, шахмат-

¹ Забегая несколько вперед, замечу, что еще сильнее, чем М. Лобанов, был раздосадован поэт Вл. Гордейчев, когда ему пришлось услышать, как из домиков, что лепятся по склону известного в его городе «Острогожного бугра», «рушатся синкопами на луг насада сатанеющего джаза»:

Чужой построй для радости сфарцован,
чужою дудкой тешимся, и где:
духовные наследники Кольцова
живут в старинной этой слободе!

И поэту становится еще более «жутковато», чем М. Лобанову. Из-под его пера вырываются мрачные, угрожающие и запугивающие пророчества:

Вблизи халуп над вечною рекою
подумал я о дне похмельном том,
в котором мы с протянутой рукою
к своим истокам собственным придем.
Беснуемся, не грянул гром покамест.
Но в звездный час, с осознанной виной,
оплатим ли, в забавах наших каясь,
задолженность гармонии родной?

ными турнирами, рассуждать о судьбах мировых цивилизаций и атомной бомбе, употребляют слова «руссоизм», «фатализм», «есенинщина» и т. п., опасаясь прослыть просвещенным мещанином. Даже в многочисленных дискуссиях критиков М. Лобанов видит мещанский расчет «любими способами войти в «историю литерагуры», примазываясь к истории великого народа».

Вообще ситуация — по Лобанову — весьма драматическая: мещанство подтачивает здоровый ствол нации, «у мещанства миниязык, мини-мысль, мини-чувство — все мини. И Родина для них — мини. И дружба народов — тоже... Мини торжествует». Понятие красоты, по словам М. Лобанова, мы исчерпываем красивым ширпотребом, смеяться разучились. «Смотришь,— пишет Лобанов,— здоровый мужик, добродушнейшая физиономия — думаешь, вот освежит душу своим столь же добродушно-открытым смехом, а он изобразит такое нечто учтивочичиковское, что тошно становится». Даже смерть для представителей современного просвещенного мещанства — «щенячье дело».

Как видно, дело обстоит крайне мрачно. И уж не статья ли М. Лобанова настолько перепугала В. Чалмаева, что тот ухватился за негодное оружие и издал «крик души» о невозможности прорваться к отечественным традициям и культуре? Или критики «Молодой гвардии» страшат друг друга и вместе — читателей журнала?

А корень всех бед М. Лобанов, как и В. Чалмаев, видит в том, что «просвещенное мещанство» оторвалось от национальной почвы, от истоков национальной культуры, от стихии народной жизни и пренебрегает историческим смыслом нации, ее местом в истории человечества. «Национальная культура для мещанства — пустой звук», — пишет критик. Она «столь же чужда мещанству, сколь соблазнительна для него международная вокзальная сутолока». И легко заметить, что постепенно под пером М. Лобанова и В. Чалмаева вырисовывается известная славянофильская «модель»: «публика и народ». Разница между «просвещенным мещанством» М. Лобанова и «публикой» К. Аксакова, да и между «народом» в понимании наших критиков и славянофилов, пожалуй, не столь значительна. Вообще многие мотивы статей В. Чалмаева и М. Лобанова — об оторванности интеллигенции от земли, о «просвещенном мещанстве», о сытости и вечном, о западноевропейском

«муравейнике» и т. п. — весьма явственно звучали уже в полемике славянофилов и в особенности почвенников с «Современником». И уже тогда была очевидна их беспочвенность и антинародность. Теперь же под пером наших критиков эти мотивы приобрели и типично эпигонский характер.

Это, разумеется, вовсе не означает, что в обличениях М. Лобанова совсем нет правды, над которой следовало бы задуматься. Она есть. Но как же все нарочито и сугубо сгущено, раздуто, деформировано!

М. Лобанов предлагает нам вообразить себе самочувствие Герцена, когда он за границей начинает «задыхаться от миазма буржуазной пошлости», обнаружив, что «мелкая и грязная среда мещанства», как тина, покрывает зеленью своей всю Францию. Что ж, вообразить себе самочувствие Герцена во Франции после поражения революции, при торжестве лавочников, можно, а вот понять самочувствие критиков «Молодой гвардии» М. Лобанова, В. Чалмаева и некоторых других гораздо труднее.

Со времен Герцена прошло много лет, свершилась великая революция, возник новый общественный строй — строй социализма, появилась новая интеллигенция из рабочих и крестьян, преданная делу коммунизма и социалистическому отечеству. Надо бы, кажется, принять это во внимание при разговоре о «просвещенном мещанстве»!

В. Чалмаев и М. Лобанов указывают на опасность чуждых идеологических влияний. Устоим ли мы, например, перед искусом «буржуазного благополучия» и «желудочных радостей»? Не проест ли нас тля буржуазности и мещанства? Не овладеет ли нами американизм духа? «Американизм духа поражает другие народы. Уже анахронизмом именуется национальное чувство», — пишет М. Лобанов, ссылаясь на пропаганду космополитической интеграции, которую активно ведут зарубежные буржуазные социологи. «В современной идейной борьбе соблазн «американизма» в быту, в культуре нельзя преуменьшать», — утверждает В. Чалмаев.

Правильно. Однако и преувеличивать тоже не надо. В дореволюционной России перед идущими с Запада буржуазными и мещанскими идеями и вкусами открывались куда большие возможности. И все же и тогда лучшие люди России были уверены в силе и самостоятельности национальной творческой мысли. «Неужели же мы так мало самобытны, так слабы, что должны бояться

ся всякого постороннего влияния и с детским ужасом отмахиваться от него, как бы он нас не испортил?» — писал И. С. Тургенев в 1868 году.

С тех пор прошло сто лет. Мы стали куда более сильными и самостоятельными, и «детский ужас» вовсе потерял резон. То или иное влияние всегда предполагает благоприятную почву, встречающую, воспринимающую среду. Советское общество по самой социально-политической природе своей не предрасположено к буржуазным влияниям. Случаи опасных идейных «заболеваний» есть и еще могут быть, и к ним нужно относиться со всей серьезностью, но нельзя во всем и всюду видеть «просвещенное мещанство», буржуазность, враждебный дух и то и дело восклицать: «жутковато!», «страшновато!» В таком настроении можно дойти до противопоставления народа и интеллигенции, подменить борьбу с чуждыми влияниями борьбой с творческими исканиями и творческим своеобразием, стать на позицию национальной самоизоляции. В. Чалмаева не удовлетворяет современный «интеллигентский этап» в возрождении отечественных традиций, и он пророчествует о наступлении нового «народного этапа»; «интеллигентский» и «народный» — противопоставляются. М. Лобанову по поводу одного весьма безобидного заявления Б. Окуджавы стало «даже как-то страшновато: попадиська под власть такой прогрессистской руки». Но, пожалуй, более опасно оказаться под рукой неистовых, не знающих удержу врагов «просвещенного мещанства» и горячих ревнителей «национального духа».

Что же касается «благополучия», «сытости», «благоденствия», которых так боятся В. Чалмаев и М. Лобанов, то не очевидно ли, что буржуазное благополучие, основанное на эксплуатации и частной собственности, нам не угрожает, а благоденствие и благополучие трудового народа являлось и является одной из важнейших целей нашего государства и коммунистической партии. Рост этого благоденствия и благополучия не только не ведет советский народ к «бездуховности», а, напротив, способствует и будет способствовать развитию и обогащению его культуры и духовной жизни.

Все это даже как-то неудобно разъяснять В. Чалмаеву и М. Лобанову, их единомышленникам и почитателям их статей — настолько это очевидно. Но что поделаешь...

Как же рекомендует М. Лобанов бороть-

ся с распространением мещанства и лечить выявленные им болезни? Конечно, как и В. Чалмаев, он рекомендует обращение к национальным традициям и к истокам народной жизни. Искать их он тоже советует в деревне.

Сам он обретает покой и утешение в родной Мещере, в «тихой деревушке» Егорове, побывав с дядей в гостях у родственников и встретившись там с молчаливым и застенчивым земляком, кавалером двенадцати орденов и медалей, и таким же гроем-фронтовиком — Иваном Макаровичем Марушкиным. «Потом, — пишет М. Лобанов, — когда в метель мы возвращались лесом домой, я все думал: Лев Толстой знал свой народ. Недаром он так любил своего Тушина. Такие люди спасали Россию. И не в них ли — воплощение исторического и морального потенциала народа? И не здесь ли наша вера и надежда?»

Эти-ми словами и заканчивает М. Лобанов свое выступление. Ну что ж. Конечно, Тушины — прекрасные люди, особенно в противопоставлении разного рода карьеристам и лжецам, трусам и бахвалам, и родина наша, которой не раз приходилось отстаивать свою честь и независимость от нашествия внешних врагов, многим им обязана. Но разве исторический и моральный потенциал русского народа не воплотился также в Радищеве и декабристах, революционерах-разночинцах и большевиках? Что же касается наших современных надежд и веры, то они действительно связаны с такими людьми, как Иван Макарович Марушкин и его молчаливый, застенчивый фронтовой друг. Но можно не сомневаться, что наши современники — советские воины и труженики — при всем том, что они многими чертами могут напоминать Тушина, все же являются новым — советским — воплощением народного характера.

3

Характерные умонастроения и мотивы, которые столь явственно сказались в критике «Молодой гвардии», слабее всего затронули прозу журнала. Но и здесь появились некоторые сходные симптомы. Я имею в виду напечатанную в 11-м номере «Молодой гвардии» повесть Сергея Высоцкого «Спроси зарю». Это произведение, автор которого как бы сознательно поставил себе задачу проиллюстрировать излюбленные идеи отдела критики, перевести их на язык «образов».

Ничего сколько-либо значительного из этой затеи, естественно, не получилось, но как пример «программной» прозы повесть С. Высоцкого любопытна.

Повествуется в ней об истории особого рода. В Филадельфии исчез советский турист Александр Антонов, молодой ленинградский журналист и начинающий писатель, сотрудник журнала «Заря». Американская полиция заявила, что никакими сведениями об Антонове не располагает. Наши органы госбезопасности поручают прояснить суть дела одному из героев повести, капитану Гусеву. «Нам надо знать о нем поподробнее... О его личной жизни... Побывайте дома, поговорите с родственниками, с друзьями...» — говорит Гусеву его начальник, генерал.

И вот Гусев начинает разбираться в деле. «Удрал голубчик, — думал он. — Так просто люди не теряются, даже в Америке. Ну что ж, одним подлецом меньше». И Гусев с возмущением вспоминает про Пеньковского и про некоего аспиранта-философа из университета, который готовился стать наставником студентов, читать им марксистскую философию, но год назад остался в Голландии. «Этот Антонов тоже небось у себя в газете за советскую власть агитировал».

Прежде всего Гусев побывал на квартире Антонова. На письменном столе журналиста он нашел исследование «Деревянное зодчество древней Руси», другие книги о русской старине и томик Рериха с подчеркнутыми карандашом словами: «Кто мы? Спроси зарю, спроси лес, спроси волну, спроси бурю. Спроси любовь! Спроси землю, землю страдания и землю любимую! Кто мы? — Мы земля».

И на книги о русской старине, и на томик Рериха с подчеркнутыми словами Гусев обратил внимание, но не придал им значения. И напрасно, — вероятно, подумал догадливый читатель журнала «Молодая гвардия». Это помогло бы Гусеву быстрее выполнить порученное ему задание — понять, что за человек Антонов и что случилось с ним в Америке.

Бумаги Антонова тоже не дали в руки Гусева никакой нити. Большая газетная статья, в которой «мелькали слова: производительность труда, рационализация, бригадный метод», показалась ему скучной. Очерк о трактористе Гусев тоже «отодвинул в сторону».

Многое прояснило Гусеву посещение редакции газеты, где работал Антонов и откуда он был уволен. Оказалось, что Антонов любил писать и писал в газете о русской старине, о любви к своей деревеньке и своей березке и т. д. На этой почве он однажды крупно поругался с редактором. Антонов напечатал в газете статью, в которой напал на главного архитектора города, разрешившего снести старинную колокольню. Редактор пытался защищать решение архитектора, ссылаясь на то, что колокольня снесена для возведения станции метро и что нельзя тратить миллионы рублей на реставрацию церквей, когда у нас еще не решена жилищная проблема. А в другой раз Антонов был послан в командировку на Ладугу, чтобы написать очерк о труде ладожских рыбаков, а он увидел, что чуть ли не более всего рыбаки интересуются судьбой монастырей и церквушек на Ладогe, и привез из командировки статью «Гордиться славою предков». После этого он был уволен из газеты. Редактор не понял, что нельзя жизнь человека сводить к «сытости» (как на Западе), что у русского человека «должно быть что-то святое», то есть не понимал того, что так энергично проповедают В. Чалмаев и другие сотрудники журнала «Молодая гвардия» и в чем согласен с ними главный герой повести «Спроси зарю».

Еще более проясняется характер Александра Антонова после того, как читатели и Гусев узнают о его неразрывной, теснейшей связи со своими деревенскими родственниками, с родной деревней Лампово, с деревенским бытом и нравами. Оказывается, у ламповских мужиков Антонов «заражался оптимизмом» и душевным спокойствием, а связь со своей деревенькой и своей березкой поднимал до уровня высокой философии: «Если человека с детства научили любить свою деревеньку да свою березку — он потом и Родину скорее понимать и любить научится». И капитан Гусев не может не одобрить и связи Антонова с родными деревенскими местами, и его рассуждений. «Оттого-то наш человек и любит так свою землю, что всегда находит на ней уголок себе по душе — свой уголок, особенный», — думал Гусев. Становится совсем ясно, что и молодой литератор Антонов, и сотрудник органов госбезопасности капитан Гусев, и тем более Сергей Высоцкий не только хорошо знакомы с критикой и поэзией «Молодой гвардии», но и являются их поклонниками.

Собственно, на этом разыскания капитана Гусева могли бы и закончиться. Теперь даже сообщение о том, что отец Антонова был репрессирован в 1939 году, не смущает его. Главное в характере Антонова им найдено: сбежать в Америку человек, так крепко и убежденно привязанный к своему уголку, не мог. Но надо было сходить еще в редакцию журнала «Заря» и познакомиться с произведениями Антонова. Так Гусев и сделал. И достаточно было ему прочитать рассказ «Маленькая совка-сплюшка», чтобы окончательно убедиться в том, что его автор не мог изменить родине. Речь в рассказе идет о некоем Николае Бобряшове, не вернувшемся после конца войны из фашистского плена на родину и завербованном иностранной разведкой. Потом он был направлен в нашу страну с диверсионными или шпионскими заданиями. Сбросили его с самолета недалеко от деревушки, где он родился и провел детство и юность. Здесь Бобряшов, естественно, оказался во власти самых разноречивых чувств. С одной стороны, все кругом ему чужое и враждебное, с другой — и земля чем-то знакомым пахнет, и осина шелестит о чем-то близком, и — главное — крик совки-сплюшки почему-то особенно приятно слушать... Короче говоря, Бобряшов выбросил пистолет и документы и, кажется, намеревается сдаться и явиться с повинной. Автор оставляет его в лесу в состоянии полной безысходности, плачущего, мечущегося...

Теперь облик Антонова проясняется до конца: Бобряшова, который долгие годы не был в родных краях и не испытывал никакого желания навестить туда, встреча с ними совершенно перевернула. Антонов, глубоко преданный своему уголку и крепко связанный с ним, ни при каких обстоятельствах не может изменить родине. Гусев докладывает генералу: «Товарищ генерал, версия о добровольном побеге исключается...»

И действительно, провокация американской контрразведки, захватившей Антонова, не удалась. Расчет на то, что уволенный из газеты журналист, отец которого был в 1939 году репрессирован, станет предателем, провалился. Не помогли ни запугивания, ни угрозы подосланного к Антонову профессора-эмигранта, пытавшегося опереться на выступления Антонова «в защиту русской старины, православных храмов» Антонов остался верен своей родине. А чтобы дать

знать об этом своим и разоблачить вражескую провокацию, он выпрыгнул с третьего этажа здания американской разведки. Антонов получил сотрясение мозга, сломал ноги, но цель, которую он поставил, была достигнута: скрыть свою провокацию американцам не удалось. Так заканчивается повесть Сергея Высоцкого «Спроси зарю».

Я, разумеется, не исчерпал содержания повести полностью. Но, надеюсь, читатель уже получил представление о ее направлении, характере и смысле. Как видно, повесть действительно соотносится с критикой «Молодой гвардии» самым непосредственным образом и представляет собою беллетризацию уже известных нам мотивов. Других пояснений она не требует.

Замечу только, что ее направление представляется мне по меньшей мере односторонним и упрощенным. Если поверить повести «Спроси зарю», то советский патриотизм, преданность советских людей своей отчизне зависят прежде всего и больше всего от любви к своему уголку и от неразрывной связи с деревенскими «истоками». Аспирант-философ готовился читать студентам курс марксистской философии, но это не помешало ему остаться в Голландии и предать родину. Статья, где мелькают слова: «производительность труда», «рационализация», «бригадный метод», или очерк о трактористах тоже не способны захватить человека и возбудить в его душе патристические чувства. Другое дело — привязанность к своей деревеньке, к своей березке. Через нее и любовь ко всей родине приходит — особенно если она дополняется любовью к старине, к старым храмам и монастырям.

Конечно, любовь к «малой родине» и отечественной старине — хорошее, доброе и сильное чувство. Но ведь в «любимом уголке» — только начало преданности родине, а развитие и глубину она обретает в любви ко всему Отечеству. «В первом своем проявлении патриотизм даже и не имеет другой формы, кроме пристрастия к полям, холмам родным, златым играм первых лет и пр., — писал Добролюбов. — Но довольно скоро он формируется более определенным образом, заключая в себе все понятия исторические и гражданственные...» И если бы было иначе, то, очевидно, советские люди, оторвавшиеся от родных деревенских уголков, уехавшие в города или переехавшие в Сибирь, на Дальний Восток, вообще не да-

лекие от места рождения края, не могли бы любить своей родины.

Надо ли еще раз объяснять, что советский патриотизм не сводится к любви к «истокам», к памятникам и святыням старины, что он включает в себя любовь не только к прошлому, но к настоящему и будущему родины и неотделим от дружбы народов и пролетарского интернационализма.

4

На излюбленные некоторыми критиками «Молодой гвардии» речи откликается и поэзия журнала. Больше того: поэзия и критика журнала весьма тесно переплелись между собой. Так, поэты Валентин Сорокин, Владимир Котов, Иван Лысцов, Валентин Сидоров выступали в 1968 году и в отделе поэзии, и в отделах критики и публицистики журнала. Не удивительно, что между идеями и настроением их стихов, статей или рецензий существует связь и сходство.

Валентин Сорокин написал рецензию на книгу лирики Михаила Беляева. В чем рецензент видит важнейшее достоинство стихов поэта? В том, что в них «нет той набившей оскомину «пришлости», что болтается у нас порою между селом и городом без роду-племени, без языка»; в том, что Михаил Беляев — поэт поколения, которое не забыло свои деревни и дедовские погосты, свои песенные края; в том, что гражданственность и долг перед жизнью поэт видит в любви к земле: «Моя гражданственность — любовь к земле».

Сам Валентин Сорокин как поэт сохнет в городе и воспекает «светлую березовость российских деревень»:

Средь городской поспешности,
Асфальтовой пыли
Я очерствел без нежности
Моей родной земли.

(«Стезвонных далей розовость»)

В 12-м номере «Молодой гвардии» в разделе «Блокнот молодого литератора» помещена статья Ивана Лысцова «Живое слово». В ней автор весьма разумно разъясняет молодым писателям вред стандартизации живой человеческой речи, вред «телеграфного стиля» и печалится о том, что лишь единицы из литераторов «питают свою музу отборным, ботояровым языковым богатством своего народа». Сам Лысцов,

вспомнив вдруг, кто он есть, чей дух и чью речь наследует, «решительно оборотился к родным истокам» и пришел к убеждению, что образный, горящий всеми цветами земли и радуги язык хранится во всей своей первозданной свежести в деревне, у деревенского люда. Но приверженность к известным нам мотивам и преклонение перед «замечательным поборником самобытности Алексеем Кузьмичем Юговым» ведет Ивана Лысцова к несомненным излишествам. Он любит принятыми «у нас в Волхонковке» выражениями и словами: «пожёрóm напал», «клевегйтть ночьюми», «сррезаться ликом», «приголгаться в родню», «жаждать» и т. п. — вместо привычных «для городского слуха»: «аппетит напал», «не спать ночьюми», «похудеть лицом», «сделаться близким», «жадничать». И сам пишет в статье «сие» вместо «это», «дсю» вместо «до сих пор», «деет-ся» вместо «делается». Опыт Пушкина и русской поэзии XIX века, Блока и Маяковского, уроки Горького Иваном Лысцовым, по-видимому, не учитываются.

Естественно, что пристрастие Ивана Лысцова сказалось и в его стихах. Некоторые из них являются как бы литературными упражнениями на заданный стиль. Например, в стихотворении «Шаманов камень» читатель найдет словечки: «обливень седатый», «гординка», «бесинка» — и такое изображение возможного обмеления Байкала:

Что сдеется с Байкалом?
На сотню метров вниз
Окинется он, шальный,
Окиснет брага-жизнь.

Иногда переключка поэзии и критики в «Молодой гвардии» проявляется несколько иначе.

В 9-м номере журнала Владислав Шошин написал о стихах Юрия Адрианова. Рецензия называется «Ласковые русские слова». С сочувствием отмечается в ней, что «Юрий Адрианов подхватывает эстафету патриотов русского искусства... Для него недаром простонародный тусок — «земное чудо». А в десятой книжке журнала напечатано стихотворение Юрия Адрианова «Спасибо, Родина, за песен неторопливые слова...». И, конечно, рецензия и стихотворение находятся в известном соответствии. Поэт полностью подтверждает характеристику В. Шошина. Он и сам убежден, что «подхватывает эстафету», и даже уверяет, что в его крови «течет Непрядва»:

Россия, мати наша, лада,
 Мне сохранить тебя дано!
 В моей крови течет Непрядва,
 В моей крови — Бородино.

Кроме стихов Юрия Адрианова, Владислав Шошин хвалит на страницах «Молодой гвардии» стихи Дмитрия Ковалева. Эта рецензия называется «Кресгьянина в себе разбередив...». Стихи Д. Ковалева тоже нравятся В. Шошину за «крестьянскую «закваску» и «привязанность к приметам «малой Родины» (№ 5). В свою очередь другие рецензенты и критики журнала весьма положительно оценили книги о поэзии и стихи самого Владислава Шошина. А. Сергеева видит заслугу Шошина-литературоведа в том, что его полемические стрелы направлены против «отрицателей традиций», а Владимир Когов восхищается стихотворением Шошина, в котором «точно и сильно» сказано о «коварной стратегии нашего врага», хотя критик имеет в виду атаки идеологов современного капитализма на социалистическую идеологию, а в стихотворении В. Шошина речь идет о враге, который «толкает к брустверу Дантеса», «хочет скептицизма древним ядом кровь славянской песни отравить», и о том, как,

Разрушая храмов древних чудо,
 саксофон подняв трубой в бою,
 ныне новоявленный иуда
 топчет землю русскую мою (?!).

Конечно, свои основания для восхищения стихотворением Шошина у критика В. Котова были, и названные выступления В. Шошина и о В. Шошине лишней раз демонстрируют известную близость между критикой и поэзией журнала¹.

Вот еще один пример на этот счет. В 11-м номере «Молодой гвардии» помещена ре-

¹ В сцеплении выступлений В. Шошина и о В. Шошине есть и еще одно звено. В 10-м номере журнала «Октябрь» В. Шошин поместил весьма положительный обзор журнала «Молодая гвардия». В частности, он отметил, что журнал ориентирует читателя на поэзию, проникнутую высокими патристическими традициями, и ведет «серьезный разговор о сущности и значении патристических, национальных и революционных традиций» в статьях В. Чалмаева, М. Лобанова и других критиков. В 12-м же номере «Октября» заместитель главного редактора журнала Петр Строков заявил, что, к сожалению, в обзоре В. Шошина «ничего не сказано о более чем спорной статье критика В. Чалмаева «Великие искания».

цензия Валентина Ястребова на сборник избранной лирики Феликса Чуева. Рецензент хвалит лирику Феликса Чуева за «прямоту и крылатость», за то, что «поэт благодарно говорит о своей родословной» и показывает, «с каких пор берет начало свое извечная любовь к земле русской». А в 12-м номере журнала напечатаны стихи Феликса Чуева, как бы иллюстрирующие характеристику критика. Поэт мечтает о том, что когда-нибудь люди выстроят (вернее, «возведут») такое здание, где будут тысячи портретов героев и командиров Великой Отечественной войны и в которое

Пусть, кто войдет,
 почувствует зависимость
 от Родины, от русского всего,
 Там посредине —
 наш Генералиссимус
 и маршалы великие его.

Здесь уже сделана знаменательная попытка соединить обращение к «истокам» с мечтами о будущем. Но счастье ее удачной, пожалуй, нельзя. Как-то забылось само звание «генералиссимус» и стало ясно, что маршалы Советского Союза — это маршалы нашего народа и армии, а не «его»...

При таком тесном сплетении поэзии и критики в журнале «Молодая гвардия» не нужно удивляться, что иногда критики начинают писать свои рецензии языком поэтов, а поэты изыскивать в стихах свои настроения на языке критики. В шестой книжке журнала Василий Старостин высоко оценивает рассказы Бориса Шергина за то, что в них «запечатлена нерушимость русского языка и русского духа». Но пишет В. Старостин о книге Шергина таким стилем и складом: «Его герои — неутомимые труженики, храбрые моряки: океаном возлелеяны, морем воскормлены, на волнах воспоены, они грозами овеваны, непогодами закалены, и все бури им ведомы, и все ветры испытаны, все пучины пройдены, а сами они, гордые русские поморы, — и мастера, и плотники, рыбаковы и охотники, по волнам рыщут, по просторам летают, в лодьях, на кораблях, на белых парусниках за птицей, за зверем, за мелкой и крупной рыбицей, и за тобой, беломорская треска...»

Но и рецензия С. Георгиева на книгу Василия Старостина, где поэтом переложены былины об Илье Муромце, тоже отличается особым языком. «Чуешь всю прозрачность былинных речений, не застарелость

их, а посегоднешнюю естественность для беседы в таком ключе, в таком духе, — сказано в ней. «Узорочье», «издревлей герой русской победности», «мир отчинный и свойский» найдены С. Георгиевым в книге Василия Старостина. Лишь такие слова из «переложений» Старостина, как «након», «лукно», «крутохватик», и такая форма, как «вем», кажутся автору рецензии сомнительными или «говорными», но в складе речи поэта он не находит никаких изъянов, а такие слова, как «проезжина», «грязевина», «дослед-узнанье», «на-учер-черно», вызывают у него радость.

Связь поэзии с критикой в «Молодой гвардии» очевидна. Но, конечно, приведенные нами строки из отдельных стихотворений совершенно недостаточны для сколько-либо широкого и убедительного знакомства с некоторыми характерными мотивами поэзии журнала. Для начала приведем названия ряда стихотворений, напечатанных в журнале: «Тайны леса», «Еще о березах», «Ива», «Осина», «Маячит смутная ветла», «Лес, река и знакомая тропка», «Добрый вечер, реченька», «Есть под Рязанью речка Пра», «Речка Соль», «Вода студеная — ковшом», «Подожок», «Кисет», «Балалаечка», «Царь-тулуп», «Ржаная ночь», «Во мне бунтует мой крестьянский дух», «Русская кровь», «Псковщина милая», «Псковский сказ о чуде», «В Кижках», «Раздумье у казачьего кладбища» и т. п.

Можно предположить, что поэтам, о которых идет речь, свойствен некий «деревенский уклон». Во многих стихотворениях, помещенных в журнале, на разные лады воспеваются деревня.

«Надо в землю поверить полностью,
Полюбить ее до конца».

«Ты помнишь ли меня, моя земля?
Хоть чуточку!.. Совсем-совсем немножко?..»

«Во мне бунтует мой крестьянский дух.
И все никак не хочет примириться,
Что нет меня среди лесов и пашен».

«Побудешь там,
Омоешь ливнем душу».

«И годы долгие прошли,
Пока прозрел,
что это значит —
Быть отлученным от земли».

Это строки из разных стихотворений разных авторов. А вот отрывок из одного стихотворения Бориса Куликова:

От пышных слов,
От звучных клятв,
От уверений в дружбе вечной
Бегу туда, где хлеб растут,
Где пьедесталов не хотят,
Где люди просто человечны.
И там, в родном донском краю,
В степи, из дедовской криницы
Черпни водицы, чтоб напиться
И голову омыть свою.
И вот — легко душе моей!
Под солнцем места всем хватает,
А песня в воздухе летает,
Лови и пой ее...
И пей!

Конечно, в тоске по родным местам (даже при некотором однообразии и однотонности стихотворений) плохого нет. В иное время деревня, бывало, как бы отодвигалась в поэзии на второй план, заслоненная грандиозными новостройками, появлением новых и ростом старых городов, оживленной жизнью столицы, освоением новых пространств и т. п. Нужно ли теперь доказывать, что не только город, Днепрострой или Магнитка — достойный предмет искусства, но и деревня, пережившая к тому же в свое время немалые трудности и узнавшая большие перемены. Дело, однако, в том, что во многих стихах, напечатанных в «Молодой гвардии», деревня выступает не столько в своем реальном облике, сколько как некое социально-эстетическое начало, как символ «истоков» и «традиций», мудрости и красоты, душевного здоровья и вдохновения. Здесь уже начинаются спорные мотивы и настроения. Не носят ли пристрастия наших поэтов несколько односторонний, «мужиковствующий» характер? И не обделяет ли, а иногда и не обижает ли их поэзия город? Неужели человечна только деревня, а в городах только «пышные слова», да «звучные клятвы», фальшивые уверения в дружбе вечной, стремление к пьедесталам и т. п.? Нет, здесь что-то не так.

Поэт Борис Куликов уверяет в стихотворении «Александр Прокофьеву», что в современной советской поэзии

Мало песен да потех
Русских, самых главных.
Хоровадят — мамочки! —
Лет под сорок мальчики, —

мальчики, которые с «кукишем в кармане» «бодрой лесенкой шарманят» или лезут «в вожжи крамольные», имея за душой лишь «дули треугольные». Поэзия «хоровадящих мальчиков», по мнению Бориса Куликова и его друзей, это, конечно, поэзия от «асфаль-

та» и «городской поспешности», поэзия «просвещенного мещанства», оторванная от почвы и традиций, появившаяся в результате чуждых влияний. Выходит, что позиция многих поэтов (как и критиков) «Молодой гвардии» не такая уж мирная и безобидная, а остро полемическая и воинствующая. Действительно, их выступления против поэтов «от асфальта» носят весьма активный и агрессивный характер. Они вовсе не считают, что «надо — чтоб больше поэтов хороших и разных». Стихами и статьями они пытаются доказать преимущества и плодотворность избранного ими пути и пагубность, злобредность позиции иначе мыслящих поэтов и критиков. Их негодование иной раз не знает меры.

Нередко при этом поэты и критики «Молодой гвардии» ссылаются на слова М. Исаковского в защиту народности в литературе, на его обоснованную тревогу по поводу того, что «очень большую группу молодых поэтов ни в какой мере не интересует народность». Но ведь дело здесь и в том, как Исаковский понимает народность. И думаю, что не ошибусь, если скажу, что критики и поэты «Молодой гвардии» напрасно ищут в нем своего союзника. Еще в двадцатых годах Исаковский смеялся над поэтами, кото-

Тянут где-то песенку одну:
Дескать, мир тебе, родная хата;
Дескать, мы у города в плену
И в поля не может быть возврата;
Дескать, жизнь — полнейший кавардак,
А душа безрадостна и мглиста

и т. д.

У всех на памяти и статья М. Исаковского о стихах А. Маркова, в которой, между прочим, сказано, что в стихотворении «Храм полей» А. Марков напрасно уверяет, что только Россия — родина восходов, ледоходов, берез и гроз.

Едва ли можно признать удачными и некоторые новые стихотворения А. Маркова из напечатанных в прошлом году в «Молодой гвардии», например, «Мать Есенина». В нем поэт воображает себе мать Сергея Есенина, стоящую у гроба сына:

...Молча и уверенно,
Не опуская взор,
У гроба мать Есенина
Читает приговор.

Приговор: Кому же? А «нелюдям». И за что? За то, что погубили ее сына. Остань-

ся бы Есенин в селе — и все было бы хорошо. А он «подался из села, ушел себя раздаривать» и нашел мучительный удел. Мать скорбит и неистовствует:

И что же вы наделали?
Каким вернули мне?
Лежит, и щеки белые!
А вы все в стороне...

Я отдала вам, нелюди,
Что только может мать!
Слова с трибуны мелет!
Вам нечего сказать...

Нет, тут явно все не так. Есенина любили. Горький объяснял драму Есенина иначе. «Деревенский человек, лирик, мечтатель, мягкий парень, не нашел себе места в городе, где работают очень энергичные люди, поставившие перед собой весьма высокие задачи».

Но, может быть, всем этим изъяснениям поэтов в любви к деревне и их антигородским настроениям не следует придавать серьезного значения? Ведь переселения поэтов из городов в деревню, кажется, не наблюдается. Считать наших певцов «земли» и «традиций» наследниками Кольцова тоже не приходится. Дело в том, что в своих стихах Кольцов стремится жизнь, быт, природу деревни показать во всей реальности, что важнейшей особенностью его творчества является изображение труда крестьянина.

В известных очерках Глеба Успенского «Крестьянин и крестьянский труд» есть всем памятная глава «Поэзия земледельческого труда», в которой восторженно оценено творчество Кольцова. Успенский утверждает, что сильнейшее достоинство стихотворений и песен Кольцова составляет поэзия крестьянского труда: «Никто, не исключая и самого Пушкина, не трогал таких поэтических струн народной души...» Успенский утверждал, что земледельческий труд не только сосредоточивает в себе почти всю умственную деятельность крестьянина и удовлетворяет его нравственно, но и отвечает его поэтическим запросам, его представлениям о прекрасном.

Изобразить в наше время жизнь колхозной деревни во всей ее действительной сложности, раскрыть внутренний мир людей деревни, показать духовный смысл и поэзию колхозного земледельческого труда и социального преобразования деревни — это значит ответить на одну из самых настоятельных и существенных потребностей ши-

роких кругов наших читателей. Конечно, это дело трудное, если иметь в виду подлинное искусство¹.

Но, к сожалению, певцы деревни из «Молодой гвардии», о которых мы говорили в этой статье, в отличие от так называемой «деревенской прозы» и не пытаются взяться за него. В частности, к современному земледельческому труду они не проявляют почти никакого интереса. Их поэзия — это не поэзия земледельческого труда, а скорее поэзия отдыха в деревне, на лоне природы. Во всяком случае один только Евгений Антошкин, приехав в деревню, отважился взять в руки косу («Я косу научусь легко носить...»), других же, судя по всему, более привлекли

Глухие ароматы земляники,
томленный дух малины и грибов.

Возможно, что это происходит и оттого, что поэты находят нечто справедливое в словах старой крестьянки Анны Ефимовны из поэмы Валентина Сорокина «Оранжевый журавленок»:

Ни утят, ни кутят —
Все машины, машины,
А в детишках
От ихова грыва каприз.

Но ведь уже Есенин, при всей привязанности к старой деревне, знал, что «время даже камень крошит», и понимал, что Русь должна быть «стальной». Зачем же возвращаться к мотивам, уже изжитым в нашей поэзии? Зачем уподобляться чужающей машин Анне Ефимовне?

«Деревенские» стихотворения, напечатанные в «Молодой гвардии», несомненно, не отражают реальную жизнь современной деревни, и авторы их, в сущности, не имеют права называться «крестьянскими поэтами».

Вот Виктор Боков пишет о себе:

Сам я от солнца
С его рыжиной,
Сельский, проселочный,
Весь аржаной,
Весь конопляный,
Овсяный, льняной.

¹ Дело трудное; к тому же нет гарантии, что не попадешь под перо В. Чалмаева, который подлинно поэтическое изображение сенокоса в романе Ф. Абрамова «Две зилы и три лета» подверг такому елейному истолкованию: «Как будто сам Христос отряхнул ризы свои над этой поляной!»

И это не пародия¹. Но хотя поэт и овсяный, и льняной, и т. п.— подход его к деревне в стихах, помещенных в «Молодой гвардии», преимущественно потребительский и, если можно так сказать, каникулярный или отпускной:

Как хорошо испытать воды в горсти,
Сесть-посидеть и силу обрести,
На землю наступить ступнею босой
И слушать шум листвы многоголосой.

Или:

...Грибовницу сварим,
Заправим картошкой, лучком,
А масла не будет —
Забелим парным молочком.

Конечно, возможна и пасторальная и идиллическая поэзия, и я вовсе не призываю всех поэтов обязательно писать о глубоких проблемах жизни, мировоззрения, мира чувств, труда современных колхозников, но несомненно, что в подобных стихах деревня увидена глазами городского жителя и выглядит скорее воображаемой, условной и декоративной:

Что осень — то свадьба, что лето — то мед
И к свадьбе, и старому — к чаю.
Ах, юность-медовка и дед-доброхот,
Я песнею вас привечаю.

А чтобы придать такого рода поэзии программный смысл, вещи крестьянского обихода наделяются особой многозначительностью: «просгорная, как русская душа, печь русская», «большой сатиновый кисет, сурово пахнувший Россией», подожок «подсказал тебе сказки светлые» и т. п.

Тюески, подожки, кисеты, рязанские розвальни воспевают наши поэты. В них они видят оживление русского национального духа. И гнет их к старому в жизни деревни, а не к новому.

Когда Есенин посетил родимые места, ему сразу бросилось в глаза, «как много из-

¹ Может быть, В. Бокову и другим поэтам, охотно выставляющим себя «аржаными» и «конопляными», полезно напомнить известные стихи Н. Клюева, полемический смысл которых не требует пояснений:

Мы — ржаные, толокенные,
Пестрядинные, запечные.
Вы — чугунные, бетонные,
Электрические, млечные
Мы — огонь, вода и вапжити,
Озимь, солнца пеклеванные
Вы же таин не расскажете
Про сады благоуханный

и т. д.

менилось там». Поэт с сочувствием отметил приметы нового в пореволюционной деревне. Несколькое позднее новое в жизни нашей колхозной деревни стало одной из главных тем поэзии М. Исаковского и А. Твардовского. Именно поэта новой деревни, поэта смычки деревни с городом увидел в Михаиле Исаковском Горький.

Авторов же цитированных стихотворений влечет к себе лишь старое и прошлое в деревне. Они советуют послушать, как

Звонят ключи народной мудрой речи
Из тихих уст седеющих старух...
Ты к ним приди в один осенний вечер,
Чтоб твой, поэт, светильник не потух.

Они призывают вернуть слова: «длань», «десница», «ланиты», «око», «денницы» — и особенно влюблены в старые церковки, старинные храмы и «суровые пращуров лики на фресках, на досках икон». Посетив родные места, они не забывают отметить, что

Стоит все та же старая церквушка
На том же месте — на краю села,—

или опечалиться, увидев, как одиноко прикорнувший на холме собор

...обшарпан, оббит,
До основ поразрушен:
Корчевальный топор
Рубанул по нутру...

В этом случае возникает желание:

Глыбу-колокол мне бы,
Чтоб гудел и плясал,
Хутора веселя!

И поэт готов вместе со своей старой мамой Анной Ефимовной посетовать на то, что

Ублажаем гробницы
Чужих фараонов,
А для храма исконного
Шифера (?) нет.

Что же касается старинных монастырей и храмов, то поэты могут здесь опереться не только на известные уже нам выступления В. Чалмаева, но и на помещенную рядом с чалмаевской «Неизбежностью» редакционную статью «Тысячелетние корни русской культуры». В ней же не без торжественности сказано следующее: «Стоят они, рукотворные свидетели творческого гения, чистые зеркала народных идеалов — могут чте и добрые храмы...»

Понятно, что Николай Кутов радуется тому, что в Книгах «юность» фотографиру-

ет «церковь Преображения, мельницу и часовенку»:

Кажется, что ей до острова,
Где эти церковки русские
Встали родными сестрами,
Тихие, скорбные, грустные?

Прошу понять меня правильно. Я не нахожу оправданий не вызывавшемуся необходимостью разрушению наших монастырей и церквей и хорошо сознаю значение охраны и восстановления памятников старины. Но нельзя не удивляться тому, что целый хор поющих в унисон критиков и поэтов с таким усердием разрабатывает тему об уважении к старине именно как «церковную тему», которая требует более продуманного и трезвого подхода и вряд ли может быть решена в состоянии экзальтации или надрыва.

Вот на глазах у Ларисы Васильевой должен уйти под воду храм Николая Чудотворца. Событие совсем не из веселых. Но она при этом прямо-таки впадает в иступление:

Я удержу, спасу, но если...
Все ближе пенная волна.
Прижмусь к стене, и канем вместе —
какая теплая стена!

К тому же некоторые поэты «Молодой гвардии», обратившись в поисках душевной гармонии к традициям и истокам отечественной культуры и обрета их в деревне, совсем разочаровались в современной цивилизации и перспективах ее развития. Умоастроения подобного рода, как известно, довольно сильно окрасили статьи В. Чалмаева, М. Лобанова и близких к ним по духу критиков с их опасениями по части распространения «бездуховности» и прагматизма, «сытости», стандарта и утробных идеалов. Сказались они и в поэзии журнала «Молодая гвардия»:

В угаре дымном дробно пляшут
Деревьев черных письма.
Зачем так иступленно наша
Цивилизация шумна?..

И тонет в зареве багровом
Разворошенная земля,
И мы вибрирующим ревом
Гипнотизируем себя,—

пишет Валентин Сидоров. И не только он один, а и другие поэты. Алексей Марков, например, с отчаянием сетует о замене дров — газом, льна — синтетикой, езды с бубенцами — полетом на «ИЛ» и твердо

обещает, что, когда мы «будем вместо булок таблетки хитрые глотать», он сохранит «до боли в скулах хлебов духмяных благодать».

Конечно, во всем этом немало и напускного и наивного, но и непродуманного и косного. Современная цивилизация и шумна, и сложна, и противоречива, и даже носит в себе ужасающие угрозы и опасности для человечества, но будущее цивилизации принадлежит силам труда и прогресса. И у нас нет никаких оснований сомневаться в этом и оборачиваться назад, вместо того чтобы уверенно смотреть вперед. В этом еще был какой-то резон в прошлом, когда век лишь начинал шестые — «своим путем железным», сердце завоевывала «корысть» и поколения стали преданы «промышленным заботам». Тогда еще можно было понять возникновение поэзии сумерек, мрачных предсказаний о трагической судьбе последнего поэта, ретроспективных утопий славянофилов. Но ничем не оправдано воскрешение и подновление таких настроений в советской поэзии, когда «ветер века» дует в наши паруса.

* * *

На этом рассмотрение некоторых идей и настроений, сказавшихся в журнале «Молодая гвардия» в 1968 году, можно закончить. Мне пришлось несколько расширить границы разговора о статьях В. Чалмаева. В поле моего зрения попали при этом литературные явления не столь уж значительные и ценные, да на основе таких идей и не может возникнуть настоящее, большое искусство. Но в одном я уверен: и статьи, и стихи, и все прочее, о чем я писал, — явления симптоматичные и получившие уже довольно заметное распространение в литературе¹. О них надо было написать.

Так или иначе, некоторые критики и поэты захотели, по их словам, помочь переходу от интеллигентского к народному этапу возрождения отечественных традиций и восстано-

¹ Недавно один из участников дискуссии по вопросам поэзии, проведенной журналом «Вопросы литературы» (№№ 7 и 10 за 1968 год и № 1 за 1969 год), А. Македонов, характеризуя тенденции нашей современной поэзии, писал, что некоторые поэты «обращаются к природе и к «земле» больше как к источнику самоутешения, облегчения, исцеле-

динению концов якобы разорванной золотой нити патристической линии в литературе и искусстве. Они, конечно, полагали, что их статьи, рецензии и стихи находятся в полном соответствии с борьбой партии против наступления буржуазной идеологии и будут способствовать патристическому воспитанию нашей молодежи, нашего народа. Но это не так.

Что касается статей В. Чалмаева, то критика сразу же пришла к выводу, что «ничего общего с воспитанием настоящего социалистического патристизма подобное «красивое» суесловие не имеет, а лишь вредит ему» (Ю. Суровцев). Даже И. Мотяшов, заявив, что он охотно разделяет «принципиальные и главные положения» статей В. Чалмаева и М. Лобанова, на деле подверг эти принципиальные и главные положения (понимание патристизма, отношение к крестьянству, суждения об историческом процессе и т. д.) весьма суровой критике. И Ф. Чапчачов, которому «понятна и близка озабоченность» В. Чалмаева, задается по поводу его выступлений вопросом: «Не есть ли это опасность столь же серьезная, как и бездуховные, внациональные «модерные» увлечения?»

Да, опасность здесь есть. Выступления, подобные статьям В. Чалмаева, направляют по ложному пути естественный для наших дней процесс преодоления иллюстративности в искусстве и литературе, формализма в воспитании. Программа КПСС обязывает нас «вести непримиримую борьбу против проявлений и пережитков всякого национализма и шовинизма, против тенденций к национальной ограниченности и исключительности, к идеализации прошлого и затуманиванию социальных противоречий в истории народов, против обычаев и нравов, мешающих коммунистическому строительству».

ния или в поисках «корней»... Например, О. Дмитриев: «Деревня! Мой советник и целитель, лечи мою печаль, мою хандру!.. Спаси меня, помилуй, обогрей!» А. Македонов называет в связи с этим и других поэтов. О В. Фирсове он замечает, что «в его стихах сельский реквизит — соловьи, березки, тополя, рябины, деды, пастухи, сенокосы и т. д. — мобилизуются... для обличения неких «звездных» городских юнцов».

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

✱

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

П. Антокольский. Память солдата.— **И. Варламова.** Куда идет мальчик? — **И. Борисова.** Ромуальдас Алькснис и его оппоненты.— **Л. Левицкий.** Наедине с осенью.— **Л. Лазарев.** Общественная мысль и литературный процесс.— **Л. Черная.** Трагедия обманутых.

ПОЛИТИКА И НАУКА

В. Кулиш. Новые книги о великой битве.— **В. Хорос.** Средства, ведущие к цели.— **А. Формозов.** Историзм русской литературы.— **И. Тракина.** Изучение читательских интересов.— **Э. Кольман.** Математика в России.

Литература и искусство

ПАМЯТЬ СОЛДАТА

Вячеслав Ковалевский. Тетради из полевой сумки. «Советский писатель». М. 1968. 608 стр.

Литература, посвященная Отечественной войне, огромна. Она продолжает непрерывно расти. В ней представлены все жанры: поэзия, проза, драматургия... Появляются мемуары прославленных военачальников, исторические исследования об отдельных периодах героической борьбы советского народа с фашизмом. Весь этот разнообразный печатный материал отвечает неослабной потребности читателей—знать больше, знать досконально, воскресить и утвердить в народной памяти возможно большее число героев: снайперов и саперов, разведчиков и политработников, командиров и рядовых, всех возрастов и званий.

Такая потребность равносильна потребности поддерживать негасимый огонь на могиле Неизвестного Солдата. Ее можно обозначить коротким глаголом: помнить! Она останется до конца наших дней. Она будет завещана тем, кто придет после нас.

Вот недавно вышедшая книга—«Тетради из полевой сумки». Ее автор—Вячеслав Ковалевский, писатель далеко не молодой, автор многих вышедших в тридца-

тых и пятидесятых годах повестей и романов, в ранней юности (в двадцатых годах)—лирический поэт. Это фронтовой дневник капитана-политработника, прикомандированного к одной из армий для написания ее истории. Дневник охватывает время с начала 1942 года вплоть до Дня Победы в мае 1945 года. Пятнадцать тетрадей. Все это написано по свежим следам виденного, слышанного, пережитого. Написано наспех, в обстановке напряженной, а то и трагической. Написано в землянке, в траншее у переднего края, в армейской газетной редакции, в попутной машине, в госпитале...

Несмотря на естественное отсутствие сюжета и внешней занимательности, несмотря на рваность, а то и небрежность отдельных кусков, я прочел эти шестьсот страниц с неослабевающим интересом, прочел не отрываясь, в течение трех дней.

С самого начала для автора армия не конгломерат случайных жизненных спутников, да и не коллектив людей, идейно и психологически спаянных чрезвычайными

обстоятельствами, но нечто большее. Это организм. Армия — в ее высочайшем историческом напряжении. Прежде всего — армия грамотная.

Разными способами, в разных эпизодах, самых боевых и самых что ни на есть мирных, везде и всюду автор показывает бодрствующую пытлившую мысль своих товарищей и собеседников. Может быть, так получилось оттого, что и сам Вячеслав Ковалевский, и ближайшее к нему окружение — политработники, агитаторы, пропагандисты, сотрудники армейской газеты, то есть люди заведомо грамотные и начитанные?

Разумеется, это важно. Но и не только это.

Столь же пытливы в поисках правды, в стремлении исторически осмыслить солдатский опыт и другие действующие лица книги. Их чрезвычайно много. Поистине, книгу населяет вся армия целиком — от рядового бойца до командующего фронтом, от героя-разведчика до девушки-санитарки, от осиротевшего старика колхозника, сыновья которого погибли в партизанском отряде, до жуликоватого начальника АХО.

Вячеслав Ковалевский умеет и хочет «разговорить» собеседника. Он считает это своей насущной и первейшей обязанностью. Если ему не удается найти подходящий ключ к собеседнику, Ковалевский всегда честно в этом сознается.

С юных лет, со времен своего деревенского детства и отрочества, он влюблен в родную природу, знает названия цветов и птиц. Лучшие страницы дневников полны восторженной лирики. Влюблен Ковалевский и в родной язык — наблюдения его в области разговорного просторечия удивительны по остроте и неожиданности.

Здесь Ковалевский переключается с писательницей Софьей Федорченко, с ее знаменитой в двадцатых годах книгой «Народ на войне». Но Федорченко ограничилась одной только записью солдатских разговоров. Для Ковалевского же такого рода записи — один из подсобных инструментов в познании жизни. Его опыт шире, глубже, разностороннее.

Многие страницы дневников посвящены типично русским спорам за полночь — о смысле жизни, о любви, о должном и не должном, о завтрашнем дне истории, о судьбах великого народа в борьбе со своим смертельным врагом. Показанное

и рассказанное на этих страницах документально в самом хорошем значении термина. Многое хочется здесь подчеркнуть, вывести за скобки как обций коэффициент пережитого на войне миллионами советских людей.

Это мысли здравые, они разделялись многими в те годы — как говорится, носились в воздухе. Но есть и другие мысли, более общие, менее насыщенные, изощренные философски, тоже характерные для военного поколения. В какой-то мере они стары, как мир, навеяны не только Гегелем или Гёте, но и незапамятно древним Гераклитом. С другой же стороны, эти мысли насущно современны и соответствуют новейшим поискам физиков и биологов.

В военных дневниках тяжелых лет и зим войны возникает вихреворот догадок и поэтических образов о бесконечности вселенной, о возможности и неизбежности иных форм «мыслящей материи», кроме той, что существует на земле, об органической жизни как «болезни материи». Все это роится, брезжит, побеждает время и пространство в головах советских офицеров сороковых годов, переносит их с Северо-Западного фронта, с Ловати и Мсты — на двадцать пять лет вперед, в студенческую аудиторию на Ленинских горах, в академический городок под Новосибирском...

Но дело-то происходит на линии огня, перед лицом смертельной опасности, непрестанно напоминающей о себе. Дело идет о жизни и смерти в прямом и грубом смысле. Где уж там философствовать о тайнах мироздания! Так нет же!

Ковалевский показывает, что исключительные обстоятельства обостряли и электризовали возбужденную мысль и ее пыливость.

Один из товарищей автора по политической работе признался: «Братцы, неужели вы не понимаете, что мне с вами, двумя дурачками, жить хорошо: мозги вентилируются и есть над чем посмеяться. Вы, как дети, каждый день решаете мировую проблему».

Это бесхитростно-насмешливое признание хорошо характеризует «климат» книги Ковалевского. Ее духовное напряжение. По своей силе и свежести оно сподличает, если не детству, то уж отрочеству навняка!

В этих беглых заметках я обошел художественно занимательную сторону днев-

ников, их описательную и действенную часть. Уже сказано, что в книге множество действующих лиц. Каждый рассказывает о себе — увлекательно и подробно. Каждому автор предоставляет высказаться до конца. Книга богата живыми, хорошо схваченными фигурами, выражениями лиц, интонациями живой речи.

Есть еще одна особенность у дневников, которая связана с призванием автора, с его писательской работой и профессией. Он постоянно занят мыслью о собственном дальнейшем, послевоенном пути: что он сможет, захочет или должен написать после войны? «Мне вдруг пришло в голову, от промытого воздуха, что я нашел жанр и внешнюю форму для своей книги о войне. Это будет серия рассказов и повестей (рассказанных мне людьми войны). В промежутках между ними — мой дневник, размышления, странствия по военным дорогам, диалоги с Кобликом...»

Не знаю, что думает сам автор, но такая книга уже написана им. Когда-то, у горловины Демянского котла, в обстановке затишья между боями она только мерещилась автору, — сегодня стала нашим достоянием.

В заключение еще одна цитата: «Сегодня Коблик попросил что-нибудь прочесть из этой тетрадки. Я отыскал для него вразбивку строк пятьдесят. Он сказал: «Это и есть настоящая история!»

Первый слушатель Ковалевского был прав. Не претендуя ни на какую полноту и тем менее — на научность, оставаясь только тем, за что выдает их совестливый и скромный автор — в их ничем не приукрашенной правде дня и часа давно миновавшего времени, при всем личном и лирическом звучании, — эти тетради стали свидетельством настоящей истории.

П. АНТОКОЛЬСКИЙ.



КУДА ИДЕТ МАЛЬЧИК?

Генрих Шеф. Записки совсем молодого инженера. Повести и рассказы. «Советский писатель». Л. 1968. 215 стр.

Перед нами первая книга молодого писателя, и в ней живет, думает, действует — в обеих повестях и едва ли не во всех рассказах — один и тот же человек: совсем еще юный, почти мальчик, на рубеже отрочества и взрослой, самостоятельной жизни. На той самой проведенной остро отточенным карандашом черте, когда в душе подростка все так хрупко, так ломко, так обнаженно и чисто. Чисты его помыслы, его опасения, его ошибки, даже его дурные поступки... Да, его недостатки суть (пока что!) продолжение его достоинств.

Вот герой стоит перед цветочным магазином и не решается в него войти («Мальчик»). Его мучает мысль: что подумают прохожие? «Такой маленький мальчик? Такой худенький? Бледный? Кому он может покупать цветы? Маме? Бабушке на день рождения?..» А он собирается купить букет девушке, которой мечтает сказать взрослые слова: «Родная... Любимая...» Букет он в конце концов купит. Но слов так и не произнесет. И цветы (камелия альбус) замерзнут на улице, превратятся

в черные, словно облитые йодом, лапки. Он не встретится с девушкой. Робкий, растерянный, он будет ждать ее не там, где условлено, и влюбленные разминутся...

Этот неприятный сюжет не может, конечно, дать вполне ясного представления о рассказе, который написан хорошо и тонко. Сюжет приведен здесь лишь для того, чтобы стала ясна линия поведения мальчика.

Другой рассказ — «Дневник». Вовка влюблен в Зину. Он пригласил ее в кино. Зина капризна и взбалмошна. Вовка трепетно, тревожно, мучительно любит. Они подходят к контролерше, Вовка ищет билеты, находит один. Другой пропал. Зина уже прошла в фойе. Вовка ищет второй билет. Его терзает стыд. Он стоит на ярком свете, и все на него смотрят. Его толкают. Зина возвращается, вырывает из его рук единственный билет и уходит в кино, не оглядываясь.

Несчастный Вовка плетется домой, ест подкладываемые мамой в тарелку котлеты и свежие огурцы (они так вкусно пахнут!)

и терзается. Почему Зина такая? Почему она считает, что ей все позволено? Почему она «вильмет плечом» и бежит, куда ей вздумается, а он должен терпеть и тащиться сзади, как прихвостень? Почему она его не понимает?.. Вовка читает случайно попавшую к нему брошюрку «О роли и значении семьи в коммунистическом воспитании людей будущего». Автор недвусмысленно дает нам понять, что брошюрка написана поверхностно и халтурно. Вовка об этом не догадывается. Он садится за письмо к автору брошюрки, выплескивает незнакомому человеку всю подноготную о себе и о Зине.

Каждое слово в этом мальчишеском письме подкупает чистотой и искренностью. Да и вообще по всей книге рассыпано немало блестящих таланта, юмора, доброты. И все-таки от иных рассказов остается подчас впечатление чего-то слишком уж знакомого, пройденного... Вероятно, нам уже приходилось читать о таком подростке и раньше — непосредственном, забавном, симпатичном, правдивом...

Да, он правдив, да, симпатичен, забавен, мил. Но в откровенном авторском любовании заключено тайное желание заставить нас согласиться, что подобный инфантилизм нравственно самоценен. В этой идее есть вполне ощутимая слабость, и это относится не к одному Г. Шефу.

Стало литературной модой — может быть, вступая в противоборство с расхожим цинизмом, — искать отдохновения душе и взгляду в спасительной детскости... Но никогда еще, пожалуй, время так настойчиво не требовало совсем иного литературного героя. Чистого — да, конечно. Но и — думающего. Вот непереносимое условие! Думающего обо всем, что происходит в мире.

Мы стосковались о полноводной реке философского и социального охвата всего сущего. Вместо этого нам часто предлагают — особенно так называемая «молодая литература» — ручейки, сеть ручейков, обтекающих, мелодично и тонко журча, острова и суровые скалы. Мы не можем удовольствоваться этим журчаньем. Мы готовы признать, что авторы преисполнены самых добрых намерений, но хотим от них большего. Ведь и при тонком психологизме и неподкупно искренней интонации, при всей точности и добротности авторского писания, можно так упростить и «упло-

щить» жизнь, что перед нами окажется вызывающая уже не умиленность, а недоумение почти карикатурная фигура. Нечто подобное случилось и с Г. Шефом.

Речь пойдет о повести, давшей название сборнику, — «Записки совсем молодого инженера». Сначала о сюжетной основе. Молодой инженер Гера работает в НИИ. (Кстати, об имени. У Геры возраст Онегина. Можно ли себе представить, чтобы Пушкин называл своего героя Женя? Но ничего не поделаешь, нынче так повелось.) Гера на работе пишет дневник. Так как он его ведет втихомолку, закрывая от посторонних глаз и поспешно пряча (хотя, впрочем, и дает иногда читать своей коллеге Лиде Строевой), то начальство подозревает Геру в том, что он ворует (?) и прячет какие-то детали, чтобы собрать из них дома телевизор. За ним неусыпно следят и однажды, именно в тот день, когда он решил вынести дневник из НИИ, задерживают в проходной. Дневник заштемпелеван. На комсомольском собрании, где разбирается «личное дело Г. Куликова», читают странички из личного дневника. Но комсомольцы приходят к выводу, что Гера ни в чем не повинен.

Геру не оскорбляет кошунственное позорение в воровстве. Его не коробит чтение его дневника вслух. Он думает: «Вот ведь как может быть! Ты идешь один и думаешь... что ты один, а на деле оказывается, что ты не один, и люди, которые идут рядом, тебе близки...» Тем не менее он вдруг — неожиданно для себя и считая, что совершает нечто ужасное, — вырывает многострадальный дневник из рук комсомольца Миши, кидает тетрадку с криком «лови!» своей девушке Инге, выходит за ней в коридор и там, за дверью... целуется с ней.

Кто этот Гера? Его «детскость» поразительна, тем более что ему не пятнадцать, как мальчику, покупающему букет, и не шестнадцать, как Вовке, пишущему письмо автору брошюры. Он так же чист, как они, и даже, если это вообще возможно, гораздо чище. Но трудно отделаться от ощущения, что он глуп. Не непосредствен и наивен, а попросту глуп как пробка.

Все обстоятельства, в которых действует герой, настолько «облегчены», что повесть вдруг превращается в неправдоподобную и почти фантастическую. Герой как бы парит в облаках, а реальность

серьезная реальность живой и противоречивой жизни, исчезает долой с его и наших глаз.

Уверена, что это не входило в намерения автора. Но так мстит за себя желание во что бы то ни стало, в ущерб всему прочему, искать в нынешнем молодом человеке не «дум высокое стремление», а одну лишь порывистую, безотчетную искренность да свежую впечатлительность юной неокрепшей души. Все это, конечно, хорошо, но вкупе с ясным зрелым умом и пониманием всей сложности и многогранности жизни.

Впрочем, Генриху Шефу особенно не повезло. Книга его опоздала. Не по его вине! В ней собраны повести и рассказы, последняя точка в которых поставлена целых пять, а то и семь и даже восемь лет назад. Для такого молодого и безусловно способного писателя, как Генрих Шеф, срок немалый. Поэтому ловишь себя на том, что хочется представить, как же сам автор относится к написанному им. Как он относится к этому сегодня. Ведь лучшие страницы книги дают основание надеяться, что писатель уже успел шагнуть в своем творчестве куда-то дальше и именно в том направлении, о каком было сказано выше,— к осмыслению жизни.

Есть в сборнике рассказ «Геолог». Человек идет один по тундре и несет за плечами свинцовую капсулу с ампулой, в которой находится смесь бериллия с солью радия. Активность этого препарата 0,15 юри. По пути в сто километров геолог заболевает инфекционной желтухой, но, не зная этого, предполагает, что началась лучевая болезнь. В ужасе он то бросает капсулу в тундре, то — из чувства долга, порядочности и боязни прослыть трусом — возвращается за ней и несет дальше. Это рассказ о страхе и бесстрашии. Все написано очень точно и мужественно.

Хороша и повесть «Ребенок». Она представляет собой собранные по ассоциативному принципу куски, отрывки, картинки жизни сначала совсем маленького ребенка, а затем — взрослого, хотя и молодого по возрасту человека, но уже именно взрослого, что-то понявшего, память и сердце которого постепенно заполняются отчаяньем и любовью. Составленные вместе в последней строке повести, эти слова-понятия (отчаянье и любовь) и являются тем уже значительным душевным багажом, кото-

рый выносит из прожитой жизни, из сложных взаимоотношений с окружающим миром, с родителями и товарищами мальчик Миша. Перед нами уже не просто жертва тех или иных противоречий, чего, скажем, Гера даже не осознает, но и судия многих и многих проявлений зла.

Мы видим Мишу во время войны и блокады, мы видим его в очереди за блокадным пайком, в школе, в семье, в играх с ребятами-сверстниками, мы на его стороне, когда он предьявляет нравственный счет матери и своему товарищу «Дрофе». Мы вместе с ним словно впервые смотрим на медленно движущуюся между силуэтами блокадных домов звезду, и нас, как и его, посещает чувство прекрасного, прорастает по спине холодок восторга... Нам остро интересны мысли подростка о немецких военнопленных, о загадке бытия, о жизни и смерти, нам близка и понятна его тоска по высшей, ничем не замутненной справедливости людских отношений.

Повесть трогает серьезной правдивостью, желанием добраться, докопаться до сути, до сердцевины явлений.

Генриху Шефу доставляет наслаждение искать и находить едва различимые повороты чувств, ощущений, мыслей. Чуть-чуть не тот угол зрения, а вот еще не такой, как только что,— и еще на полградуса с минутами не такой.

Вот хотя бы один из многих примеров: «Я вдруг понимаю, что между ними (отцом и матерью, которые разошлись.— *И. В.*) даже теперь есть еще связь, может быть, самая последняя и самая главная связь, и эта последняя для них связь, я вдруг понимаю, это — я, и мне становится от этого горько и жутко, и страшно, и в то же время во мне что-то сладко дрожит, растекается, я сам чуть не плачу, что вот это все-таки я, и остался лишь я, стал вдруг самым главным, попал в самый центр, я, подростки бессильный и глупый, на мне все построено, на мне еще держится и, может быть, будет и дальше держаться то последнее, что еще у них, может, есть, и что если я плачу, то возле меня, теперь только с разных сторон, может быть, так же плачут они: я не вижу, как плачет отец, но я видел и знаю, как плачет мать. Только я, я один им остался, и только я, вопреки всем слезам, и их и моим, не зная сам как, что-то еще соединяю для них...»

Генриху Шефу в его тонкой аналитической прозе удается быть искренним без принуждения, без натуги. Таков естественный склад его дарования.

И все-таки, все-таки... Хотелось бы уже сейчас знать, куда идет хуленький, блед-

ный «мальчик» Генриха Шефа? Куда плывет этот кораблик «без руля и ветрил»? У какого берега бросит якорь?

Вероятно, об этом расскажет нам новая книга автора.

И. ВАРЛАМОВА.



РОМУАЛЬДАС АЛЬКСНИС И ЕГО ОППОНЕНТЫ

Миколас Слущкис. Жажда. Роман. Авторизованный перевод с литовского Ф. Дентора. «Дружба народов», №№ 1, 2, 3, 1969.

«Жажду цельности, а меня рвут на части... Я не в силах отдать всего себя... И не довольствуюсь тем, что получаю! Где мое подлинное «я»?»

«...что заставило меня прибегнуть к постыдным официальным мерам: подозрения в неверности или обида на равнодушие к моей работе, которая придавала какую-то надежду уцелеть в перемальвающей с костями мясорубке телевидения? Все смешалось — причины, следствия; если даже разобраться в фактах, осталось бы много неясного, свидетельствующего за и против Мигле».

«Ясности, полной ясности! Многие оттягивают ясность, как операцию».

Ромуальдас Алькснис жаждет ясности в начале романа и в конце его снова сетует на неясность. Ему — двадцать восемь лет. У него «новейшая профессия» — он оператор телевидения. Его бывшие друзья и враги уже получают призы на фестивалях. А он, талантливый и вполне деловой, завяз в нерешенных вопросах. Алькснис не наделен неотступным правдоискательством и не захвачен могучей стихией таланта. Это пока еще средний талант, средняя совесть, средняя температура честности. Так же как и его мать, он не принадлежит «к любителям словесности, готовым любое нормальное явление выдавать за подвиг». Он не выдает себя, да и автор не выдает его за натуру подвижническую. Единственная реальность и единственная ценность, которой он обладает, которая безусловна, это его любовь. Она дает Алькснису зоркость, хотя его Мигле такая же девушка с патентованной мечтой стать киноактрисой, что и другие.

Ясность нужна не в том, верна ему Мигле или нет: Алькснис отбил ее в пьяной драке на улице и отлично видит, что даже сейчас, когда они женаты и любят друг друга, ее постоянно окликают «тот мир» и она живо отзывается. Не война, не тюрьма, не гигант-

ская стройка, а «просто любовь», нет, не «просто любовь», а страсть заставила Альксниса заново решать вечные и вечно обновляемые вопросы: что есть честь, а что бесчестье? Что значит выстоять, а что — сдать? Что значит решить по-крупному, а что — изойти мелочью? Есть истины проверенные, и силы надо собрать на то, чтобы им соответствовать, а не на то, чтобы в них разбираться. Есть ситуации житейские, за вязью которых проступают вечные вопросы. Но и в том и в другом случае цена устанавливается беспощадная — жизнь. Стоит ли жизнь того, чтобы ради нее пойти на предательство, на бесчестье, стоит ли она отречения от себя?

Сила и серьезность нового романа М. Слущкиса заключается прежде всего в том, что писатель, очертив круг действия, несравненно как будто более частный, не снизил масштаб и накал этого вопроса. В который раз обнаруживается, что нет мелких тем, а могут быть только мелкие решения. От художника потребовалось мужество, чтобы крупным масштабом измерить тривиальнейшую житейскую и литературную ситуацию, тем более сейчас, когда мальчишки, ищущие «своего места в жизни», ветром прошлись по стране и вернулись довольно обузданными. За плечами Ромуальдаса Альксниса и Памир и Алтай. Он их видел, заснял, пережил. Его совсем не потряс тот факт, что он вырвался из-под мамино крыла и летит по стране самостоятельно. Алькснис не делает из этого программы и не называет это свободой. Он спокойно относится к этому, как к одному из возможных условий свободы, отнюдь не находя здесь ее существенного и тем более единственного содержания.

Однако мать — один из главных его оппонентов. Или союзников, что тоже нуждается в прояснении.

Мария Алькснене верно ждала мужа всю войну. Вернувшись, он ушел к другой женщине, но Мария по-прежнему осталась ему верна — верна своей любви к нему. Ее единственный сын Ромуальдас наследовал от матери одержимость, поглощенность чувством, выпавшим на его долю. Но опыт матери — для него страшный опыт.

Мария с сыном живут в доме Теофилиса, брата ее бывшего мужа. Теофилис полюбил Марию еще до того, как увидел ее его брат. Он любит ее всю жизнь — покорно, верно, безнадежно, и рыцарское служение ей — его единственная с ней связь. Отношения между ними чопорные. «Сударь Теофилис — сударыня Мария». В этой чопорности — их кодекс. Ромуальдас называет это торжественным представлением.

Отношениям Марии и Теофилиса отведено в большом романе М. Слуцкиса не больше двух-трех страниц. Это совершенно побочная линия, едва ли не далекий фон. В общей картине жизни, нарисованной писателем, этот эпизод занимает то же незначительное и незаметное место, которое суждено занимать ему и в реальной жизни. Но в отношении эти молодой Алькснис упирается, как лбом в стенку. В дом старого Теофилиса молодой Ромуальдас возвращается только во время ссор с женой или с ее домашними. Из нарядного особняка отца Мигле архитектора Гирдяниса он бежит под эту безрадостную для него крышу.

В подлиннике роман называется «Моя гавань беспокойна». Но трудно сказать, какое беспокойство глубже и неразрешимей — беспокойство, которое идет из скандального дома Мигле, или беспокойство, которое волей-неволей самим фактом своего существования рождает тихий дом Теофилиса Альксниса, куда вечерами, вымотавшись на работе у себя в больнице, возвращается мать Ромуальдаса и ее встречает безропотно стареющий мирный аптекарь Теофилис, который в глазах Ромуальдаса — «джентльмен с посеребрёнными висками с реклам Аэрофлота».

Для же однажды называет любимого племянника пачкуном. О том, как в сорок первом году в Минске Теофилис вытащил из тифозного барака Марию с маленьким Ромуальдасом, он, Теофилис, вспоминает только потому, что мечущийся между этими двумя домами теперь уже взрослый Ромуальдас несколько экзальтированно спрашивает его: «У тебя никогда, Теофилис, воло-

сы дыбом не становились, когда проснешься среди ночи?» С тех пор вроде бы не становились. И поправка — только тогда в Минске это было днем.

Мигле ненавистную ей Марию Алькснене спрашивает более просто и бесшабашно: «Послушайте... Вы такая красивая. Еще и теперь! — в эту минуту она от души любовалась матерью. — Почему вы еще раз не вышли замуж?.. вы нравились мужчинам? Не могли не нравиться!» А когда Ромуальдас уводит Мигле в другую комнату от бесшумно взорвавшегося скандала и распекает ее, она простодушно удивляется: «Боже мой, обидела! Тем, что сказала комплимент, похвалила? Мне в самом деле очень интересно...»

Марию бесит в Мигле мелкость. В какую-то минуту Ромуальдас сам говорит себе: «Как мелка она... по сравнению с моей матерью».

Можно представить себе, что Ромуальдас еще на какое-то время останется с Мигле, что после второго, наконец состоявшегося развода, которым завершается роман, его опять потянет к ней и он опять будет звать ее. Труднее представить себе, чтобы автора обрадовал подобный исход. Но и победа Марии Алькснене для него не победа, не выход. Он вообще не торопится определить, и в пределах романа так и не определяет, что есть победа, а что поражение, но он четок в своих нравственных оценках, и эта четкость позволяет ему безбоязненно браться за исследование характеров и авторитетно высоких, вроде Марии Алькснене, и отвергнутых заслуженно и доказанно, вроде Мигле Гирдяните.

Но не лживостью притягивает Мигле Ромуальдаса. Даже тогда, когда она, уже совсем развенчанная в своих мышиных поступках и куцых соображениях, появляется на последних страницах романа, наконец-то узнанная и потому погасшая и лишенная загадки, — даже тогда с ней всякий раз врывается неодолимо живая жизнь. Даром радости и любви она наделена в избытке. Она безоглядна и неосмотрительна, поверхностна и азартна. Ее легко можно было бы заподозрить в расчетливости, если б она с такой легкостью не отказывалась вдруг от всякой корысти. Ни расчетливость ее, ни безоглядность не идут до конца. Она ни в чем не окончательна и не безусловна — ни в лжи, ни в правде. Она зверовато лжива и

обезоруживающе откровенна. Она далеко не глядит и потому не дальновидна и не тверда в своих планах — и тем более непоследовательна в их осуществлении. Одного она хочет отчетливо — жить, жить. Если ей скажут, что жить — значит быть знаменитой киноактрисой, это станет ее мечтой. В жажде жизни — настолько сильной, что она глушит даже инстинкт самосохранения, а разумный житейский расчет тем более, — власть Мигле над Ромуальдасом, власть, которую он никак не может сбросить.

Это чувство и эта жажда в романе написаны, выражены щедро и горько. Тот восторг бытия, который, помимо воли Мигле, весело крушит нехитрый механизм ее поступков и мыслей и которым она заражает Ромуальдаса, непрочен и сужден ему скорый конец. Не в том, конечно, дело, что жизнь и молодость быстротечны, а богатый отец не всегда будет стоять за спиной. Они с Ромуальдасом могут поссориться из-за купленного мини-пальто, из-за некупленной спортивной куртки, из-за тестя, из-за свекрови, из-за ревности — все эти бытовые неурядицы М. Слуцкис пишет с живой житейской точностью. Но не быт съедает их отношения. Это лишь тот язык, на котором в данном случае заявляет о себе характер и которым писатель владеет свободно, но не самоцелью. Шаг за шагом прослеживает романист разрушение чувства. Восторг, счастье, безоглядность, но вот умерло еще несколько клеток, поражен еще один кусок живой ткани. Вот что-то восстановили, оживили — и опять необратимая работа разрушения. Можно поймать Мигле на вранье или трудоустроить ее, но это лишь расхожие житейские средства, в которых Ромуальдас бессильно ищет спасения. Скоро он начнет понимать, что счастье жить мгновением, молниеносными импульсами и реакциями, чем так сильна Мигле, — действительно прекрасный дар, но слишком недостаточный для больших дистанций и для больших душ. Это счастье быстро исчерпывает себя, само себя уничтожает. Но соблазн его велик и естествен. Жертвой здесь оказывается Мигле, и только Мигле.

Конечно, все с той же житейской точки зрения она, может быть, и не пропадет. Ей двадцать три года, она красива, и папа богат. Но неотвратимо гаснет в ней то, чем она сильна, чем судьба ее одарила и что она щедро возвращает жизни. Ее могла бы уберечь только устойчивая сила Ромуальда-

са — не его материальная самостоятельность, как ему порой кажется, а его душевная сила и даровитость, но сам он пока такой силы не нашёл. Его роман с Мигле — это по существу поиски себя. Но она при этом остается ни с чем — ей одной со своей пустотой не справиться.

И тут Мария Альксене празднует свою безрадостную победу. Ближе к концу романа между матерью и сыном происходит разговор, где каждый выступает со своей правдой, и правда каждого не абсолютна. Здесь формулируется все, что до того было пережито, и формулировки эти наносят каждому свежую боль. Да, Мигле приносит Ромуальдасу бесчестье. Но «что мне честь, если я люблю Мигле?». Он готов пройти и проходит сквозь грязь, своего рода испытание грязью — лишь бы вырывать живое чувство. Не то чтобы падшую он хочет спасти, а именно их общее живое чувство. Отношения с Мигле, которые чем дальше, тем больше превращаются в серию низких стычек, оказываются в конце концов такой же «перемальвающей с костями мясорубкой», какой является работа для Альксниса. Слуцкисные отношения Альксниса М. Слуцкис показывает более общо. Зато его отношения с Мигле — со всей тщательностью, не иссушая чувство анализом, но и не теряя зоркости. Если бы Алькснис не рассказывал о своей любви с такой ошеломленностью, если бы романистом она не была доказана хуждожеством, нам бы легче было согласиться с Марией Альксене. Но вместе с героем и автором нам жалко, что такое пропадает. И давая этому пропасть, не уничтожаем ли мы тем самым саму жизнь?

Есть у Альксниса оппонент, в смысле карьеры серьезный, а в духовном — нет. Это его начальник на телевидении, Профессор. Здесь все ясно и несомненно даже Алькснису в его двадцать восемь лет. Цинизм Профессора — не соблазн и не загадка.

А вот мама — оппонент. И чем больше она пожертвовала, чем смелее и бескорыстней был ее отказ от личного блага, тем сосредоточенней сын. Когда Мария в сотый раз втолковывает Ромуальдасу, что виновата во всем Мигле, «не порвав с ней, ты унижаешь себя», тогда он возражает матери, теперь уже отстаивая правду чувства осмысленно, у него уже сложились формулы: «Не верю... Я люблю ее! И не могу глгать, что нет, не люблю. Не могу посту-

пать так, будто не люблю! Ложь ради принципа так же отвратительна, как и беспринципная ложь!» И утвердившись в этом, спрашивает мать, чувствует, что режет по живому, но все-таки говорит:

«— Я причиняю боль не нарочно. О многом думаю... Я вынужден постоянно думать, сравнивать себя с другими... Вот ты, мама, знала, чего хочешь. В хорошем, завидном смысле! У тебя всегда было ясное понятие о чести, любви, о счастье...

— Да, сын, думаю, оно и сейчас имеется,— мать откидывает маленькую, гордо посаженную голову.

— Почему же тогда, мама... Я чувствую, что обижаю тебя, но не могу не спросить. Почему, мама, ты не была счастлива?

— Если бить, так уж наверняка... Ты хочешь спросить, почему твой отец не был счастлив со мной?»

И Мария объясняет, что не могла простить мужу измены, потому что слишком любила его. «Меня передергивало от малейшей соринки, приставшей к его одежде.. Любовь должна быть чистой». И тут же переходит в наступление:

«— Чтобы заглушить совесть, вы разглагольствуете за столиками об атомной опасности... Опасность от этого не меньше, а вы мельчаете...

Ромуальдас чувствует, что заносит руку на мать и ни ей, ни ему никогда не забыть этого...

— Разве ты никогда не думала, мама, что отцу... Может быть, ему всегда не доставало тепла, обыкновенной, не требовательной чуткости?»

И Мария обессиленно отвечает:

«— Жила, как понимала, как испокон веков жили люди...— голос тих и бесстрастен, разговор вычерпал ее силы.— Всю жизнь принесла в жертву твоему отцу... Даже после того, как сошелся с той женщиной... Даже после того, как его уже не было в живых, жила так, будто он был рядом... Не веришь? Спроси у дяди Теофилиса...

— Я не сомневаюсь, мама. Горжусь тобой! — удар нанесен, ничего уже не изменишь, но по-прежнему нет ни ясности, ни облегчения.— Только была ли ты счастлива? Был ли счастлив отец? А дядя Теофилис — он, по-твоему, счастлив? Для тебя, мама, любовь была идеей, религией! А я... Пусть недостойн, но борюсь за живую, насущную любовь, без которой не могу работать. дышать... И буду бороться, пока вижу цель!»

Он, кажется, нашел программу, хотя торжествует по-мальчишечьи. Еще одна ложь Мигле, еще один поворот мясорубки — и невозможны станут ни жизнь, ни борьба, а только разрыв. Но, может быть, права была Мария Альксене, порвавшая сразу, и не прав сын, который предпочел долгую войну прежде, чем пришел к тому же финалу, что и мать? Этот вопрос звучал бы почти схоластически, если бы каждый из них не положил за него пусть не жизнь, но молодость во всяком случае. Не нашим временем придумана эта альтернатива, но в романе М. Слущкиса она звучит остро современно. От матери Ромуальдаса отличает не то, что она за вечные нравственные устои, а он — против, как ей кажется, а то, что он действует. Там, где она занимает оборону, он кидается в атаку. И в этом скандывается не только разница их характеров, но и разница времени, в которое они живут.

Роман М. Слущкиса пронизан острейшим чувством жизни, острейшим ощущением бытия. Ценность бытия Ромуальдас ощущает с остротой почти предсмертной. Недаром он — мальчишка. не только не нюхавший пороха, вообще не испытывавший серьезного жизненного риска,— ясно чувствует, что «смерть есть всегда и везде. Как жизнь... Пока смерть не дохнет в лицо, мы не знаем, что такое жизнь...». Дыхание смерти он чувствует не оттого, что где-то, неизвестно в каком окне или за каким кустом, залег неприятельский снайпер, а оттого, что для него смертью веет и от цинизма Профессора, и от ригоризма матери, и от наслаждающейся мгновением Мигле. Не страхом физической смерти он поглощен, а страхом перед омертвлением души. Чем дальше, тем больше это омертвление Алькснис ощущает всегда и везде, будь то прочные отношения с родными или случайное человеческое лицо, попавшее в одну из десятков тысяч кассет, которые он отснял. Признаки жизни, любви, способности к дарованию и жизнотворчеству он ищет сначала заинтересованно, доходя постепенно до жадности и самозабвения, но и признаки умирания он улавливает с чуткостью почти навязчивой. В нем все сильнее зреет чувство спасения, не само-спасения, а вообще спасения живого в живущих. Поймав как-то в объектив «наглас, жестокое лицо» незнакомого парня, он вдруг «не увидел, а почувствовал», что в этом парне мечется остаток чего-то иного,

«то, что парень из себя изгнал, но не до конца еще успел растоптать».

В жилах молодого Альксниса течет и кровь старого Теофилиса, который пошел в тифозный барак, чтобы спасти своих близких.

Но мир, с которым сталкивается Алькснис, находит подобие в его собственной душе.

Есть в жизни Ромуальдаса человек, перед которым он виноват неизбежно. Это сестра его друга Андриуса Рената, которая любит Ромуальдаса прочно и ясно. Вина Ромуальдаса не в том, что он не любит Ренату, а в том, что он мельче ее. Превосходство Ромуальдаса над Мигле очевидно. В споре с матерью и Теофилисом он отвоевывает свою убедительную правду. С Ренатой он «пачку». Сцены Ромуальдаса и Ренаты, когда один любит, а другой нет и оба это знают, принадлежат к одним из лучших в романе. Бесщастность Ренаты написана с тем же мужеством и немногословием, с каким она сама ее переносит. Но Ромуальдас на это мужество не способен. Для Ренаты самоотречением был и отъезд в другой город, когда появилась Мигле, и первая недолгая связь с Ромуальдасом, когда он после очередного разрыва с Мигле находит ее в уютном Салотишкисе. Ромуальдас принимает эти жертвы, едва ли не вымогает их. Однако видит он Ренату или нет, но только в сравнении с ней — самой высокой вершиной на его горизонте — он понимает, что любит все-таки Мигле, и только ее. Рената же в какую-то минуту кажется ему надгробным камнем. Ни вдохновения, ни полета не дает она ему, а Мигле дает. Ромуальдас сам понимает, что ему не сладить с духовной высотой Ренаты, и это лишь гонит его прочь от нее. Ее присутствие в жизни Ромуальдаса тем большее для него счастье, что его духовные ресурсы не очень изобиль-

ны. Важно, что эту недостаточность ощущают люди, еще не нарастившие духовной силы.

Если взглянуть в объектив телекамеры, через который Ромуальдас-оператор и Ромуальдас-человек смотрит на мир, то трудно заметить, насколько в его восприятии вещественность мира, плотность его преобладает над зоркостью духовной. Последней он учится все охотней и целеустремленней. По ходу романа она обостряется вместе с его возмужанием. Но только учится, еще не овладел этой зоркостью. Не случайно поэтому, что красок, которых достало, чтобы передать прелесть и поэзию Мигле, не хватило, чтобы передать поэзию Ренаты, не только основательность ее силы, которая для Ромуальдаса пока недостижима, но и красоту ее глубины, которую он рвется и не может постичь. Здесь требовалась иная пластика, иное прозрение... Писатель же за пределы восприятия своего героя как будто не выходит. От этого снова страдает Рената, на этот раз художественно — от руки автора.

В метаниях Ромуальдаса Альксниса отчетливо выразилась тоска по духовности, потребность в ней. Та выпренность и вычурность, которой грешит нередко восприятие Альксниса и которая наложила естественный отпечаток на стиль повествования, прямо или косвенно, но все время идущего как бы от лица Ромуальдаса, — является следствием не столько плохого вкуса или переработанного влияния современного кинематографа, живописи, прозы, сколько неискусственности в языке духовной жизни. Алькснис только начинает обживать этот мир и подбирает первые слова.

Роман М. Слущкиса написан по горячим следам его первых шагов.

И. БОРИСОВА.

★

НАЕДИНЕ С ОСЕНЬЮ

Константин Паустовский. Наедине с осенью. Портреты, воспоминания, очерки. «Советский писатель». М. 1967. 272 стр.

В одной из своих статей — она вошла в книгу, о которой пойдет речь, — Константин Паустовский вспоминал, как за несколько часов до наступления нашего столетия он, тогда семилетний мальчик, нашел под елкой новогодний подарок.

«Это были сказки Христиана Андерсена. Я сел под елкой и раскрыл книгу... Тогда я еще не знал, конечно, двойного смысла андерсеновских сказок. Я не знал, что в каждой детской сказке заключена вторая, которую в полной мере могут понять голь-

ко взрослые. Это я понял гораздо позже. Понял, что мне просто повезло, когда в канун трудного и великого XX века мне встретился милый чужак и поэт Андерсен и научил меня вере в победу солнца над мраком и доброго человеческого сердца над злом».

Век был действительно нелегким. Нашим современникам, особенно тем из них, кто, подобно Паустовскому, принадлежал к поколению людей, живших на рубеже двух исторических эпох, пришлось это испытать на себе.

Первый рассказ Константина Паустовского был напечатан в 1912 году, а год спустя старший его современник так характеризовал тогдашнее состояние русского искусства:

«Исчезли драгоценнейшие черты русской литературы: глубина, серьезность, простота, непосредственность, благородство, прямота,— и морем разлилась вульгарность и дурной тон,— напыщенный и неизменно фальшивый. Испорчен русский язык (в тесном содружестве писателя и газеты), утеряно чутье к ритму и органическим особенностям русской прозаической речи, опошлен стих. Чего только не проделывали мы за последние годы с нашей литературой, чему только не подражали мы, чего только не имитировали, каких только стилей и эпох не брали, каким богам не поклонялись? Буквально каждая зима приносила нам нового кумира. Мы пережили и декаданс, и символизм, и натурализм, и порнографию, и богоборчество, и мифотворчество, и какой-то мистический анархизм, и Диониса, и Аполлона, и «пролеты в вечность», и садизм, и приятие мира, и неприятие мира, и адамизм, и акмеизм... Это ли не Вальпургиева ночь!»

Может быть, эта страстная, не лишенная, как это случается в полемической запальчивости, крайностей и преувеличений речь принадлежит потерявшему душевное самообладание староверу, готовому в каждом новом поиске и в каждом новом слове видеть гибельную угрозу самому существованию искусства? Нет, ее произнес требовательный к себе мастер, никогда не довольствовавшийся достижениями своих предшественников. Ее произнес Иван Бунин — писатель, неизменно вызывавший восхищение Паустовского и служивший для него образцом серьезного отношения художника к своей работе.

Однако в данном случае высказывание Бунина представляет особый интерес. Дело в том, что, хотя Паустовский стал писателем в пору, когда шла ожесточенная борьба между многочисленными авангардистскими, как мы сказали бы сегодня, группами и течениями, каждое из которых объявляло себя последним словом искусства, когда громкие и широкораспространенные манифесты с молниеносной быстротой сменяли друг друга, он остался безучастен ко всем этим бурным литературным сражениям. Он остался — и это было не случайностью, а результатом сознательного выбора — верен заветам русской классической литературы. Достаточно сравнить самые первые его художественные опыты с произведениями, созданными им в самые последние годы, чтобы убедиться, что на протяжении всего своего творчества Паустовский проявлял удивительную стойкость. Никогда он не гнался за модой, никогда не прибегал ни к каким уловкам, чтобы завоевать шумный успех, что, попутно замечу, не мешало ему по достоинству оценивать новые и подлинно плодотворные явления в искусстве. Паустовский всегда отстаивал ценности, вдохновлявшие русскую классическую литературу. Высший смысл работы художника он видел в том, чтобы защищать правду и человеческое достоинство. Убедительное доказательство тому — книга «Наедине с осенью».

Этот сборник составили материалы, так или иначе связанные с литературой и написанные за последние тридцать с лишним лет. Это — статьи о насущных проблемах писательского ремесла. Это — воспоминания о людях искусства, с которыми встречался автор. Это — предисловия и вступительные статьи к отдельным книгам и собраниям сочинений писателей прошлого и настоящего.

Вещи Паустовского, посвященные литературе, по своему внутреннему облику мало чем отличаются от его «чисто» художественных произведений — та же манера письма, то же вольное, не скованное сюжетными рамками повествование, те же неожиданные по первому впечатлению, а на деле глубоко мотивированные переходы от одной мысли к другой. Вот почему к критике в привычном понимании этого слова очерки Паустовского могут быть отнесены разве что условно. По своей жанровой природе они куда ближе к тому виду литера-

туры, который получает в последние годы все большее распространение и для обозначения которого мы пока что, за неимением лучшего, пользуемся термином, звучащим для нашего слуха несколько манерно,—я имею в виду эссе, то есть свободно написанное, окрашенное глубоко личным отношением автора, по преимуществу лирическое произведение, где естественно и непринужденно соседствуют самые разнообразные элементы: рассказ и рассуждение, документальная выкладка и воспоминание.

Обычно эссе Паустовского строятся на одном положении, к которому, как радиусы к центру, сходятся все мысли и наблюдения. В его вещах, говоря научным языком, господствует принцип доминанты.

В очерке о Малышкине Паустовский вспоминает:

«Поздней осенью 1936 года я приехал в Ялту и застал там Малышкина. Был вечер, но на следующий день ранним утром Малышкин разбудил меня и повел в горы,—такова, говорил он, была придуманная им традиция — водить всех только что приехавших в горы. Синее влажное утро с трудом пробивалось сквозь осенний туман. Желтые дубовые заросли стояли в росе. Малышкин шел рядом и почти не смотрел по сторонам — он не спускал с меня глаз. Он заставлял меня смотреть то на море, сизой тучей лежавшее внизу, у наших ног, то на последний желтый цветок, выросший на каменистой дороге, то на далекий водопад, казавшийся издали прядью белых нитей, брошенных на отвесные скалы. Он следил за выражением моего лица и вдруг засмеялся — он был рад, что ему удалось еще одному человеку показать этот утренний мир. В эту минуту он был проводником по прекрасному, он приобщал меня к этой приморской осени и был счастлив, что и это робкое солнце, и горы, и терпкий воздух, и гул невидимого прибоя, бившего в берега, что все это до меня «дошло», что еще одному человеку он смог передать хотя бы частицу тех чистых и ясных представлений, какими он жил в те дни».

Я не случайно привел эту длинную цитату. В ней явственно проступают характерные черты литературной манеры Паустовского-эссеиста. Что это — статья? Воспоминание? И то и другое. Паустовский рассказал один только, как будто даже случайный эпизод, но этот эпизод помогает

нам лучше представить себе Малышкина-человека и, следовательно, вернее понять Малышкина-писателя.

Вспоминает ли Паустовский о встречах с Гайдаром или с Олешей, он не стремится дать законченный и исчерпывающий портрет этих людей, не стремится рассказать о всех качествах, какие были им присущи. Он останавливает свое внимание на одной какой-нибудь черте, но зато она выбрана с такой взвешенной точностью, что нам открывается своеобразие человеческого характера. Таков, к примеру, Гайдар — верный спутник, отличный товарищ, веселый собеседник, человек озорной и изобретательный, который умеет найти выход из самых затруднительных и, казалось бы, невозможных положений.

Читая эти воспоминания о писателях, каждый из которых оставил след в нашей литературе, испытываешь чувство признательности к их автору. Пришвин, Бабель, Гиляровский, Фраерман, Олеша, Булгаков — каждый из них встает перед нами со страниц книги Паустовского, и в каждом из них Паустовский находит то, что ему особенно дорого именно в этом писателе.

Говоря об Александре Грине, Паустовский отмечает мощь и разнообразие его неистощимого воображения. Рассказывая о Бунине, Паустовский подчеркивает его изобразительный дар. «Говоря о Бунине,—заметает он,—невольно делаешься человеком навязчивым. Все время хочется показать собеседнику-читателю прекрасные места, одно за другим. Все кажется, что это — последнее. Но оказывается, что дальше — еще лучшее место, и нет сил промолчать о нем». И Паустовский цитирует щедро и широко великолепные бунинские описания, в которых точность каждой жизненной подробности сочетается с почти осязаемой пластичностью. Но в глазах Паустовского у Бунина было еще одно важное качество — без него нет и быть не может настоящего художника: «Бунин был смел, честен в своих убеждениях. Он один из первых развенчал в своей «Деревне» сладенький миф о русском крестьянине-богоносце...»

Пожалуй, одно из лучших эссе в книге Паустовского — это «Поток жизни (Заметки о прозе Куприна)». Главная мысль этих заметок сводится к тому, что Куприн принадлежал к числу художников, маделенных особым вкусом к жизни, которым решительно все на свете интересно, чей запас жизнен-

ных впечатлений был почти безграничен и неисчерпаем. Именно поэтому автор рассказывает, какими жизненными фактами питалось творчество Куприна. Именно поэтому он то и дело ссылается на свой личный опыт, на свои воспоминания. Говоря о том общественном значении, какое имела вышедшая в пятом году повесть «Поединок», Паустовский пишет:

«Я был в то время мальчишкой, мне исполнилось только тринадцать лет, но я помню и то грозное время и то впечатление, какое произвела новая книга Куприна. Война в Маньчжурии приближалась к своему роковому и позорному концу. Солдаты гибли тысячами в гаоляновых полях из-за бездарности и вопиющей глупости генералов... Тыл воровал и пьянствовал. Армия не умела даже отступать. Страна волновалась. И как последний ошеломляющий удар пришла весть о полном, почти неправдоподобном разгроме всего нашего флота при Цусиме... Нельзя было спорить с очевидностью. А этой очевидностью был «Поединок» — повесть и вместе с тем документ о тупой и сгнившей до сердцевины офицерской касте, об армии, державшейся только на страхе и унижении солдат, об армии, как бы нарочно созданной для неизбежного и постыдного разгрома в первых же боях».

Это — не умозрительное заключение, а глубоко выношенный вывод, в котором личный опыт автора подкрепляет показания истории и с особой убедительностью свидетельствует, насколько жизненным и злободневным может быть художественное произведение.

Паустовский-эссеист в чем-то, может быть, и шире Паустовского-художника. Как художник он дорожит принципами классического русского реализма. Но он далек от мысли отвергать все, что не похоже на его собственное творчество. Он считает, что сила искусства — в разнообразии и многообразии художников, каждый из которых идет своим неповторимым путем. При этом он сознает, что творчество писателя редко укладывается в ту программу, к которой он по тем или иным мотивам примыкает. Ему далека символистская поэтика, но это не мешает ему видеть величие поэзии Блока. Он любит полотна старинных мастеров, но он умеет ценить и живопись импрессионистов и картины Ван-Гога или Пикассо. Ему чуждо ощущение своей непогрешимости. Он с

интересом и уважением готов выслушать чужую точку зрения и признать ее право на существование, даже если она далека от его собственной. В его высказываниях нет и тени цеховой узости или брюзгливой односторонности.

Широта взгляда Паустовского на искусство связана еще с одним обстоятельством — с внутренним пафосом, который от страницы к странице книги звучит все громче и настойчивее. О чем бы ни писал Паустовский, какими бы конкретными поводами ни было продиктовано то или иное его литературное выступление, во всех его произведениях, посвященных художественному творчеству, дает себя знать настойчивое стремление автора приобрести своих читателей к тайнам и радостям искусства. Он постоянно чувствует себя, говоря собственными же его словами, «проводником по прекрасному». Не этим ли естественно проявляющимся педагогическим даром объясняется то, что у Паустовского так много учеников в нашей литературе?

Мало найдется писателей, которые бы столько внимания уделяли литературному ремеслу, секретам мастерства, как Паустовский. Стоит обратиться лишь к открывающей книгу статье «Поэзия прозы», чтобы это стало очевидным. Статья эта, написанная в 1953 году, интересна еще тем, между прочим, что в ней содержится зародыш «Золотой розы» — тот же круг вопросов, только изложенный конспективно. Но примечательным в этой статье представляется мне другое. Придавая такое значение мастерству, Паустовский не делает из него самоцели. Для него важно, чему это мастерство служит.

Наряду с естественно вошедшими в книгу Паустовского материалами, посвященными литературе, в нее, мне кажется, неоправданно включены путевой очерк «Огни Ла-Манша» и рассказ «Вилла Боргезе», стоящие в ней особняком. Вместе с тем не понятно, почему в сборник не попали вещи, имеющие самое прямое и непосредственное отношение к его тематике. Я имею в виду прежде всего большую, принципиальную статью «Бесспорные и спорные мысли», появившуюся во время Третьего съезда писателей СССР в «Литературной газете» и вызвавшую целый поток полемических откликов. Ни одна другая статья Паустовского не привлекала, пожалуй, такого внимания к себе, как эта. Вспомним, что в этой статье

речь шла о некоторых «предрассудках и ложных мыслях», бытующих среди писателей. Эти предрассудки, по мнению автора статьи, заключаются в «приторно благополучных концах и в том, что мера светлых и темных красок в книге строго взвешивается с преобладанием светлых (голубеньких и розовых) тонов» Паустовский язвительно писал в связи с этим: «Хорошо, что Лев Толстой успел написать «Анну Каренину» до появления этой традиции. Он не должен был никому, даже издателю, делать «комплимент» и позволил Анне разрушить семью и умереть из чисто личных и потому недопустимых соображений». «Вторая вредная традиция, — продолжал автор, — нежелание писать о страдании, боязнь даже намека на грусть, будто вся наша жизнь должна нестись под карамельным небом, под бодрый (бодряческий) смех «боевитых» мужчин и женщин». Вывод, который делает из этого Паустовский, звучит совершенно четко и недвусмысленно: «Нельзя существовать в литературе тем, кто пытается сочетать служение полуправде и полуфальши со служением своему благополучию... Поэтому жалкой бывает судьба писателя, поступившего правдой во имя далеких от литературы соображений. Народ все видит, все понимает с полуслова и никогда не простит писателю, как бы талантлив он ни был, ни фальши, ни обмана».

Не стану останавливаться на других, не менее существенных положениях этой проникнутой гражданской тревогой за судьбу родной литературы статьи. Скажу лишь, что отсутствие этой статьи в сборнике, равно как и отсутствие в нем других материалов (в частности, печатавшейся в «Изве-

стиях» статьи «Сражение в тишине» о романе Юрия Бондарева «Тишина»), не только обедняет содержание книги, но — что гораздо существеннее — создает неверное представление о ее авторе. Учитателя, который полюбопытствует, чем же занимался Паустовский в конце пятидесятых и в начале шестидесятых годов, может сложиться впечатление, что он был поглощен исключительно академическими интересами и что литературная злоба дня мало его трогала. А ведь именно в это время громко звучал голос Паустовского, именно в это время — и это не прошло мимо внимания читателя — писатель откликнулся на многие важные события в нашей литературе.

В статье «Несколько отрывочных мыслей», в которой автор рассказывает о своем жизненном пути (увы, мы тоже не найдем ее в книге «Наедине с осенью»), Паустовский писал: «Страдания и радости всех людей становятся уделом писателя. Он должен обладать талантом собственного видения мира, непреклонностью в борьбе, лирической силой и общностью жизни с природой, не говоря уже о многих других качествах, хотя бы о простой психологической выносливости».

Как бы хороши сами по себе ни были мысли, высказываемые автором, они становятся еще убедительнее, когда подкреплены личным его поведением. Паустовский — писатель мужественный и честный, непреклонно боровшийся за то, что ему дорого. Раз уверовав в победу «доброе человеческого сердца над злом», он утверждал это всем своим творчеством.

Л. ЛЕВИЦКИЙ.



ОБЩЕСТВЕННАЯ МЫСЛЬ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС

Ц. Кин. Миф, реальность, литература. Итальянские заметки. «Советский писатель». М. 1968. 336 стр.

Я не специалист по итальянской литературе и не взялся бы писать о книге Ц. Кин — нет, кажется, более жалкого зрелища, чем самонадеянность дилетанта, — если бы не некоторые особенности этой работы, имеющие, на мой взгляд, принципиальный характер, заставляющие думать о методах анализа литературного процесса — предмете одинаково важном для любого критика и литературоведа, вне зависимости от то-

го, какой литературой он занимается. И в рецензии речь пойдет главным образом об этом. А так как книгу «Миф, реальность, литература», можно не сомневаться, самым внимательным образом прочитают не одни лишь специалисты по итальянской литературе, наверное, и такой разговор об этой работе не лишен смысла.

«Эта книга, — пишет Ц. Кин в предисловии «От автора», — не претендует ни на уг-

лубленный литературоведческий анализ, ни на полноту обзора». Это верно лишь отчасти. Действительно, Ц. Кин не ставила перед собой цель создать законченный очерк истории итальянской литературы нашего века, но основные этапы ее развития она рассматривает. Действительно, в ее книге преобладает один аспект анализа, ее занимает по преимуществу один «разрез» литературного процесса, но проникает она в слой отнюдь не поверхностный, добирается до глубинных процессов, идущих в литературе. И все-таки эта оговорка весьма характерна для Ц. Кин. Она сдержанна и осмотрительна в общих выводах. Ну, а если уж выдвигает какое-либо положение, то доказывает его, как говорится, с тройным запасом прочности.

Отсюда такое богатство материала в ее книге: десятки имен, сотни фактов, названий книг, статей. Ц. Кин не боится подробностей, которые на первый взгляд могут показаться второстепенными, — затем, как правило, выясняется, что в сложной структуре доказательств у них есть свое место и своя функция; не боится обширных цитат из источников, недоступных русскому читателю, — лишь бы избежать адаптирования или произвольного препарирования; не боится даже выстроить ряд совершенно однородных фактов, если надо показать, что само это однообразие таит в себе некое содержание, мимо которого нельзя пройти.

Казалось бы, так ли необходимо для характеристики литературы, активно работавшей на фашистское движение, приводить то место из программного «Манифеста ардито-футуриста», где речь идет всего лишь о физических качествах, которыми в обязательном порядке должен обладать «прототип» героя этого движения, так сказать, идеальный фашист? Вот оно, это место: «1) Живое, приятное лицо и густые, расстепанные волосы. 2) Горящие гордые и наивные глаза, которым, однако, знакома и ирония. 3) Чувственный энергичный рот, готовый яростно целовать, сладко петь и повелительно командовать. 4) Эластичные мускулы... 5) Сердце динамо-машины, пневматические легкие, печень леопарда. 6) Проворные ноги... 7) Элегантность — строгая, мужественная, спортивная...» Слишком далеко все это от литературы? Как сказать. Низкопробность и пошлость фашистской литературы, ориентирующейся на такой «идеал», сам уровень исходных представлений о кра-

соте здесь как на ладони. И это доказательство не только непрекращаемо достоверное, оно обладает еще одним важным достоинством — живой исторической конкретностью.

Одно из неизменных условий существования тоталитарного режима — полная унификация духовной жизни, воспитание беспрекословных исполнителей. Любая маломальски живая и самостоятельная мысль преследуется как опаснейшая крамола, свирепствует цензура, которой всюду мерещатся зловредные идеи, во всех сферах жизни устанавливается строжайшая регламентация — каждый шаг человека с детских лет определен обязательными предписаниями, отступления от которых караются беспощадно. Все это достаточно широко известно. Но до чего дело доходило, степень безумия и жестокости, тупости и самодовольства — это тоже следует знать. Ц. Кин рассказывает такой эпизод: «Была целая эпопея со словами «*voi*» и «*Lei*». Это требует объяснения. И то и другое означает «вы». Однако «*voi*» — обычная форма обращения, а «*Lei*» — вежливая. Так вот, фашисты решительно высказывались за уничтожение «лей». Но поскольку режим тоталитарен, Стараче, бывший тогда (это все происходило уже в 1938 году) секретарем партии, с усердием фельдфебеля начал сыпать циркулярами, запрещающими «лей». Дошло до того, что был опубликован соответствующий декрет за подписью Муссолини. Некоторых людей, говорящих «лей», избивали. Все эти факты, весь этот отвратительный, отталкивающий гротеск был реальностью, а слово «лей» для многих превратилось чуть ли не в символ антифашизма». Один этот эпизод, одна эта деталь дает возможность реально представить, во что в таких условиях должна была превратиться и превратилась литература, занимающая охранительную по отношению к фашистскому режиму позицию.

Но Ц. Кин одной деталью — как бы она ни была многозначительна и неотразима — никогда не ограничивается. Она стремится многосторонне и с максимальной возможной в данном случае полнотой охарактеризовать исследуемое явление. И говоря о культурной политике фашистов, она не удовлетворяется рассказом о том, как в бой с формой вежливости была брошена государственная машина, — пожалуй, взятый отдельно, этот факт может восприниматься и как анекдотичный. Ц. Кин продемонстрирует тот ряд

повседневных мероприятий по внедрению абсолютного единомыслия, в котором эта история не покажется ни уникальной, ни тем более забавной. Она не пожалеет места — и это совершенно оправдано, — чтобы, например, обильно процитировать циркуляры, которые ежедневно получали от руководителей фашистской пропаганды итальянские газеты и которым журналисты должны были неукоснительно следовать.

Часть циркуляров приведу и я, чтобы читатели могли убедиться, в какую выразительную картину все это складывается. Директивы касались всех сфер жизни, они состояли не только из запретов, указывалась страница, на которой надо давать те или иные материалы, определялся даже размер заголовков: «В связи со смертью Максима Горького — никаких статей, никаких комментариев, никаких биографических данных. Сообщить эту новость, совершенно ее не выделяя». «Никогда не проявлять интереса к Эйнштейну». «Преподнести, как подобает, на первой полосе сообщение о речи дуче (великая, могучая речь или другие подобные определения). Сегодня одна газета дала заголовок только на трех колонках относительно национального и международного резонанса, который имела великая речь дуче. Ясно, что для того, чтобы поддерживать колоссальный интерес, вызванный словами дуче, необходимо, чтобы эта историческая речь соответственно преподносилась в ближайшие дни газетами: на первой полосе давать телеграммы внутритальянские и заграничные статьи, заметки, выделять курсивом самые значительные места». «Всегда напоминать, что все происходящее в настоящее время в Италии: подъем промышленного производства, военная подготовка, спиритуалистическое воспитание и т. д., — все исходит от дуче и несет на себе его неизгладимую печать». «В заметках о матчах и о чемпионате по футболу не нападать на судей». «Не публиковать больше интимных писем Д'Аннунцио». «Не заниматься обсуждением итальянских писателей и политических деятелей — возможных кандидатов на Нобелевскую премию, даже если их имена называет иностранная печать». «Не заниматься антологией современных миланских поэтов, составленной С. Пагани, издательство Ческина». И т. д. и т. п. Весь этот материал, нетрудно убедиться, сам подводит читателя к необходимым выводам о том, какой уду-

шающей была вся атмосфера жизни в фашистской Италии.

Любителям «экспрессинформации», лаконичных резюме обильного фактического материала в работе Ц. Кин может показаться излишним, чрезмерной роскошью. Но тем, кому важен не один лишь конечный вывод, но и способ его доказательства, тщательность и полнота аргументации (если даже математики говорят: «Задача решена красиво», то как же это важно для гуманитариев!), — читать книгу «Миф, реальность, литература» — истинное удовольствие. Это так, сколь бы непривычно ни звучало само слово — «удовольствие» — применительно к серьезному историко-литературному труду. Завершая одну из глав, Ц. Кин пишет: «Мне хотелось привести как можно больше фактов, потому что они сами говорят за себя». Этот принцип строго выдержан автором на протяжении всей работы.

Все познается в сравнении... Как часто в критических очерках слабый фундамент фактов не выдерживает возводимой постройки, выводы грешат умозрительностью и произвольностью, факт не подготавливает вывод, а иллюстрирует его, поэтому «неудобные», не укладывающиеся в концепцию факты обходятся, опускаются — это стало чуть ли не хронической болезнью. Для Ц. Кин нет «неудобных» фактов — она совершенно не испытывает робости перед сложностями и противоречиями. «...Не надо упрощать» — фраза, которая в разных вариантах не раз встречается в ее книге, лучше всего характеризует авторскую позицию. Определив, скажем, важнейшие тенденции литературного процесса двадцатых годов, она предупредит: «Конечно, нарисованная сейчас картина очень схематична», — и тут же укажет на явления, которые схема не охватывает.

Большое внимание, которое Ц. Кин уделяет фактической стороне дела, и вызвано — не в последнюю очередь — тем, что она и в малой мере не хочет упростить, выпрямить путь литературы и процессы, идущие в ней. И при этом — укажу еще на одно свойство работы Ц. Кин — огромный материал, содержащийся в книге, весь активно «работает»: нет пустой породы, нет сырья. Материал используется автором всегда рационально, буквально из каждого приведенного факта извлечен максимальный «коэффициент полезного действия».

Я много места уделил фактической сторо-

не книги «Миф, реальность, литература», но это вовсе не значит, что работа Ц. Кин носит фактографический характер или достоинства ее исчерпываются богатством материала. Вот как определяет цель исследования сам автор: «Мне пришлось в этой главе говорить преимущественно о политике и о литераторах, занимавшихся политикой не меньше, если не больше, чем своими романами или стихами. Говорить об этом было необходимо, если, не ограничиваясь перечнем основных фактов, стремиться анализировать развитие итальянской общественной мысли в ее многообразии и противоречивости». И в другом месте: «...Эта книга — не об истории литературы, а о тенденциях, настроениях и развитии общественной мысли». В самом деле, Ц. Кин тщательно рассматривает движение общественной мысли. И все-таки ее автохарактеристику придется уточнить: развитие общественной мысли интересует Ц. Кин в одном плане — как самый мощный стимул и внутреннее содержание литературного процесса. Ее работа создана, как принято сейчас выражаться, «на стыке» наук — истории общественной мысли, социологии и литературоведения. Содружество наук — лозунг нынче очень модный. Но, увы, сопрягать усилия призывают главным образом науки далекие, а традиционные для литературоведения связи часто остаются без внимания. Книга Ц. Кин как раз и свидетельствует о плодотворности этих связей и о том, что, пренебрегая ими, мы до некоторых, очень важных слов литературного процесса так и не добираемся. По пальцам можно пересчитать появившиеся в последние годы исследования, в которых движение общественной мысли анализируется как сила, формирующая литературный процесс.

Пусть не истолкуют меня превратно: трудно назвать работу, в которой не говорилось бы, что именно жизнь определяет развитие литературы, что отношение к действительности дает истинное или ложное направление таланту, что общественная потребность — причина рождения одних художественных течений и ухода в небытие других. Все это так. Но очень часто дело дальше общих формул не идет, проблема — действительность и литературный процесс — словно бы выносятся за скобки анализа.

Книга «Миф, реальность, литература» отличается — и это, на мой взгляд, главное ее достоинство — тонким и пропущенным исследованием взаимоотношений обществен-

ной мысли и литературного процесса. Ц. Кин стремится вскрыть истоки явлений и процессов, обнаружить традиции, проследить эволюцию. Именно поэтому она начинает работу кратким очерком литературы и общественной мысли конца XIX — начала XX века. Характеризуя, например, платформу возникшего в самом конце прошлого столетия во Флоренции журнала «Марцокко», к которому близко стоял Д'Аннунцио, проповедовавший в ту пору нищестанство, национализм, крайнее эстетство («Мы не хотим правды, дайте нам мечту!» — провозглашал он), Ц. Кин укажет, к чему приведет через три десятилетия такая позиция группировавшихся вокруг журнала литераторов: «Марцокко», родившийся в атмосфере «агрессивного», если можно так выразиться, эстетизма, решительно восстал против любых произведений литературы и искусства, в основе которых было бы нечто находящееся «вне сферы чистой красоты»... Политически «Марцокко» стал рупором самого крайнего и отчаянного национализма. Впоследствии большинство участников «Марцокко» присоединились к фашизму».

Или другой пример. Говоря о ситуации, сложившейся в Италии после первой мировой войны, Ц. Кин отмечает, что только наиболее дальновидные политики — такие, как Антонио Грамши, — понимали, что один из возможных выходов из кризиса, сотрясавшего все общество, — бесконтрольная диктатура крупной буржуазии, «бешеный разгул реакции имущих классов и правящей касты». Автор прямо ставит вопрос: «Почему политики понимали, и не только понимали, но и предчувствовали, а писатели не предчувствовали и не предвидели ничего?» И отвечая на этот вопрос, Ц. Кин показывает два ряда явлений, уходящих в будущее. Первый — фашисты без особого труда справились с оппозицией большей части буржуазной интеллигенции, потому что она не могла составить реальное представление о подлинном положении дел, не видела угрозы и не способна была к сопротивлению. Второй — прозорливость вождей Коммунистической партии Италии обеспечила ей затем, и в годы Сопровитвления и в наши дни, огромный авторитет у левой, прогрессивно настроенной интеллигенции, особенно у художественной интеллигенции.

Вульгарный социологизм, как известно, принес немало вреда нашей литературе — в том числе он вызвал настроенное отно-

шение к социологическому анализу явлений литературы, которое по сей день дает себя знать в критике и литературоведении. Это выглядит парадоксально, но такая реакция на вульгарный социологизм не подрывает его позиции, а питает его, создает иллюзию, что подобная методология, теоретическая несостоятельность которой была выяснена довольно давно, на практике может быть в чуть-чуть модернизированном варианте использована еще и сегодня. Для того, чтобы до конца преодолеть методологию вульгарного социологизма, которая после того, как он был теоретически скомпрометирован, существует, конечно, анонимно и не в чистом виде, надо совершенствовать социологический анализ, надо ясно видеть и его необходимость и его возможности. Книга Ц. Кин самым лучшим образом демонстрирует возможности и силу такого анализа.

Движение истории представляет собой равнодействующую многих разнонаправленных сил, итоговый результат усилий разных общественных слоев, преследующих каждый свои цели, защищающих свои интересы. Перед этим хитросплетением вульгарный социологизм явно пасует: за закономерности исторического процесса он обычно выдает топорно сработанные шаблоны. От конкретной исторической реальности при таком подходе мало что остается. В книге Ц. Кин история «своевольничает» — точно так же, как в действительности; ее путь не кратчайшее расстояние между двумя точками, к сожалению, она позволяет себе уклоняться в сторону, а иногда даже петлять. И автор не стремится загнать строптивую в искусственное русло стереотипных определений, а выясняет, почему случилось так, а не иначе, какие социальные силы в данном случае действовали, чьи интересы выражала та или иная группа художников, какими были их субъективные намерения и побуждения и каков объективный смысл их деятельности, их творений.

Вульгарные социологи не признавали полутонов и оттенков — только два цвета: либо белое как снег, либо — чаще всего — черное как сажа. Ц. Кин воюет с уравниловкой и огульностью. Последовательная и четкая дифференциация, взвешивание всех «за» и «против», оценка политической обстановки в данный момент — так подходит Ц. Кин к определению социальной сущности и общественного значения тех или иных

событий и явлений, наложивших свой отпечаток на литературный процесс.

Я уже говорил о том, что в книге «Миф, реальность, литература» показано, как большинство буржуазной интеллигенции отнеслось к фашистскому режиму — одни стали активно сотрудничать с фашистами, так сказать, не за страх, а за совесть, других купили большими и малыми подачками, третьи, испугавшись репрессий, махнули рукой на все... Но и здесь Ц. Кин остается верна себе: она, как бы это ей ни осложняло дело, не собирается всех красить одним цветом. Потому что были и четвертые... Они оказывали моральное сопротивление фашистам, они пытались сохранить духовную независимость и достоинство. Велика ли сила такого сопротивления, велико ли значение такого протеста? Нельзя судить об этом, не выяснив тех условий, в которых при фашистах существовали итальянская интеллигенция и писатели.

В первые дни Сопротивления, в августе 1943 года, Франческо Флора в статье «Достоинство писателя» писал (Ц. Кин приводит эти слова): «Трудно было спастись (и это удалось немногим) в той атмосфере лжи, которая царилла во всей общественной жизни, в печати, радио, кино: в атмосфере постоянной парадности, когда насилие и произвол выступали под нарядными масками; когда казалось, что все, предоставляемое нам, мы имели лишь по милости одного лица, которому обязаны были вечной благодарностью». Это и служит Ц. Кин основанием для очень серьезного вывода: «В конкретных условиях итальянской действительности в середине двадцатых годов нелегко определить границы, разделяющие активный, осознанный антифашизм от морального негодования». Она с большим уважением рассказывает о двенадцати профессорах, которые «не были активными антифашистами, не ушли в подполье, не уехали за границу, придерживались, очевидно, умеренных политических взглядов», но только они — двенадцать из 1250 преподавателей высших учебных заведений — отказались принести в 1931 году унизи-тельную присягу фашистскому режиму, поплатившись за это работой. Она покажет, что между элитарным искусством, которое проповедовал Д'Аннунцио на рубеже XIX и XX веков, и «чистой поэзией», которую отстаивали поэты-герметики в середине тридцатых годов, при всей внешней близости

этих эстетических концепций, была принципиальная разница. Одна вела к фашизму, готовила его, другая выражала недовольство фашистским режимом. «Какой бы ограниченной ни была оппозиционность поэтов-герметиков,— пишет Ц. Кин,— она все же была оппозиционностью. Когда герметики... заявляли: «Все, что не является стилем, нас не касается»,— это было и пассивным неприятием фашистской действительности, и бегством от нее, и ставкой на некий духовный аристократизм и самостоятельность».

Об этом почему-то не принято говорить, но в каждом серьезном критическом исследовании — не только в художественном произведении — есть свой пафос, своя «сверхзадача». Пафос книги «Миф, реальность, литература» раскрывают слова из статьи Антонио Грамши и Пальмиро Тольятти, которые Ц. Кин послужили эпиграфом для ее работы. В последнем абзаце книги она вновь их цитирует: «Говорить правду, сообщая добиваться правды — значит работать на благо коммунизма и революции»,— цитирует, чтобы сказать: «Эти слова и сегодня звучат как лозунг, как высокое моральное требование, как программа».

Л. ЛАЗАРЕВ.



ТРАГЕДИЯ ОБМАНУТЫХ

Гюнтер Грасс. Кошка и мышь. Повесть. Перевод с немецкого Наталии Манн. «Иностранная литература», № 5, 1968.

Первая повесть Гюнтера Грасса «Кошка и мышь» написана семь лет назад. Достаточно долгий срок, чтобы западный читатель засунул ее на полку и прочно забыл, а критик поставил в соответствующую рубрику, допустим, в рубрику «левая литература», и на сем успокоился. Однако с книгой Грасса (она была издана очень изящно, маленьким форматом, с рисунками автора) этого не случилось. Западные критики, а главное — западные читатели не просто вспоминают ее в своих беседах на литературные темы, но и спорят о ней. Года два назад вышел фильм того же названия. И опять-таки оказался объектом нескончаемой полемики...

Почему же история короткой жизни школьника, а потом фашистского солдата Иохима Мальке, который приводил в ярость своих учителей, эпатировал общественное мнение, восхищал и ставил в тупик товарищей, вызывает такой живой интерес, такое желание думать и сопоставлять?

Тема молодежи и ее нравственного воспитания, тема «отцов и детей» — одна из «вечных» тем мировой литературы. Особенно актуально звучит она на Западе в наши дни, когда между старшими и младшими поколениями очень часто возникает глухая стена непонимания, «тчужденности, обид и неприятия (споры вокруг «Кошки и мыши» и ведутся главным образом в этом плане — нравствен или безнравствен Иохим Мальке, прав он или не прав?)».

Левый западногерманский писатель Кристиан Гейслер поставил эпиграфом к своему роману «Запрос» библейское изречение: «И слава детей родители их». В этом изречении горькая ирония и упрек. Бесславное прошлое старших поколений, которые служили фашистскому государству или хоть чем-то потворствовали фашизму, тяжелым грузом нависло над современной западной молодежью. Понять молодежь сегодняшнего дня можно только после того, как заглянешь в день вчерашний, совершив экскурс в то, что называется самой новейшей историей. И в первую очередь это касается ФРГ, где прошлое не преодолено, где всегда остается угроза реставрации гитлеризма, где под словом «идеалы» бывшие нацисты понимают нацистские идеалы, а под словом «романтика» — военные игры. Чтобы понять своих детей, нынешние отцы, уцелевшие от пуль и снарядов, те, которые, по словам Гюнтера Грасса, «живут в маленьких затхлых городках и больших затхлых городах, лысеют и кое-что зарабатывают на жизнь», должны вернуться к годам, когда они сидели за школьными партами и были не отцами, а детьми. И вот это-то и заставляет сделать читателя Гюнтер Грасс со всем присущим ему писательским дарованием и бескомпромиссностью.

Итак, сбросим со счетов истории четверть с лишним века (действие книги Грасса происходит в начале сороковых годов в городе Гданьске — тогда Данциг) и вернемся к то-

му времени, когда лысеющие господа, невымышленные ровесники вымышленного Иоахима Мальке, были еще подростками. Поистине, это был один из самых мрачных периодов в многострадальной истории человечества. Почти вся Европа была оккупирована нацистами и стонала под игом фашизма. В самой Германии свирепствовал террор. Однако времена для немцев были не только мрачные, но и позорные. Ибо тысячи людей верили Гитлеру, который объявил, что фашистская солдатня пришла на чужие земли только для того, чтобы установить там «новый порядок» (официальный термин фашистской пропаганды) и освободить эти страны от «плутократов» и «неполноценных рас». Вот тот фон, на котором разыгрываются события, изображенные Гюнтером Грассом. И без этого фона мы не поймем трагедию Иоахима Мальке, трагедию целого поколения людей, которые росли и формировались в годы фашизма... Итак, пароль времени — война, смерть, террор. Семья подростка Пиленца, который якобы ведет рассказ в «Кошке и мыши», уже получила похоронную — старший брат рассказчика погиб в России, — и мать, развлекающаяся в тылу с освобожденными от военной службы чиновниками, соорудила у себя на буфете целый «алтарь». На «алтаре» — увеличенная фотография Клауса в траурной рамке, извещение о смерти и железный крест второй степени. Мещанский «алтарь» этот, упоминаемый в повести лишь раз, становится символом не только смерти, которая косила немецкую молодежь, но и «идеалов», в духе которых немцы воспитывались в те годы: ведь смерть на чужой земле, смерть «за фюрера» считалась доблестной, завидной смертью, а смерть в концлагере и в фашистской тюрьме — позорной! Все было поставлено с ног на голову. «Алтарь» в доме Пиленцов, на который с завистью взирает младший брат, — это одна из «реалий» тех лет, «реалий», которыми насыщена повесть Гюнтера Грасса.

А вот и вторая «примета времени», вторая «реалия». Одно из учителей Иоахима Мальке, старика Бруниса, «забрали прямо в школе», а его учеников «вызвали на допрос». Бруниса отправили в Штутгоф (фашистский концлагерь), из которого он не вернулся. В этой «реалии» есть и другая сторона. Никто из учеников Бруниса так и не узнал, за что нацисты расправились со старым учителем. По официальной версии

(о ней тоже говорят только шепотом!), «он присваивал витаминные таблетки, которые должен был распределять среди школьников», на самом деле его арестовали, «вероятно, по политическим причинам. Брунис оказался масоном». «Темная и запутанная история», — пишет в заключение рассказчик. Странно, не правда ли: среди бела дня в школе арестовывают старика учителя и ни один его питомец не осмеливается даже узнать, в чем он обвиняется. Человек исчезает навсегда, а оставшиеся даже не смущены, они сохраняют эпическое спокойствие. Темная и запутанная история!..

Третья «реалия» повести Грасса — «аризация» и фашизация польского города Гданьска, где происходят описываемые события. Все в этом городе, как, впрочем, и во многих других, лихорадочно переименовывается: школа имени Елены Ланге (Елена Ланге — известная деятельница женского движения) становится школой Гудрун (героиня древнегерманского эпоса), реальное училище кронпринца Вильгельма — школой Хорста Весселя. Но и граждане города спешат внести свою лепту в это поспешное перекрашивание. «Германизация польских фамилий, оканчивающихся на «кий», или на «ке», или на «а», — как Формелла, — получила тогда широкое распространение: Левандовский сделался Ленгншем, господин Ольшевский, наш мясник, — Ольвейном; родители Юргена Купки пожелали на восгочнопрусский манер зваться Купкат...» Не отстал от них и один из духовных пастырей города, его преподобие Гузевский, он начал именовать себя Гузевингом... Даже от собственных фамилий, от собственных предков люди готовы отречься, дабы их, упаси бог, не посчитали неполноценными.

Дико звучит это для нашего читателя. Но не надо забывать, какая сложная кастовая и расовая иерархия существовала в фашистском государстве и как люди буквально с боем брали каждую ступеньку этой иерархической лестницы: ведь от этого зависело их общественное положение, их посты и оклады, а зачастую и их безопасность.

И, наконец, последняя «реалия», о которой стоит упомянуть: в разоренном фашистами и войною городе (мальчишки ходят в штопанных-перештопанных, перелицованных отцовских пальто, «лука и того в обрез», самое большое лакомство — картофельные олады, подслащенные розовым

сиропом), в этом голодном городе, где почти все мужское население обречено на смерть,— день и ночь звучат глупые и выпендренные, бессмысленные и хвастливые фразы о «немецкой чести», «расовом превосходстве», «крови», «отечестве», «доблести арийского мужчины»,— фразы, перемежаемые угрозами и посулами, весь набор штампов, который вошел в историю под названием «гитлеровская пропаганда». Гюнтер Грасс пишет эти фразы и лозунги слитно: «течтопридутнамнасену... вэотчас... быстроупорножестоко... ктонезахочеттогозаставим...», и поэтому они приобретают особое звучание — звучание какого-то зловещего и отвратительно однообразного аккомпанемента, под который тревили, мучали, муштровали и гнали на убой миллионы людей...

Но это все, как уже было сказано выше, фон. Писатель ведет свой рассказ не о взрослых людях, «аризировавших» свои фамилии, и не о несчастном «папаше Бруннсе», а о юношах — «детях» той эпохи — и о их негласном предводителе Иоахиме Мальке. И потому его рассказ и полон такой горечи, такой скрытой боли. Ведь никого так не калечили фашисты, как молодежь...

Коротка была юность в фашистской империи. Только-только вырастали мальчики, и их уже ждал обязательный «трудовой фронт», а потом солдатчина. Иоахиму Мальке и его сверстникам не дали даже доучиться — по утрам они отвечали уроки «седовласым учителям», а после обеда служили помощниками зенитчиков на береговой батарее. В учебных бараках они сдавали экзамены на аттестат зрелости. А тем, кто шел добровольцами, аттестат и вовсе «швыряли вслед без экзаменов». Но даже эта короткая юность в коричневом рейхе была предельно регламентирована, унифицирована, обеднена. Буквально все организации молодежи: спортивные, туристские, так называемые певческие ферейны и так называемые «следопыты», пользовавшиеся в Германии большой популярностью до 1933 года, организации бойскаутов, студенческие объединения, церковные союзы и т. д.—были поглощены пресловутым гитлерюгендом во главе с солдафоном, военным преступником Бальдуrom фон Ширахом, а позднее Аксманом. В гитлерюгенде занимались муштрой (это был филиал казармы) и зубрежкой фашистских

формул из «Майн кампф» и других «трудо» фашистов.

Но молодость есть молодость. В юности люди строптивы и непокорны и инстинктивно ищут своих путей в большом и грозном мире. У Иоахима Мальке и его товарищей свой «кодекс чести», «свой счет», свои меры добра и зла. «Болезненный» Мальке, «одержимый» Мальке, некрасивый Мальке, чудак Мальке — их герой. И, возможно, именно потому, что он так не похож на тех сусальных героев, о которых мальчишки читают в нацистских романах Двингера, в нацистских газетах и нацистских школьных учебниках. Правда, Мальке плавает быстрее всех и остается под водой дольше всех, как и положено арийскому юноше. Но каждый мальчишеский подвиг Иоахима Мальке — результат преодоления его собственных слабостей, победа воли и интеллекта. А гитлеровцы ненавидят и искореняют интеллект, дух, разум, интеллигентность, они признают только тупую силу, животную храбрость, безмозглый «героизм».

О чем мечтает сам Мальке? Чего он хочет? Как и все юноши во все эпохи, он хочет быть смелым, быть добрым, быть красивым. Мечтает о подвигах, о доблести, о славе. Но его несчастье в том, что все это уже давно учтено и поставлено на вооружение фашистами. Все юношеские стремления и цели давно «разграфлены» и внесены в соответствующие рубрики. И в каждой графе, каждой рубрике записано примерно так: «Смелость — конечная цель, воинские награды, ордена, воинские чины», «Красота — солдатская простота, выправка, мундир», «Слава — воинская слава», «Подвиги — воинские подвиги во имя Великогермании и ее фюрера»... Инстинктивно Иоахим Мальке понимает, что его идеалы фашистское государство стремится подменить лжеидеалами, подлинными ценностями — ходульными, истинные добродетели — фальшивыми. Он все время делает судорожные попытки вырваться из этого заколдованного круга, найти хоть какую-нибудь отдушину, лазейку... Вот Мальке как безумный молится в церкви. Быть может, он найдет отдушину в религии, в культе божьей матери? Нет, патер Гузевский, он же Гузевинг, давно служит нацистам: сам глава католической церкви папа Пий XII заключил конкордаг с Гитлером и с олимпийским спокойствием взирает и на мерзости, творящиеся в Германии, и на депортацию евреев

из всей Европы. Альфреду Розенбергу даже не пришлось закрывать христианские храмы и сооружать на их месте древнегерманские капища. Множество церковников стало добровольно помогать фашистскому государству... Мальке нацепляет на шею дурацкие «бомбошки», нашивает на свое пальто пестрые блямбы (все лучше, чем ходить в солдатском эрзац-сукне!). Наконец, Мальке ворует высший нацистский орден, ту самую побрякушку, которая считалась в нацистской Германии святыней. Словом, Мальке совершает целый ряд бессмысленных, казалось бы, поступков, которые иначе, чем мальчишечьими выходками, не назовешь. Однако внимательные читатели повести Грасса поймут, что за этими мальчишечьими выходками кроется мучительное желание юноши вырваться из железного кольца фашистских норм, эстетических критериев, этических установлений и негласных и гласных законов, из всего того, что именовалось в Германии тех лет «идеологической системой национал-социализма».

Однако эти попытки, увы, оканчиваются поражением Иоахима Мальке. Ведь против него вся государственная машина фашизма. Антипод Мальке, его самый главный враг и непосредственный виновник его самоубийства — одно из колесиков этой машины. Мы имеем в виду директора гимназии Клозе, бездушного чинушу Клозе, который «усиленно занимался политической деятельностью и преподавал лишь от случая к случаю». Клозе не идет на фронт, он поучает в тылу. Этот человек доверху набит всяческими пошлыми сентенциями, фашистскими цитатами, изречениями...

Директор Клозе отнюдь не исчадие ада, а типичная посредственность, его сила в том, что он отлично знает все «правила игры» в гитлеровском государстве. Между прочим, он знает, что цель фашистского воспитания — нивелировка людей, ибо фашистский строй опирается на безликих и бездарных, хотя на словах утверждает совсем обратное. Фашизм признает только тех, кого можно стричь под одну гребенку, ставить по ранжиру. А Иоахим Мальке с самого начала какой-то «непохожий», он выделяется среди остальных гимназистов, и Клозе берет его на заметку. Даже когда Мальке совершает на фронте поступки, за которые ему дали ту «святыню», тот высший нацистский орден «несмеюдаженазвать», который он когда-то стащил в гим-

назическом спортивном зале, — даже тогда «обтекаемый» чинуша Клозе не пожелал его амнистировать. Мальке остается для него изгоем, подозрительной личностью, не «сто-процентным» патриотом. И он, конечно, прав со своей стороны.

Вся военная «карьеря» Мальке — это тоже один из его мальчишечьих подвигов, способ самоутвердиться во враждебном мире и в то же время очередная попытка найти отдушину, лазейку. Но за время, проведенное на фронте, Мальке возмужал, повзрослел и многое понял. «Я пошел добровольцем. Сам над собой смеюсь. Ты же знаешь, не очень-то мне все это симпатично: игра в войну и подчеркнутое солдафонство», — говорит Мальке своему другу Пилленцу. А потом, фактически дезертировав из фашистской армии, он с печалью и болью признается: «Я не боюсь, просто с меня хватит».

...Воды Балтийского моря сомкнулись над головой бедного Иоахима Мальке. Он нашел себе могилу в том самом месте, где удивлял товарищей своей храбростью, где прошли лучшие часы его обкорнанной юности... Так кончается повесть «Кошка и мышь». Печальная повесть о загубленной жизни в годы фашистской диктатуры в Германии, уроки из которой могут извлечь и нынешние «отцы», и нынешние «дети».

Важнейший из этих уроков коротко можно сформулировать так: во имя будущего не забывайте преступлений прошлого. Будьте активны, не дайте вновь одурочить себя («Мы, немцы, — я включаю сюда и послевоенное поколение, — сказал Грасс не так давно на церемонии по случаю вручения ему премии имени Осецкого, — обязаны отвечать и сейчас за Освенцим и Трешлинку»).

Да, повесть Грасса «Кошка и мышь» — самая своей сути бескомпромиссна. Гораздо более бескомпромиссна, чем нынешняя позиция ее автора, который хоть и призывает молодежь выступать против неонацистской партии НДП, против «фашистских методов» шпрингеровской прессы, против «новокоричневого жаргона» и против правых политиков — Кизингера и Штрауса, — в то же время чернит нынешних бунтарей-студентов, уговаривая их придерживаться теории наименьшего зла, смиряться, проявлять терпение, идти на компромиссы. Этому более чем сомнительному тезису посвящена, кстати сказать, последняя пьеса Грасса «Перед тем», встреченная зрителями, особенно

бунтующей молодежью, с недоумением и неудовольствием.

Однако хочет этого Грасс или не хочет, его интересная и талантливая повесть учит нас лучше понимать и нынешнюю молодежь, ее бунт, ее поиски, даже ее смешные и не смешные заблуждения, ошибки и крайности — от мини-юбок и дикарских причесок до тотального отрицания всего, до ультра-левых увлечений...

В рассказе Чехова «В овраге» старик Цыбукин после того, как у него в руках побывали фальшивые рубли и полтинники,

начинает панически бояться всяких денег вообще. Он никак не может разобрать, какие у него деньги настоящие, какие фальшивые, и ему кажется, что они все фальшивые...

Слишком долго Иоахимам Мальке подсовывали фальшивые идеалы, фальшивые ценности, фальшивую мораль. Так не надо же осуждать их за то, что они так недоверчивы ко всему, что им предлагают «отцы», — как бы говорит своей повестью Гюнтер Грасс. Нужно их понять и им помочь.

Л. ЧЕРНАЯ.

✱

Политика и наука

НОВЫЕ КНИГИ О ВЕЛИКОЙ БИТВЕ

А. М. Самсонов. Сталинградская битва. Изд. 2-е. Дополненное и переработанное.

«Наука». М. 1968. 603 стр.

Сталинградская эпопея. «Наука». М. 1968. 719 стр.

Двести огненных дней. Воениздат. М. 1968. 510 стр.

Три объемистые книги, объединенные общей темой — великая битва на Волге, — вышли в короткий срок одна за другой. Первая из них написана членом-корреспондентом АН СССР А. М. Самсоновым. Вторая — «Сталинградская эпопея» — это сборник воспоминаний выдающихся советских полководцев, политработников, генералов. Третья — сборник воспоминаний участников событий, очерков, написанных советскими журналистами и писателями, и других произведений о великой победе Советской Армии и восстановлении города-героя.

Битва на Волге продолжалась шесть с половиной месяцев на огромной территории. В ней участвовало с обеих сторон более двух миллионов солдат и офицеров, двадцать шесть тысяч артиллерийских орудий и минометов, более двух тысяч танков и две тысячи самолетов. Она закончилась разгромом пяти гитлеровских армий. «У стен Сталинграда, — пишет в предисловии к «Сталинградской эпопее» Маршал Советского Союза М. В. Захаров, — Советский Союз нанес сокрушительный удар всей общественно-политической системе фашизма, сломил наступательный порыв и моральный дух гитлеровского вермахта. Здесь начался закат фашистской империи и всего преступного блока агрессоров. Как одно из величай-

ших поворотных событий второй мировой войны Сталинградская битва оказала всестороннее влияние на общую стратегическую обстановку, решительно улучшив положение стран антигитлеровской коалиции. Исход сталинградской эпопеи еще более повысил международный авторитет Советского Союза, показал, что он способен самостоятельно разгромить коалицию фашистских государств».

Отрадно отметить, что это огромное по своему значению событие нашло более полное, чем прежде, отражение в рецензируемых книгах. При освещении событий авторы учитывают материалы, обобщения и выводы, сделанные в ранее вышедших работах и прежде всего в наиболее содержательной и фундаментальной из них — многолетней «Истории Великой Отечественной войны». Вместе с тем они вводят в научный оборот ряд новых фактов и документов. Они вновь подтверждают вывод, что великая победа на Волге — результат ратного подвига Советской Армии и трудового подвига всей страны.

В книгах обстоятельно рассматриваются важнейшие стороны Сталинградской битвы: деятельность высших военно-стратегических органов, работа командующих, военных советов и штабов фронтов и армий, команди-

ров и партийно-политических органов, подготовка и ведение операций, подвиги советских воинов. Большое место занимает здесь освещение вопроса, весьма актуального для военной теории, однако оставшегося мало изученным в нашей исторической науке,— механизма советского стратегического руководства войной.

Долгое время в нашей исторической литературе господствовал упрощенный подход к изучению этой проблемы: вся система высшего военного руководства сводилась к деятельности одного Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина, а все стратегические успехи априорно объяснялись его «гениальностью». Позже имя Сталина было заменено обезличенным понятием «Ставка Верховного Главнокомандующего», но механизм руководства войной оставался по-прежнему неисследованным. В то же время, если говорить о Сталинграде, явно преувеличивалась роль Военного совета Сталинградского фронта, и прежде всего Н. С. Хрущева,— таким преувеличением грешат и соответствующие тома «Историй Великой Отечественной войны». Тем самым и в том и в другом случае невольно умалялась руководящая роль Коммунистической партии в организации отпора врагу. Все это, конечно, не способствовало ни убедительному разъяснению роли и функций нашего высшего военно-стратегического руководства, ни обобщению в столь важном вопросе опыта минувшей войны.

Отклонения от научной объективности в освещении деятельности высшего военного руководства в значительной мере объяснялись условиями культа личности, а затем, когда эти условия уже исчезли, сложившейся, привычной методикой исторического перенесения на деятельность советского Главнокомандования в годы Отечественной войны тех представлений, которые сформировались в общественном сознании под влиянием войн прошлого. Великий полководец, который с высокого холма обозревает панораму битвы, сам непосредственно всем руководит и всех направляет,— этот образ, восходящий к эпохе суворовских походов и Бородинского сражения, уже не отвечал изменившимся условиям. Коренные изменения в характере, масштабах и средствах военных действий, с одной стороны, имели своим следствием то, что роль главнокомандующего в руководстве войной зна-

чительно возросла, поскольку в его руках сосредоточилась огромная власть — военная, политическая и экономическая. А с другой стороны, они существенным образом ограничили возможности и пределы личного воздействия одного человека, независимо от его способностей, на ход событий. Руководство войной стал осуществлять уже не один человек, а большой коллектив, деятельность которого опосредствовалась целой системой государственных и военных органов. Стратегические планы и решения вырабатывались, а тем более проводились в жизнь большим числом руководителей, каждый из которых нес персональную ответственность как за результаты деятельности в своей области, так и за общее руководство войной. Подлинную роль каждого из таких руководителей можно определить только на основе глубокого изучения конкретных условий, в которых он действовал.

Все это хорошо прослеживается на примере Сталинградской битвы. Подводя итог поискам и дискуссиям советских историков и мемуаристов, А. М. Самсонов рисует выработку плана контрнаступления как сложный процесс, в котором участвовали многие генералы и офицеры Ставки, Генерального штаба, Управления тыла, командующие фронтами и армиями, ведущие сотрудники их штабов. Его выводы на этот счет вполне совпадают с мнением военачальников, непосредственно руководивших работой по подготовке и осуществлению указанного плана. «План проведения операции стратегического масштаба,— пишет заместитель Верховного Главнокомандующего Г. К. Жуков,— мог возникнуть в полном объеме только в результате длительных творческих усилий всех войск, штабов, командиров.. Заслуга Ставки Верховного Главнокомандования и Генштаба состоит в том, что они оказались способными с научной точностью проанализировать все факторы этой грандиозной операции, научно предвидеть ход ее развития и завершения. Следовательно, не о персональных претендентах на идею контрнаступления должна идти речь».

Г. К. Жуков и А. М. Василевский, в то время начальник Генштаба, подробно рассказывают о том, как еще во время ожесточенных оборонительных боев 12 и 13 сентября возник замысел контрнаступления Красной Армии, после обсуждения которого в Ставке с И. В. Сталиным ее представители были направлены в район боевых действий

для изучения условий проведения операции; как затем по их докладу Ставка утвердила наметки плана и в конце сентября поручила ответственным работникам Генштаба с привлечением командующих родами войск детальную подготовку плана. Позже к этой работе были привлечены командующие и штабы фронтов и армий. Из воспоминаний командующих войсками фронтов К. К. Рокоссовского и А. И. Еременко, членов военных советов фронтов А. С. Желтова и К. Ф. Телегина, начальника Главного артиллерийского управления Н. Д. Яковлева, заместителя командующего фронтом по тылу Н. П. Анисимова мы узнаем о том, как этот план детализировался в центре и на фронтах, как он приводился в соответствие не только с уже накопленными силами и материальными ресурсами, но и с производственными возможностями страны. Великая победа под Сталинградом являлась одновременно и выдающимся успехом советского стратегического руководства.

Развивая — применительно к изучению великой битвы на Волге — традиции, сложившиеся в советской исторической науке под благотворным воздействием решений XX и последующих съездов КПСС, названные работы вносят серьезный вклад в историографию Великой Отечественной войны. В то же время каждой из них присущи свои особенности, которыми определяется характер и весомость этого вклада.

Книга А. М. Самсонова — фундаментальное научное исследование Сталинградской битвы с общесторической точки зрения. В ранее вышедших работах эта битва исследовалась преимущественно с чисто военной точки зрения, лишь в немногих работах освещались, и то далеко не полно, экономические, социально-политические и некоторые другие вопросы, связанные с битвой на Волге. Обстоятельного же комплексного исследования этого великого исторического события мы не имели. Нельзя сказать, что эта весьма важная в политическом и научном отношениях задача в книге А. М. Самсонова уже полностью разрешена. Но в ней сделано главное — общесторический подход к исследованию проблемы позволил автору, выйдя за рамки чисто военного изучения событий, убедительно показать всенародный характер Отечественной войны, во всей полноте проявившийся во время Сталинградской битвы. Такому определению предмета, методики и задач исследования

способствовал тщательный анализ А. М. Самсоновым работ советских и зарубежных авторов по истории Сталинградской битвы, а также глубокое изучение фондов центральных и областных архивов, публикаций документов, мемуаров и других источников.

Все это позволило ему более полно и ярко осветить ход событий, введя в научный оборот многие неизвестные ранее факты и документы.

Причины побед Советской Армии в Великой Отечественной войне и в крупнейших ее сражениях исследовались уже многими советскими и зарубежными авторами. Советские историки и социологи вскрыли основные источники побед Советского Союза в войне, созданные самой природой нашего строя. А. М. Самсонов пошел дальше, вскрыв механизм действия необходимых и случайных причин успехов и неудач нашей армии в конкретных условиях второй половины 1942 и начала 1943 года. Автор рассматривает сложившееся к этому времени соотношение сил между фашистской и антифашистской коалициями в Европе и делает вывод, что это соотношение и тенденции его развития не давали немецко-фашистскому командованию никаких надежд на возможность достижения серьезного стратегического успеха во второй мировой войне. Но важен был и субъективный момент. Политическое и военное руководство каждой из сторон могло правильно или ошибочно оценить сложившиеся условия и предпринять действия, соответствующие или не соответствующие им. Правительства США и Великобритании, отказавшись предпринять активные военные действия на европейском континенте, тем самым позволили гитлеровскому верховному командованию бросить преобладающую часть сил и материальных ресурсов всего фашистского блока в Европе против Советского Союза.

Советское Верховное Главнокомандование в основном правильно оценило опасность, которую представлял противник летом 1942 года, и избрало наиболее выгодный способ действий — переход к стратегической обороне, что создавало условия для дальнейшего изменения соотношения сил в пользу Советской Армии. Однако в соответствии со стратегическим планом предполагалось, что противник предпримет главные действия на Московском направлении, а не на Южном, как это было на самом деле; предел активности стра-

тегической обороны был значительно превышен по сравнению с имевшимися силами и средствами. Осуществленные весной и летом 1942 года наступательные операции под Ленинградом, у Демянска, на Орловском направлении, в районе Харькова, в Донбассе и Крыму, а также просчеты и неудачи оперативного порядка, имевшие место при их проведении, привели к распылению сил по фронту и преждевременному расходованию значительной части резервов и материальных ресурсов, что существенно ограничило оборонительные возможности наших войск в районе решающих сражений летом и осенью 1942 года. Потребовались немалые дополнительные усилия армии и всей страны, чтобы подготовить благоприятные условия для перехода наших войск в большое наступление. Указанные просчеты обусловлены были, конечно, не только субъективными особенностями политических и военных руководителей того времени, не только особым характером взаимоотношений, складывавшихся в обстановке, когда представления о заведомой непогрешимости одного человека подчас мешали творческому обсуждению стратегических проблем, но и рядом объективных причин, среди которых немалую роль играл недостаток опыта. «Способность решать практические проблемы военной стратегии с учетом всех факторов, определявших точное и правильное предвидение, вырабатывалась у советского командования постепенно, по мере накопления опыта ведения войны», — заключает А. М. Самсонов.

Что касается ошибок, допускавшихся немецким верховным командованием, то о них нужно сказать следующее. Гитлеровское военное руководство и в конце 1942 года, и на других этапах войны действительно совершило ряд весьма крупных стратегических ошибок. Этим, как показано в книге, пользуются буржуазные фальсификаторы истории, чтобы представить поражение фашистской Германии как «случайность». Дескать, не будь ошибок Гитлера, не было бы и победы Советского Союза. А. М. Самсонов показывает, что ошибки немецкого верховного командования лишь усиливали неблагоприятное для него воздействие на ход войны более глубоких социально-политических и экономических причин.

Оценивая приказ Гитлера во что бы то ни стало удерживать Сталинград силами окруженных войск и отношение к этому ре-

шению Дёрра, Типпельскирха и других западногерманских историков, которые утверждают, что именно оно привело 6-ю немецкую армию к катастрофе, автор пишет: «Каким бы ни было решение Гитлера — оставаться войскам Паулюса в Сталинграде и ждать, пока их выручат другие немецкие войска, или же совершать прорыв самим, — это еще не определяло судьбу окруженной группировки противника. В то время соотношение сил на советско-германском фронте уже изменилось в пользу Союза ССР, и налицо были все реальные предпосылки для нанесения сокрушительного удара по зарвавшемуся врагу... Такой же, или приблизительно такой, результат неизбежен был и при другом решении фашистского командования, что не следует, конечно, понимать фаталистически, и в этом смысле правомерно говорить об ошибках Гитлера и германского генерального штаба, которые способствовали тем или иным неудачам немецко-фашистской армии... Порочность немецко-фашистской стратегии, ее авантюристическая сущность, проявившаяся в недооценке мощи СССР, были главной причиной и той катастрофы, которая постигла противника под Сталинградом».

Воспоминания, помещенные в книге «Сталинградская эпопея», воспоминания и очерки, опубликованные в книге «Двести огненных дней», написаны участниками событий. Их объединяет понимание опасности, нависшей над нашей страной, чувство советского патриотизма, ощущение величия того всенародного подвига, который совершен был в грандиозной битве на Волге. Вместе с тем в момент описываемых событий авторы занимали различное служебное положение и потому видели их во многом по-разному, под своим углом зрения, со своего участка. К этому надо еще добавить различия в темпераменте, в индивидуальном восприятии. Все это придало мемуарам субъективность, которая полезна тем, что позволяет лучше увидеть и понять ход событий, почувствовать колорит места и времени, те конкретные условия, в которых сражались советские войска. При этом наряду с известными фактами в ряде воспоминаний приводятся и такие сведения, которые не оставили следа в известных историкам документах и сохраняются лишь в памяти участников событий.

Г. К. Жуков, А. М. Василевский и Н. Н. Воронов весьма обстоятельно изложили

причины неудач наших войск на южном крыле советско-германского фронта летом 1942 года, проблемы, решавшиеся Советским Верховным Главнокомандованием в оборонительный период битвы, осветили процессы выработки стратегического плана, подготовки и проведения контрнаступления, рассказали о роли фронтов на каждом из этапов битвы, о деятельности многих военачальников. Несколько по-иному (другие масштабы, другие аспекты, другие участники) описаны те же события командующими войсками фронтов А. И. Еременко, К. К. Рокоссовским, Ф. И. Голиковым, членами военных советов фронтов А. С. Желтовым и К. Ф. Телегиным. Они вспоминают о развитии событий и деятельности людей, с которыми они сталкивались в процессе руководства действиями войск своих фронтов, о результатах сражений и операций. Командующие армиями В. И. Чуйков, М. С. Шумилов, П. И. Батов, Д. Д. Лелюшенко, К. С. Москаленко, начальники штабов фронтов и армий И. С. Варенников, М. И. Казаков, Н. И. Крылов, С. С. Бирюзов, командиры корпусов П. А. Ротмистров, В. М. Баданов, командиры дивизий А. И. Родимцев, Ф. Н. Смехотворов, И. И. Людиных рассказывают о сражениях, в которых они участвовали. В воспоминаниях секретарей Сталинградского обкома партии А. С. Чуянова и М. А. Водолагина и секретаря обкома ВЛКСМ В. И. Левкина рассказывается о работе партийных и советских органов, общественных организаций, мобилизовавших массы на отпор врагу, о помощи Советской Армии со стороны населения, об организации работы промышленных предприятий города и области во время битвы, о формировании ополчения и т. д. В воспоминаниях и очерках политработников Советской Армии, журналистов и писателей нашли отражение подвиги командиров и бойцов, вопросы партийно-политической работы в войсках.

По своему познавательному значению и уровню редакционной подготовки книги «Сталинградская эпопея» и «Двести огненных дней» неравноценны. Если первую из них можно признать вполне удачной, способной стать надежным источником для изучения Сталинградской битвы, то вторая, к сожалению, вызывает ряд упреков. В материалах этого сборника конкретные сведения нередко подменяются общими фразами, а события излагаются так, что подчас

заставляют усомниться в их достоверности. «В темную осеннюю ночь (более точных указаний на время и место действия автор, В. И. Левкин, не дает.— В. К.) девять комсомольцев-разведчиков отправились в расположение врага, чтобы уничтожить дзот». Далее рассказывается, что «из амбразуры дзота засвистели пули: почуввав опасность, немцы начали ураганным огнем обстреливать все подступы к дзоту. Разведчики залегли. Комсомолец Иван Карханнин бросился вперед и «своей грудью закрыл амбразуру дзота. Десятки пуль пронзили тело героя, но дорога для наступления (?) была открыта. Разведчики ворвались в дзот и в рукопашной схватке истребили двадцать гитлеровцев, уничтожили дзот и, подняв на руки мертвого Карханнина, бережно понесли его в свою часть» (стр. 226—227). Читателю, особенно читателю-фронтовику, довольно трудно будет представить себе подлинную картину этого действительно героического эпизода: и «ураганный огонь» из одной амбразуры, поражающий «все (!) подступы к дзоту», и свист пуль, различимый сквозь стук близко работающего пулемета, и «рукопашную», в которой восемь разведчиков истребляют двадцать гитлеровцев, сами не понеся при этом никакого урона...

Сильной стороной книги «Двести огненных дней» могло бы стать то обстоятельство, что в ней помещены воспоминания армейских политработников различных рангов. Битвы под Сталинградом и на Северном Кавказе, как известно, продемонстрировали большое разнообразие форм партийной и политической работы в войсках. Очень важно было бы показать, каким образом в полный трагических событиями оборонительный период битвы на Волге поддерживалось высокое моральное состояние советских войск. Нельзя же, как это получается у некоторых авторов, объяснять все только изданием приказа наркома обороны № 227 от 28 июля 1942 года, в котором резко осуждалась неуверенность и неустойчивость на фронте и ставилась задача покончить с отступлением. Не менее интересно и то, как удалось после длительной обороны добиться высокого наступательного порыва войск в условиях зимы сорок третьего года. Но вместо ответов на такие вопросы мы подчас находим в книге довольно поверхностные рассказы в сугубо информационном стиле.

В обеих мемуарных книгах много говорится о подвигах советских воинов, в том числе рядовых бойцов. Это все хорошо. Однако было бы очень уместно, если бы наряду с выдающимися полководцами, генералами и офицерами сами солдаты, сержанты и старшины поделились своими воспоминаниями о боях, в которых они участвовали на Дону и на Волге. Восприятие солдатом боя и обстановки, в которой он происходил, объяснение им своего поведения и т. д. во многом отличны от восприятия того же самого сражения офицером, а тем более генералом. Учет этого солдатского восприятия столь же необходим для понимания результатов того или иного сражения и всей Сталинградской битвы, для

изучения духовно-нравственного содержания минувшей войны в целом, как и воспоминания наших военачальников. К сожалению, солдатские мемуары еще редко появляются в печати.

Великий подвиг Советской Армии и всего советского народа, Сталинградская битва остается в памяти человечества как одно из самых ярких событий мировой истории, привлекая к себе неослабное внимание художников и ученых. Разумеется, и по выходе трех рецензируемых книг комплексное историческое изучение этого события не закончится.

В. КУЛИШ,

доктор исторических наук.

★

СРЕДСТВА, ВЕДУЩИЕ К ЦЕЛИ

Н. Н. Трубкин о в. О категориях «цель», «средство», «результат». «Высшая школа». М. 1968. 147 стр.

В основе этого исследования, по словам автора, лежит тот простой факт, что «при создании некоторого предмета человек на деле создает не только этот предмет, но всегда и нечто дальнейшее, непредвиденное и, как правило, более значительное», что «процесс реализации цели... имеет и такие последствия, которые никак не входили в намерения человека». Относительное несовпадение цели и результата — с этим действительно сталкивается любой человек в своей повседневной практике. То же самое видит он нередко, обращаясь к истории.

«Когда человек создавал атомную бомбу,— пишет Н. Н. Трубкин,— его целью не являлось что-либо большее, чем создать такую силу, которую он мог бы противопоставить предполагаемой военной силе противника... За редкими исключениями... здесь не был задан вопрос: а что же будет потом?» А потом оказалось, что вместе с бомбой люди «создали непосредственную угрозу термоядерной войны, беспрецедентную гонку вооружений и чудовищную степень эксплуатации трудящихся для покрытия астрономических цифр военных бюджетов. Они заставили народы, не стремившиеся ни к каким бомбам, в свою очередь создать атомную бомбу... они породили в массах недоверие к прогрессу и достижениям науки, к современной цивилизации вообще».

Подобное вступление как бы ориентирует читателя на то, чтобы за теоретическим рассмотрением проблемы видеть, по словам автора, «вопросы самой жизни, жгучие вопросы дня».

Цель—средство—результат. Анализ этой системы категорий в работе Н. Н. Трубкина начинается с экскурса автора в историю философии, который выявляет всю сложность, казалось бы, простого вопроса о характере человеческих целей. Являются ли они исключительно плодом усилий чистого разума, пересоздающего действительность по своим особым меркам и канонам? Либо, напротив, цели задаются человеку извне — природной необходимостью, как считал домарковский материализм, или гегелевской «хитростью провидения»? Как показывает Н. Н. Трубкин, та и другая точка зрения учитывает лишь одну сторону реальной картины. Ибо при ближайшем рассмотрении становится ясно, что нельзя предъявлять человеку даже элементарных требований, если не принимать его как ответственную и свободную в своих стремлениях личность. Точно так же нельзя найти ни одной цели, задачи, плана и т. д., которые так или иначе не исходили бы из окружающей действительности и ее законов.

Марксизм, говорится в книге, сумел наметить путь решения этой антинормы и по-

нять цель как «единство субъективного и объективного». Марксизм впервые определил основу человеческих целей, источник потребностей и нужд — сферу общественного производства. Автор приводит слова К. Маркса о том, что в процессе труда «потребление *полагает* предмет производства *идеально*, как внутренний образ, как потребность, как побуждение и как цель»¹. С этой основой связаны другие цели — политические, правовые, идеологические и пр. Вместе с тем, как считает автор, марксизм продолжает философскую традицию (идущую еще от аристотелевской актуальной и потенциальной цели) разделения человеческих целей на «ближние» и «дальние», конкретную цель деятельности и абстрактную цель-идеал. Роль идеалов, то есть нравственно-ценностной сферы, марксизм нисколько не отрицает. В самом деле, ведь человеку важно знать, для чего он действует, трудится, к чему стремится в конце концов. И потому иерархию человеческих целей завершает фундаментальный вопрос о смысле жизни, это последнее «то, ради чего», которое только и может придать подлинно человеческий характер нашей деятельности во всех ее конкретных проявлениях.

Здесь, по мнению Н. Н. Трубникова, важно уяснить себе принципиальное отличие марксистской теории деятельности от фаталистически-провиденциалистских воззрений, согласно которым необходимо трактовать любой общественно значимый акт, стремление или цель индивида как «объективно обусловленные», «запрограммированные» внешней средой. Разумеется, каждое поколение сталкивается в своей деятельности с социально-культурными предпосылками, оставленными ему в наследство поколением предыдущим. Однако новое поколение не просто ассимилирует прежние общественные условия. Каков бы ни был механизм возникновения новых потребностей, целей, идеалов, общество стремится изменить и изменяет старый мир. Будучи сознательным стремлением, цель заключает в себе момент выбора, а последний вовсе не автоматически обусловлен данным социальным бытием, сословной или классовой принадлежностью. Выбор целей определяется также общей духовной конституцией

личности, ее культурностью и ценностной ориентацией.

Насколько удастся осуществить цель — это уже другой вопрос, подводящий нас к понятию «средства».

Для выполнения цели требуется некоторое средство. При этом средство представляется на первый взгляд как нечто «техническое», чисто служебное, вполне подчиненное цели. «Это просто средство», — говорим мы. На деле, показывает автор, роль средства оказывается куда более существенной.

В качестве средства выступает предмет, обладающий некоторыми свойствами, благоприятными для достижения нашей цели. Скажем, стекло прозрачно и потому вставляется в окно. Употребляя предмет для нашей цели, пишет автор, мы тем самым как бы сужаем и ограничиваем его, смотрим на него лишь с точки зрения средства. Но сам по себе предмет не есть средство. Ему присущи и другие свойства, которые так или иначе проявятся, раз этот предмет «целиком» включен в действие. Так, стекло не только пропускает свет, оно еще хрупко, об него можно порезаться и т. д.

Пример со стеклом, конечно, не вызывает затруднений, потому что здесь нежелательные последствия устраняются элементарной осторожностью: стекло само не порежет. Иначе обстоит дело, если в качестве средства выступает гораздо более «неподатливый», гораздо менее зависящий от индивидуального человека «предмет» — общественные отношения. Ведь все реальные средства, употребляемые человеком в социальной жизни, означают участие его в различных, многообразных и тесно переплетенных между собой общественных отношениях — служебных, профессиональных, правовых, экономических и пр. Эти общественные отношения, к которым применяется человек ради достижения своих целей, которые он тем самым так или иначе воспроизводит или даже создает, накладывают столь существенный отпечаток на его действия, что реальные последствия этих действий будут значительно различаться от предполагаемых, а иногда оказываются и прямо противоположными. К. Маркс показал в «Капитале», как владелец фабрики, расширяя производство ради увеличения прибыли и побуждая делать то же других владельцев, вкладывает свои усилия в построение экономической системы конкурен-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 12, стр. 718.

ции, кризисов и т. п., жертвой которой может явиться он сам.

Яркую иллюстрацию к тому, как сказывается характер общественных отношений на осуществлении целей, дал в свое время Н. Г. Чернышевский в знаменитых «Письмах без адреса». Чернышевский описывал работу Редакционных комиссий, готовивших проект крестьянской реформы 1861 года. Среди членов комиссий было немало людей, понимавших (хотя бы из-за боязни народных выступлений) необходимость ликвидировать крепостное право и как-то улучшить положение крестьянства. Освободить крестьян «сверху» готов был даже сам царь. Но эта задача, говорил Чернышевский, решалась бюрократическими средствами. А в бюрократической системе «в делах серьезных никто не властен; все связано безгласною и незаконною взаимною зависимостью...». И вот, оглядываясь один на другого, предполагая, что будет угодно тому или иному вышестоящему лицу, члены царской комиссии выработали сообща такое решение об «освобождении», по которому крепостное право оказалось во многом «сохранено при провозглашении его отмены», а материальное положение крестьян стало даже хуже, чем до реформы. Как произошла такая перемена?—спрашивал Чернышевский и отвечал: «Этого никто не знает. По чьей воле произошла она?—Ни по чьей, потому что никто этого не хотел. Она произведена силою бюрократического порядка, против которой ничего не в силах сделать никто, хотя бы стоял и в самой главе всего управления. Вы хотите только спросить — ваш вопрос принимается за решение; вы хотите посоветоваться — ваши слова принимают за приказание; вы ищите опоры — все, до чего вы касаетесь, гнется перед вами»¹.

Н. Н. Трубников замечает, что когда обнаруживается несоответствие целей и результатов, то при объяснении совершившегося нередко ссылаются на неясность самой цели, на случайности, на «ошибки», «злой умысел» и т. д. Между тем логико-философский анализ показывает в общем виде, в чем прежде всего состоит смысл проблемы несоответствия цели и результата: в том, что «результат человеческой деятельности есть функция (производное.— В. Х.)

средства, а не функция цели». И так же как сознание человека никогда не исчерпывает бытия, так и действительный результат не может полностью совпадать с результатом предполагаемым.

Но суть, конечно, не в том, чтобы просто констатировать вечное несовпадение идеи и практики. В отдельных областях деятельности, например в лаборатории учебного или мастерской инженера, несоответствие это не сказывается на человеке существенно и даже напротив — является стимулом к дальнейшему расширению знаний, проникновению в тайны природы. Иное дело область социально-политическая (сюда относится и социальный аспект техники), где применение тех или иных средств сопряжено с людскими судьбами и потому особенно необходимо действовать по правилу «семь раз отмерь, один раз отрежь». Забвение этого, как много раз доказывала общественная практика, вызывает социальные коллизии, к которым применимо ходячее выражение: люди не ведают, что творят.

С исторической точки зрения проблема несоответствия цели и результата приобрела качественно новый характер в антагонистических обществах с их разделением умственного и физического труда, а стало быть, разделением на тех, кто разрабатывает общественные цели, и тех, кто трудится над их исполнением. Единство человеческой деятельности оказывается нарушенным. Если цели «управителей» по необходимости несут на себе печать сословно-элитарной ограниченности, оторванности от реальной практики, то для «исполнителей» трудовая деятельность оказывается в общественном смысле обезцеленной и обезцененной. Своего апогея это положение достигло в условиях современной буржуазной цивилизации. Подавленный не понятным им механизм выработки общественных целей, а еще более того — средствами и результатами общественной деятельности, «маленький человек» эксплуататорского общества теряет насущную жизненную ориентацию. Ценность его труда определяется лишь получаемым вознаграждением. Реальный труд, творческое трудовое общение — самая основа человеческой жизни — становится для индивида каждодневным принудительным «отбыванием», лишь средством побочных целей-«заменителей». Подобные «заменители» — различного рода

¹ Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, т. X. М. 1951, стр. 110—111.

хобби и прочее — в общем и целом имеют своим источником именно побуждение восстановить утраченное единство цели и результата, созерцать — пусть в ограниченной сфере — плоды своих действий, хоть в чем-то и на время достигнуть иллюзии личной свободной деятельности.

В антагонистическом обществе, говорится далее в книге, даже замечательные достижения современной индустрии — автома́ты, машины, средства комфорта и прочее, в принципе способные освободить человека от механических, нетворческих функций, — становятся не помощниками человека, а его оковами. «...Массовое производство, а с ним и массовое потребление, массовое образование и культура... скрывают и скрывают творческий характер человеческой деятельности и губительно сказываются на формировании творческих способностей человека». Они несут с собой культ практицизма, утилитарности и бездумного потребительства.

В связи с этим представляется уместным предостережение автора от излишнего оптимизма насчет того, что «тенденцией общественного и естественнонаучного прогресса является последовательное уменьшение несовпадения целей и результатов деятельности». Скорее можно отметить, что в прошлом, скажем, «во времена Аристотеля такое несовпадение цели и результата не могло быть столь значительным, как во времена более поздние, когда масштабы человеческой деятельности... неизмеримо возросли». Автор, разумеется, ни в коей мере не отрицает значение научно-технического знания для прогресса общества. Он лишь подчеркивает ту мысль, что это знание может научить, как реализовать ту или иную конкретную цель, но оно не определяет, какую цель надо реализовать. В условиях же антагонистического общества, где господствует отчуждение, человек, преследуя отдельные прагматические цели, зачастую теряет за ними цели нравственные, а в итоге — цель и смысл своей жизни, по отношению к чему все прочие цели являются всего лишь средствами. А ведь только осознание этого смысла делает человека человеком, а не простым «винтиком» и игрушкой внешних сил.

Как типичное порождение антагонистических отношений Н. Н. Трубников рассматривает и принцип, выдвинутый впервые иезуитами: цель оправдывает средства. Уже

сама необходимость «оправдания» средств говорит о многом: надо было каким-то «во имя» освящать весьма неблагоприятные действия. Вне зависимости от субъективных намерений деятеля, этот лозунг определяет его отношение к другому человеку и окружающим людям вообще как к средству, лишь орудие неких «высших» целей. Конечно, эти «высшие» цели нередко оказывались в исторической практике всего-навсего тривиальным обманом, и жестокие «средства» вызывались соответственными подлинными, а не декларируемыми целями. Сложнее обстоит дело в тех случаях, когда за неадекватными средствами стояли субъективно (да и объективно) действительно «добрые» цели — те самые благие намерения, которыми, как говорится, вымощена дорога в ад. Результат выявлял, что средства оказывались несовместимыми с характером поставленной цели и потому не достигавшими ее. Или же, как это нередко бывало, средства «по дороге» становились силой, переформирующей, деформирующей саму цель. Такое бывало и в практике прогрессивных движений. «... Гильотина в эпоху Великой французской революции, — пишет автор, — сыграла ничуть не менее значительную роль в определении реальных результатов этой революции, чем Декларация прав человека и гражданина».

Методу иезуитизма в книге противостоит принцип гуманизма, согласно которому не цель оправдывает средства, а напротив, если можно так выразиться, средства «оправдывают» цель: гуманная цель предполагает соответствующие средства. Высшим выражением такой позиции, подчеркивает Н. Н. Трубников, является марксизм.

На этом моменте, как нам представляется, автору следовало бы остановиться подробнее. Дело в том, что сформулированный выше принцип гуманизма нередко понимается лишь в морализаторском смысле. Это может привести человека к социальной пассивности, ибо реальная действительность весьма скупа на идеально «добрые» средства, и благородные побуждения индивида рискуют остаться лишь недостижимым романтическим идеалом. В такую ситуацию попадают иногда даже лучшие представители современного гуманизма, чье мировоззрение ограничено буржуазной практикой.

Маркс, Энгельс и Ленин глубже постигли диалектику исторического процесса, по-

казав, что поскольку новое общество выходит из недр старого, ему приходится сплошь и рядом пользоваться теми средствами, которые достались ему в наследство: от устаревших машин на заводе до прежнего чиновничьего аппарата. Из этого, понятно, вовсе не следует, что ради великой цели можно закрывать глаза на характер используемых средств. Тех псевдо-революционеров, которые надеялись силком привести общество в рай, Маркс недаром презрительно называл «казарменными коммунистами». Нет, марксизм-ленинизм исходит из возможности и необходимости «смягчить и облегчить муки родов», стремится в сочетании реальных практических средств гуманистических идеалов добиться оптимального результата на каждом историческом рубеже. Эту нелегкую задачу решает современный социалистический мир.

Автор справедливо считает, что марксизм—мировоззрение социалистического общества—дает человеку верные теоретические ориентиры для гуманного по своей направленности исторического творчества. Н. Н. Трубников неоднократно возвращает читателя к тому фундаменталь-

ному марксистскому положению, что «история сама по себе ничего не делает, не является каким-то вне деятельности человека осуществляющимся движением». Это значит, что, познавая действительность, сверяя с практикой и корректируя по шкале ценностей свои цели и средства, человек определяет и самую историческую необходимость; выбирая цели и средства, человек выбирает свое бытие, а в определенной мере — и все общественное бытие.

Работа Н. Н. Трубникова, по нашему мнению, представляет собой интересное логико-философское исследование. Можно лишь отметить, что изложение не всегда свободно от недостатков — в частности, некоторых длиннот и ненужных повторений. Стоит высказать упрек и по поводу языка — обилие «профессионализмов», которые нередко затрудняют понимание в общем-то простых и близких каждому вещей. Тем не менее книга будет несомненно полезна и «студенту, изучающему философию», как гласит рубрика на обложке, и не только ему.

В. ХОРОС.



ИСТОРИЗМ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Л. В. Черепнин. Исторические взгляды классиков русской литературы. «Мысль». М. 1968. 384 стр.

До недавнего времени высказывания классиков русской литературы о прошлом своей родины и человечества в целом не привлекали внимания специалистов-историков. Первые статьи об исторических взглядах Пушкина появились всего двадцать—тридцать лет назад. Позднее, в сороковых—пятидесятых годах, когда Институт истории Академии наук готовил многотомные «Очерки истории исторической науки в СССР», наметилась другая крайность. Составители отдавали явное предпочтение не историкам-профессионалам, знакомым со всей суммой исторических источников и владевшим методами их научного анализа, а публицистам, критикам, писателям, ценили не научные выводы, полученные в итоге кропотливых изысканий, а эффектные цитаты. В качестве исторических трудов здесь фигурировали даже комические поэмы «Тарас на парна-

се» и «Энеида наизнанку», тогда как имена ряда серьезных ученых вообще не упоминались. Сочинениям Ломоносова приписывалось неизмеримо большее значение, чем книгам Татищева, Щербатова, Болтина. Беглые исторические заметки Радищева рассматривались подробнее, чем фундаментальные работы Соловьева и Ключевского.

За последние десять—двенадцать лет советские историки сумели преодолеть многие ошибки недавнего прошлого. Определенную роль сыграл при этом и курс лекций по русской историографии до XIX века профессора Л. В. Черепнина. Ныне он выпустил новую книгу, посвященную специально историческим взглядам классиков русской литературы. В книге одиннадцать очерков — о Пушкине, Лермонтове, Гоголе, Тургеневе, Достоевском, Тютчеве, Лескове, Некрасове, Салтыкове-Щедрине, Льве Толстом и Блоке. Автор не стремился свести

все богатство нашего классического наследия к одной линии, а хотел показать своеобразие исторической мысли очень не похожих друг на друга писателей, принадлежавших и к революционной, и к консервативной части русского общества. Анализ исторических взглядов Тютчева, Тургенева, Достоевского, Лескова, Блока дан Л. В. Черепнинным впервые в нашей литературе. В ряде случаев это требовало большой предварительной работы. Так, высказывания Тютчева выбраны из многих самых разных источников.

Нужно быть благодарным ученому, поднявшему огромный материал, прежде всего эпистолярный, и впервые пересмотревшему его в таком объеме под новым углом зрения. Несомненно, к книге Л. В. Черепнина не раз обратятся и историки, знакомясь с интересными мыслями писателей и поэтов о закономерностях и случайностях в историческом процессе, о своеобразии путей развития России и т. д., и литературоведы, которым будет любопытен взгляд историка-профессионала на творчество Достоевского или Блока.

Книга напоминает о многих глубоких мыслях, блестящих наблюдениях, точных оценках, оставленных нам в наследие классиками русской литературы и заслуживающих самого пристального внимания всех, кому интересно прошлое человечества. Поражаешься, как мало здесь устарело, как современно звучит чуть ли не каждая цитата. «Бей в прошедшем настоящее, и тройною силою облечется твое слово,— писал Гоголь Языкову.— Прошедшее выступит живее, настоящее объяснится яснее» Или из другого его письма к тому же адресату: «Выведи картину прошедшего и попреки кого бы то ни было в прошедшем, но таким образом, чтобы почесался в затылке современник». Разве устарел этот завет писателя, взявшемуся за историческую тему? Кастовым ученым Гоголь посвятил почему-то забытое Л. В. Черепнинным замечательное место «Мертвых душ». Рассказ о встрече просто приятной дамы и дамы, приятной во всех отношениях, имеет неожиданное завершение: «наша братья... поступает почти так же, и доказательством служат наши ученые рассуждения. Сперва ученый подъезжает в них необыкновенным подлецом, начинает робко, умеренно, начинает самым смиренным вопросом: не оттуда ли? не из того ли угла получила имя такая-то стра-

на? или: не принадлежит ли этот документ к другому, позднему времени? или: не нужно ли под этим народом разуместь вот какой народ? Цитует немедленно тех и других древних писателей и чуть только видит какой-нибудь намек или просто показалось ему намеком, уж он получает рысь и бодрится, разговаривает с древними писателями запросто, задает им запросы и сам даже отвечает за них, позабывая все о том, что начал робким предположением, ему уже кажется, что он это видит, что это ясно,— и рассуждение заключено словами: «так это вот как было, так вот какой народ нужно разуместь, так вот с какой точки нужно смотреть на предмет!» Потом во всеуслышанье с кафедры,— и новооткрытая истина пошла гулять по свету, набирая себе последователей и поклонников». Несомненно, это зарисовка с натуры. Недавний профессор истории средних веков Петербургского университета думал о своих коллегах, скорее всего о представителях казенного патриотизма вроде Савельева-Ростиславича, Морощкина, Венелина, как раз в эти годы и в таком духе писавших о происхождении славян и древней Руси. Сейчас мало кто заглядывает в их сочинения, но их методы, увы, еще живы.

А разве устарели такие слова Льва Толстого: «Эпиграф к истории я бы написал: «Ничего не утаю». Мало того, чтобы прямо не лгать, надо стараться не лгать отрицательно — умалчивая?»

Можно было бы перебирать так один отрывок за другим, но пусть лучше сам читатель перечтет их все вместе в книге Л. В. Черепнина.

Итак, перед нами полезная и нужная книга. Но, как всякая работа на новую тему, она, естественно, вызывает и сомнения, желание спорить с автором.

Л. В. Черепнин безусловно прав, подчеркивая историзм, свойственный классической русской литературе, но думается, что степень историзма наших классиков была отнюдь не одинакова, и незачем приписывать им всем страстную любовь к истории (стр. 375). В статье «Историзм Пушкина» Б. В. Томашевский резонно заметил: историзм заключается не в том, что у какого-либо литератора встречаются высказывания о событиях минувшего или произведения о былом — и то и другое можно найти почти у всех. Историзм должен быть в самом мышлении, когда любое явление жизни

рассматривается в развитии, как следствие многих предшествующих явлений. В этом смысле Пушкин «Руслана и Людмилы» — поэмы якобы из времен Киевской Руси — не историчен, а подлинный историзм чувствуется лишь у зрелого Пушкина — автора «Моей родословной», «К вельможе» и других произведений 1830-х годов.

Это тонкое наблюдение прошло мимо Л. В. Черепнина. Он пишет: «Характерной чертой творчества Михаила Юрьевича Лермонтова, так же как и Пушкина... является историзм» (стр. 58). Верно ли это? Много ли историзма в разобранном Л. В. Черепниным «Боярине Орше»? Ведь недаром в эту поэму о России Ивана Грозного перенесены куски из более ранней «испанской поэмы» «Исповедь», а потом строфы «Боярина Орши» перекочевали в поэму о Грузии XIX века — «Мцыри». Не ясно ли, что историзм здесь мнимый, равно как и в драме «Испанцы», события которой Л. В. Черепнин не знает, куда отнести, — к XV или к XVII веку? Лермонтов шел к историзму, о чем свидетельствует не учтенный Л. В. Черепниным замысел трилогии, охватывающей жизнь русского общества от Екатерины II до декабристов и позже. Но в юношеских поэмах Лермонтова такого же историзма, как у зрелого Пушкина, нет и не могло быть.

Толстой «чувством историзма обладал в высокой мере», — читаем далее у Л. В. Черепнина. В действительности дело обстоит, видимо, не так просто. Вспоминается противоположное высказывание одного из лучших знатоков творчества Толстого, Б. М. Эйхенбаума, об «антиисторизме Толстого», считавшего историю мистификацией, ибо суть вещей всегда одна и та же и скрыта она в неизменной природе человека. Такая оценка автора «Войны и мира» звучит, конечно, как парадокс. Сам ход работы над эпопеей, когда автор, решив написать роман о декабристах, понял, что ему надо начать с наполеоновского нашествия, а затем почувствовал необходимость отступить еще дальше, говорит об истинно историческом мышлении. Но вряд ли случайны и другие факты: после девяти лет работы над романом о Петре I (1870—1879), после тридцати пяти вариантов вступления к роману Толстой отказался от этого замысла. Эпоха «слишком отдалена от нас, и я нашел, что мне трудно проникнуть в души тогдашних людей». Не случайно почти

нет высказываний Толстого о допетровской Руси, тогда как их так много у Пушкина или Блока. Историзм Толстого, следовательно, достаточно своеобразен.

Вызывает возражения книга Л. В. Черепнина и еще в одном отношении. Автор огорчается, что художественные произведения на исторические темы он рассматривать не будет, и действительно не останавливается сколько-нибудь подробно ни на «Капитанской дочке», ни на «Тарасе Бульбе», ни на «Войне и мире». Правда, в других очерках он отказывается от этого принципа и цитирует «Боярина Оршу», «Русских женщин», стихотворения Тютчева. Все же основной упор делается на выборку цитат, касающихся истории, из писем и статей писателей. Но, во-первых, в «Тарасе Бульбе» (на страницах о «тяжелом XV веке на полукочующем углу Европы») и, уж конечно, в «Войне и мире» немало кусков чисто исторических, и в них более полно отражены представления авторов о прошлом, чем в отрывочных заметках, которые встречаются в переписке. Во-вторых, настоящий вклад в развитие исторической мысли классики нашей литературы делали, очевидно, тогда, когда шли путем художника, а не когда брались за научный анализ, требующий специальных навыков и другой духовной организации. «Жизнь отчетливо указывает на две категории людей: художников и мыслителей», — писал И. П. Павлов. — Между ними резкая разница. Одни — художники... захватывают действительность целиком, сплошь, сполна, живую действительность, без всякого дробления, без всякого разъединения. Другие — мыслители — именно дробят ее, и тем как бы умерщвляют ее, делая из нее какой-то временный скелет, и затем только постепенно как бы снова собирают ее части и стараются их таким образом оживить, что вполне им все-таки так и не удается».

В этих словах слышится не только уверенность в правомочности двух путей познания мира, но и известная зависть ученого к художникам, познающим мир полнее и ярче. То же испытывали многие другие. «Наука лишь поспешает за тем, что уже оказалось доступным искусству», — утверждал Ф. Шеллинг в «Системе трансцендентального идеализма». Знаменитый историк Ф. Гизо признавался, что понять сущность перехода от рабовладения к феодализму ему помогли не труды его предшественника

Гиббона, а слова Корнеля: «Великая судьба кончается, великая судьба начинается».

Значит, дело не в том, что классики русской литературы порой лучше разбирались в истории, чем «малодаровитые» ученые-профессионалы, как сказано у Л. В. Черепнина (стр. 6). Дело в ином взгляде на предмет. В развитие русской исторической мысли творчество наших писателей внесло ряд тем, казавшихся маловажными для историков государственной школы, но в действительности весьма существенных. Это народные движения Разина и Пугачева, живо интересовавшие Пушкина, а в специальной исторической литературе освещенные десятилетиями позже — Костомаровым, Поповым, Гротом, Дубровиным. Это история запорожской вольницы (Гоголь) и раскола (Лесков). Это общественное движение. Еще Ключевскому восстание декабристов представлялось «эпизодом, случайно обросшим литературой». Однако наши писатели — Пушкин, Тютчев, Некрасов, Лев Толстой — понимали огромное, непреходящее значение этого «эпизода». Тургенев даже упрекал Толстого за невнимание к декабризму в «Войне и мире». Это, наконец, тема столкновения личности и государства, поднятая в «Медном всаднике» и никогда не угасавшая в русской литературе. Истории царей, истории государства Российского русская литература из года в год प्रतिпоставляла историю «последних сынов вольности» Новгорода Великого, историю Пугачева, историю угнетения народа нелепым «порядком» (тема, проходящая через «Историю села Горюхина», «Историю государства Российского от Гостомысла до Тимашева» А. К. Толстого, «Историю одного города» Щедрина). Настал час, когда все эти темы стали разрабатывать и историки-профессионалы, создавшие серию монографий и о Новгороде, и о Разине, и о декабристах.

Этот круг вопросов и требует, на мой взгляд, особого внимания исследователей, анализирующих высказывания классиков русской литературы об истории. Чрезвычайно полная подборка всевозможных замечаний о прошлом в книге Л. В. Черепнина тоже интересна. Но здесь сплошь и рядом не разграничены свежие, оригинальные мысли писателей и лишь повторенные ими традиционные положения исторической науки и философии определенной эпохи. Историю России делил на московский и

петербургский периоды не Достоевский. Это общее место дореволюционной русской историографии. Следовало бы показать, что Пушкиным просто взято у Карамзина, а что найдено им самим. Это прольет свет на историю формирования исторических воззрений наших классиков и будет очень важно для литературоведов. Историкам же, а в равной мере и широкому читателю интересны не столько случайные высказывания писателей об истории — пусть даже меткие, но затерявшиеся и не оказавшие влияния на современников и потомков, — сколько их оценка больших исторических проблем, отраженная прежде всего в творчестве и уж потом в переписке.

При таком подходе к теме автору пришлось бы отказаться от рассмотрения цитат в отрыве от всего общественного контекста, проанализировать связь выявленных идей с философскими исканиями того времени. Это тем более желательно, что без упоминаний о западничестве и славянофильстве, о скифстве и евразийстве (в очерке о Блоке) многое останется неясным.

На суперобложке книги — одиннадцать портретов. Потом мы видим их вновь — перед каждой главкой. Но сами главы-очерки, к сожалению, не оставляют у читателя впечатления живых портретов. Свообразием замечательных мыслителей нередко как-то скрадывается. Мы не всегда улавливаем, чем отличался Пушкин от Блока, Лесков от Щедрина, не всегда при чтении книги ощущаем, что они творили в разные периоды русской истории, интересовались разными проблемами, по-разному их решали, часто спорили друг с другом. Можно подумать, что все они одинаково интересовались историей и оставили почти в равной мере ценное наследство, все говорили много верного, а порою и кое-что ошибочное. За это Л. В. Черепнин их слегка журит, хотя читатель не очень уверен, обладает ли автор истиной в последней инстанции. Не чувствуется, что «верное» и «ошибочное» — это нераздельные стороны одного мировоззрения, что мысли о прошлом и настоящем у писателей не обособлены, а слиты, равно как едино их художественное творчество и публицистика с перепиской. Одним словом, хотелось бы увидеть специфику исторической концепции Пушкина, Тютчева, Блока, Толстого, а не подборку их замечаний по крупным и мелким историческим вопросам. Законченная, про-

думанная историческая концепция, вероятно, была не у всех классиков русской литературы, но и об этом надо сказать.

Таковы основные возражения, которые вызывает книга Л. В. Черепнина. Можно отметить и ряд второстепенных недочетов. Не понятно, почему обойден А. Н. Островский. Пушкин никогда не усматривал в «Истории русского народа» Н. А. Полевого «вульгаризацию и опошление писательской манеры Карамзина», а напротив, отмечал зависимость Полевого от французской историографии. Не всегда учитывается эволюция взглядов писателей. Творчество Пушкина лицейских лет и тридцатых годов нельзя брать за одни скобки. В «Воспоминаниях в Царском Селе» упомянут, конечно, не декабрист М. Ф. Орлов, а екатеринин-

ский фаворит А. Г. Орлов-Чесменский. Книга о Грановском, рецензированная Щедриным, написана не Н. В. Станкевичем, а его братом Александром.

Но это уже мелочи. В целом мы должны сказать спасибо профессору Черепнину за большой труд, который он проделал, отыскивая высказывания классиков русской литературы по историческим вопросам и сведя их воедино. Будем надеяться, что вслед за этой книгой и развивая то ценное, что она в себе содержит, появятся и другие книги, где проблема историзма, проблема двух путей познания прошлого будет рассмотрена шире и глубже.

А. ФОРМОЗОВ,

кандидат исторических наук.



ИЗУЧЕНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКИХ ИНТЕРЕСОВ

Советский читатель. Опыт конкретно-социологического исследования.
«Книга». М. 1968. 343 стр.

Социологическое исследование, цель которого — выявить, что читают у нас в стране, как принадлежность людей к той или иной социальной группе отражается на характере их чтения, какие социально-экономические факторы это чтение стимулируют, а какие препятствуют ему, — дело, без сомнения, нужное. Из такого исследования можно извлечь некоторые весьма существенные данные о духовном развитии членов общества и условиях этого развития. Все это, конечно, в том случае, если исследователь удачно поставит вопросы, на которые он хочет получить ответ, и если собранный материал не будет подгоняться под желаемый результат.

Авторы сборника «Советский читатель» взяли для изучения несколько читательских групп. Это — рабочие и инженеры; колхозники, рабочие совхозов и специалисты сельского хозяйства; учащиеся старших классов; студенты; учителя средней школы. Было решено проследить зависимость чтения от рода трудовой деятельности, образования, возраста, пола и некоторых других факторов.

Основной статистический материал был получен в анкетном опросе. В добавление к нему, с целью корректировки анкет, обрабатывались картотеки чтения: исследователи справедливо полагали, что при ответах на анкеты опрашиваемые зачастую стремятся

себя «приукрасить». Использовались также материалы читательских конференций, читательские автобиографии, а для села — подворный опрос. Все эти методы изучения имеют свою историю, восходящую к середине XIX века: о ней интересно рассказал Б. В. Банк в открывающей сборник статье «Из истории изучения читателей в СССР».

В сборнике есть по-настоящему хорошие статьи, есть более слабые и совсем слабые. Поговорим сначала о неудачных: отрицательный опыт в научном исследовании оказывается порой не менее поучительным, чем положительный.

С. М. Смирнова, И. П. Осипова, О. М. Смирнова изучали чтение рабочих и инженеров. Они проделали огромную работу, произвели бесчисленное множество выкладок, составили десятки таблиц, но сколько-нибудь интересных и значительных результатов, на наш взгляд, не получили. В основу исследования был положен доминирующий, по их предположениям, признак, влияющий на характер чтения, — род труда. По этому признаку авторы разделили рабочих на три группы — высококвалифицированного, механизированного (или среднеквалифицированного) и малоквалифицированного труда — и стали выяснять: как рабочие этих групп читают специальную (техническую), общественно-политическую, художественную, на-

учно-популярную и всякую другую литературу; как соотносятся между собой характер труда рабочего и его образование; как то и другое — вместе и по отдельности — влияет на чтение. Все их многочисленные выкладки давали каждый раз вполне недвусмысленный, но слишком уж предвиденный ответ, доказывающий нехитрую истину, что «ученье — свет, а неученье — тьма».

Они выяснили, например, что рабочие высококвалифицированного труда, рационализаторы, рабочие, повышающие свою квалификацию, обучающиеся в системе производственного обучения и т. д., читают специальную литературу много больше, чем рабочие малоквалифицированные, не рационализаторы, не повышающие, не обучающиеся и т. п. Но и без специальных обследований несложно догадаться, что грузчику менее обязательно читать техническую литературу, чем, скажем, токарю или ученику токаря.

Они пришли к выводу, что обучающиеся в системе политпросвещения читают общественно-политическую литературу больше, чем те, кто политучебой, как принято говорить, не охвачен. Но и без анкеты можно было предположить, что так оно и есть.

Они обнаружили, что малоквалифицированный рабочий со средним образованием читает художественную литературу все же больше, чем рабочий высокой квалификации, но без образования и что, стало быть, на чтение художественной литературы влияет в первую очередь образование как основное условие и источник общей культуры человека. Но и об этом нетрудно было догадаться.

Подобные легко предвидимые открытия исчерпывают все содержание исследования. Как будто оно специально предпринималось для того, чтобы подтвердить и без него очевидное! Сам ход исследования подсказывал необходимость изменить методику, поставить какие-то иные вопросы. Мы не можем с ходу определить, какие именно: подготовка исследования, на наш взгляд, требует такого же научно обоснованного подхода, как и само исследование. Но мы можем сослаться на другие работы в этом же сборнике, в которых ясность исходных позиций и продуманная методика дали весьма ощутимые результаты. Однако прежде — еще об одной малоудачной, на наш взгляд, статье.

В статье И. И. Ганицкой и И. А. Чернос «Читательские интересы старшеклассников» рассказано о чтении школьников.

Им был задан вопрос: «О чем Вы любите читать? (Назовите темы, вопросы политики, науки, техники, искусства, которые Вас интересуют)». Полученная на основе ответов таблица должна была, по замыслу авторов, продемонстрировать широту читательских интересов старшеклассников и высокую идейно-политическую направленность их чтения. Статистический материал обрабатывался в соответствии с этим замыслом.

Скажем, на вопрос: «О чем Вы любите читать?» — опрашиваемые отвечали: «Хочу больше узнать о смысле жизни», «Интересуюсь книгами о любви и дружбе», «Хочу почитать о счастливой любви», «Меня волнуют книги о взаимоотношении людей», «О советской молодежи, о ее труде, любви, радостях». Такие и подобные им ответы были определены как интерес к темам: «Нравственность и воспитание коммунистической морали», «Жизнь современной молодежи, комсомол». (В схеме библиотечной классификации этим темам соответствуют рубрики, предназначенные для систематизации общественно-политической литературы.) Это расширительное или, наоборот, суженное — до библиотечной схемы — толкование ответов, втискивание их в «прокрустово ложе» тематических рубрик задало тон всему исследованию.

В его результатах зачастую невозможно отличить, где речь идет об общественно-политической литературе, а где о художественной, невозможно увидеть истинную картину интереса как к той, так и к другой. Авторы не предусмотрели в своих вопросах этого элементарно необходимого разделения — отсюда многие их недоумения при анализе и оценке весьма противоречивых результатов. Они, например, пишут: «Очень немногие (по картотекам чтения.— И. Т.) брали общественно-политическую литературу о комсомоле и молодежи, хотя, судя по анкетам... интерес к этим проблемам у юношества большой. То же можно сказать и о книгах на темы морали». Как разрешить такое противоречие? «В последние годы значительно увеличился выпуск общественно-политической литературы по этим вопросам. Очевидно,—рассуждают И. И. Ганицкая и И. А. Чернос,— не вся она находит своего читателя. Часто книги написаны сухо, шаблонно и не заинтересовывают молодежь. По-видимому, юных читателей больше привлекают произведения художественной литературы, в которых ставятся моральные проблемы».

По-видимому, повторим мы вслед за авторами, это так. Жаль только, что мелькнувшая у них догадка не заставила их пересмотреть методику исследования. Жаль, что они полагают, будто художественная литература привлекает старшеклассников лишь тем, что в ней «ставятся проблемы».

Вышеприведенная цитата — не оговорка. Утилитарный подход к художественной литературе прослеживается по всей статье. В одном месте авторы сообщают, что в списке любимых школьниками поэтов совсем не представлены зарубежные и очень мало дореволюционных, и объясняют это тем, что «советская поэзия волнует ребят своей злободневностью, той оперативностью, с которой она откликается (!) на острые вопросы жизни». В другом месте они, говоря о профессиональной ориентации школьников, дают следующие рекомендации: «Стремление ребят стать похожими на полюбившегося героя литературного произведения нельзя недооценивать. Нужно использовать это для более глубокого ознакомления учащихся с данной отраслью, специальностью (!), чтобы они могли лучше осознать свои способности и призвание, понять общественную значимость той или иной профессии». Мы, конечно, не вправе требовать от авторов знания известного стихотворения С. Я. Маршака:

— О чем твои стихи? — Не знаю, брат.
Ты их прочти, коли придет охота.
Стихи живые сами говорят.
И не о чем-то говорят, а что-то.

Но мы вправе желать, чтобы в своих рассуждениях о художественной литературе они не перечеркивали, так сказать, сам смысл этого понятия.

Своеобразие обращения авторов с полученным материалом обнаруживается в вольной трактовке не только анкетных ответов, но и цифровых показателей. По карточкам чтения, например, они подсчитали, что выдача общественно-политической литературы составила 12 процентов от всего выданного, причем 60 процентов ее бралось не для выполнения школьных заданий, а «в связи с личным интересом».

Но откуда взялась эта цифра — 60 процентов? Оказывается, она вобрала в себя весь спрос, мотивы которого по каким-либо причинам не были зафиксированы в карточках чтения. Такая приблизительность противопоставлена научному исследованию.

Напротив, авторы статьи «Книга в жизни современного села» С. П. Бачалдина и Н. Е. Добрынина хорошо продумали методику своей работы. Они взяли пять базовых сел в разных концах страны и произвели там подворный опрос; они удачно скомбинировали факторы, влияющие, по их предположениям, на чтение сельских жителей. И цифры «заговорили» весьма выразительно. Вот некоторые из них.

В 16 лет 73 процента девушек и 57 процентов юношей читают регулярно — более двадцати книг в год. В 17—19 лет так читают 75 процентов девушек и 72 процента юношей. Но в 20—24 года уже только 22 процента женщин и 43 процента мужчин читают по-прежнему регулярно. Неуклонное и очень значительное снижение интенсивности чтения с возрастом, особенно у женщин, продолжается и дальше. Анализируя причины этого явления, авторы, в частности, пишут: «По данным изучения быта одной из сельхозартелей Калининской области, ответы на анкетный вопрос: «Сколько времени люди заняты на работе в общественном и личном хозяйстве?» — сводятся, примерно, к одному: «В колхозе восемь-девять часов, дома шесть-семь часов». Исследование расхода вне рабочего времени у колхозников, проведенное в конце 1965 года в селе Комсомольское Белорусской ССР, показало, что если мужчины тратят на работу по дому шесть часов в день, то женщины — десять.

По профессиональному признаку все работающие в сельском хозяйстве были разделены исследователями на четыре группы: механизаторы, животноводы, растениеводы, специалисты сельского хозяйства. Мы сравним лишь две из них.

Среди механизаторов (их 12 процентов по отношению ко всем занятым в сельском хозяйстве) 95 процентов мужчин; 49 процентов имеют образование семь—девять классов; больше половины из них — люди до сорока лет.

Среди растениеводов (их более 48 процентов по отношению ко всем работающим, в некоторых селах эта цифра поднимается до 74 процентов) 82 процента женщин; 40 процентов из них имеют образование ниже четырех классов и только 5 процентов — средней: 60 процентов составляют люди старше сорока лет.

Больше десяти книг в год читает 60 процентов механизаторов и только 28 процентов растениеводов.

Приведенные здесь цифры (хотя не все они вполне сопоставимы) довольно наглядно демонстрируют зависимость чтения на селе от характера труда, от пола, возраста и образования.

В статье проанализировано и содержание чтения разных профессиональных групп. В ней есть также интересные данные о состоянии фондов сельских библиотек, где почти нет книг по искусству, поэзии, естественно-научных книг, многих общественно-политических и литературно-художественных журналов, о роли газет и радио на селе и т. д.

Очень интересна статья В. В. Нейман и В. Д. Стельмах «Учитель и книга», особенно та часть ее, которая написана В. Д. Стельмах и относится к чтению учителей-словесников. В. Д. Стельмах выдвинула свою, тоже хорошо продуманную методику изучения предмета. Она решила проследить главное: как читают учителя-словесники художественную литературу, как соотносится это чтение с текущим литературным процессом, с потребностями времени.

Учителям-словесникам был задан вопрос: следят ли они за современной советской и зарубежной литературой, читают ли литературно-художественные журналы? «Да», — ответило большинство из них. Когда выделили зарубежную литературу, итог оказался менее утешительным. За зарубежной прозой следят 27 процентов учителей, за поэзией — всего 3 процента. Данные карточек чтения подтвердили эти цифры. Учителя-словесники, оказывается, — это та категория читателей, которая меньше читает современную зарубежную литературу, чем все почти остальные социальные группы. Вот цифры: учителя-естественники — 18 процентов, учителя-словесники — 27, школьники-старшеклассники — 30; рабочие — 39, инженеры — 47, студенты — 59.

Более благополучным на первый взгляд в количественном отношении выглядит чтение советской литературы: здесь учителя-словесники уступают только школьникам (86 процентов против 88) — все остальные категории позади.

Но что именно читают учителя? Автор проделал следующий эксперимент: составил список из двадцати книг, «вызвавших инте-

рес общественности и полемику в печати в 1965 и 1966 году», и проверил, что читали из него учителя. В картотеках чтения он нашел лишь десять книг из этого списка и довольно много книг, которые были предметом обсуждения несколько лет назад. Учителя читают со значительным отставанием, констатировал исследователь.

Стремясь составить первоначальное хотя бы суждение об уровне эстетических запросов словесников, В. Д. Стельмах интересовалась критериями оценок, суждениями о конкретных книгах. Она встретила и с очень распространенным еще, к сожалению, тематическим подходом к художественной литературе: «Значимость произведения определяется часто только в зависимости от актуальности темы, важности поднятых вопросов, но без учета эстетической ценности книги»; и с неправомерным для литераторов-профессионалов заявлением, что плохих произведений не существует («Все, что читала, понравилось более или менее», «В каждой книге есть хорошее» и т. д.); и с отнесением в разряд самых лучших книг явных литературных поделок.

Суммируя свои наблюдения над чтением пятисот учителей-словесников, исследователь приходит к выводу, что «в целом ни круг литературных симпатий и антипатий, ни подход к художественным произведениям, ни широта кругозора не отличаются их от других читательских групп. Между тем хотелось бы рассматривать категорию преподавателей литературы как ту часть интеллигенции, которая, обладая более высокой эстетической культурой, формирует отношение общества к художественным явлениям».

В рецензии мы не могли, конечно, исчерпать содержания сборника. В нем есть и многие другие, не отмеченные нами, удаchi и просчеты. По собственному признанию авторов, книга является лишь первой — после многолетнего перерыва — попыткой поставить дело изучения читателя на научную основу. Остается лишь пожелать, чтобы за этой попыткой последовали другие, при которых были бы учтены недостатки, для первого опыта, в общем-то, естественные.

И. ТРАВКИНА,

МАТЕМАТИКА В РОССИИ

А. П. Юшкевич. История математики в России до 1917 года. «Наука». М. 1968. 591 стр.

Своей абстрактностью — и даже внешне, своей символикой, иероглифами своих формул, — математика у многих вызывает столь значительное почтение, что они предпочитают оставаться от нее подальше. Однако соблюсти такую стороннюю позицию культурному человеку в наш век нелегко. Математика проникает своими методами далеко за пределы техники и наук, изучающих неживую природу. Все шире и глубже математизируются биология, психология, экономика, социология, лингвистика. Этот процесс — одна из характерных черт второй половины XX века, века атома, кибернетики, космонавтики, молекулярной биологии, — начался в Советском Союзе с некоторым опозданием, но теперь он набирает ускоряющиеся темпы. Это побуждает образованного человека если и не обязательно стать самому математиком или хотя бы для начала попробовать решать вместо кроссвордов математические головоломки, печатаемые на страницах научно-популярных журналов, то во всяком случае возобновить свое знакомство с этой «царицей наук», благополучно прекратившееся с момента, когда он расстался со школой, средней или высшей. И для этого весьма подходящей возможностью может стать книга «История математики в России».

Но не только поэтому мы рекомендуем ознакомиться с книгой А. П. Юшкевича и тем читателям «Нового мира», которые по своей профессии не стоят близко к математике. Математическая культура — это составная часть, причем немаловажная составная часть, общенациональной культуры. История ее становления образует неотъемлемую слагаемую общей истории того или другого народа. Сравнительно свежо в памяти время, когда приобрело угрожающие формы поветрие погони за приоритетом, попытки доказать правдой, а нередко и неправдой, первенство русской или советской науки и культуры в тех или иных областях. Теперь начинает иногда проявляться обратная тенденция: стыдливое умалчивание о заслугах отечественной науки, культуры там, где они несомненны. В истории математики это тем более огорчительно, что, если не считать узких специалистов, иностранный интеллигент вам,

как правило, сумеет из мощной плеяды математиков России назвать не больше двух-трех имен, а то и только одно — Лобачевского. Рецензируемая книга, которая, как мы надеемся, будет переведена на западноевропейские языки, положит конец этому заблуждению.

«История математики в России» — синтетический труд большой научной значимости. Представить одиннадцативековое развитие какой-либо науки в какой-либо стране не просто как перечень ученых и их работ и не просто как накопление фактов, а как единое целое, в тесной связи с общим социально-политическим развитием этой страны и с эволюцией мировой науки — труднейшая задача. В мировой литературе имеется мало трудов такого рода. Тем не менее автор успешно решил эту задачу. Его книга написана не только на основании богатой монографической литературы отечественных историков математики, в том числе и сборников «Историко-математические исследования», инициатором и одним из редакторов которых является А. П. Юшкевич (на протяжении 1948—1966 годов вышло семнадцать томов, но, к сожалению, это ценнейшее издание, получившее признание не только в Советском Союзе, но и за рубежом, приостановлено). Автор, печатающий уже в течение двадцати пяти лет многочисленные собственные оригинальные исследования по истории математики, отчасти использует здесь и первоисточники, не опубликованные прежде архивные материалы. Книга богато иллюстрирована портретами ученых, чертежами, фоторепродукциями, написана на высоконаучном уровне, и вместе с тем автор сумел избежать слишком большой специализации, которая сделала бы ее недоступной для нематематиков.

По словам аннотации, книга рассчитана на студентов, преподавателей университетов и педагогических институтов, учителей средних школ и научных работников. Конечно, эти читатели найдут в ней для себя весьма много ценного и нужного. Однако думается, что и более широкие круги заинтересуются ею. Если им придется иногда пропускать ту или другую формулу, это, на наш взгляд, не уменьшит ту пользу, которую даст им для расширения их культурного кругозора озна-

комление с книгой. В отличие от читателей первого рода — математиков или близких к математике — они не захотят подробнее ознакомиться с приведенными в ней математическими проблемами, не станут искать доказательств изложенных в книге теорем (обширные библиографические указатели в помощь тем, кого такие доказательства интересуют, в книге имеются), а просто примут их к сведению. Но кто знает? Прочитав, что первый русский академик-математик С. К. Котельников решил задачу Эйлера о числе возможных способов разбить многоугольник на треугольники посредством непересекающихся диагоналей, доказавши формулу, опубликованную Эйлером без доказательства,— быть может, некоторые из читателей-нематематиков попытаются самостоятельно ее доказать?

Автор разделил свой труд на четыре части, следуя исторически и логически оправданной периодизации развития математики в России. В первой части он рассматривает рукописные памятники древней Руси, арифметики IX—XII веков, до сих пор опубликованные лишь частично, рукописи XV—XVII веков, подъем математики в эпоху Петра Первого, выдвинувший первого русского математика Л. Ф. Магницкого (1669—1739), автора учебника «Арифметика-практика или деятельная».

Вторая часть рецензируемой книги посвящена математике в Петербургской Академии наук в XVIII веке. Центральной фигурой здесь являлся переехавший в 1727 году из Швейцарии по приглашению всего два года просуществовавшей тогда Академии двадцатилетний Л. Эйлер, который затем отдал русской науке свыше тридцати лет своей жизни. Его творчество в Петербурге, особенно в области математического анализа, автор осветил обстоятельно, уделив в то же время подобающее, хотя и более скромное место его школе, работам его учеников: Котельникова, Румовского, Курганова, Лекселя, Фусса, Шуберта и Гурьева.

С первой половины XIX века начинается тот период (ему посвящена третья часть книги), когда математики в России занялись самостоятельными научными исследованиями крупных масштабов, получившими выход в мировую науку. Предпосылкой явилась реформа образования, включавшая создание шести новых университетов. В одном из них, Казанском, 6(18) февраля 1826 года тридцатичетырехлетний профессор Николай

Иванович Лобачевский представил свой доклад об открытой им неевклидовой геометрии. Автор книги излагает не только ее особенности, но и мировоззрение Лобачевского, его взгляды на связь этой геометрии с действительным пространством, ее дальнейшие судьбы. Выдающимися математиками этого периода были и украинские ученые профессора Харьковского университета Т. Ф. Осиповский и в особенности М. В. Остроградский, позднее академик, работы которого по интегральному исчислению и математической теории теплоты нашли мировое признание. Другой украинец, академик В. Я. Буняковский, был также выдающимся математиком того времени.

Четвертая, последняя часть рецензируемой книги охватывает вторую половину XIX и начало XX века. Количество выдающихся математиков стремительно возрастает, возникают математические общества, собираются научные съезды, издаются математические журналы, формируются математические школы — коллективы исследователей с отчетливым научным устремлением. Первой из них по времени и значению была петербургская школа, возглавлявшаяся П. Л. Чебышевым, разрабатывавшая главным образом проблемы теории чисел, теории вероятностей, интегрирования алгебраических функций и приближения функций. К этой школе принадлежали такие выдающиеся ученые, как А. Н. Коркин, Е. И. Золотарев, А. А. Марков, А. М. Ляпунов, Г. Ф. Вороной (одна из работ которого стала отправной для работ И. М. Виноградова, ныне одного из наиболее выдающихся советских математиков). В дальнейшем она пополнилась В. Г. Имшенецким, Н. Я. Сониным, В. А. Стекловым, А. Н. Крыловым. Замечательные результаты в теории дифференциальных уравнений были получены первой русской женщиной-математиком Софьей Васильевной Ковалевской, а также С. Н. Бернштейном, а в дифференциальной геометрии — Ф. Г. Миндингом, ученик которого К. М. Петерсон основал в Москве солидную школу. В Казани полтора десятилетия спустя после смерти Лобачевского учение о неевклидовых пространствах стали вновь разрабатывать А. П. Котельников, Д. М. Синцов, Д. Н. Зейлигер. Незадолго до Октябрьской революции зародилась московская школа теории функций, созданная Д. Ф. Егоровым и Н. Н. Лузиным, и школа алгебры и теории

групп, основы которой заложил Д. А. Граве. Но исследованиями по алгебре, в том числе системами высших комплексных чисел, занимались и в Казани, и в Киеве, и в Дерпте (Тарту). В начале нашего века стали появляться первые русские работы по теории множеств Б. К. Млодзеевского, И. И. Жегалкина, В. Л. Некрасова и ставших затем, в советское время, выдающимися учеными Д. Е. Меньшова, П. С. Александрова, А. Я. Хинчина. Большую роль в развитии геометрической теории функций сыграли работы Н. Е. Жуковского и С. А. Чаплыгина по применению ее к задачам гидро- и аэродинамики. В последние десятилетия XIX века казанский астроном П. С. Порецкий успешно занимался алгеброй логики, которую также разрабатывали в Одессе И. В. Слешинский, Е. Л. Буницкий, С. О. Шатуновский. Важные труды по истории математики принадлежат В. В. Бобынину, М. Е. Ващенко-Захарченко, И. Ю. Тименко, В. Ф. Кагану, А. В. Васильеву, нематематику профессору древней истории Н. М. Бубнову.

А. П. Юшкевич никогда не упускает случая, излагая проблемы, которые стояли перед математиками России в прошлом, связать их с проблемами, стоящими ныне перед наукой, чем труд его в выгодную сторону отличается от многих работ (не только по истории науки), тщательно избегающих связи с современностью. Поэтому в заключении он смог ограничиться тем, что еще раз в обобщенном виде подчеркнул преемственность исторического раз-

вития, подготовившего те гигантские успехи, которых достигла советская математика, выйдя в ряде отраслей на первое место в мире (в нее включилась и математика народов Средней Азии и Кавказа, оставшаяся в книге, как специально оговаривается автор, нерассмотренной). Этому, понятно, самым решительным образом способствовало то, что с победой Октябрьской революции доступ в науку получили широкие народные массы всех национальностей, что государство стало уделять ей громадные средства, что все больше стала крепнуть ее связь с производством.

Под конец нам хотелось бы еще раз подчеркнуть, что автору во многих случаях удалось осветить взаимосвязь научной деятельности того или иного ученого с его мировоззрением и общественными взглядами (прогрессивными, как у Лобачевского, Осиповского, Маркова, или же реакционными, как у П. А. Некрасова), равно как и прикладное значение его исследований. В сжатой рецензии мы не ставили своей целью вникнуть в отдельные, чисто математические проблемы, которым в книге уделено систематическое внимание. Скажем лишь, что, вопреки распространенному предрассудку о «сухости» как неизбежном спутнике подобной тематики, эти проблемы изложены с возможно большей доступностью, часто увлекательно, а поэтому пожелаем еще раз, чтобы книгой заинтересовались и читатели-неспециалисты.

Э. КОЛЬМАН,

академик Чехословацкой Академии наук.



ИЗ РЕДАКЦИИ И ОН ИНОЙ ПЛОЧТЫ

Уважаемые товарищи!

В 1968 году в издательстве «Советский писатель» вышла новая книга стихов Виктора Бокова «Алевтина». После знакомства с нею у нас возник ряд недоуменных вопросов, с которыми мы и хотим обратиться к вам.

Вот строки из аннотации: «Новые стихи Виктора Бокова — это лирически напряженный монолог любви к женщине, имя которой дало название книге. Перед нами стихи светлые и радостные, поэт щедро делится с нами своим счастьем, хочет, чтобы и мы приобщились к этому великому чувству, заново открыли его для себя».

Позвольте привести несколько цитат из стихов, к которым мы приобщились.

Вот строки из стихотворения «Мне хочется от счастья плакать...»:

Наполненность твоих коленей,
Твои волнистые холмы
Звучат, как поступь поколений
И как сюжет — конец зимы.

(Стр. 14)

И далее:

Омой меня своей волною,
Пусти меня в свой теплый Крым,
Будь матерью мне, будь женою,
Будь добрым гением моим!

Что такое «наполненность коленей»? Может, полные колени? По смыслу не получается. И почему «волнистые холмы» Алевтины звучат, как поступь поколений? И почему эти холмы вообще звучат? Что такое «теплый Крым», куда так просится поэт Боков? А стихи посвящены женщине. Не земле, не географической карте, а женщине.

В другом стихотворении такие строки:

Я замер. Я счастлив,
Сердце бьется часто,
Говорю ликуя:
— Родная лапуня!

(Стр. 29)

И «лапуня» в разных вариациях проходит через всю книгу. Лапуня, лапунечка, лопушочек и т. п. Ясное солнышко. Викторушко. Пожалуй, справедливо сказано в аннотации — поэт откровенно хочет, чтобы читатель приобщался к его отношениям с любимой.

И вдруг:

Быть с тобою — не срок отбывать, не в тюрьме сидеть.

(Стр. 34)

Ну что ж, повезло любимой, если любящий так к ней обращается. Все ясно — это женщина, а не камера предварительного заключения.

Вот строки из стихотворения «Я нежусь, в кровати лежу...»:

Сегодня я тайну узнал
О родинке в подреберье.
Кто дал ей здесь место, тот знал,
Что родинка эта при деле!

О боже, каком деле?! И сколько подобных открытий смог бы еще сделать В. Боков, лежа в постели! Сколько тайн узнать! И сообщить потом о них двадцати тысячам читателей (тираж книги).

На странице 64 лапуня заболела. Читаем:

...За дверями я выстроил стражу
Из больших медицинских светил.

Вот так! Взял светил и выстроил. По ранжиру. Как стражу. Потом мы узнаем, что у Алевтины был грипп. Действительно, светила были крайне необходимы! Зато мы узнали, что В. Боков с ними на дружеской ноге и они, то есть светила, стояли на страже у спальни его любимой.

Но любовь у Бокова не просто любовь, она проникнута и гражданственностью:

Ходи остороженькой
И утром и ночью
Ставь милую ноженьку
На твердую почву!

Вот здесь обойди.
Эта лужа — предатель.
Здесь только что
Падал один обыватель.

(Стр. 80)

Поэт уберет милую ноженьку, направил лапуню на твердую почву и — самое главное — обличил обывателя, которого не выносит даже лужа!

До конца книги идут бесконечные сюсюканья, уместные, пожалуй, только в разговоре с годовалыми детьми (да и того педагоги делать не советуют).

Есть в этой книге и такое откровение:

С высоты подушек белых
Ты глядишь, моя царевна.
Только так и надо делать —
Царствуй, царствуй ежедневно!

А может быть, не надо, а? Может, не надо вести поэтический репортаж из собственной постели? Даже если в одной постели ежедневно царствует царевна...

Виктор Боков известен довольно широко. К сожалению, последняя его книга ничего хорошего к его известности не прибавляет. Разделять радость автора и «приобщаться» к его чувству к лапуне не хочется. Уж очень все здесь откровенно приторно и слащаво.

*Редакторы редакций физики и медицины
издательства «Советская энциклопедия»*

**М. Карлов, И. Найденова, М. Флерова,
М. Кон, Ю. Дрожжин, В. Иванова,
Н. Семашко, З. Косарева, А. Силаева.**



КОРОТКО О КНИГАХ

★

А. ДУБИНСКАЯ. Быль о легендарном комиссаре (Александр Вермишев). Политиздат. М. 1968. 80 стр.

Книга А. Дубинской посвящена Александру Александровичу Вермишеву, коммунисту, комиссару Красной Армии, героически погибшему в 1919 году при набеге мамонтовцев на город Елец.

Архивные документы о Вермишеве, воспоминания членов его семьи, друзей и соратников, приведенные в книге А. Дубинской, воссоздают перед читателем его образ. Мы знакомимся с человеком разнообразных дарований и широких интересов: драматург, поэт, блестящий оратор, он обладал также способностями к музыке, технике и изобразительному искусству. Вермишев принадлежал к тому типу большевиков-ленинцев, чьи поступки и побуждения определялись прежде всего велениями революционного долга. Идею и мужество не изменяли ему ни на подпольной работе, которой он занимался многие годы, ни в сражениях гражданской войны, ни в его литературном творчестве.

А. Дубинская передает содержание пьес Вермишева («За правдой», «Красная правда» и «Немец»), приводит выдержки из его стихов и статей, цитирует его эпиграммы, лозунги, воззвания, стихотворные агитплакаты. Однако все эти произведения интересуют ее в основном как иллюстрации к революционной биографии их автора, а такие его пьесы, как «Банкроты» и «Гонцы», только упомянуты. Между тем творчество Вермишева характерно для своего времени и, несомненно, представляет историко-литературный интерес.

Книжка недостаточно тщательно отредактирована. Среди произведений, посвященных Кавказу, которыми зачитывался в детстве Вермишев, назван пушкинский «Бахчисарайский фонтан».

Оставляет желать лучшего и язык книги. «Он всегда активно вторгался в происходящее вокруг него». «Трагический колорит пьесы сочетается с уверенным оптимизмом, присущим Федору...» Таких стереотипно-высказанных фраз в книге, к сожалению, немало.

Е. Городецкая.

ЮРИЙ ГЕРТ. Первое апреля. Рассказы и повесть. «Жазушы». Алма-Ата. 1968. 104 стр.

Один из героев Юрия Герта, пытаюсь пробудить в некоем робком «человечке» чувство собственного достоинства, спрашивает: «Разве это так мало — почувствовать себя человеком?»

Все, о чем пишет Герт, писатель, привлечший внимание уже предыдущей своей книгой, романом «Кто, если не ты?», так или иначе варьирует эту мысль. И в новой, третьей книге прозаника, живущего и работающего в Казахстане, мы чувствуем пристальный интерес писателя к той грани, которая отделяет добро от зла, человечность от жестокости, порядочность от подлости в их повседневном проявлении. Человек считал, что честно выполняет свой долг, регулярно посылая матери деньги и поздравительные телеграммы «на художественных бланках», но меру своей жестокости он осознал, приехав в город, где мать умерла в одиночестве («Сирень»). Учитель, воспитывавший в своих учениках честность, вынужден сам убедить свою ученицу солгать — правда, об этом никто не узнает, да и все это, в сущности, пустяк, который и ложью-то не назовешь. Но нравственная позиция человека в конечном счете складывается именно из таких ежедневных и обыденных поступков («Медаль»).

Однако за тем, как в том или ином случае поступит человек, стоит не просто некая сумма отвлеченных понятий о добре и зле, а реальная жизнь, время, сложно и многозначно определившие содержание и соотношение добра и зла и в жизненных коллизиях, и в человеческих характерах. К сожалению, именно эта сторона чаще всего остается вне писательского внимания.

Вот один из характерных в этом смысле рассказов Герта — история о некоем Политанском, вся жизненная философия которого исчерпывалась фразами: «Что я?.. Ну кто меня станет слушать?» Страх перед «последствиями» смелого поступка постепенно губит человека в этом человеке. Мысль верна, но она существует сама по себе: ни логика характеров, ни то, как складываются отношения героев, ни развитие сюжета — ничто к ней не приводит.

Новое в работе Ю. Герта мы видим, читая повесть «И пусть повезет гренадеру». Ее герои — люди иного рода, чем карикатурный Политанский. Случайно встретились возле стен старого монастыря незнакомые еще вчера сотрудник эпидемстанции Еремин, учитель истории Петр Сергеевич, молодые химики Павел и Лариса. Но в их разговорах столкнулись не просто разные характеры — ищущий и сомневающийся Еремин, врач, который «заболел» проблемой городского воздуха, несокрушимый в своей уверенности Петр Сергеевич, бравирующий «прагматизмом» Павел, — а стоящие за ними разные нравственные программы. «Вы утверждаете — историческая необходимость, — говорит Еремин Петру Сергеевичу. — ...А раз необходимость — значит, и право действовать ради и от имени этой необходимости, значит, всякий протест против нее бесполезен, бессмыслен, мало того — преступен: она — необходимость, пойми и смиришься! Но как ни называйте факты, пыль от этого не превратится в золото, а сернистый газ не станет озон!»

Где та грань, которая отделяет подлинную «историческую необходимость» от спекуляции принципом историзма? Ведь внутренне честный и добросовестный Петр Сергеевич готов, в сущности, оправдать «необходимость» и «обстоятельствами» равнодушие к судьбе конкретного человека — будь то новгородский стрелец, имя которого история не сохранила, или земляк Еремина, который дышит сернистым газом, пока «проблема воздуха» будет решена в общем масштабе.

Не надуманные конфликты, не заранее известные решения, а попытка осмыслить подлинную противоречивость и многозначность человеческих характеров и сознаний — вот что отчетливо прозвучало в новой повести Герта.

Вот почему, несмотря на то, что повесть не свободна еще от избыточной стилизации, даже некоторой претенциозности, она заставит и читателя задуматься над вещами важными и сложными.

И. Гитович.

★

С. А. ХЕЙМАН. Проблемы интенсификации промышленного производства. «Экономика». М. 1968. 183 стр.

Эта книга предназначена специалистам, и тираж ее невелик. Между тем в ней много информации, интересной для всех. Речь идет о важнейших процессах в советской экономике и актуальных проблемах ее развития.

Вот некоторые самые общие факты. Производство нашей промышленности в 1967 году была почти в 5,5 раза больше, чем в 1950-м. Внутренний итог! Но промышленно-производственные основные фонды за то же время возросли более чем в шесть раз. Иначе говоря, отдача фондов снизи-

лась и составляет ныне лишь около 90 процентов уровня 1950 года. При достигнутом объеме основных фондов сохранение хотя бы прежней их эффективности означало бы дополнительный выпуск продукции на многие миллиарды рублей.

Другой факт. Среднегодовые темпы прироста производительности труда упали с 8,2 процента в 1951—1955 годах до 5,6 процента в 1961—1965 (речь идет о часовой производительности, а с учетом сокращения длительности рабочего дня потеря темпов еще больше).

Третий факт. Автор отмечает, что доля сырьевых товаров и топлива в нашем экспорте близка к половине его объема. При этом экспорт сырья только промышленного происхождения (топлива, сырой нефти, руд и концентратов), непрерывно возрастая, достиг в 1963 году 21,7 процента всего экспорта СССР. В тот же период ввоз этих товаров уменьшился до 7 процентов всего нашего импорта. Между тем топливные и сырьевые отрасли — самые фондоемкие. Такая нерациональная структура внешней торговли, когда вывозится много сырья и топлива, снижает фондоотдачу всей промышленности.

К этому надо добавить ухудшение использования оборотных средств из-за чрезмерного роста запасов товарно-материальных ценностей, увеличение в течение 1951—1965 годов разрыва в темпах роста группы «А» и группы «Б» и некоторые другие процессы, которые в целом означают, что каждый новый шаг давался нашей экономике все более дорогой ценой, эффективность производства снижалась.

С началом экономической реформы намечилось изменение обстановки. В 1966—1967 годах названные показатели уже не ухудшались, а некоторые начали улучшаться. Но все проблемы пока еще сохраняются, хотя созданы или создаются условия для их решения.

Опираясь на директивы XXIII съезда партии, автор указывает основной путь решения этих проблем: интенсификация промышленного производства. Снижение эффективности в прошлые годы означало, что экстенсивные факторы развития (строительство новых предприятий, рост численности работающих) преобладали над интенсивными — лучшим использованием имеющихся производственных фондов и рабочей силы. С. А. Хейман дает подробный и убедительный анализ основных путей интенсификации: улучшение отраслевой структуры промышленности в целом, улучшение внутренней структуры важнейших ее отраслей, совершенствование организации производства и труда.

Последняя глава книги содержит важные соображения о путях дальнейшего развития хозяйственной реформы, которая и является непременным условием интенсификации производства.

О. Лацис.

★

СС В ДЕЙСТВИИ. Документы о преступлениях СС. Перевод с немецкого. «Прогресс». М. 1968. 624 стр.

ВАЦЛАВ КРАЛЬ. Преступления против Европы. Перевод с чешского. «Мысль». М. 1968. 346 стр.

«Нацистское государство было по своему характеру гангстерской системой, в которой преступление являлось специальностью большого количества людей... Круг деятелей нацистской Германии, ответственных за военные преступления, соответствует количеству этих преступлений», — читаем в авторском предисловии к книге «Преступления против Европы». Эту мысль как нельзя более убедительно подтверждают материалы обеих книг.

Книги строго документальны: основу их составляют секретные директивы, приказы, переписка нацистских лидеров и эсэсовских главарей, управлений и ведомств фашистской Германии, донесения и отчеты концлагерей, зондеркоманд, письма и дневники всевозможных фюреров и лейтеров. Большое место занимают документы, разоблачающие соучастников нацистских преступлений: руководителей и сотрудников германских концернов, отдельных ученых, генералитет немецкой армии. Составители сборника «СС в действии» даже отказались от пояснений и комментариев: документы говорят сами за себя.

Надо набраться мужества, чтобы прочесть материалы о концлагерях, о «медицинских» экспериментах на людях и так называемой программе «эвтанази» — планомерном уничтожении душевнобольных, о варварском обращении с военнопленными, особенно советскими. «Идея уничтожения трудом является наиболее подходящей», — читаем в заметках гитлеровского министра юстиции Тирака об отношении к заключенным в лагерях («СС в действии»). Но ничуть не менее «подходящими» фашистские людоеды считали и методы прямого истребления миллионов людей. Управление военной экономикой Германии уже в феврале 1942 года сообщало, что из 3,9 миллиона советских военнопленных в живых осталось лишь 1,1 миллиона («Преступления против Европы»). По другим сведениям, как явствует, например, из приводимого здесь же письма Розенберга Кейтелю, к февралю 1942 года «только несколько сот тысяч» военнопленных «сохранило работоспособность». Заключенных же, не пригодных к труду, в третьем рейхе не было. Там действовал принцип: «Признаем или способных к работе, или мертвых».

Страшные материалы помещены в сборнике «СС в действии» в разделе о преследовании и истреблении евреев, например, так называемый «Ванзейский протокол» совещания лидеров СС и высших чинов рейха от 20 января 1942 года по поводу «окончательного решения еврейского вопроса» в Европе. На этом совещании была определена задача физического уничтожения 11 миллионов евреев. Как известно, нацисты уничтожили 6 миллионов. В этом же разделе приводится

письмо Гимmlера Кальтенбруннеру (май 1943 года), из которого видно, как в целях антисемитской пропаганды СС фабриковали фальшивки о ритуальных убийствах, которые якобы совершались евреями. «Я полагаю, — писал Гимmlер, — что в общем мы могли бы антисемитской пропагандой в широких масштабах на английском и, может быть, даже на русском языке, используя в своей пропаганде ритуальные убийства, в огромной степени активизировать антисемитизм во всем мире».

Но ценность книг далеко не исчерпывается подбором лишь сугубо обличительных материалов. В разделах о преступлениях нацизма против германского народа и других народов содержится ряд материалов, позволяющих, например, проследить эволюцию духа германского населения за годы гитлеризма, когда люди были поставлены, с одной стороны, в жесткие рамки подчинения господствующей доктрине без права ее критики, а с другой — в условиях полного отсутствия разносторонней информации были оглушены, сбиты с толку централизованной, унифицированной пропагандой, усердно внушавшей им идею общности их интересов, всех и каждого, и их «рабочего социалистского» государства. По этим материалам можно судить и о диапазоне мер воздействия, применявшихся нацистами по отношению к населению с целью добиться его лояльности.

«СС в действии» и «Преступления против Европы» — книги, которые напоминают: фашизм, в какие бы одежды он ни рядился, будь то неонацизм, расизм или милитаризм, — это война, неисчислимые злодеяния, угроза будущему человечества.

В. Глаголев.

★

АНАТОЛИЙ МЕДНИКОВ. В последний час. «Советская Россия». М. 1968. 269 стр.

Эта книга прежде всего вызывает ассоциации, связанные с войной. Мне слышатся в ней голоса тех, с кем никогда уже больше не поговоришь, — голоса погибших. О них и о ныне живущих (а среди героев книги читатель встретит имена известных сегодня поэтов, прозаиков, литературоведов), бывших студентах Литературного института, ставших в первые дни войны бойцами истребительного батальона, — написана документальная повесть «Дом Герцена», открывающая сборник.

Сам автор прошел войну от начала до конца, став свидетелем конца гитлеровской военной машины и падения Берлина. Об этом рассказано в первой части книги, в таких, например, главах, как «Дача Геббельса», «Падение Шпандауской цитадели» и других.

Но книга «В последний час» тревожит не только память. С годами мы нередко утрачиваем то чувство локтя, что когда-то помогло нам учиться и воевать. И еще — способность понимать и прощать же тогда,

когда законы военного времени, казалось бы, не позволяли этого. Что было делать, например, с Мусой Алиевым? Он с обезоруживающей откровенностью боялся бомбежек. Его стыдили, ему грозили наказанием. Когда однажды командир отделения (а им был А. Медников) после грозных воспитательных слов наивно спросил Мусу, почему все-таки он так боится бомбежек, то вопрос этот «пометка перед обнаженной искренностью ответа»: «Боюсь потому, что могут убить...»

Надев военные гимнастерки, научившись владеть винтовкой и пулеметом, студенты Литературного института не теряли чувства юмора и чувство товарищества. О поведении Мусы так и не узнало ни взводное начальство, ни тем более ротное. Его воспитывали собственными силами. К тому же шел только второй месяц войны, и это было лишь начало испытаний для добровольческого отряда студентов, ставших впоследствии кто партизаном, кто корреспондентом, кто пехотинцем в действующей армии.

Об истории с Мусой Алиевым читатель, может быть, вспомнит снова во второй части книги, хотя она посвящена уже мирному времени. Рассказывая об одном молодом инженере Челябинского трубопрокатного завода, провинившемся и переведенном потом на другую работу, корреспондент А. Медников, как и тогда, в годы войны, хочет понять, чем руководствовался человек, поступив так, и почему он так легко смирился с понижением в должности, а поняв, хочет помочь и ему и другим, ставя важные вопросы организации труда, над которыми сейчас много размышляют экономисты и социологи.

В качестве корреспондента А. Медников знакомится со многими рабочими коллективами, входит в их жизнь, и не удивительно, что вторая часть сборника названа «Мои друзья—рабочие». Добросовестность и большой журналистский опыт А. Медникова делают эти его очерки живым репортажем с переднего края трудовой жизни страны.

Н. Мельников.

★

ЗЕНОН КОСИДОВСКИЙ. Когда Солнце было богом. Перевод с польского. «Наука». М. 1968. 336 стр.

Вышла еще одна научно-популярная книга по археологии, автор которой — польский журналист Зенон Косидовский — уже знаком советскому читателю по книге «Библейские сказания».

О трудностях популяризации науки писалось много. Ученые редко берутся за сочинение научно-популярных книг. Писатели же не всегда могут достаточно глубоко войти в суть научного открытия и нередко предпочитают поверхностный путь драматизации процесса научного поиска и придания ему детективного характера. Примерами таких, на наш взгляд, не вполне удачных книг по археологии являются книги Г. Штоля «Пе-

щера у Мертвого моря» («Наука». М. 1965) и Э. Церена «Библейские холмы» («Наука». М. 1966). Авторы этих книг рассказали об острых моментах археологического поиска, читатель узнал немало анекдотов из жизни археологов, однако трудность научных исследований и, главное, их результаты остались в тени. Книга З. Косидовского не так-то. Это научно-популярная книга по истории древнейших человеческих культур, история же самих археологических открытий играет в ней подчиненную роль.

Первая глава книги З. Косидовского посвящена истории Месопотамии и ее исследованию. Он рассказывает о том, как были найдены такие центры культуры древности, как Ниневия, Ур, Лагаш, об одном из первых в истории политических реформаторов Урукагине, который сверг власть жрецов и провел в Лагаше реформы в пользу трудящихся. Хотя Урукагина и не думал посягать на установившийся социальный строй, его «либеральные реформы вызвали среди рабовладельческой аристократии остальных шумерских городов сильнейшую тревогу». В результате царь города Уммы «внезапно напал на Лагаш, опустошил его, а Урукагину... вероятно, взял в плен и убил». Неудачной оказалась деятельность и другого реформатора древности—египетского фараона Аменхотепа IV (Эхнатона), который сделал, по видимому, первую в истории попытку введения монотеистического культа бога Атона (XIV век до н. э.). Эхнатон не сумел заручиться поддержкой народа, и вскоре после его ранней смерти жрецы старой религии вернули себе всю полноту власти.

Одна из интереснейших глав книги З. Косидовского рассказывает о Помпеях и Геркулануме. Отдельная глава посвящена древнемексиканской культуре.

Многое роднит книгу З. Косидовского с близкой ей по теме книгой К. Керама «Боги, гробницы, ученые», выпущенной несколько лет назад Издательством иностранной литературы. Но есть и существенные отличия. В книге К. Керама подробнее и систематичнее, чем у З. Косидовского, рассказано об ученых. Целая глава у него посвящена пионеру изучения античности И. Винкельману, которого З. Косидовский даже не упоминает. Рассказывая о раскопках в Греции, З. Косидовский в соответствии с традицией многих популярных книг подробно останавливается на деятельности только одного человека — известного немецкого археолога Г. Шлимана и ничего не говорит о работах его последователя В. Дерпфельда, а также о других ученых, вклад которых в изучение древнегреческой истории весьма велик. В то же время о самой истории древней Греции читатель из книги З. Косидовского узнает значительно больше, чем из книги К. Керама.

З. Косидовский пишет увлекательно, не принося, однако, в жертву увлекательности серьезность и достоверность.

Э. Р.

★

О. Д. БАЛДИНА. От Валдая до Старицы. «Искусство». М. 1968. 120 стр.

Е. НИКОЛАЕВ. По Калужской земле (От Боровска до Козельска). «Искусство». М. 1968. 135 стр.

Ю. ГЕРЧУК, М. ДОМШЛАК. Художественные памятники Верхней Волги (От Калинин до Ярославля). «Искусство». М. 1968. 126 стр.

Три эти книжки, выпущенные издательством «Искусство» в серии «Дороги к прекрасному», на первый взгляд могут показаться обычными путеводителями. Однако это далеко не так. Начиная эту серию, издательство ставило перед авторами задачу — показать именно художественные особенности памятников архитектуры, изобразительного и декоративно-прикладного искусства, творчества народных мастеров прошлого и настоящего. Естественно, что в текст органически включались и археологические объекты — древние городища и курганы. Издательство стремилось, чтобы книги были разнообразны по изложению, оно предоставило авторам свободу поисков формы рассказа о произведениях искусства для широкого читателя.

Стиль изложения в рецензируемых нами книжках разный. Если у О. Балдиной мы находим своего рода лирический дневник с органическим включением в рассказ пейзажа, то у Е. Николаева — скорее живой, своеобразный репортаж о путешествии по Калужской земле с попутными, и весьма яркими, характеристиками памятников архитектуры. Изложение Ю. Герчука и М. Домшлак носит иной характер: одна картина, одна зарисовка следуют за другой, создавая ощущение неторопливого плавания по Верхней Волге.

При всем том, что во всех трех книгах много интересного, обо всем сказано достаточно ясно и определено, а порой просто хорошо, все же испытываешь некоторое чувство неудовлетворенности. Причина этого — в чрезмерной сжатости, краткости текста, заранее ограниченного пятью листами.

Если Е. Николаев как-то еще уложился в это прокрустово ложе, то для О. Балдиной, а также для Ю. Герчука и М. Домшлак явно не хватает места. Поэтому художественная природа многих произведений не раскрыта, а лишь обозначена общими штрихами. Как пример укажем на схематизм рассказа о Никольском, поэтичной усадьбе Н. А. Львова под Торжком («От Валдая до Старицы»). То же можно сказать и про рассказ о соборе бывшего монастыря в Иванищах под Старицей, с которым связана драматическая легенда о его основателе — боярине Шигони.

Сам тип серии диктует широкое привлечение исторических сведений. Однако все та же жесткая норма «листажа» приводит к известной сухости, печально знакомой нам по обычным путеводителям. Думается, что объем книги должен меняться и в связи с насыщенностью памятниками того или иного маршрута, района, края. Хотелось бы,

чтоб в них было не только более живое изложение исторических фактов, но присутствовали и пересказы легенд, связанных с тем или иным местом. Пусть эти легенды фантастичны, но в них есть та народная поэтизация исторических сведений, которая всегда украсит, оживит рассказ, внесет чувство времени. Жаль, например, что авторы книжки о памятниках Верхней Волги не рассказали занятнейшей легенды об основании кашинского Клобукова монастыря. Или, говоря о некогда богатом торговом селе Прилуки, что между Калязином и Угличем, не привели интересные тексты XVI века, опубликованные М. Н. Тихомировым.

Отмеченные недостатки некоторых книжек серии «Дороги к прекрасному» не умаляют большого и серьезного дела, начатого издательством «Искусство». Читатель получает квалифицированно написанные книги, где искусству уделено большое и серьезное внимание. Следует лишь пожелать увеличения числа книжек этой серии и уже сейчас переиздать некоторые из них (в 1967 году вышел перепечатанная серия — книга М. Цапенко «По равнинам Десны и Сейма»). В похвалу Книготоргу следует отметить, что некоторые из книжек серии продаются на месте. Так, книжка Е. Николаева была куплена мною у Пафнутьева-Боровского монастыря в... продовольственной лавке. Пусть ей там и не место, но хорошо, что она есть именно в Боровске, рядом с его знаменитым монастырем.

М. Ильин,
профессор.

★

**БИБЛИОГРАФИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО И ЛИТЕРАТУРЫ
О НЕМ. 1917—1965 (Государственный Литературный музей. Музей-квартира Ф. М. Достоевского). «Книга». М. 1968. 407 стр.**

Перед нами толстый том — крупный вклад в литературную библиографию. Это плод пятилетней упорной работы сотрудников Музей-квартиры Достоевского в Москве — В. В. Аюпджановой, Г. В. Коган, Г. Б. Пономаревой, и ленинградского библиографа С. В. Белова (под редакцией А. А. Белкина, А. С. Долинина, недавно скончавшегося известного знатока Достоевского, и В. В. Кожинова).

Наконец-то исследователи и читатели, интересующиеся Достоевским, получили первую полную библиографию литературы о нем за советский период.

Указатель составлен с большой любовью, обстоятельно и квалифицированно. Каждый номер (а их 3738) четко проаннотирован, включены рецензии на все работы.

Книга состоит из пяти ведущих разделов: произведения Достоевского; литература о жизни и творчестве Достоевского; Достоевский и искусство; библиографические и справочные издания; Музей-квартира Достоевского, выставки, памятные места. Особенно ценны, конечно, первые три раздела.

В первом разделе приведены все издания сочинений и отдельные публикации текстов Достоевского, включая и письма, не попавшие в четырехтомник писем под редакцией А. С. Долинина.

Второй раздел открывается тщательно составленной библиографией, тема которой — отношение Ленина к Достоевскому. Далее учтена не только вся литература непосредственно о Достоевском, но и высказывания и упоминания о нем русских и зарубежных писателей, деятелей науки и искусства в их дневниках, воспоминаниях, письмах.

В конце книги приложены три вспомогательных указателя — тематический, именной и периодических изданий. Достоин особой похвалы первый указатель. Вся литература разбита в нем более чем на триста рубрик, отражены все периоды жизни и творчества Достоевского, его мировоззрение, мировое значение, связь с литературами других стран и отдельными писателями, влияние его произведений на различные виды искусства.

К сожалению, в этой превосходной книге есть досадный недостаток. Неудачно построен один из разделов: «Ф. М. Достоевский и искусство». В этот раздел, важный и большой (он составляет почти пятую часть всей книги), введена вся художественная литература о Достоевском, изображения его в живописи и скульптуре, постановки его произведений в театре и кино. Все это дано в хронологическом порядке выхода в свет, и в результате получилась пестрая смесь переизданий сочинений Некрасова, Блока, Леонида Андреева, посвященных Достоевскому, с мелкими заметками о кинофильмах и спектаклях наших дней. Насколько было бы удобнее, если бы в указателе существовали самостоятельные разделы: Достоевский в художественной литературе; Достоевский в изобразительном искусстве; Достоевский в театре, в кино; Достоевский и музыка. Во всяком случае художественную литературу необходимо было выделить в особый раздел, как это обычно и делается в аналогичных изданиях.

Порой не продумано и расположение материала. Так, статьи М. Горького «О «карамазовщине» и «Еще о «карамазовщине», хотя и написаны в связи с постановкой Художественного театра «Николай Старогин», более относятся к общим взглядам Горького на творчество Достоевского, а не к теме «Достоевский и искусство».

Жаль, что, давая перепечатки произведений и писем классиков, составители не указывают в аннотациях их первые публикации. Это обедняет историческую сторону библиографии.

Встречаются иногда и мелкие неточности. Например, М. Маврин — не существующее лицо, а псевдоним небезызвестного историка литературы М. К. Лемке. Не понятно, почему рассуждения С. Цвейга о психологии героев Достоевского попали в раздел искусства, а не в общий. Одна и та же книга «М. Ф. Андреева» (М. 1961) в разных отде-

лах библиографически описана по-разному и т. п.

Но все эти замечания преследуют одну цель — пожелание, чтобы в следующем издании этого ценнейшего справочника ошибки были устранены. А второе издание требуется уже теперь, ибо книга, совсем недавно вышедшая пятитысячным тиражом, стала уже библиографической редкостью.

К. Богаевская.

★

П. МАРКОВ. В театрах разных стран. ВТО. М. 1967. 396 стр.

Недавно вышла пятитомная Театральная энциклопедия; главным ее редактором после покойного С. С. Мокульского по праву стал ветеран советской театральной критики П. А. Марков. Отдельной энциклопедии зарубежного театра у нас нет, но новая книга Маркова «В театрах разных стран» с успехом может заменить ее на первых порах.

П. Марков пишет о театре более чем пятнадцати зарубежных стран, — пишет обстоятельно, основываясь только на лично виденном, — Франция, Румыния, Польша, Австрия, Венгрия, Америка, Англия, Цейлон, Индия, Греция, Югославия и другие. Статьи, собранные в книге, принадлежат разным периодам: с иными странами он расставался более чем на тридцатилетие, с иными поддерживал связь все время; одни театры он видел на гастролях в Москве, другие — у них дома, третьи отправлялся смотреть за три моря. Из каждого путешествия привозил он не только впечатления о конкретных актерах, режиссерах, спектаклях; статьи П. Маркова — всегда целая картина театра того или иного народа, понята в тесной связи с социально-эстетическими задачами, которые этот театр на себя взял. В театральных зарисовках П. Маркова отражается культура страны, ее нравственный и философский уровень.

Кроме фактической насыщенности, каждая статья проблемна и целенаправленна. Во всем, что бы ни делал П. Марков, всегда видна его преданность традициям МХАТа и учению К. С. Станиславского. Однако, к сожалению, работы театров, не идущих в фарватере системы Станиславского, анализируются автором зачастую менее интересно, чем они того заслуживают. Особенно характерно это для работ критика, написанных им в первые послевоенные годы. Больше всего не повезло в этом смысле оперным театрам ГДР. «Здесь формализм еще не уступает до конца своих явно проигранных позиций», — пишет П. Марков о постановках «Бал-маскарада» Верди и «Руслана и Людмила» в Государственном оперном театре (1950 год). А ведь эти спектакли были довольно высоко оценены перодовой немецкой общественностью и их традиции во многом получили дальнейшее развитие, в частности, в лучших постановках руководителя «Комише опер» Фельзенштейна.

Несколько сужает понятие реализма автор и там, где он пишет об итальянском театре 1958 года. Рассказывая о спектакле «Кошка на горячей крыше» Т. Уильямса в постановке труппы под руководством Джинно Черви, П. Марков делает вывод, что пьеса «поставлена в целом реалистически, лишь порой сквозь стены дома просвечивают сад и лестница, ведущая во второй этаж дома». Разве эта деталь художественного решения — не из арсенала реалистических средств? Сегодня это противопоставление звучит несколько односторонне и даже комично.

Но такие детали — частность. В целом же

проделанная работа огромна: автор знакомит нас с несколькими сотнями (!) спектаклей, и каждый из них в чем-то поучителен.

Особо ценны статьи последних лет — о Национальном театре Великобритании, о гастролях греческого театра и о Югославском драматическом театре. Тут все проникнуто желанием осмыслить новые пути развития театрального искусства, исследовать поиски и находки на этих путях.

Книга П. Маркова — свидетель мирового театрального процесса; она рассматривает его не в статике, но в стремительном развитии содержания и форм.

Лесь Танюк.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин. Избранные произведения. В трех томах. Том 1. 852 стр. Цена 1 р. 50 к.

Я. Кенде, Л. Гечени, А. Штейнбах. Венгерская революция 1918 и 1919 гг. 48 стр. Цена 18 к.

Марксизм-ленинизм — единое интернациональное учение. Выпуск 6. 384 стр. Цена 79 к.

В. Роман. Промышленная революция в развитии общества. Перевод с румынского. 296 стр. Цена 1 р. 16 к.

Ю. Семенов. Вьетнам, Лаос, 1968. 192 стр. Цена 28 к.

«МЫСЛЬ»

С. Беглов. Монополии слова. 406 стр. Цена 1 р. 46 к.

Бестужевки в рядах строителей социализма. Предисловие Е. Д. Стасовой. 198 стр. Цена 38 к.

В. Зенкович. В дальнем синем море. 264 стр. Цена 75 к.

Рокуэлл Кент. Гренландский дневник. Перевод с английского. 312 стр. Цена 94 к.

В. Степанов. Ленин и Русская организация «Искры». 1900—1903. 398 стр. Цена 1 р. 11 к.

«ЭКОНОМИКА»

М. Анисимова, И. Тихонов. Экономика модернизации. 128 стр. Цена 42 к.

Н. Кобринский. Основы экономической кибернетики. 255 стр. Цена 1 р. 3 к.

Механизация управления производством. Сборник статей. 158 стр. Цена 40 к.

Стимулирование развития новой техники в странах СЭВ. 142 стр. Цена 43 к.

М. Эйнарсов. Электронные цифровые вычислительные машины и программирование. 232 стр. Цена 49 к.

С. Ямпольский, Ф. Хилюк, В. Лисичкин. Проблемы научно-технического прогнозирования. 144 стр. Цена 50 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

В. Коротич. Запах неба. Стихи. Перевод с украинского. 88 стр. Цена 31 к

Мастерство русских классиков. Сборник статей. 496 стр. Цена 1 р. 21 к.

М. Михайлова. Большая Медведица + Южный Крест. Повесть. 184 стр. Цена 32 к.

Л. Озеров. Неземное тяготение. Стихи. 231 стр. Цена 48 к.

Б. Полевой. Доктор Вера. Повесть в ненаписанных письмах. 400 стр. Цена 81 к.

А. Сапаров. Январь сорок второго. Из блокадной ленинградской хроники. 264 стр. Цена 45 к.

Э. Ставский. Домой. Повести. 200 стр. Цена 21 к.

М. Танк. Листки календаря (Дневниковые записи). Перевод с белорусского С. Григорьевой. 304 стр. Цена 70 к.

Б. Эйхенбаум. О поэзии. Статьи. Вступительная статья В. Орлова. 552 стр. Цена 1 р. 30 к.

А. Яшин. День творения. Стихи. 206 стр. Цена 57 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

О. Генри. Рассказы. Переводы с английского. Вступительная статья А. Аникста. 192 стр. Цена 27 к.

Д. Гранин. Избранные произведения в двух томах. Том 1. Искатели. Роман. 440 стр. Цена 89 к. Том 2. Иду на грозу. Роман.— Повести.— Путевые очерки. 584 стр. Цена 1 р. 10 к.

С. Есенин. Стихотворения. Вступительная статья А. М. Марченко. Иллюстрации художника Ф. Домогацкого. 176 стр. Цена 18 к.

В. Казин. Великий почин. Лирическая поэма. 32 стр. Цена 44 к.

Л. Леонов. Собрание сочинений в десяти томах. Том I. Повести и рассказы. Вступительная статья Е. Суркова. 496 стр. Цена 1 р. 10 к.

А. Межиров. Стихотворения. 256 стр. Цена 69 к.

Р. Мерль. Уик-энд на берегу океана. Роман. Перевод с французского Н. Жарковой. Предисловие Б. Песиса. 224 стр. Цена 60 к.

На марше. Народно-освободительная поэзия Югославии 1941—1945 годов. Переводы с сербскохорватского, словенского и македонского. Предисловие и редакция переводов В. Слуцкого. Иллюстрации югославских художников — участников народно-освободительной борьбы 1941—1945 годов. 320 стр. Цена 96 к.

В. Перцов. Поэты и прозаики великих лет. 336 стр. Цена 1 р. 5 к.

Я. Полонский. Стихотворения. Вступительная статья Вс. Рождественского. 248 стр. Цена 36 к.

Г. Рамос. Иссушенные жизни. Перевод с португальского. Предисловие И. Тертерян. 88 стр. Цена 25 к.

Стендаль. Красное и черное. Перевод с французского. Вступительная статья С. Великовского. 544 стр. Цена 1 р. 36 к.

Г. Стоев. Цена золота. Повесть. Перевод с болгарского. 160 стр. Цена 36 к.

А. Упит. Романтик. Рассказы. Перевод с латышского. 240 стр. Цена 36 к.

Шолом-Алейхем. Тевье-молочник.— Повести и рассказы. Перевод с еврейского. Вступительная статья В. Финка. 688 стр. Цена 1 р. 64 к.

И. Шуфов. Горькая линия. Роман. Предисловие А. Вулиса. 464 стр. Цена 92 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Зарубежный детектив. Составитель Л. Беспалова. 397 стр. Цена 1 р. 36 к.

И. Игин. ...О двух концах. Шаржи.— А. Иванов и А. Рейжевский. Эпиграммы. 250 стр. Цена 54 к.

К. Кулев. Благодарю солнце. Стихи разных лет. Перевод с балкарского. 160 стр. Цена 60 к.

П. Проскурин. Камень сердолик. Роман.— Тихий, тихий звон. Повесть. 415 стр. Цена 80 к.

К. Симонов. Избранная лирика. 32 стр. Цена 12 к.

«ИСКУССТВО»

- Ю. Манн.** Русская философская эстетика (1820—1830-е годы). 303 стр. Цена 1 р. 31 к.
И. Маца. Проблемы художественной культуры XX века. 208 стр. Цена 67 к.
А. Перрюшо. Тулуз Лотрек. 287 стр. Цена 1 р. 60 к.
В. Шабров. Конфликт и характер в кино. Вступительная статья А. Караганова. 166 стр. Цена 75 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

- С. Георгиевская.** Отрочество. Повесть. 362 стр. Цена 70 к.
Н. Зарьян. Давид Сасунский. Повесть по мотивам армянского эпоса. 264 стр. Цена 1 р. 55 к.
А. Милн. Винни-Пух и все-все-все. Пересказал Б. Заходер. 206 стр. Цена 1 р. 5 к.
Т. Цинберг. Седьмая симфония. Повесть. 175 стр. Цена 26 к.

«НАУКА»

- Л. Белоусова, В. Борисов, А. Винокуров.** Заповедники и национальные парки мира. Краткий справочник. 240 стр. Цена 66 к.
Великая Октябрьская социалистическая революция и национально-освободительное движение народов Азии, Африки и Латинской Америки (Труды Международной научной конференции. Баку. 1967). 399 стр. Цена 1 р. 80 к.
Б. Воронцов-Вельяминов. Очерки о Вселенной. 728 стр. Цена 1 р. 52 к.
И. Надеев. «Культурная революция» и судьба китайской литературы. 149 стр. Цена 49 к.
А. Ненароков. Восточный фронт. 1918. 230 стр. Цена 95 к.
Современное литературоведение США. Споры об американской литературе. 352 стр. Цена 1 р. 58 к.
В. Твардовская. Социалистическая мысль России на рубеже 1870—1880-х годов. 240 стр. Цена 79 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

- Я. Белинский.** Потому, что люблю. Стихи. 80 стр. Цена 24 к.
М. Гоженко. Акация у моря. Книга поэм. 144 стр. Цена 56 к.
С. Никитин. Отец ста детей. Рассказы. 96 стр. Цена 18 к.

- Н. Погодин.** С чего начинается пьеса. 96 стр. Цена 15 к.
А. Толстой. Художественное мышление. Статьи и беседы по вопросам реалистического искусства. 128 стр. Цена 15 к.

«ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

- В. Гантман, С. Микоян.** США: государство, политика, выборы. 192 стр. Цена 30 к.
В. Лаптев. Предмет и система хозяйственного права. 176 стр. Цена 57 к.
Н. Миронов. Укрепление законности и правопорядка в общенародном государстве — программная задача партии. 240 стр. Цена 95 к.
Основы земельного законодательства Союза ССР и союзных республик. 36 стр. Цена 3 к.

«МИР»

- Звезды зовут...** Сборник научно-фантастических рассказов о космосе. Переводы. 400 стр. Цена 94 к.
Ж. Неве. Математические основы теории вероятностей. Перевод с французского. 309 стр. Цена 1 р. 14 к.
Продается Япония. Сборник японской научной фантастики. Перевод с японского. 367 стр. Цена 77 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

- Н. Бейлина.** Книга встреч. Новосибирск. Западносибирское книжное издательство. 295 стр. Цена 57 к.
А. Горницкий. Среди врагов и друзей. Партизанские были. Ужгород. «Карпаты». 336 стр. Цена 70 к.
В. Ягенти. Константинэ Гамсахурдиа. Очерк жизни и творчества. Тбилиси. «Мерани». 117 стр. Цена 40 к.
В. Канторович. Дагестанские рассказы. Махачкала. Дагкнигоиздат. 128 стр. Цена 19 к.
Латышские народные сказки. Перевод с латышского. Рига. «Зинатне». 351 стр. Цена 1 р. 9 к.
А. Львов. Две смерти Цезаре Россолимо. Научно-фантастические повести. Одесса. «Маяк». 263 стр. Цена 43 к.
А. Одинов. Там, за грядой облаков. Очерки, повести, рассказ. Душанбе. «Ирфон». 222 стр. Цена 49 к.
О. Туманян. Четверостишия. Перевод с армянского Н. Гребнева. Ереван, «Айастан». 60 стр. Цена 7 к.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, И. И. Виноградов, Р. Г. Гамзатов, Е. Я. Дорosh, А. И. Кондратович (зам. главного редактора), **А. А. Кулешов, В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, И. А. Сац, К. А. Федин, М. Н. Хитров** (ответственный секретарь)

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77.
 Почтовый адрес: Москва, К-6, пл. Пушкина, д. 5.

Сдано в набор 4/III 1969 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 19/V 1969 г.
 А-06051. Формат бумаги 70×108^{1/16} 27,38 уч.-изд. л. 9 бум. л. (25,2 усл. печ. л.)
 Зак. 808. Тираж: 131150 экз.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Отпечатано на Чеховском полиграфкомбинате. Зак. 1231

Цена 70 коп.

70636